ПОДАРИ МНЕ СИЗАРЯ

ПОДАРИ МНЕ СИЗАРЯ

Трудно себе представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, если бы люди перестали одурманивать себя и отравлять себя водкой .

Лев Толстой

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ВИЛЬ ЛИПАТОВ

ЮРИЙ КАЗАКОВ

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

ИВАН УХАНОВ

ВЛАДИМИР КРУПИН

ЮРИЙ СБИТНЕВ

ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

АНАТОЛИЙ КИМ

ВИКТОР ПОТАНИН

ПОДАРИ МНЕ СИЗАРЯ

ПОВЕСТИ
и
РАССКАЗЫ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

84Р7
П 44

Предисловие Н. МАШОВЦА

Художник Ю. СЕЛИВЕРСТОВ

П $\frac{4702010200-117}{078(02)-86}$ 129—86

ПТИЦА С ОПАЛЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ

На обложке этой книги — птица с опаленными крыльями. Она рванулась в небо, и здоровые перья ищут опору в густой синеве. Пламя тянется к птице и готово растворить ее в себе так же беспощадно, как и пугливый березняк, окрашенный тревожным заревом.

Перевернув страницу, читатель встретит устремленный на него из-под насупленных толстовских бровей пронзительный и суровый взгляд, тревожащий сердце и беспокоящий совесть. Портрет великого учителя как бы рождается из самых облаков, гнетущих горизонт, ветра, подымающего ветхую солому на крышах деревеньки, осеннего поля, глубоко вспаханного и открывшего свои недра шумным черным птицам. С чистой и сухой сельской дороги сошел на свежую пахоту старец. Знакомая всему миру сутуловатая спина, палка-посох, светлая, тонко перепоясанная блуза. Он вглядывается в земляной пласт, который должен принять зерно и родить хлебный колос. И думы его о том, не оскудела ли земля, продлится ли жизнь на ней, одарит ли она человека счастьем?

Лев Толстой, изображенный на этой картине-портрете, не может не остановить внимание быстрого читателя и обязательно заставит сердцем вслушаться в слова, с горечью исторгнутые классиком: «Трудно себе представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, если бы люди перестали одурманивать себя и отравлять себя водкой».

Для Льва Толстого ясна первопричина несчастья. Вино и водка — лишь средство, с помощью которого человек сам себя одурманивает. Разбудить, укрепить в человеке человеческое — вот задача, которую ставили перед собой мастера литературы прошлого, этот же пафос движет перо и современных авторов, объединенных в данном сборнике.

В книге «Подари мне снзаря» собраны повести и рассказы советских писателей, в которых взволнованное гражданское чувство авторов обращает нас к теме больной и драматичной. Загубленное здоровье, попранная любовь, разбитые судьбы, слезы матерей, жен, детей... Слабовольных, немыслящих, забывших свое великое предназначение быть разумом природы — таких персонажей немало на страницах этого издания. Если обращаться к событийной стороне произведений, то не везде и не всегда торжествуют здоровые силы. Порой писатель не видит выхода из той драматичной ситуации, в которой оказались его герои. Не видит, потому что безболезненного разрешения конфликта, счастливого исхода не может быть в самой жизни. Да, некоторые герои обречены, судьбы их мрачны и трагичны, как, например, жизнь Семена Баландина из повести «Серая мышь» Виля Липатова. И попытку вырвать героя из этого порочного круга должен предпринять уже сам читатель, гневные силы которого направлены будут на борьбу со злом, в трясине своей поглощающим людей ярких и сильных. В то же время мы можем увидеть значительное число персонажей активной, действенной позиции, сознательных борцов за трезвость, понимаемую как

развитое самоуважение, не допускающее прежде всего глумления над человеком, его прошлым, настоящим и будущим.

Симптоматично, что в ряде рассказов, не чуждых, впрочем, элементам очерка, боевой настрой самого автора становится нравственным и гражданским мерилом поступков героев. Заметная публицистичность этих произведений является органичной чертой их художественного своеобразия.

Первым познакомился с этой книгой художник Юрий Селиверстов. Теперь он передает ее читателям со своими комментариями-иллюстрациями. Трудно судить, совпадут ли они с впечатлениями читателей, но одно можно сказать со всей определенностью: Ю. Селиверстов — талантливый читатель, человек гражданскн неравнодушный, художник яркого видения. К сказанному писателями он смог добавить ряд образов, которые углубили понимание проблемы, сделали ее тоньше и человечней.

Хотелось бы, чтобы каждый следующий читатель, размышляя о встреченных здесь героях, обратился к окружающей его действительности и сделал бы все от него зависящее, чтобы человек не забывал о великой цели своего жизненного предназначения. И вырвавшиеся из огненного плена птицы, изображенные на последней странице обложки, оставляя под собой опаленные вершины берез, будут напоминать ему об этом.

Николай МАШОВЕЦ

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

НЕ МОГУ-У...

Мы с товарищем опоздали на электричку и сели на проходящий, взяв билеты в плацкартный вагон. Плацкартные ныне потускнели — или оттого, что возвращаться к ним приходится нам из купейных, а не подниматься, как в свою пору, из общих, или правда, по всем статьям опустилась железная дорога. Этот, в который мы забрались, был замусорен, закопчен и как-то не расположен к уборке. Проводнице, хорошенькой большеглазой девушке из студенток, конечно, казалось в нем неуютно, и она, едва поезд тронулся, скрылась, и больше мы ее за два с половиной часа не видели. Впрочем, и поезд был не дальнего следования, под трехзначным номером — кто на такой смотрит, кто к такому придирается? Лишь бы вез, а то ведь они, эти недальнего следования, горазды и стоять.

Мы устроились на свободной скамье напротив старушки с книгой и принялись осматриваться. Старушка читала без очков — это в ее возрасте надо выделять как особую примету. Она держала толстую и разбухшую книгу на коленях, наклонив аккуратно седую голову с широким гребнем в коротких остриженных волосах. Губы ее пошевеливались при чтении, подвижное чуткое лицо отзывалось той жизни, которая была в книге, с простодушным интересом. На верхней полке над старушкой ворочался и косился на нас красивыми серыми глазами на породистом длинном лице мужчина средних лет, одетый в спортивное трико — черное с белыми полосами; полосы, впрочем, посверкивали и на лысеющей голове. По его мнению, мы были несерьезные пассажиры: вдвоем с одной сумкой, да еще к тому же отчего-то веселые. Веселье под хмелем понять можно, а без хмеля оно подозрительно, особенно в поезде. Может быть, этого пассажира сверху смущали наши три свободных руки, может, что-то более серьезное, но мы ему явно не нравились.

Товарищ мой по своему обыкновению всем интересоваться поднялся и обошел вагон. Когда он вернулся, сообщив, что в вагоне на удивление нелюдно, и стал рассуждать, почему пассажир сейчас поредел (дело было в сентябре), послушать его к нашему купе придвинулись любопытные — мальчик и девочка лет пяти-семи, которых он успел за свой короткий выход чем-то заинтересовать. Прервавшись, Олег (так звали моего товарища) полез в карманы, нашарил там шариковую ручку и расческу и протянул их ребятам. Те, помявшись, взяли и, не зная, что с ними делать, остались

ТАКИЕ ЖЕ МУЖИКИ,
ПРЯМЫЕ ПРЕДКИ...

ШЛИ НА ПОЛЕ
КУЛИКОВО...

стоять с подарками в руках, оторопело поглядывая друг на друга. Мужчина наверху усмехнулся, но, кажется, этот неумелый и неискренний жест его успокоил — он отвернулся. Старушка, приподняв книгу и делая вид, что не отрывается от нее, смотрела на моего товарища с опасливым прищуром, боясь, как бы он не взялся одаривать чем-нибудь подобным и ее. Мы все больше сходили на ненормальных.

И тут до нас вдруг донесся не то стон, не то вскрик, да такой бедовый и тяжкий, что стало не по себе. Олег вскинулся:

— Что это?

— Это там дяденька плачет,— сказала девочка и показала рукой в глубину вагона.

— Дяденька плачет? Чего он плачет?

— Его хмель давит,— баском пояснил мальчик.

Теперь, когда они заговорили, стало видно, что мальчик старше девочки и кое-что знает в жизни.

Старушка оторвалась наконец от книги и, выглянув в коридор, со вздохом подтвердила:

— Ой, надоел. Перед городом милицией припугнули, так затих. Теперь сызнова.

— Не могу-у! — истошно взревел неподалеку голос.— Не могу-у!

— Чтоб ты сдох! — отозвался сверху мужчина в трико и возмущенно сел, спустив над старушкой ноги.

— Нет, дальше следующей станции ты у меня не поедешь! Хотел ведь, по-человечески хотел снять! Чтоб по-человечески ехать!

— Не могу-у! — еще отчаянней, еще горше перебил его голос.

Олег, не вытерпев, пошел посмотреть, я за ним. Через две перегородки от нашей, уронив лохматую голову и время от времени пристукивая ею о столик, корчилась в судорогах грязная и растрепанная фигура в засаленной, видавшей виды нейлоновой куртке и резиновых сапогах. Купе было свободно, видеть ее мучения никто не хотел. Олег присел напротив, по другую сторону столика, я сбоку. Человек, сидящий перед нами, уткнувшись в столик, ненадолго затих, словно прислушиваясь к себе или к тому, что происходит кругом, затем сдавленно, через силу сдерживаясь, испустил длинный утробный стон — нарочно так, с таким рвущим горло выдохом, изобразить он не мог, так могло выходить наружу только бушующее страдание. Олег принялся тормошить беднягу за плечи, тот долго ничего не чувствовал, ничего не понимал, поднял все-таки голову, показав лицо, и бессмысленно уставился на нас.

Никто, никакой вражина не сумел бы сделать с ним то, что сделал с собою он сам. Прежний человек хоть и с трудом, но все же просматривался еще в нем. Голубые и, наверное, чистые когда-то глаза перетянуты были кровавыми прожилками и запухли, призакрылись, чтоб не видеть белого света... Белый свет они действительно видели плохо, но тем сильней и безжалостней всматривались

они в свое нутро, заставляя этого человека кричать от ужаса. Светлые густые волосы на голове стали от грязи пегими и свисали лохмами; круглое, в меру вытянутое книзу аккуратным и крепким подбородком лицо со слегка вздернутым носом, которое затевалось во всей этой нетяжелой и немудреной форме для простодушия и сердечного отсвета,— лицо это, одутловатое, заросшее, тяжелое, полное дурной крови, пылало сейчас догорающим черным жаром. Даже ямочка на подбородке и та казалась затянувшейся раной. И сколько лет ему, сказать было невозможно — то ли под тридцать, то ли за сорок.

А вспомнить — такие же мужички, прямые предки его с такими же русыми волосами и незатейливыми светлыми лицами, какое чудесным и редким раденьем, показывая породу, досталось ему,— шли на поле Куликово, сбирались по кличу Минина и Пожарского у Нижнего Новгорода, сходились в ватагу Стеньки Разина, продирались с Ермаком за Урал, прибирая к хозяйству земли, на которых и двум прежним Россиям было просторно, победили Гитлера... И вот теперь он.

Мой товарищ продолжал тормошить его:

— Ну что? Что тебе?

— Не могу,— сорванным, обвисшим голосом прошептал он.

— Может, помочь чем? Чем помочь-то тебе?

— Не знаю.

— Ему бы куриного бульончику... желудок отмягчить,— посоветовала старушка из нашего купе: мы и не заметили, как вокруг нас собрались люди.

— Ему не куриный бульончик, ему хороший стопарь нужен,— громко, увесисто, зная, по-видимому, толк в этих делах, предложил рыжий верзила, возле которого держались побывавшие у нас мальчик и девочка.

Все разом загалдели:

— Ага, стопарь-то его и довел. На стенку лезет.

— Ему стопарь — его связывать надо. Рот затыкать надо.

— И так едем как в вытрезвителе. И ни одной власти нету, все разбежались. Бригадира вызывали — где он?

— А поедешь — как в морге,— пробасил верзила.

— Не видите, какой у него хмель злой? Он задавит его.— После этих слов уже не оставалось сомнений, что верзила — отец мальчика и девочки.— Он окочурится здесь — кто будет виноват?

От нашего купе подскочил мужчина в трико:

— Поэтому и надо его немедленно снять. Я предлагал... Так ехать невозможно. Тут люди.

— У него и билета, поди-ка, нету. Он, поди-ка, открытую дверку увидал и полез. Он перепутал дверку-то.

— Он много чего перепутал.

Напротив меня оказалась ядреная, широкой кости, со свежего воздуха старуха с продубленным лицом. Она взмахивала могучими руками:

— Голики! Голики несчастные! Всех бы поганой метлой повымела! Измотали, измучили народ. У меня зять...

— Развели демократию для пьяниц.— Это опять наше образованное трико.— Тут мы на высоте-е, тут мы сто очков кому угодно.

А тот, из-за кого разгорелся весь этот сыр-бор, уткнулся опять головой в столик и слабо, обморочно постанывал — на исходе, казалось, последнего духа.

Товарищ мой слушал-слушал, думал-думал и поднялся. Он решил внять совету верзилы.

— Работает сейчас ресторан, не знаете? — спросил он.

— Ступай, ступай, милок. Че другое, а эта завсегда в работе,— съязвила старуха с вольного воздуха.— Только свистни — все запоры падают. Коров, свиней не напоят, а для мужика поилка денно и нощно, в любую непогодь бежит. Не сумлевайся.— Вредная, видно, была старуха, добавила: — Тебе, поди-ка, и самому невтерпеж.

Олег вернулся с бутылкой портвейна. Люди к этому времени разошлись, только верзила, чувствующий ответственность за совет, сидел вместе со мной возле несчастного.

— Может, обойдется, не надо? — спросил его Олег.

— Глядите сами,— пожал плечами верзила.— Я бы дал. Ишь, он дышит как. Нехорошо дышит. Хмель, он, конечно, потом свое требует, но пускай маленько передохнет мужик. Сразу обрывать опасно, я знаю. Ему бы теперь потихоньку на тормозах спускать.

На этот раз долго расталкивать мужика не пришлось — наверно, он слышал наши приготовления. Он поднял голову и, увидев поставленный перед ним стакан с вином, долго и строго смотрел на него, словно что-то вспоминая, потом обвел нас донельзя угнетенным, измученным взглядом и, зажав в руках стакан, отвернулся к окну. Вагон потряхивало; слышно было, как стекло бьется о зубы. Он пил долго, как и все дошедшие до предела люди этого сорта, маленькими, осторожными глотками, раздирая спекшееся горло. Выпив, поставил стакан, с трудом отцепил руки и прохрипел:

— Еще.

— Погоди, не гони,— остановил его верзила.— Поглядим на тебя. Послушаем, что скажешь.

Мужик замер, прислушиваясь к себе, и что-то услышал — сморщился и взялся растирать грудь.

— Достало? — спросил верзила.

— Нет.

— Давно это... в вираж вошел?

— Не знаю. Не помню.— Он говорил с трудом, хрипло и натужно, у него и слова выходили как обугленные. Голова его норовила упасть, он рывками встряхивал ее и задирал, показывая короткую, скрученную толсто и мощно, мускулистую грязную шею.

— Сам-то откуда будешь, из каких краев?

— Из Москвы.

— Ой, трекало! Ой, трекало! — всплеснула руками вышедшая

опять на разговор вольная старуха.— Ты уж ври, да не завирайся. Станут в Москве таких держать!

— А кто его там держит? — отозвался из соседнего закутка чей-то голос.— Мы с вами не в метро по белокаменной едем.

— Всю биографию рисовать? — спросил мужик — в нем, похоже, начал продираться свой голос — и покосился на бутылку в руках у Олега.

— Налей,— позволил верзила.— Сердится — в пользу, стало быть, пошло. Только не полный, хватит ему половины.

Олег налил полстакана. Мужик выпил на этот раз попроворней, в глазах у него появился острый блеск. Чтобы не оставлять ему надежду, мы разлили остатки портвейна в три принесенные ребятишками посудины и тоже выпили. За здоровье москвича. Он посмотрел на нас проснувшимися крохами вялого любопытства, но все в нем еще было тяжелым, малоподвижным и закаменевшим, и он никак не отозвался на наш тост.

— Как звать-то тебя? — продолжал допытываться верзила.

— Герольд.

— Как?

— Герольд.— Мужик закашлялся над собственным именем.

— Не русский, что ли?

— Русский.

— А пошто так зовут?

— Откуда я знаю? Отец с матерью назвали.

— Кажется, это скандинавское имя,— предположил мой товарищ.

Верзила подумал:

— Ты, мужик, с таким имечком, однако, не за свое ремесло принялся. Тебе соответствовать надо. А вправду русский?

— А ты что — по роже не видишь?

— Господи! — тяжело вздохнула старуха.— Кого только не увидишь! С кем только не стакнешься! И чего ты мне на добрых людей не дашь поглядеть?!

— И давно ты, герой, или как там тебя, бичуешь? — не отставал верзила.

Мужик не ответил, занятый чем-то в себе, каким-то происходящим внутри опасным движением.

— Баба-то есть? — спросила старуха и, когда он и на этот раз не отозвался, уверенно сама себе сказала: — Выгнала. Кто, какая дура с этаким обормотом жить станет?!

— Выгнала, выгнала,— со злостью подтвердил мужик и добавил: — И сама спилась.

И так он это произнес, что ясно стало: правда, чистая правда.

— Вот те раз! — ахнула старуха.— А ребятишки? Ребятишки есть?

— Есть сын. И он сопьется.

— А вот это ты врешь,— возразил верзила.— Не сопьется.

— Сопьется.

— Врешь! — грохнул голосом верзила.— Ты что это, герой, плетешь?! Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — Он выкинул руку в сторону ребятишек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, стояли тут же.— Им надо нашу линию выправлять. Понял ты, бичина? И никогда больше про своего сына так не говори. Понял? Кто-то должен или не должен после тебя, после нас грязь вычистить?

На шум повыскакивали опять из всех закутков люди; укоризненно покачивала в нашу сторону головой старушка с книгой; подскочил и стал что-то частить мужчина в трико. Верзила, не понимая, как и все мы, слов, но прекрасно понимая, о чем они, смущенно и досадливо помахивал ему рукой: мол, извини и успокойся, больше не будем. Но трико не прощало и не отставало. Мужик наш, этот самый Герольд, уставившись на трепыхающее перед его носом аккуратное брюшко, хлопал глазами и с гримасой кривил лицо.

— ...только до следующей станции,— неожиданно четко закончило трико.

— Порож-няк! — звучно, со сластью кинул ему мужик — откуда и красоты взялись в этом голосе.

— Что-о?!

— Порожняк! Сворачивай в свой тупик и не бренчи. Надоел.

— Еще и оскорбления! Я долго терпел! — Трико закрутилось, соображая, куда бежать, в какой стороне поездное начальство.

— Ты погоди, не шебутись,— пробовал его остановить верзила.

— Мы с вами вместе свиней не пасли,— был ему известный ответ, который верзила, однако, не понял и удивился.

— А что я — дурной, буду их пасти? У нас их сроду никто не пас. Сами в земле роются.

Мужчина в трико кинулся по ходу поезда.

— Вот и сграбастают,— назидательно сказала вредная старуха с вольного воздуха.— Десять але пятнадцать суток.

Мальчишка заволновался:

— Ты, папка, опять? Тебе что было говорено? С тобой прямо никуда не выйди.

— Да вот, высунулся,— поморщился верзила, кивая на мужика.— Ты уж сиди и не высовывайся, тебе не положено высовываться. Понял?

— За это не забирают,— сказал мой товарищ.— Ничего же не произошло. Ни действия, ни мата — ничего не было.

— А пошто порожняк-то? — заинтересовался верзила. Слово ему понравилось, он, видать, и сам мастак был сказать коротко и любил это в других.

Мужик молчал — в нем опять что-то происходило.

— Я спрашиваю: пошто порожняк?

— Бренчит, бренчит! — вдруг зло, яро, едва не на крике сорвался мужик и крутанулся в ту сторону, куда убежало трико.— Я вижу — это он. Это он, он! Я бич, я никто, я отброс, но я десять лет

честно работал. Мой отец воевал. А этот... он всю жизнь честно бренчит. Это он, он!

— Кто-о-о? Чего ты раскричался? Кто — он?

— Порож-няк!

И, уткнув голову в столик, затрясся в рыданиях. Все — передышка кончилась, хмель снова брал его в оборот. Мы переглянулись, не зная, что делать. Больше помочь ему было нечем, да и прежняя наша помощь пошла, как видно, не впрок.

— А куда едешь? Где сходить тебе? — неловко и озадаченно спросил верзила.

Мужик вскинул голову и прокричал:

— Где сбросят. Понятно? Где сбросят. Отстаньте от меня, отстаньте! Не могу-у!

Да, никуда не годились у него нервишки, спалил он их.

Мы с товарищем вернулись в свое купе. Старушка, отложив книгу и порываясь что-то спросить, так и не спросила и стала смотреть в окно. Там, за окном, за играющей сетью бесконечных проводов, тянулась матушка-Россия. Поезд шел ходко, настукивая на железных путях бодрым стукотком, и она, медленно стягиваясь, разворачивалась, казалось, в какой-то обратный порядок.

На следующей станции мы сошли. И, проходя вдоль своего вагона, увидели в окне повернутое к нам страшное, приплюснутое стеклом лицо в слезах, с шевелящимися губами. Нетрудно было догадаться, что выговаривали, мучительным стоном тянули изнутри губы:

— Не могу-у-у!

ВИЛЬ ЛИПАТОВ

СЕРАЯ МЫШЬ

1

Дни стояли хорошие. Целую неделю в небе ни облачка, солнце над рекой сразу поднималось желтое, вычищенное и промытое, и казалось, что он так и создан, этот мир,— с голубым небом, с прозрачной Обью, с жарой, необременительной из-за речной прохлады...

Воскресным утром над поселком Чила-Юл солнце висело вольтовой дугой, река в берегах чудилась неподвижной, как озеро, кричали голодные чайки.

Присоединившись с раннего утра к трем постоянным приятелям, Витька Малых как начал улыбаться, так и продолжал до сих пор растягивать длинные губы, по-шальному щурить глаза и на ходу приплясывать, точно чечеточник. Сам он был длинный, как жердина, суставы у него как бы от рождения были слабыми, и вот он весь вихлялся, напевал про то, как «на побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях», и при этом поглядывал на дружков лукаво, с подначкой.

По длинной деревенской улице они шли гуськом — Витька Малых посередине, впереди него торопился шагать Ванечка Юдин, позади — Устин Шемяка, а Семен Баландин шел отдельно, наособицу. Он, конечно, весь был вялый и темный, стонал сквозь стиснутые зубы, глаза были стеклянными. Устин Шемяка шел с напружиненными скулами, а Ванечка Юдин морщил лоб, прикидывал, как обернется сегодняшнее воскресенье — радостью или печалью.

Собрались дружки в условленном месте к восьми часам. Первым выбрался на свет божий Семен Баландин — дрожащий и черный, с погасшими глазами, с мертвенно-бледной кожей лица; вторым появился злой Устин Шемяка; третьим хлопотливо прибежал Ванечка Юдин, забыв поздороваться с приятелями, сразу начал глубокомысленно морщить лоб и соображать. Витька Малых присоединился к приятелям уже на ходу. Он с каждым поздоровался за руку, каждому пожелал хорошего воскресенья, а потом от молодой утренней радости начал напевать про моряка, про то, как «за рекой, на косогоре, стали девушки гурьбой...».

Они шли по улице, где все было по-утреннему, по-воскресному. Отсыпаясь за всю неделю, женщины не торопились топить дворовые печурки, мужчины еще спали, старики с палками в ожидании далекого завтрака терпеливо сидели на лавках. По улице, опустив хвосты,

шли охрипшие за ночь собаки, коровье стадо уже позванивало боталами возле околицы, поперек дороги лежала здоровенная свинья с кокетливо прищуренными белыми ресницами, курицы безопасно гуляли серединой дороги, словно знали о том, что воскресным днем проезжих автомобилей не случается.

Поселок Чила-Юл располагался на крутом обском берегу, стоял он на таком веселом месте, что в погожий день все восемьдесят домов казались новенькими, словно сейчас были рублены; сама река Обь была такая пространственная и высокая, что делалось щемяще-пусто под сердцем; на речном яру росли задумчивые осокори, за околицей то синели, то зеленели кедрачи, рощица берез — неожиданная и посторонняя — выбегала к воде сноровисто, как телята на водопой. И от этого тоже было весело, словно над Заобьем пела медная труба...

Миновав середину длинной чила-юльской улицы, четверо приятелей начали замедлять шаги и недовольно морщиться, так как увидели поспешавшую им навстречу самую древнюю и бойкую старуху в поселке — бабку Кланю Шестерню. Согнутая годами в дугу, она костистой головой, горбом, торчащими лопатками и локтями действительно походила на зубчатую шестерню; старая старуха бабка Кланя Шестерня при ходьбе всегда глядела в землю, распрямиться не могла, но каким-то образом видела все, что творилось вокруг нее.

Заметив четверку, бабка Кланя Шестерня тоже замедлила шаги, ворочая низко опущенной головой, принялась сопеть и хмыкать, потом остановилась как вкопанная и, подперев подбородок короткой палкой, стала разглядывать след копыта на пыльной земле. Бабкино плоское лицо располагалось параллельно дороге, по бокам его висели пряди седых волос, согнутая спина торчала верблюжьим горбом, ног под суконной юбкой было не видать.

— А вы, соколики, опять лакать ее, бесовскую? — насмешливо спросила Кланя Шестерня.— Ну, мне теперича заходу домой не будет...

После этого бабка пошла было дальше, но потом изменила направление: решила зайти к жене Ванечки Юдина, а заодно через прясло поразговаривать с женой Устина Шемяки. Двигалась бабка так, словно ее подталкивали сзади, словно она падала вперед, но березовая палка ей совсем упасть не давала, и на всю улицу было слышно, как бабка хмыкает и недовольно сопит,— такая кругом стояла утренняя тишина, такой был покой и такая воскресная сонная радость.

— Хоть бы зашиблась! — зло прошептал Устин Шемяка вслед бабке.— Вот если я кого терпеть не могу, так у меня аж в скулах больно!

— Самая язва и есть! — торопливо добавил Ванечка Юдин.— Ее бы в анбар запереть! Все одно целый день ничего не жрет... Как она проживает — вот этого я понять не могу!

Прошагав еще метров пятьдесят, приятели остановились возле

ЭТОТ МИР — С ГОЛУБЫМ НЕБОМ

НОЧЬ ЕЩЁ ПОТЕМНЕЛА

тенистой скамейки, переглянувшись тревожно, разом сели на прохладное дерево. Отсюда хорошо был виден сельповский магазин, на крыльце которого стояло несколько женщин, а над дверями висело красное полотно: «Да здравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся всех стран!»

— Минут через десять открoет! — радостно сказал Ванечка Юдин.— Варфоломеевска баба завсегда ходит при часах, так вот она уже приперлася... Ну, мужики, давай соображать!

Он хлопотливо повернулся к товарищам, весь возбужденный и озабоченный, стал укоризненно глядеть на приятелей, так как уже заранее знал, что последует за его призывом «соображать», и уже был готов к тому, чтобы ничему не удивляться.

— Давай, давай, мужики!

Они сидели на затененной, скрытой от человеческих глаз скамейке, над ними шумели в черемуховых ветках веселые по-утреннему воробьи, лучи низкого солнца пестрили кроны деревьев золотыми кружочками. Болезненно перекосив лицо, обморочно закатывал глаза дрожащий Семен Баландин, презрительно и зло усмехался Устин Шемяка, возбужденно вертел головой Ванечка Юдин, а Витька Малых, любопытный, как сорока, не спускал сияющих глаз с товарищей. Рот у парня был полуоткрыт, под распахнутой на груди рубахой незащищенно торчали ключицы, лоб у Витьки был ясный, как у вихрастого мальчишки. Две-три секунды он помолчал вместе со всеми, потом, пропев вслух: «...потихоньку отдыхает у родителей в дому...», радостно и медленно, чтобы все видели, полез в карман брюк.

— У меня рупь! — восторженно сказал Витька, вынимая кредитку.— Анка дала!

Расправив ассигнацию, Витька перестал счастливо улыбаться и посмотрел на приятелей удивленно, словно хотел спросить: «Чего же вы не радуетесь моему рублю? Ведь его Анка дала!» Однако трое не только молчали, но и отводили глаза от Витькиного рубля, а Ванечка Юдин даже осторожно вздохнул. Молчание продолжалось, наверно, целую минуту, потом Ванечка вздохнул громко.

— У меня тоже рупь,— сказал он.— Где достал, дело не ваше!

Прибавив к глубокомысленным морщинам на лбу две трагические складки, Ванечка Юдин аккуратно расправил рубли, перегнул их пополам, пропустил через сложенные пальцы и повернулся к Устину Шемяке.

— Ну!

Огромный, краснорожий, короткошеий Устин Шемяка насмешливо и зло усмехнулся. На его грубом, тупом и важном лице розовела нежная детская кожа, под лохматыми свирепыми бровями прятались голубые глаза, на подбородке синел звездчатый шрам, похожий на снежинку.

— Ты чего же, Устин, отмалчиваешься-то? — удивленно спросил Ванечка Юдин.— Ну Семен рупь не имеет, это по его жизни

закон... А ты чего помалкиваешь, когда двести пятьдесят в месяц гребешь? Ты-то чего бычишься, когда при деньгах?

Дул легкий береговой ветер, река Обь светлела по-утреннему, шли с удочками мальчишки, бодро прошагал с портфелем директор шпалозавода Савин, двигались к сельповскому магазину три солидные женщины с городскими авоськами... Хорош был поселок Чила-Юл! Как славно обнимала его излучина Оби, как уютны были все восемьдесят домов, как чисто было на длинной улице, расположенной на высоком яру, с которого дождевой поток уносил грязь и мусор. Славно было, просторно, весело обжито...

— Нет у меня грошей! — наконец сказал Устин Шемяка.— Копеек пятьдесят наскребу...

Еще раз зло и надменно усмехнувшись, он снова примолк, соображая, в какой карман штанов были положены три рубля, а в какой — мелочь; вспомнив, он долго копошился пальцами в левом кармане: перебирал пальцами монеты, что-то отсчитывая, отсортировывая, и лицо при этом у него было такое, какое бывает у очень голодного человека.

— Пятьдесят три копейки,— сказал Устин.— Вона тут еще медяк примостился...

На скамейке снова наступила напряженная тишина; время как бы замедлилось, остановилось, и стало слышно, как хрипло, задушенно, с перерывами дышит Семен Баландин, которого уже не держала спина,— он упал боком на серые доски забора. Бледный, с трясущимися губами, обмякший, как пустой мешок, Семен Баландин из-под смеженных ресниц с суеверной надеждой и тайным неверием глядел на деньги. Когда Ванечка Юдин еще раз пересчитал монеты, он судорожно глотнул воздух, закашлялся и уронил голову на грудь: это был обморок.

— Тридцать четыре копейки не хватает! — торопливо сказал Ванечка Юдин.— А ну давай, народ, шукай скорей тридцать четыре монеты, как бы Семен богу душу не отдал!.. Витюх, гони двадцатник, а у меня пятнадцатушка имеется...

Было около половины девятого, солнце уже перевалило через молодой осокорь на обском яру, река на глазах делалась сиреневой и прозрачной, словно ее подсвечивали со дна; по улице две девчонки несли на загорбках молодую траву — они, наверное, собирались кормить шкодливых коз, которые в стаде пастись не умели.

Девочки завернули в переулок, сделалось совсем тихо и пустынно, но через несколько секунд из того же переулка, где скрылись девочки, выкатилось один за одним десять солнц разного размера — четыре больших, четыре средних размеров, два солнца были маленькими. Это ехали на велосипедах пять человек: двое взрослых, двое мальчишек десяти-одиннадцати лет и девочка лет семи-восьми.

— Цыпыловы!— шепнул Витька Малых.— Цыпыловы в лес поехали!

Велосипедные солнца медленно катились по длинной улице.

2

Магазинные двери открывались наружу, как в пожарном депо, в помещении пахло свежим пшеничным хлебом, мышами, слежавшимся ситцем, хозяйственным мылом и рогожей; здесь светились во всю стену два больших окна, стояли неструганые сосновые полки, висела табличка «Покупатели, будьте взаимно вежливы с продавцом», а у хмурой, всегда строгой продавщицы Поли было суровоиконное, фанатичное лицо. Обнаженные по локоть руки продавщицы не брали товар, а хватали, не клали хлеб на весы, а швыряли, не снимали товар с весов, а злобно сдергивали. Глаза у продавщицы Поли были постно опущены.

Первой в очереди стояла толстая и важная жена рамщика шпалозавода Варфоломеева — при часах на сдобной руке; за ней с мечтательным видом выжидала свой черед солдатка Ляпунова в пестром мужском свитере; за спиной Ляпуновой толпились бабы попроще, всего человек десять, включая двух девчушек, державших мелкие деньги в потных кулаках. Очереди было на полчаса, а то и больше.

— Не топочите! — шепнул Ванечка Юдин.— Иди тихой ногой... Это Поля уважает!

Остановившись в хвосте очереди, четверо приятелей начали ловить взгляд продавщицы Поли подхалимскими, трусливыми и молящими глазами; даже звероподобный Устин Шемяка кривил губы, задыхающийся Семен Баландин глядел на продавщицу со страхом, Витька Малых и Ванечка Юдин улыбались просторно, наперегонки, словно устроили соревнование — кто лучше улыбнется. Улыбка Ванечки Юдина была льстивой и подобострастной, а Витька улыбался продавщице так радостно, как ранним утром улыбался взошедшему солнцу, белым черемухам, голубым елям на взлобке яра.

— Полкило конфет-подушечек, триста грамм мырмеладу, полкило соевых,— поматывая толстым пальцем, важным голосом говорила жена рамщика Варфоломеева и косилась на соседок, чтобы видеть, какое впечатление производит на них.— Пожалуйста, не забудьте, Поля, чтобы мырмелад шел на вес целенький... Мой не любит половинки!

Потом гордая Варфоломеиха стала брать развесную халву, манную крупу, геркулес в пачках, сахар-песок и муку. На фанатичном лице продавщицы Поли ненавистно розовели скулы, губы вытянулись в ниточку; она бренчала и стучала всем, чем можно стучать и бренчать, а на важную Варфоломеиху за все время ни разу не посмотрела.

— Терпи, народ! — успокаивающе зашептал Ванечка Юдин.— Видали, как она на меня зыркнула? Значит, беспремен отпустит...

Водка в сельповском магазине продавалась только после десяти часов, очередь стояла мертво, толстая Варфоломеиха все держала указующе поднятым жирный палец, и Семен Баландин, судорожно

всхлипнув, вытянув длинную и тонкую шею навстречу продавщице Поле, умоляюще попросил:

— Поль, а Поль, отпусти! Поль, а Поль!

Помещение магазина было полупустым, высоким, женщины, сердито наблюдавшие за гордой и важной Варфоломеихой, мертво молчали, и болезненный голос Семена звучал в магазине так громко, сло́вно он кричал:

— Поль, Поль, пожалей!

Не обращая внимания на Баландина, точно не слыша, не видя его, продавщица вернулась к прилавку и, не изменив выражения лица — глаза постно опущены, скулы крутые, подбородок спокойный,— закричала так громко и визгливо, что зазвенело в ушах:

— Ходют тут всякие!.. Нет того, чтобы мне благодарность принесть за то, что магазин на полчаса раньше открываю, так они еще водку просют до сроку! Они еще через прилавки лезут к материальным ценностям!.. Вот счас всех вытурю, закрючу мага́зин да пойду досыпать... Здоровье у меня подорванное, жирного цельный день не ем, один чай пью... А тут ходют всякие! А тут сами не знают, кого брать: то ей крупу, то ей мырмеладу, то еще каку холеру!

Вот так кричала продавщица Поля, надувая до красноты жилистое горло, трясясь от злости. Одновременно с этим она привычным движением выхватила из-под прилавка бутылку с зеленой наклейкой, размахнувшись ею, как гранатой, бросила ее на грудь Ванечки Юдина, а второй рукой выдрала у него из пальцев бумажные деньги с завернутой в них мелочью.

— Сойдите с моих глаз, пьяницы! — надрывалась Поля.— Это дело для меня могет судом кончиться, но глядеть на вас мне от сердца противно, а тут еще сумки животом к прилавку прижимают, культурность свою показывают да по четыре веса берут, чтобы я хворобой изошла...

Она все кричала и кричала, хотя четверо приятелей на цыпочках уже выбирались из магазина боком-боком да поскорее-поскорее, так как с продавщицей Полей шутить не приходилось — на поселке она была большая сила. Работала Поля в Чила-Юле лет уже пятнадцать, на воровстве и махинациях никогда поймана не была, магазин у нее почти круглые сутки бывал открытым, но жизнь человека становилась плохой, если на него сердилась продавщица Поля: во-первых, хорошего товару тебе не видать как своих ушей, во-вторых, настоишься в очередях так, что с лица почернеешь, в-третьих, потеряешь в поселке авторитет...

— Ходют тут всякие! Водки им надо, мырмелад им подавай, а сами не знают, каку им холеру надо... У меня на это дело сердца не хватат, я от этого скоро на больничный сойду — жрите тогда свой мырмелад, только где вы его укупите...

Четверо приятелей на цыпочках вышли из магазина, в молчаливой суете двинулись быстрым шагом к обскому яру, на самом взлобке которого — на тридцатиметровой крутизне, над сиреневой

утренней водой — росла подкова веселых молодых елок. Земля под ними была такая чистая и желтая, словно ее раза три на день прометали тщательно метлой, подкова елок выпуклостью изгиба была обращена к деревне, и поэтому за ней можно было прятаться, как за плотной оградой.

Молчаливые приятели торопливо сели на теплую землю, образовав маленький кружок, начали блестящими глазами смотреть на то, как Ванечка Юдин осторожными движениями достает из глубокого кармана лыжных штанов бутылку водки. Он, Ванечка Юдин, вообще весь был спортивный: лыжные брюки, лыжная куртка, футбольные бутсы, а под курткой майка с надписью: «Урожай».

— Вот она, родимая, вот она, хорошая!

Ванечка поставил бутылку в центр круга, потерев руку об руку, кивком головы дал команду вынимать из карманов закуску, и четверо приятелей стали доставать и класть возле бутылки всякую еду. Витька Малых положил большую луковицу и два бутерброда с толстыми кусками сала, сам Ванечка вынул кусок тощей колбасы и две шанежки, Устин Шемяка достал три смятых яйца, тряпочку с солью и стрельчатый лук, свернутый в три раза, чтобы не высовывался из кармана. Семен Баландин из карманов ничего доставать не стал.

— Не торопись, не торопись, народ! — сладострастно приговаривал Ванечка Юдин, вытирая травой граненый стакан и ежесекундно разглядывая на свет зеленое стекло.— Устинушка, ты бы не валил яйца-то на хлеб!.. А ты, Витюх, сальцо-то порежь. Семен, ты себя не беспокой, заботу себе не давай, в сознанье себя держи... Да куда ты, Витюх, хлеб-то тычешь? Сюды, сюды давай...

Слышно было, как поплескивает у берегов вода, кричат в небе чайки, что-то свистит в горле у Семена Баландина, который опять обморочно дремал. На щеках Устина Шемяки костром разгорался яркий румянец, шрам-снежинка на подбородке, наоборот, бледнел, мускулы под рубахой ходили ходуном, а Витька Малых даже сидя умудрялся приплясывать, пританцовывать и, щелкая тонкими пальцами, пел «...как проснусь, то сразу море у меня в ушах шумит...».

— Устин, открывай! — наконец скомандовал Ванечка Юдин.— Давай, давай, душа горит...

Схватив бутылку лапищей, Устин Шемяка сорвал зубами пробку, выплюнув ее на землю, бережно передал бутылку Ванечке:

— Наливай, зараза!

Ванечка на секунду благоговейно замер... Он всегда разливал водку, среди пьющих мужиков славился тем, что умел разливать на глаз любое количество спиртного с такой точностью, что промеры спичкой показывали абсолютную равность, и пьющие уважительно шептали: «Глаз-алмаз». Был случай, когда Ванечка разлил три бутылки «Столичной» в одиннадцать стаканов так, что в последней бутылке не осталось ни капельки, а стаканы содержали ровно по сто тридцать шесть граммов спиртного.

— Зачинаю!

Ванечка начал священнодействовать. Он ногтем прочертил на бутылке только ему видимую черту, зачем-то встряхнул и, взболтав водку, обвел приятелей значительным, важным, надменным взглядом. Он уже было наклонил бутылку к стакану, чтобы наливать, но Витька Малых задержал его руку.

— Ты ровно не разливай, Ванюшк! — сказал он.— Ты мне чуть плесни, а Семену поболе набухай...

— Хрена ему! — злобно закричал Устин Шемяка и погрозил Витьке волосатым кулаком.— Я на свои кровные каждого поить не хочу... Хрена ему, пьянюге несчастному!

Семен Баландин этого вопля не услышал: привалившись к плечу Витьки спиной, закрыв глаза и свистя горлом, он находился в полуобмороке, в полузабытьи; пористое, вздутое водянистой подушкой лицо Семена с прозрачными мешками под глазами, с чернотой обуглившихся губ и дрожащей кожей было таким страшным, что Витька, махнув рукой, потупился.

— Ты бы не кричал, Устин! — после небольшой паузы рассудительно сказал Ванечка Юдин.— Ты бы не орал, ежели в этом деле ни бельмеса не понимаешь...— Он поставил бутылку на землю, покачал головой.— Семен могет запросто помереть, если ему дозы не дать... Небось помнишь парикмахера Сашку? Отчего он перекинулся? Вот то-то же!.. Сашка оттого перекинулся, что дура-баба ему опохмелиться не дала! — Ванечка осуждающе пожал плечами, посмотрел на сиреневую руку.— Ушной врач так и говорил: «Дай,— говорит,— дура-баба, Сашке опохмелку, он,— говорит,— меня бы попреж под бобрик стриг...» Так что ты дура, Устин!

Четырех приятелей обнимала подкова веселых от солнца молодых елок, над ними сияло яркое и тоже молодое небо, под ними тихо-тихо текла великая сибирская река Обь, вздымающаяся к небу, как море; шел по реке буксирный пароход «Литва», на деревянных баржах вращали крыльями ветряки-насосы, пароход деловито бил по воде плицами и шипел паром; ходил под яром по песку пожилой человек в красных плавках на загорелом теле — то приседал, то пружинисто вскакивал, то падал грудью на землю. Это делал утреннюю зарядку директор шпалозавода Савин.

— Семен Василич, держи! — великодушно сказал Ванечка.— Грамм сто семьдесят тебе набухал...

Однако Семен Баландин и на этот раз не услышал — сидел неподвижный, бледный как смерть, и Витьке Малых пришлось пошевелить плечом, чтобы он пришел в себя. Почувствовав толчок, Баландин выпрямился, медленно повернулся к Ванечке Юдину и вдруг испуганно и нервно расширил мутные глаза — увидел водку. Глядя на бутылку, он делал мелкие глотательные движения, стиснув губы, вздрагивал так, словно его колотила лихорадка.

— Похмелись, Семен Василич!

Еще раз вздрогнув, Баландин неожиданно для всех вскочил, прикрыв рот ладонью, бросился в гущу молодых елок, извиваясь

и стеная, начал блевать на землю; он три дня ничего не ел, только пил, и сейчас Семену рвотой выворачивало внутренности, из желудка поднималась ядовитая желчь, пузырилась на губах, дыхание прерывалось, и все это было так тяжело, что приятели Баландина, отвернувшись от него, стали глядеть на утреннюю реку.

— Ну чего, Семен Василич, проблевался? — деловито спросил Ванечка, когда судорожные звуки чуточку ослабли.— Приложись... Разом полегчает!

Еще через минуту Семен Баландин повернулся лицом к приятелям, наклонив голову и плечи, пошел на Ванечку и стакан с водкой таким шагом, точно его подталкивали в спину острым штыком; в обморочных глазах Семена светилась яростная решимость, подбородок задрался, руки были по-солдатски прижаты к бокам.

— Ставь на землю! — хрипло попросил Семен и осторожно лег грудью на землю.— Поближе ставь!

На землю Семен Баландин лег потому, что не мог держать стакан в руках — так они тряслись. Нацелившись, он схватил край стакана зубами, закрыв глаза, сгорбатив худую спину и затаив дыхание, начал пить водку так, как теленок в первый раз сосет мать. И опять все это продолжалось мучительно долго, и трое снова отвернулись от товарища — Витька Малых с жалостью и состраданием, Ванечка Юдин с расчетливой целью не помешать человеку «принять дозу», а Устин Шемяка со злобой к алкоголику Баландину.

— Прошла? — заботливо спросил Ванечка.— Гляди, Семен, не дай ей бог обратным ходом пойтить! Это для тебя хуже беды...

Распластанно лежа на земле, Семен еще несколько томительных мгновений боролся с собственным организмом, потом все услышали такой протяжный и долгий вздох, какой издает расседланная лошадь; вздрогнув в последний раз, Семен оторвал грудь от земли, хватнув воздух широко открытым ртом, сел прямо.

— Ну вот! — удовлетворенно сказал Ванечка.— Полный ажур! А что могло получиться? Да вот что: бряк — и нет человека! Ну, тут милиция, доктора... Кто водку разливал? Ванечка Юдин. Так! Позвать сюда товарища следователя! Тот прямо ко мне: «Ты как так водку разливал, что человека до смерти довел?» Я, конечно, молчу...

Произнося эти слова, Ванечка наливал стакан для Устина Шемяки, приставляя ноготь к стеклу, выверял правильность разлива, поглядывая на остатки, соразмерял их с налитым, и вид у него опять был важный, величественный, недоступный.

— Держи!

Устин Шемяка стакан с водкой взял не сразу, а сначала выбрал из снеди самый крупный кусок Витькиного сала, положив на него заранее облупленное яйцо, обернул все это тонким ломтем хлеба, еще немного подумав, наложил сверху половину молодой луковицы. Только после этого Устин, не глядя, принял стакан из рук Ванечки и сказал недовольно:

— Чего жалею, так это пятьдесят три монеты... Ведь ты мне налил-то мало!

Поднеся к носу стакан, он жадно вдохнул запах водки, улыбнувшись всей кожей нежного лица, начал мелкими, дробными глотками цедить спиртное в красногубый рот. Крупный кадык на его короткой шее двигался мерно, горло оставалось гладким и нежным, хотя время от времени по коже пробегала сладострастная волна. Допив стакан до конца, Устин жалеючи вздохнул, облизал губы и громко сказал:

— Брошу я с вами гужеваться! Не для того ломаются на шпалозаводе, чтобы алкоголиков отпаивать...

Витька Малых протяжно вздохнул. Водку он на вкус и запах терпеть не мог, пригубливая стакан, всякий раз чувствовал отвращение, а закусывал неохотно потому, что сытно поел за ранним завтраком с женой Анкой. Зато Витька Малых любил сидеть на земле, слушать, как бранятся Ванечка и Устин, наблюдать, как оживает Семен; ему нравилось ходить с ними по улицам, доставать деньги, слушать приятелей, когда они напьются, мирить их, когда поругаются, а потом провожать заботливо домой. На это у Витьки уходило целое воскресенье, ему никогда не бывало скучно, и он уже со вторника ждал, когда же придет воскресное утро.

— Держи, Витюх!

Восемьдесят граммов водки Витька Малых выпил спокойно, проглотив горькую жидкость, плюнул на землю и неохотно закусил крохотным куском сала, а когда все эти скучные процедуры были выполнены, принялся с любопытством наблюдать, как пьет водку Ванечка Юдин.

— Дай бог не по последней! — озабоченно проговорил Ванечка, потер руки и шутливо перекрестился стаканом.— Желаю вам болезней, напастей, холеры, голода, мора и смерти... избежать!

Прохохотавшись, Ванечка озабоченно выпил, закусив всем, что лежало на земле, начал деловито вытирать травой пустую бутылку, а когда она сделалась прозрачной и голубой, опустил ее в бездонные карманы лыжных штанов, предварительно посмотрев на горлышко — не выщерблено ли?

— Двенадцать копеек...— напевно проговорил Ванечка.— Лиха беда начало!

Теперь, когда главное дело было закончено, четверо приятелей молча погрузились в собственные переживания. Отделившись друг от друга, уже ничем не спаянные, они внимательно прислушивались и приглядывались к самим себе... Первым, конечно, начал заметно пьянеть Семен Баландин — настоящий алкоголик, пропитая душа. Минут через пять-семь после того, как был им выпит почти полный стакан водки, Семен мягко выпрямился, встряхнувшись, с таким видом поглядел на реку и небо, деревья и землю, словно только теперь обнаружил их присутствие. Одновременно с этим он обирающимися движениями пальцев стряхивал с одежды

пыль, хвоинки, комочки земли. Опухшее лицо Баландина понемногу теряло блеск.

— Прекрасная погода! — окрепшим голосом произнес он.— Видимо, и на будущее прогнозы благоприятны...

Остальные приятели водку переживали тоже каждый по-своему. Витька Малых от восьмидесяти граммов еще немножко ускорился в движениях и любопытстве к миру; Ванечка Юдин сделался еще более озабоченным и хлопотливым: считающе прищуривал левый глаз, безостановочно потирал руку об руку, собирал на лбу думающие морщины; у Устина Шемяки зло дергались огромные негритянские губы, опасно алела девичья кожа лица.

— Молчал бы про погоду-то! — презрительно сказал Устин Баландину.— Что ты, пьянюга, можешь в погоде понимать, когда всю жизнь в начальниках обретался? Вот уж кого из всех силов терпеть не терплю, кто сам начальник, а погоду ему подавай...

— Молчи, дура! — немедленно ответил Ванечка Юдин.— Чего ты можешь в начальстве понимать, ежели сам никогда в руководстве не ходил? Вот за что тебя не уважаю, так за то, что говоришь, а сам не знаешь, про что говоришь!

Как и Устин Шемяка, хлопотливо-заботливый Ванечка Юдин говорил на диалекте жителей среднего течения Оби, все еще употреблял старинные слова; он никогда в мирное время не выезжал из Чила-Юла, кончил в школе всего пять классов, за всю жизнь прочел три книги — роман В. Шишкова «Угрюм-река», «Иван Иванович» А. Коптяевой и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,— а газеты читал только в годы войны. Лицо у Ванечки было типично обское — чуточку узкоглазое, загорелое, с жидкой растительностью, так как коренные обские жители издавна мешались кровями с безбородыми аборигенами-остяками; однако на голове у Ванечки росли густые, кудрявые и такие черные волосы, что думалось о его далеких предках с теплой Украины.

— Вообще, я хуже тебя человека не видал! — сердито сказал Ванечка звероподобному Устину Шемяке.— Во-первых сказать, жаден, как поп, во-вторых, выразиться, с лица страшон, ровно какой цыган, в-третьих обсказать, водку четвертями заглатываешь... И все с нами гужеваться не желаешь! Да мы на тебя — тьфу!

Вот и началось веселое, забавное, любопытное, то самое, чего давно ждал Витька Малых,— смешной разговор, общение, беседа, ругань. Поэтому Витька радостно повернулся к Семену Баландину, посмотрев на его оживающее лицо, увидел, как распрямились глубокие складки на лице, делалась все более прямой спина, руки все тщательнее обирали соринки с одежды и стряхивали пыль. Ожидая от Семена Баландина справедливых, умиротворяющих слов, Витька Малых ласково смотрел на его лысеющий покатый лоб, очень добрые губы, заглядывал просительно в ореховые глаза. Он любил Семена Баландина, все рассказывал, какой это чудесный человек, и всегда добавлял, что ходит с приятелями по поселку

только из-за того, что не может бросить Баландина, когда тот сильно пьянеет и становится беспомощным, как ребенок. Сейчас Витька нежно улыбался Баландину, вопросительно глядел на него, и Семен сказал специально для Витьки:

— А все-таки погода хорошая!

День на самом деле образовывался приличный. Солнце подскочило еще на вершок над горизонтом, лучи выпрямлялись, становились прозрачнее, над рекой кончалось безостановочное кружение белых чаек, насытившихся рыбешкой; за ельником шли девчата, смеялись чему-то, вспоминали какого-то Вальку Ступина и от этого смеялись все громче и все тревожнее. Когда девчата прошли, веселые елки осторожно раздвинулись, и сквозь синие ветви проглянула макушка головы и палка бабки Клани Шестерни. Глядя в землю, старая старуха затрясла головой, словно заклевала зерно, звонко засмеявшись, радостно сказала:

— Вон вы где обретаетесь, миляги! Ну я пошла!

Бабка мгновенно скрылась в шелестящем ельнике, закудахтала, уже невидимая, и Витька Малых навзрыд хохотал: появление Клани Шестерни, ее кудахтанье, торопливый уход, привычная фраза — все говорило о том, что воскресная жизнь четырех приятелей началась и продолжалась нормально, обычно, правильно и что у Витьки Малых еще все впереди... Шатание по деревне, доставание денег, перешептывание, ссоры, примирения, пьяные разговоры и само пьянство...

3

Медленно, осторожно, как бы принюхиваясь, приглядываясь, четверо снова двигались по длинной чила-юльской улице: у Ванечки Юдина оттопыривался карман с пустой бутылкой, Устин Шемяка оглядывался хищно, Семен Баландин по-прежнему удивленно смотрел на мир, а Витька Малых, замыкая шествие, продолжал петь про моряка, который приехал на побывку. Четверка пока еще шла по улице бесцельно, Ванечка Юдин только глубокомысленно морщил лоб, что-то соображая, но все равно в кошачьих движениях приятелей ощущалась подспудная осмысленность, в отрешенной задумчивости читалась предопределенность действий, в осторожном шаге — вкрадчивость.

Четверо приятелей, как выражался Устин Шемяка, «шакалили», то есть искали возможность еще раз выпить... В уютных, веселых от солнца, спокойных по-воскресному домах скрывались рубли и трояки, таилась самогонка, старела до кондиции хмельная брага, остывали на льду погребов заранее купленные бутылки водки. Поселок Чила-Юл походил на крепость, которую четверке надо было взять — где длительной осадой, где хитростью и коварством, где измором и угрозами. Поселок Чила-Юл был богат, как всякий поселок, где жили рабочие шпалозавода, получающие ежемесячно по двести-триста рублей, держащие коров и свиней, боль-

шие огороды, умеющие рыбачить и охотиться; люди в поселке н любили считать деньги, охотно их тратили, хотя зарабатывали не легким, а иногда и опасным трудом. Жители рабочего поселка Чила-Юл были по-сибирски щедры и размашисты; если гуляли, то гуляли широко, если одаривали, то щедро.

Приятели шли теперь так: впереди шествовал Ванечка Юдин с озабоченными морщинами на лбу, за ним грозно двигался Устин Шемяка, на шаг отставал от него удивляющийся миру Семен Баландин, а еще щагов на пять позади всех напевал про моряка Витька Малых, и это было такое расположение четверки, какое можно было наблюдать каждое воскресенье после первой бутылки водки.

Поселок Чила-Юл уже проснулся. Почти во всех дворах дымились летние печурки, бегали по улицам ребятишки, перекликались через заборы женщины, старики на скамейках вели уже довольно оживленный разговор, а во дворе у рамщика Василия Сопрунова все семейство уже сидело за дощатым, врытым в землю столом.

Мимо двора Сопруновых четверка прошла тихо, безмолвно, с опущенными в землю глазами; когда дом их за высоким забором остался позади, Ванечка Юдин, захихикав, сказал:

— Василь-то Егорович-то — бухгалтер! Его-то баба каждый раз в орсовском магазине концерву берет, что называется «Сиг»... Три банки берет, чтоб каждому по полбанки... А заместо чая они какаву... Значит, стакан, в него — три ложки какавы да три ложки сахару... И давай пить!

Устин Шемяка злобно усмехнулся.

— Не бреши! — сказал он.— Об прошлое воскресенье Сопруниха концерву «Мелкий частик» брала! Это тебе как?

— А не как!.. Почто бы она стала брать «Мелкий частик», когда Василь-то Егорыч с четверга бонами займался и, значится, дома был. А ему «Мелкий частик» и не кажи — ему «Сига» подава

— Опять же не бреши! В четверг Василь Егорыч на погруз был.

Четверо остановились, сгрудившись в кружок, стали гляде друг на друга вспоминающе и задумчиво, словно что-то потеря. в молчании прошла, наверное, минута, потом Ванечка проговор хлопотливо:

— Как же это Василь Егорыч в четверг был на погрузке, еж ли сто восьмую баржу кончили в среду вечером? Вот это ты м беспремен растолкуй, Устин!

— А чего тут толковать? — обозлился Устин.— Ты ежели пропил, то молчи... В четверг сто восьмую кончали!

— Как это в четверг, ежели премия?

— Какая еще премия?

— А за досрочную погрузку! — обрадованно запищал Ван ка.— Сто восьмая судострой брала, а Савин на рейд пришел, на сы позыркал и говорит: «Ежели вечером кончите — всем прем выйдет!»

— У тебя ум за разум заходит, дура! Будь у меня под рукой срезка, я бы тебя огрел...

Устин Шемяка действительно начал оглядываться по сторонам, однако ничего не нашел и грозно ощерил зубы.

— Сто восьмую закончили в два часа ночи, ребята! — ласково улыбаясь, сказал Витька Малых.— Поэтому вы обои правые... Если смотреть с одной стороны, то вроде в среду, если с другой — то в четверг... А за премии Ванечка прав! Я сам пять семьдесят получил...

— Так где же они? — шепотом спросил Устин.

— Эти пять семьдесят пропиты! — считающе проговорил Ванечка Юдин.— Сегодня рупь — это рупь, в то воскресенье Витюха трешку вынес — это четыре... Ну, рупь Анке пошел... Ты вот лучше скажи сам, Устин, где твои два трояка? Ты ведь тоже за сто восьмую премию огреб...

После этих слов четверо перестали глядеть друг на друга, опустив головы, долго рассматривали носки своих пыльных сапог, шарили по земле глазами с таким видом, словно искали пропажу, а когда молчать сделалось невмоготу, Устин Шемяка медленно поднял руку, сложив пальцы кукишем, поднес их к носу Ванечки Юдина.

— А вот этого ты не видал, пьяница несчастный?! У меня небось семья! Детишки образование получают... Не все пропиваем, как некоторые...

Семен Баландин молчал. Он оторопело глядел на поселок Чила-Юл, выражение лица у него снова было такое, точно Семен недавно проснулся и обнаружил, что находится в незнакомом месте. Над поселковыми домами, оказывается, тысячесвечовой лампой горело солнце, возле околицы строились пять брусчатых домов, подле конторы шпалозавода стоял новенький «газик», чистый, уютный и веселый поселок обнимала река. Глаза Семена с заузившимися зрачками были широко открыты, плечи удивленно приподняты, а стоял он на тротуаре так робко, отстраненно, словно не знал, что такое тротуар.

— Так! — шептал он сухими, потрескавшимися губами.— Вот так!

Когда совмещение миров закончилось и Семен Баландин снова ощутил себя стоящим на простом деревянном тротуаре, плечи у него ссутулились, глаза погасли. Он болезненно сморщился, но спросил довольно громко:

— А почему мы стоим? Ты нас куда ведешь, Юдин?

Всего три года назад Семен Баландин был директором Чила-Юльского шпалозавода. Тогда он именовался Семеном Васильевичем, ездил на «газике», сидел в просторном кабинете подле стального сейфа, подписывал бумаги и был любим рабочими за доброту, знание дела, простоту и ясный ум. Теперь же спившийся Баландин только несколько утренних минут, следующих за первым опохмелением, походил на прежнего директора.

— Итак, какой у тебя план, Юдин? — переспросил Семен Баландин и поскреб грязными ногтями рукав заношенного пиджака.

Трое молча глядели на Баландина, и в их глазах читалась почтительность к Семену Васильевичу, уважение к его образованию, прошлому высокому положению, а главное, к тому, что сейчас перед ними стоял почти тот самый человек, который несколько лет назад был главным в поселке. И в том, как Семен разговаривал с Ванечкой Юдиным, и в его голосе, и в приподнятой голове, и в слове «план» было прежнее положение Баландина, его прошлая хорошая жизнь.

— Я достану трояк! — почтительно выступив вперед, сказал Витька Малых.— Прошлую субботу у моей Анки занимали трешку Колотовкины, так обещали через неделю отдать...

— Что ж, пошли к Колотовкиным!

Они пошли быстро — узкими и тайными переулками, в тени заборов и деревьев, согнувшись и стараясь не шуметь, чтобы не мозолить глаза жителям поселка в такое раннее, трезвое время; минут за десять они добрались до большого дома Колотовкиных, подкравшись к нему, схоронились за палисадником, затаились в тени черемух, как ночные тати; у всех четверых возбужденно блестели глаза, ноздри раздувались, по коже лица струился похмельный тяжелый пот.

— Давай, Витюх! — прошептал Ванечка Юдин.— Ежели Данила и тетка Марея будут вместях, долг не проси... Ты тетку Марею отдельно отзови, да на ушко ей, на ушко...

— Знаю, знаю...

Витька Малых воровато проник сквозь зеленую калитку, остерегаясь большого лохматого кобеля, молча рвущегося с цепи, прошел по песчаной дорожке к высокому резному крыльцу. Свежее и молодое лицо Витьки выражало истинное удовольствие, двигался он на цыпочках, втягивая голову в плечи. Он был похож на мальчишку, который играет в индейца, крадущегося по тропе войны.

Войдя в просторные сени, Витька нарочно затопал сапогами, так как стучать в дверь в нарымских краях было не принято. Потом он ввалился в темную горницу, посредь которой за столом сидело все семейство Колотовкиных.

— Желаем здравствовать, хозяева! — вежливо поздоровался Витька и вытер о половичок чистые сухие подошвы сапог.— Приятного вам аппетиту, Данила Петрович, Мария Стратоновна, Лизавета Даниловна и все прочие!

Колотовкинская горница была неоштукатуренной, но стены были сплошь оклеены газетами «Красная звезда», которые выписывал Андрюшка Колотовкин, год назад демобилизованный из армии. Он сейчас вместе со всеми сидел за столом, вежливо поглядывая на гостя, хлебал суп. Ради воскресенья Андрюшка был наряжен в тугой солдатский китель, хромовые офицерские сапоги, на груди у него блестела медаль и туманились разные значки.

— Здоров, Андрюшка! — отдельно поздоровался с ним Витька

и широко улыбнулся.— А не жарко тебе при кителе-то? Не сопрешь?

Забайкалец Витька Малых старательно осваивал нарымский говор, знал уже много здешних слов и даже умел произносить их напевно-слитно, как это делали местные жители; разговаривая, Витька старался делать такое лицо, которое бы тоже ничего не выражало.

— Не сопрешь в кителе-то, Андрюшка? — повторил он.

Семейство Колотовкиных сидело за столом молча, основательно и серьезно; сам Данила Петрович занимал головную часть стола, по левую руку от него сидела жена, по правую — престарелый отец, за ним — дочь Елизавета, работающая преподавательницей немецкого языка; потом располагался Андрюшка; стол венчала теща Данилы Петровича старуха Рыбалова. Все Колотовкины смотрели на гостя вежливо, но молчали, и привыкший к этому Витька тоже молчал, безмятежно улыбался.

— Надо бы посадить Витюху-то за стол,— после двух-трех минут молчания сказал Данила Петрович, внимательно оглядывая собственную ложку.— Я так смекаю, что его надо бы промеж Андрейкой и тешшой пристроить. А как он пристроится, то ему надо бы ухи-то налить...

Хозяин дома медленно повернулся к Витьке, померцав ресницами, продолжил:

— Ты бы присел, Витек, за стол-то! Анка-то, баба-то твоя, рыбы-то не варит... У ей рыбы-то нету! У твоей Анки-то! Во-первых сказать, сам ты не рыбачишь, во-вторых сказать, никто вам рыбуто не продаст, как народ еще опасатся, что рыбинспектору соопчите. В-третьих сказать, рыбу-то, ее ведь надо уметь сготовить... Ты, мать, приглашай Витюху-то к столу! Ты, Андрейка, тожесть свое слово скажи!

Неторопливо проговорив все это, Данила Петрович склонился над миской, зачерпнув ложкой уху, понес ее к громадным зубам. А его жена Мария Стратоновна напевно произнесла:

— Ой, да ты откушай с нами, Витюшк! Лизавета, ты чего сидишь? Кто будет табурет гостю подавать?

— Садись, Витька! — сказал Андрюшка, отдуваясь от жары.— Уха-то стерляжья!

Витька улыбнулся.

— Я напитый да наетый! — по местному сказал он.— Кроме того, у вас своя беседа, свой разговор. Когда еще будет новое воскресенье, чтобы всем собраться... Спасибо, Данил Петрович! — Витька поклонился и вежливо добавил: — Мне бы вот только словечком перемолвиться с теткой Марией Стратоновной...

Пока он произносил эти слова, семейство Колотовкиных продолжало спокойно завтракать — почти одновременно опускались в тарелки ложки, медленно поднимались вверх, замирали возле губ, опрокидывались, опять опускались; темп еды был медленный, но ровный, и еда поступала в размеренно жующие рты с постоян-

ностью неторопливого конвейера. Так длилось минуты три, потом Данила Петрович, глядя в полупустую тарелку, сказал:

— Я смекаю, что Семен-то Васильевич-то скоро должон от водки сгореть. У него уже организм пишшу не принимат, а без пишши человек от водки горит... Это все одно что фитиль без карасина...— Данила Петрович зачерпнул уху, задумчиво остановил ложку возле самых губ.— Ежельше карасин идет по фитилю, то он, фитиль, карасином горит. А ежельше фитиль без карасина, он сам сгорат!.. А Марею отчего не позвать на полсловечка? Небось не оголодат за это время... Марея, а Марея?

— Но?

— Ты перекинься с Витюхой-то полсловечком, ежельше он куда торопится... Поди, не оголодашь?

— Да ничего, Петрович!

— Но так поговори с человеком-то!

Мария Стратоновна бережно положила ложку возле тарелки, подумав, перенесла кусок пшеничного хлеба с правой стороны на левую, еще раз подумав, напевно произнесла:

— Ванечку Юдина тожеть жалко... Во-первых сказать, баян наново разбил, во-вторых добавить, ползарплаты пропиват, в-третьих сказать...

— Мама! — сердито перебила ее учительница немецкого языка Елизавета Даниловна.— Не держите, пожалуйста, человека у порога! Или приглашайте к столу, или...

— А ты бы не встревала! — решительно поднял голову Данила Петрович.— Кажный будет встревать в материнский разговор, так это что? Это изгал! С этим делом мы далеко не уедем, Лизавета... Но ты, мать, пойди все ж таки, пошопчися с Витюхой-то!

В темных сенях Мария Стратоновна молча и быстро выкопошила из-под передника завязанный на два узла носовой платок, поминутно оглядываясь на двери, быстренько сунула Витьке три рубля.

— Ты ток молчи, Витюх, ты ток Петровичу ни полсловечка!

— Да что я, дурак, что ли, тетка Мария! Спасибо вам и до свиданьичка!

На дворе Витька Малых опять опасливо посторонился задыхающегося от злобы кобеля, радостный и приплясывающий, скорым шагом обогнул большой палисадник колотовкинского дома и пошел навстречу приятелям таким счастливым шагом, что даже Устин Шемяка сразу все понял, обрадовался. Но сказал совсем другое:

— А я уже думал, что Данила тебя по двору водит, нажитое показывает... Вот уж кого терпеть не терплю, так это Данилу!

Семен Баландин голову все еще держал довольно высоко, но кожа на лице снова начинала поблескивать, глаза западали, губы серели. Зато Ванечка Юдин был весь ласковый, задумчивый и мирный.

— Вот что интересно, народ! — философски медленно прого-

ворил он.— Почто это так получается, что утром трояки легче добываются, чем к вечеру?.. Может, оттого, что утренний народ добрее вечернего, или еще отчего?.. Вот этого я никак не могу понять...

С глубокомысленным лицом, со смятой трешкой в кулаке Ванечка пошел впереди приятелей, а они двинулись за ним не сразу — тоже, наверное, размышляли о том, что трояки утром достаются легче, чем вечером. Торопиться им теперь было некуда: деньги есть, магазин еще открыт, впереди почти весь день.

Вскоре приятели остановились, потолкавшись и помолчав, подошли к забору, за которым сочно чавкали топоры, повизгивала продольная пила, со сладким стоном впивался в сухую кедровую доску рубанок — это рубил пристройку к дому рабочий шпалозавода Сопрыкин, а два приятеля — собригадники Устина Шемяки — помогали... Сейчас сам Федор Сопрыкин сидел верхом на смолистом бревне, внимательно прицеливаясь, осторожно рубил замысловатый замок.

— Бог помощь! — сказал Устин Шемяка, приваливаясь грудью к забору.— Сруб-то седни кончите?

— Надо бы кончить,— ответил Сопрыкин и воткнул топор в бревно.— Если седни не кончим — это нам укор! Всего-то и осталось что два венца!

Помощники Сопрыкина тоже остановились, один поднес к глазам рубанок, чтобы убедиться, что железка стоит правильно, второй положил рядом с собой пилу. Потом оба внимательно посмотрели на Устина, на Ванечку Юдина и Семена Баландина, а на Витьку Малых как-то не обратили внимания.

— Тройной замок — оно хорошо! — сказал Устин.— Только долго...

— А чего нам торопиться? — подумав, ответил Сопрыкин.— Какой замок ни руби, к сентябрю поспеем...

Он поплевал на руки, взявшись за топор, долго высматривал, куда нанести удар, и Устин Шемяка тоже прищурился, тоже глядел в то место, куда должно было упасть острое лезвие, а когда удар рассчитанно точно упал на нужное место, Устин коротко передохнул.

— Славный топоришко! — сказал он.— Это который Пашкин, что ли?

Сопрыкин не ответил — выцеливал новое место. И пила с рубанком тоже подали голоса. Пахло сосновой смолой, молодой стружкой, сырыми опилками.

4

Опять короткий и толстый ноготь Ванечки Юдина отмеривал миллиметры на граненом стакане, опять отупело лежал на земле Семен Баландин, опять Устин Шемяка ревниво следил за виртуозными пальцами Ванечки, опять Баландин выпил на пятьдесят граммов водки больше, чем другие, и опять он давился водкой,

снова бегал в кусты, не в силах сдержать рвоту,— все было обычным.

Когда вторая бутылка была выпита, четверо приятелей, повернувшись лицами к реке, легли на животы, и это тоже было обычным — они всегда после второй бутылки отдыхали, повертывались лицами к реке и ложились на животы.

Внизу, под яром, мелодично поплескивала Обь, подтачивая высокий глинистый берег. Четверо приятелей лежали на такой возвышенной точке земли, с которой мир открывался воздушно, широко; только на высоком берегу громадной реки у человека возникает ощущение крылатости, безграничности мира, возникает тяга к полету. С высокого яра реки хочется взмыть плавной дугой, медленно и сладостно взмахивая крыльями; пусть остаются слева и справа зеленые верети, пусть проплывают под грудью голубые озера, частоколы сосняков и кедрачей, пусть впитывается в глаза речная сиреневость...

Притихнув, не двигаясь, лежали на теплой земле четверо, глядели на обское левобережье, щурили глаза на солнце, дышали, думали... Смутно улыбался собственным мыслям Семен Баландин, пощипывая грязными пальцами верхнюю губу, не спускал глаз с противоположного берега Оби, где остро желтела полоска ослепительного, как лезвие ножа, песка; притих Устин Шемяка, мечтательно напевал сквозь зубы Витька Малых, а Ванечка Юдин все вздыхал и вздыхал.

— На рыбаловку бы съездить...— не выдержав, сказал он.— Сетчишки у меня есть, обласишка на дворе лежит...

На реке появился пассажирский пароход «Козьма Минин» — большой, сияющий, сверху донизу облитый веселой музыкой; ходили по верхней палубе нарядные пассажиры, сверкали красным цветом спасательные круги, наклоненную трубу венчал лихой дымок, а по верхнему мостику расхаживал белоснежный, с позолотой капитан. Репродукторы на палубе «Козьмы Минина» — вот совпадение-то, вот чудо чудное! — пели голосом Людмилы Зыкиной Витькину песню про моряка: «...Каждой руку жмет он и глядит в глаза, а одна смеется: «Целовать нельзя...»

— Поплы-ыыы-л! — протянул Витька.— Поп-лы-ы-ы-л!

Когда пароход исчез за сияющей излучиной Оби и снова стало тихо и грустно, когда музыка затихла, а взбаламученная носом парохода волна, добравшись до берега, с шелестом накатилась на песок, Ванечка Юдин решительно сказал:

— Значится, еду я на рыбаловку! Вот первого августа завязываю, маненько себе отдых даю — и на рыбаловку!.. Тока меня и видели!

Накатившись на берег с шуршанием, вода тут же с плеском отхлынула назад, помедлив и как бы собравшись с духом, снова угрожающе двинулась на коричневый песок, но на второй раз у нее сил забраться на возвышение не хватило — только подступила к песку, только жадно лизнула кромку...

— Ты три года завязываешь! — с усмешкой сказал Устин Шемяка.

Он хотел что-то еще добавить, но только махнул рукой и перевернулся на спину. Ситцевую рубашку в горошек Устин уже снял, голубая майка туго обтягивала его волосатое тело, грудь выпирала горой, живот западал; лежал он тихо, черный и беспомощный, как навозный жук.

— Сопьешься ты с кругу, Ванечка! И я тоже сопьюси...— насмешливо сказал он, глядя в небо.

Набрав в широкую грудь как можно больше воздуха, Устин Шемяка не дышал так долго, что Витьке Малых тоже не хватилс воздуха: он старательно подражал Устину.

— Ты зря каркаешь, Устин! — продышавшись, сказал Витька.— Вот Ванечка завязывал же на Первомай... Тридцатого не пил, первого не пил, второго не пил...

Витькины слова падали в тишину бесшумно, как овальные камни в спокойное озеро... Скрылся окончательно за крутой излучиной белоснежный пароход «Козьма Минин», утихомирилась вода. За стеной молодых веселых елок понемножку оживала позавтракавшая деревня: прошли, разговаривая и смеясь, несколько знакомых грузчиков с рейда, хлопотливо пробежали девчата, пересвистывались тальниковыми свистками мальчишки, важный голос областного диктора объяснял, сколько подкормлено хлебов в колхозах и совхозах области; диктор говорил так раскатисто, что все слова казались состоящими из буквы «р».

— Не надо ссориться, товарищи! — негромко сказал Семен Баландин.— Ссоры никогда не приводят к установлению истины.

Круто взмыли с прибрежного песка две белоснежные чайки, бесшумно начали подниматься ввысь на белоснежных крыльях. Белые, с веретенообразными телами, с огромным размахом крыльев птицы поднимались все выше и выше и были так спокойны, точно покидали землю навсегда.

— Полете-е-е-ли! — тихо протянул Витька Малых.

Семен Баландин снял драную засаленную кепку, огрызком гребешка расчесал волосы, открыв солнцу высокий незагорелый лоб. Приподнявшись на локте, он долго смотрел туда, куда ушел пароход, где расплавились в небе чайки. Одутловатое, водянистое лицо его немного разгладилось, мешки под глазами уменьшились, на губах появилась славная, грустная улыбка.

— Человек — странное существо,— негромко сказал он.— Что определяет его судьбу? Кто может это понять? Вот послушайте историю, которая произошла много лет назад, когда я работал главным инженером Осиновского завода. Тогда я был молод, только женился на Лизе и был самым счастливым человеком на свете...— Он усмехнулся.— Да, не верится, что я когда-то был счастлив, что у меня была жена, семья... Порой мне кажется, что это было в какой-то другой жизни, а может, это был не я? Или это теперь не я?.. Я хочу рассказать вам историю о серой мыши. Мо-

жет, я уже и рассказывал ее... Она все время почему-то у меня в голове торчит... Вот и сейчас я о ней вспомнил... А может, и не было этого вовсе, а я сам когда-то придумал!.. С той поры столько выпито водки, что реальность путается с фантазией...

РАССКАЗ СЕМЕНА БАЛАНДИНА

— Так вот. Я работал главным инженером Осиновского завода, когда в поселок к нам приехал Борис Зеленин. Не успел этот Зеленин приехать в поселок, как явился ко мне участковый милиционер предупредить, чтобы я не брал его на работу. Какой-нибудь месяц в поселке, а уже милиции успел надоесть: там избил кого-то, подрался с геологами, здесь разбил витринное стекло, а там, там, понимаете ли, облил с головы до ног грязью девчонку в шелковом платье... Оказывается, была у него судимость за хулиганство, но он вышел — и опять за свое. Меня почему-то заинтересовал этот Зеленин, и я попросил секретаршу направить его ко мне, как только он придет в контору... И что же? Является. Косая сажень в плечах, голубые глаза. Характеристику с Кетского шпалозавода подает, где сказано, что имеет среднее образование, что выдавал на-гора́ по две с половиной нормы... «Простите, Зеленин,— спрашиваю я его,— нельзя ли узнать причину вашего ухода из коллектива Кетского шпалозавода?» — «Пожалуйста,— отвечает.— Я ушел оттуда после драки с мастером...» — «А не изволите ли объяснить, чем была вызвана драка?» — «А мне морда мастера не понравилась!» Забавно! «И вы хотите работать на нашем заводе?» — «Не только хочу, но и буду — у вас трех рамщиков не хватает, а найти хорошего рамщика не так просто...» Ну и нахал! «А если вам мое лицо не понравится, тоже полезете в драку?» — «Да я сейчас дал бы вам в морду, если бы деньги не кончились. А я деньги люблю!» — «Значит, только деньги и любите?» Ухмыляется. «Давай-ка волынку не тяни, Баландин, а принимай или пошли меня куда подальше, где кочуют туманы!» А мне, дорогие друзья, действительно позарез нужны рамщики. И, дорогие мои друзья, я принимаю его на работу, и Борис Зеленин начинает свою трудовую деятельность... Длинно расписывать его художества я не буду, так как главное — в финале... Коротко все это выглядит так: только за три первые недели Борис Зеленин затеял две крупные драки с парнями, а в начале четвертой недели учинил в клубе такой дебош, что участковый пришел ко мне домой рано утром и сообщил с торжеством, что Зеленин сидит в отделении и уж теперь-то для суда материала достаточно. Однако милиционер со мной советуется, так как во вчерашнем номере районной газеты в списке лучших рамщиков района Борис Зеленин числится первым... «Что будем делать? — вежливо спрашивает участковый.— Все ли воспитательные меры исчерпаны?» А я сижу и читаю сорок восемь листов протоколов... Боже ты мой! Чего здесь только нет! «Сажайте,— говорю,— к чертовой матери!» А сам тоскую:

ведь такого работника отдаю под суд! «Зайдите,— говорю,— с ним ко мне еще разок... Чем черт не шутит!» И вот происходит чудо! Настоящее чудо, друзья мои, ибо ничем иным, кроме чуда, не объяснишь такой крутой загиб человеческой натуры, который привел Бориса к исцелению... Часа через два приходят они ко мне, усаживаются, молчат. «Ну что, Зеленин,— говорю,— довоевался? Опять в тюрьму?» А он молчит. Сидит печально на стуле, глядит на меня исподлобья, и лицо у него бледное. Естественно, я говорю: «Струсили, Зеленин? Испугались, когда запахло тюрьмой?! А ведь предупреждали же вас...» Молчит. Кривится, но глаз с меня не сводит. И вдруг тихо просит: «Не сажайте меня! Слово даю, что ничего плохого никогда обо мне не услышите! Не буду больше дра́ться и хулиганить!» Мы с участковым переглядываемся, ничего понять не можем; верить ему, не верить?.. А он опять: «Не буду я больше!» — «Почему мы вам должны верить?» — «Из-за мышки...» — «Что?.. Из-за какой мышки?..» — «Серенькая мышь, она сегодня под утро в камере из норки вылезла...» — «Слушайте, Зеленин, не морочьте нам голову! Какая мышь? Откуда вылезла? При чем тут мышь?» — «Серенькая...— говорит,— маленькая, видно, как под кожей сердце бьется...» — «Вы что, убили эту мышь?» — «Нет,— отвечает,— убежала в нору, а хвост тонкий, членистый, как у ящерицы... И сквозь кожу видно, как сердце бьется...» — «Ну и что, Зеленин? Какая связь между мышью и вашим поведением?» Молчит. Переглянулись мы с участковым, видим, с человеком что-то творится, какая-то перемена в нем... «Последний раз, Зеленин... Больше веры не будет...» И что вы думаете, друзья мои? Проходит месяц, другой, третий, Борис работает, в драки не лезет, никого не задирает, не обижает. Что вы на это скажете, друзья мои? Обыкновенная серая мышь! Вылезла из норки, поднялась на задние лапы, дрожит, хвост членистый, как у ящерицы, под кожей видно, как бьется сердце... Чертовщина какая-то, а не дает мне покоя. Была бы у нас водка, друзья мои, предложил бы я тост за маленькую серую мышь... Человеку знать не дано, когда и где она вылезет из норки... Стоит на задних лапах, нюхает воздух, хвост членистый, под кожей видно, как бьется сердце...

В безветрии неподвижно лежала река, пересекала ее молчаливая лодка, на левой стороне поселка в синих кедрачах начала отсчитывать кому-то длинные годы жизни кукушка. Колыхалось над теплой землей волнистое марево, остроконечные ели вонзались в прозрачное небо, из уличного радиоприемника лился голос все той же Людмилы Зыкиной... Бывший директор шпалозавода Семен Баландин, охватив колени руками, глядел на Заобье, а трое лежали — тихие, молчавые, немые. Витька Малых, скорчившись, ковырял пальцем ямочку в дернине; ему было нехорошо, тревожно, хотелось уйти домой, но он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Сейчас деньги трудно достать! — прошептал Витька.— А в одиннадцать Поля закроет магазин... Сейчас уже половина...

По солнцу тоже было половина одиннадцатого: именно в это

время оно повисало лучами на кроне старого осокоря, что стоял на кромке яра, именно в это время река из сиреневой начинала делаться желтой, а у берегов просветлялась настолько, что прибрежная полоса, казалось, расширялась за счет донного песка.

Именно в половине одиннадцатого деревня окончательно приходила в себя после длинной предвоскресной ночи. Уже по всей улице разносились мужские и женские голоса, где-то подхрипывала гармошка, звенели велосипеды, на которых катались деревенские ребятишки. Голос Зыкиной исполнял уже четвертую песню, и от него в воздухе разливалась вечерняя грусть, хотя слова песни были обыкновенными.

— У меня есть рупь! — не открывая глаз, сказал Устин Шемяка.— Ничего не поделаешь, приходится каждого пьяницу поить... Уж така наша доля горемычна!

Устин сунул руку в карман брюк, не копошась пальцами, вынул новую, хрустящую бумажку. И это было проделано так ловко, что можно было понять — рубль давно ждал пальцев хозяина.

— Гони и ты, Ванечка, рупь! — насмешливо потребовал Устин.— Ты седни у Брандычихи два рубля с копейками брал взаймы...— Он на секунду открыл глаза.— Брандычиха про это дело говорила Груньке Столяровой, а Грунька у моей гадости ложку перца брала, так я сам слышал, как она в сенцах мою бабу упреждала... Ты, говорит, свово-то седни держи, Ванечка-то, говорит, с ранья у Брандычихи два рубля с копейками брал...

Витька Малых беззлобно рассмеялся, когда Ванечка Юдин, застигнутый врасплох, беспрекословно вынул из кармана смятый и грязный рубль и, хлопотливо присоединяя его к первому, быстро затараторил:

— А больше у меня нету! Рупь пятнадцать копеек я уже давал, а те сорок три копейки, что у меня еще были, пришлося бабе отдать, как хлеба на обед нету... Да чего ты лыбишься, Устин, да чего ты перекашиваешься, когда я у Брандычихи-то на сахар брал... Вчерась моя баба-то ей говорила: «Хорошо бы до зарплаты рубля два одолжить!» А я этот разговор услыхал да вот утресь и пришел к Брандычихе. Раз обещала моей бабе, говорю, два рубля, так давай их сюда, я по бабиному слову к тебе пришедши, но ты, Брандычиха, дай мне не два рубля, а дай с копейками, как сахару тоже нету... И что же это означат? Это то означат, что восьмидесяти семи копеек не хватат... Ах, ах, где же их брать?

Ванечка Юдин не глядел на Семена Баландина, озабоченный, обращался только к Устину и Витьке, но бывший директор шпалозавода густо покраснел... Придя в себя окончательно, сделавшись на короткое время прежним человеком, Семен Баландин страдал оттого, что пьет на чужие деньги, и вот сейчас сидел съежившись, туго отвернув голову.

— Достанешь, Ванечка, восемьдесят семь копеек! — по-прежнему насмешливо сказал Устин.— Вот чего это у тебя в правом кармане брякат, когда перевертываешься с живота на спину?

— Ключи!

Устин весело захохотал.

— Ключи? А ну, еще раз перекатися-ка с брюха на спину... Нет, ты перекатися-ка, перекатися-ка... Не хочешь?

— Ну, есть у меня полтина,— после паузы сказал Ванечка.— Так все равно тридцати семи копеек не хватат!

— Добавлю тридцать семь копеек! — ответил Устин.— Почто мне тридцать семь копеек не добавить, ежели ты, гадость, полтину кладешь!

Снова весело и незлобно рассмеявшись, Витька Малых резво поднялся с теплой земли. Ему было хорошо и счастливо оттого, что Ванечка и Устин поладили, что нашлись восемьдесят семь копеек, что Семен Баландин, справившись со смущением, опять грустно глядел в сторону Заобья. Витька Малых был счастлив тем, что остался позади страх от рассказа о маленькой серой мыши, что с лица Семена сошла смертная бледность и что Устин Шемяка уже доходил до той стадии опьянения, когда казался не таким звероподобным, как обычно. Все было хорошо в этом солнечном мире, и Витька Малых протянул руку к Ванечке.

— Давай деньги! — смеясь от радости, потребовал Витька.— Я живой ногой в магазин сбегаю...

Крепко зажав деньги в кулаке, поддернув штаны, Витька уже было приготовился бежать в сельповский магазин, как услышал тонкий призывный свист Ванечки Юдина, а потом заметил и другое — из синих елок показалась наклоненная макушка и суковатая палка бабки Клани Шестерни. На этот раз старуха появилась не одна, вслед за ней ветви раздвинула могучая рука жены Устина Шемяки, известной скандалистки и матерщинницы тетки Нели. Она была могуча и дородна, все лицо у нее было усажено волосатыми бородавками, на жирной шее висели громадные бусы, похожие на кандальные цепи.

— Вот они, соколики, вот они, болезные! — радостно запищала бабка Кланя Шестерня, тыча палкой в сторону приятелей.— Вот они где обретаются, Нелечка, вот какой разворот дают себе... Ты их сведи на нет, касатушка!

— Здорово, здорово, мужики! — басом сказала тетка Неля.— Вот ты, Семен Василич, драствуй, вот ты, Ванечка-гадость, драствуй, вот ты, Витька-подлюга, драствуй! Все драствуйте!

Жена Устина стояла подбоченившись, бусы на ее шее побрякивали, широко расставленные ноги были увиты толстыми синими венами.

— А ну подь-ка сюда, Витька-подлюга! — сказала мужским басом тетка Неля.— Чего это у тебя в кулаке зажато? Покажь, гадость, чего ты за спину прячешь?

— Витька, тикай! — тонко закричал Ванечка.— Тикай, Витька!

Не доверяя собственному крику, Ванечка кенгуриными скачками бросился к Витьке, разделив своим худеньким телом его и тетку Нелю, толкнул парня в спину, и это было сделано своевременно, так

как толстуха с неожиданным проворством вдруг прыгнула вслед за ними, стремясь поймать Витьку за руку, но, на счастье четверых, промахнулась, пробежав по инерции дальше, запнулась о незаметно протянутую ногу мужа. Некрасиво задрав юбку, тетка Неля растянулась на земле.

— Оп-ля! — радостно воскликнул Устин Шемяка.— Держись за землю, гадость, не то упадешь!

Он злорадно захохотал и хохотал до тех пор, пока жена не поднялась с земли и, отряхнувшись, не пошла на мужа такой медленной и деловитой походкой, какой следует за своей литовкой усталый косарь: он не отрывает подошв от земли, глядит в одну точку, глаза у него разрушительные, так как вжикающая сталь за один взмах кладет на землю тысячи живых стеблей. Толстые ноги тетки Нели, как ноги косаря на росе, оставляли два глубоких следа на травянистой дернине.

— Остановись! — сквозь зубы сказал ей Устин.— Я тебя счас изуродую... Я тверезый...

Сделав еще два-три шага, тетка Неля остановилась — с перекошенным лицом, с гудящими от злости руками, с пустыми глазницами; в груди у нее клокотало и хрипело, зубы скрипели, точно меж ними перемалывался речной песок. Они — муж и жена — стояли друг против друга и были похожи, как брат и сестра. Все-все у них было одинаковое: злобное выражение глаз, мускулистые руки, широко расставленные ноги. И слово «гадость» они произносили одинаково — на коротком продыхании, словно бы мельком, как бы пригoворочкой.

— Ну, погодим до вечера! — сказала тетка Неля.— Погодим!

5

В первом часу дня, когда солнце, войдя в зенит, палило немилосердно и тупо, когда река казалась по цвету такой же, как белесое марево над ней, когда над Обью вдруг строгим клином пролетели неожиданные журавли — куда, почему, неизвестно! — когда деревенский народ управлялся с хозяйством, сидел по домам, четверо приятелей энергичным шагом двигались по деревянному тротуару.

Дремали на скамейках молчаливые старики, оживала река — сновали по ней катера и лодки, добрых полчаса шел от одного конца излучины к другому небольшой буксирный пароход «Севастополь», пересекали блестящий плес легкие осиновые обласки, и люди в них казались сидящими прямо в воде: не было видно бортов.

Деревня неторопливо готовилась к обеду — опять пылали среди дворов невидимым пламенем уличные печурки, ходили женщины. Громкоговоритель на конторе шпалозавода рассказывал голосом московского диктора о вьетнамской войне, на крыльце конторы сидели несколько рабочих и, тихо беседуя, курили.

По выражению лиц четверых приятелей, по их шагу и стремительным спинам было видно, что пыльная дорога и деревянные тро-

туары ведут их к ясной цели; решительные, углубленные в свое, не замечающие внешнего мира, они были пьяны каждый по-своему, каждый на свой лад... Воодушевленно светились глаза Семена Баландина, изменившегося уже так резко, что было трудно узнать в нем того человека, который голосом нищего выпрашивал бутылку водки у продавщицы Поли. Сейчас Семен Баландин был не только прямой, но и вызывающе надменный. Перестали дрожать руки, а кожа на его щеках лихорадочно горела... Ванечка Юдин, наоборот, как бы распухал в лице, сосредоточенная складка меж бровями расправлялась, глаза тускнели, важно и вздорно напруживался подбородок, выпячивалась узкая грудь... Замедливался и понемногу терял хищное выражение лица Устин Шемяка, он становился вялым, мускулы под ситцевой рубахой опадали, руки неприкаянно болтались... Ярче июльского солнца сиял Витька Малых, выпивший все-таки около трехсот граммов и опьяневший так, что выделывал ногами по тротуару веселые кренделя. Витька теперь уже не замыкал шествие, как два часа назад, а шел сразу за Ванечкой.

Скоро приятели начали понемногу замедлять шаг. Ванечка озабоченно обернулся, поднеся палец к губам, предупреждающе прошипел: «Тсс!» Когда сделалось тихо, стали слышны слова песни: «В жизни раз бываа-ает восемнадцать лет...» Дом, в котором пели, был могуч и велик, сложен из толстых кедровых бревен, сочащихся до сих пор янтарной смолой. На улицу выходили четыре просторных окна, они были распахнуты настежь так широко, чтобы вся улица могла слышать песню и видеть, что происходит внутри дома.

— Заметят! — шепотом сказал Ванечка.— Опять зачнут изгиляться! Небось окна нарочно пооткрывали...

— Сволочи!..— прошептал Устин.— Сроду пройти не дадут.

В могучем доме жил рамщик шпалозавода Варфоломеев, тот самый, жена которого утром стояла в очереди. В доме Варфоломеева каждое воскресенье собирались гости — играли в лото и карты, хором пели песни, а вечером вместе с хозяевами отправлялись в кино или шли глядеть, как играют в футбол местные команды.

— Эх, огородами тоже не обойдешь! — вздохнул Ванечка Юдин, втягивая голову в плечи и сгибаясь.— Давай, народ, шагай по-тихому! Да не греми ты сапожищами, Устин!

Тревожно переглядываясь, четверка тесной кучей двинулась к заветной цели серединой улицы, и, конечно, произошло то, чего все ожидали: песня оборвалась, веселый рамщик Варфоломеев неторопливо вышел на крыльцо, а гости, налезая друг на друга и толкаясь, высунулись в окна, заранее хохоча, готовились к веселому представлению, которым их угощал хозяин всякий раз, когда удавалось перехватить знаменитую на весь поселок четверку забулдыг-пьяниц.

— Драсьте, Семен Василич! — раскатисто закричал с крыльца рамщик Варфоломеев.— С трудовым праздничком воскресенья вас, Семен Василич!

Руки Варфоломеев засунул в карманы отглаженных светлых брюк и весело, сыто щурился на солнце.

— Драствуйте, вся остальна честна компания! — радостно гремел рамщик Варфоломеев, спускаясь с крыльца и неторопливо преграждая путь четверке.— Как живете, как работаете, как руководите? У тебя, Семен Василич, може, каки замечания к нам имеются, може, каки указания поступят... Но я тебе заране скажу, Семен Василич, что мы отдыхам! Отдыхам мы, Семен Василич!

Четверка молчала, глядела в землю, не двигалась. Затаил дыхание Семен Баландин, шумно дышал раздувшимися ноздрями Ванечка Юдин, с непонятной улыбкой разглядывал рамщика Устин Шемяка, болезненно морщился, переживая за Баландина, Витька Малых.

— Отдыхам мы седни, Семен Василич! — наслаждался Варфоломеев и смотрел на гостей игриво.— Люди мы простые, Семен Василич, и отдыхам по-простому... Никто, как Ванечка Юдин, по пятнадцать суток не получат, никто смирну жену не колотит.

Решившись наконец обойти Варфоломеева, четверка двинулась дальше по длинной и пыльной деревенской улице. У бывшего директора шпалозавода Баландина крупно вздрагивала прямая, высоко поднятая голова, Ванечка Юдин возбужденно дрожал и щерил мелкие зубы, Устин тускло усмехался, Витька Малых все глядел да глядел в прямую спину Баландина.

Двигались четверо приятелей медленно, примерно в метре друг от друга, как бы опасаясь расстаться, но и не желая касаться локтями. Палило солнце, поддувал жаркий ветер, река Обь казалась почему-то зеленой. Катеришко «Синица» клевал носом рябой плес, хотя крупной волны не было, но он уж так был устроен, этот катеришко «Синица», что все качался с носа на корму.

— Не могу! Не хочу! — вдруг зашептал Семен Баландин.— Скорее! Скорее! Ну скорее же!

А заветный дом был уже рядом. Краснела четырехскатная крыша, в палисаднике росли крупная малина, смородина, северные низкие яблони, дикий виноград; двор, словно ковром, зарос аккуратно подстриженной травой, скамеечки у ворот не было, а серая овчарка на гостей не лаяла. Громадная собака была добродушно-весела, узнав четверых приятелей, сначала ткнулась влажным носом в руку Семена Баландина, потом повиляла хвостом Устину Шемяке и зубасто улыбнулась Витьке Малых, но почему-то не обратила никакого внимания на Ванечку Юдина.

— Здорово, Джек! — ласково сказал собаке Витька Малых.— Дома хозяйка?

В ответ на эти слова Джек поднял радостную морду, осклабившись, трижды пролаял, что означало: хозяйка дома, сейчас выйдет на крыльцо, будет рада гостям.

Действительно, в тенистых сенях послышалось скрипение пола, задрожав, забренчала дужка ведра.

— Ах, это вы? — раздался насмешливый хриплый голос, и на

крыльцо мужской походкой вышла маленькая женщина с закушенной папиросой в зубах.— Здорово, мужички!

Директор Чила-Юльской средней школы Серафима Матвеевна Садовская была знаменита тем, что никогда и нигде, кроме классных комнат, никто не видел ее без папиросы в зубах. Шла ли Серафима Матвеевна по улице, сидела ли в задних рядах клуба, заседала ли на сессии поселкового Совета, ругалась ли со школьниками в коридоре школы, таскала ли воду для поливки огорода, стояла ли в очереди за хлебом — у нее изо рта всегда торчала закушенная желтыми зубами папироса «Беломорканал». Но еще большую известность Серафима Матвеевна приобрела стремлением накормить каждого человека, переступавшего порог ее дома. Гость еще только здоровался, еще только искал глазами вешалку, а из соседней комнаты уже торопливо выходила на зов Серафимы Матвеевны ее мать Елизавета Яковлевна, оглядев гостя с головы до ног, приказывала ему идти в столовую, где остывал грибной суп или перестаивала положенный срок нежная рыба.

Зная обо всем этом, четверо приятелей опасливо сгрудились возле крыльца, и когда учительница уже повертывалась, чтобы закричать матери: «Накрывай на стол!» — Семен Баландин умоляюще загородился от нее вытянутыми руками.

— Мы не будем есть, Матвеевна! Нам... нам опять надо три рубля...

Заглянув в глаза Семена, учительница переместила папиросу из одного угла рта в другой. Минуту она молчала, потом проговорила, усмехнувшись:

— Ну да! Сегодня же воскресенье...

У Садовской было волевое лицо с двумя складками у губ, большие немигающие глаза, мужской разлет бровей; закушенная папироса придавала ей начальственность, интеллигентность, но руки были черные, крестьянские. Она сама таскала воду на огород, колола дрова, возила тачкой назем на грядки, ухаживала за коровой Люськой, хотя во всем этом необходимости не было: зарабатывала директор школы достаточно, молоко в поселке было дешевое, печь можно было топить сухой, как порох, срезкой, а не колоть березовые чурки.

— Опять три рубля! — помолчав, сказала учительница и опустилась на ступеньку крыльца.— Опять три рубля!

Бог знает как хорошо было во дворе Серафимы Матвеевны Садовской! Зеленый ковер подстриженной травы бахромой обрамлял неяркие северные цветы, посередине горела яркая клумба, было так чисто, словно двор каждодневно мели, и он казался на самом деле покрытым ковром. На крыльце славно и тихо сиделось, спокойно думалось, мирно курилось...

— Опять три рубля! — повторила Садовская, поднимая отяжелевшую голову.— Когда это кончится, мужики?

Она снова замолкла, опустила голову и приобрела от этого такой вид, словно ушла со двора собственного дома, хотя по-прежнему си-

дела на ступеньке крыльца. Ее молчание, ее отсутствие длилось минуты две, потом седоголовая учительница вздохнула и сказала тихо:

— Позавчера, мужики, мой Володька впервые пришел домой пьяненьким.

Она медленно оглядела четверых приятелей — одного за другим — и, крепко закусив папиросу, сказала неожиданно жестко:

— Не дам я вам сегодня трешку, мужики. Старая я дура! Мне нужно было сына увидеть пьяным, чтобы подумать об этих трешках, которые вам даю каждое воскресенье... Не дам!

Молча, не глядя в глаза учительнице, Семен Баландин повернулся, чтобы идти к калитке.

— Что ж, Семен Васильевич,— с горечью сказала Серафима Матвеевна, глядя в его сутулую спину,— дальше пойдете? Я не дам, так другие дадут? Где рубль, где стаканчик... Так, что ли, Семен Васильевич?

Семен Баландин стоял ссутулившись, глядя в землю.

— Опомнись, Семен Васильевич! — страстно сказала учительница и в тоске стиснула на груди руки.— Опомнись, посмотри вокруг себя!

Да, хорошо было вокруг! Зеленый цвет сеяной травы был так пронзителен и густ, что резал глаза, но бахрома северных цветов успокаивала и смягчала эту яркость...

— Поздно уже меня воспитывать, Серафима Матвеевна...— угрюмо сказал Баландин.

— Поздно?! — Учительница вскочила со ступеньки.— Хочешь сказать, что раньше надо было воспитывать? Мало с тобой на заводе возились? Мало предупреждали?

Она вдруг остановилась, глядя на Баландина, и чем дольше она глядела на него, тем больше жалости и печали появлялось в ее только что воинственном лице. Помолчав, она тяжело вздохнула:

— Теперь-то уж тебе самому не справиться... Слабый ты, всегда был слабым... Теперь уж тебе лечиться надо...

Семен Баландин тяжело пошел к калитке. Приятели двинулись за ним.

А старая женщина с папиросой в зубах все смотрела со страхом и болью вслед Семену Баландину — бывшему директору Чила-Юльского шпалозавода, бывшему своему другу...

6

В половине третьего приятели опять целеустремленно двигались по длинной улице, хотя всего час назад, выйдя от Серафимы Матвеевны, Витька Малых покаянно думал: «Больше не пойду шакалить!», Устин Шемяка собирался разводиться с женой Нелей, Ванечка Юдин принял решение на полгода уехать рыбачить, а Семен Баландин улыбался с тихой надеждой: «Полечусь и буду здоров!»

С тех пор прошло только шестьдесят минут, а они уже успели достать три рубля у бакенщика Семенова, быстро пропили их и вот уже

опять вышли на охоту, так как после полудня темп жизни четверых приятелей всегда резко возрастал. В их поведении уже не было утренней созерцательности и неторопливости, обожженные солнцем и водкой, лица обострились, движения приобрели судорожность, глаза горели в заплывших веках неутоленно и зло.

Приятели приближались к трем самым опасным домам поселка, в которых жили братья Кандауровы. Три брата работали на шпалозаводе рамщиками и были такими дружными, что все у них было одинаковое: дома, одежда, зарплата, судьба. В тот момент, когда приятели приближались к их домам, братья с одинаково серьезными лицами сидели на зеленой скамейке и разговаривали.

Остановившись за двести метров до кандауровских домов, четверо вопросительно поглядели друг на друга, не проговорив ни слова, осторожным шагом перешли улицу. Здесь они молча посмотрели на Витьку Малых, парень ласково улыбнулся и, перескочив через забор, пошел меж грядками чужого огорода. А приятели замерли в ожидании — не залает ли собака, не выбежит ли на крыльцо злая женщина, не заметит ли их, выйдя до ветру, сам хозяин большого огорода. Однако Витька благополучно прошел от городьбы до городьбы, и сразу же после этого стали преодолевать пространство остальные.

Зорко поглядев по сторонам, согнувшись, с ожесточенным лицом бежал меж грядками Ванечка Юдин, сделавшись вдруг таким ловким, умелым, опасным, что в нем сразу можно было узнать бывшего фронтовика; бежал Ванечка сложным зигзагом, провел перебежку так, что использовал все скрытые места — густую грядку мака, горох на тычках, высокую коноплю, посеянную на утеху ребятишкам. Оказавшись на другой стороне огорода, Ванечка Юдин распрямился и одернул спортивную майку, как гимнастерку.

Устин Шемяка двигался по огороду с ленивой медвежьей грацией. Лицо у него теперь было красное и блестящее, глаза поголубели, в них уже не было прежнего тупого, жестокого выражения.

Последним двинулся Семен Баландин. Он тяжело и неловко перелез через городьбу, будучи уже изрядно пьяным, все норовил упасть в крапиву, но чудом удержался на ногах, а когда пошел меж грядками, то заложил руки за спину, подняв голову, надменно прищурился. Он шел по огороду барской походкой, вызывающе насвистывал «Тучи над городом встали», а приятели, ожидая его, смотрели на Семена умоляющими глазами — боялись, что выдаст себя. Однако и Семена Баландина никто не заметил, и он перелез через второй забор, покачнувшись, спросил:

— Где тут дом Медведева?

— Да вон он, вон!

Они находились в коротком и широком переулке, расположенном перпендикулярно Оби и поэтому как бы соединяющем реку с высокой тайгой, которая начиналась сразу за пряслами огородов — входила в деревню лобастым мысом, над которым сейчас висело белое кружевное облако, похожее на кокошник.

— Цыпыловы! — восторженно охнул Витька Малых.— Посторонись, Семен Васильевич!

Во всю ширину и длину переулка по зеленой травушке-муравушке катились десять солнц; четыре солнца были большими, четыре — поменьше, и два солнца были совсем маленькими. Солнца медленно вращались, ослепляя, млели в серединочке, и глядеть на них было больно, и приходилось отворачиваться, отступать под натиском десяти солнц, так как им было все-таки тесно в широком и коротком переулке, покрытом зеленой травушкой-муравушкой. Это возвращалось с прогулки семейство крановщика Бориса Цыпылова. На двух взрослых велосипедах ехали сам Борис и его жена Лена, на велосипедах поменьше катили сыновья Генка и Сережка, на маленьком двухколесном велосипедишке поспешала за ними сестра Наташка.

Широкий переулок был тесен Цыпыловым, хотя они ехали гуськом. На Борисе были светлая тенниска и белые шорты, так же была одета его жена, мальчишки щеголяли в красном, а Наташа имела на бедрах только узенькие полоски плавок. Все они были такие загорелые, что вспоминался плакат «Отдыхайте на Южном берегу Крыма!». Велосипеды под Цыпыловыми не скрипели, не скрежетали цепями, трава под колесами была ровной и мягкой, и почему-то казалось, что десять медленных солнц скатились с верхотинки тайги, оттуда, где белел кружевной кокошник.

Спрятавшись за поседевшие от жары тальники, четверо, не мигая, смотрели на Цыпыловых. У Витьки Малых было точно такое лицо, с каким глядел он на чаек и белый пароход, когда говорил протяжное: «Поле-е-е-те-ли!», «Поплы-ы-ли!» И когда Цыпыловы проехали мимо тальников, Витька протянул:

— Поеха-а-а-ли-и-иии!

Тупо и бессмысленно, потеряв собственное выражение лица, глядел на велосипедистов Устин Шемяка. Он видел, что Цыпыловы появились из белого и зеленого, чувствовал, что кружение спиц ослепляет, но реального объяснения происходящему дать не мог, так как понятия «отдыхают», «катаются», «развлекаются» были для него такими же туманными, как слово «гемоглобин» в справке, которую он недавно принес с медицинской комиссии. И по мере того как велосипедисты приближались, на лице Устина Шемяки окончательно затвердевала одна мысль, одно выражение.

— У Цыпылова в кране четверть спирта,— сказал Устин, когда велосипедисты проехали.— Чего-то там промывать... Второй год стоит нетронутая!

И в этом для него излилось все то яркое, праздничное, счастливое и свободное, что катилось по травушке-муравушке десятью слепящими солнцами.

Волновался, нервничал, полыхал болезненным румянцем Ванечка Юдин — невольно для себя ссутуливался, втягивал голову в плечи, светлые глаза Ванечки стекленели, проникались бутылочным цветом, приобретали неживой блеск, словно он засыпал с открытыми

ресницами. Когда Цыпыловы проезжали мимо тальников, рука Ванечки сделала в пустоте резкое хватательное движение, но тут же обвисла.

Семену Баландину казалось, что он едет на новеньком бесшумном велосипеде... У него были длинные загорелые ноги, обутые в кеды, плечи мягко обнимала тенниска, позади ехала женщина, пахнущая солнцем; пальцами ног он давил на тугие и сладостные педали, на руле велосипеда сам собой дребезжал звонок.

Потом Семен Баландин увидел себя сидящим в низком и удобном кресле с газетой в руках. Читать газету!.. Медленно развернуть шелестящие страницы, вдохнуть запах типографской краски! Газету можно свернуть пополам, можно сделать из нее узкую полоску, можно положить перед собой на стол... Едут куда-то премьер-министры; нападающие, обыграв защитников, забивают гол; через подмосковное шоссе переходит дикий лось... Семен Баландин крепко зажмурился, опустив голову, старался прогнать видение белого газетного листа, ощущение прохладности от бумаги...

Когда Цыпыловы проехали — перестало веять теплом от кружения велосипедных спиц,— Баландин встряхнул головой, открыл глаза.

— Пошли к Медведеву! — сказал он.— Скорее пошли к Медведеву!

Дом рамщика шпалозавода Медведева походил на скворечник. Был он высоким и узким, удлиняя строение, на крыше торчали две антенны, окна были маленькими, подслеповатыми, словно хозяин не любил яркого света; огорода при доме не имелось, и на том месте, где он должен быть, паслась комолая корова с громким боталом на шее. Жилище рамщика располагалось несколько в стороне от улицы, видимо, нарочно было повернуто окнами на несуществующий огород, и по этой причине дом стоял как бы отдельно от деревни, но вместе с тем возвышался над другими домами своей колокольной высотой.

— Давай, давай, Семен Василич! — шепнул пересохшими губами Устин Шемяка.— Чего зазря-то стоять?

Скоро они уже поднимались на высокое крыльцо. Крыльцо и сени были совсем глухие, толстостенные, здесь было так глухо и темно, что приходилось чиркать спичку, искать друг друга в темноте растопыренными руками.

— Осторожней, народ, осторожней!

Посередке высокой горницы стоял чудовищно громадный кедровый стол, обставленный полудюжиной титанических табуреток, слева высился самодельный посудный шкаф с маленькими окошечками на створках, похожими на глазки в тюремной двери, три стены опоясывали кедровые скамейки двадцатисантиметровой толщины. В горнице было еще глуше, чем в сенях, тишина здесь звенела и обволакивала лицо паутиной мертвого безмолвия, возникало такое чувство, словно человек спустился в глубокий колодец.

И таким же приглушенным, подземельным был человек, сидящий за столом. У него была толстая, тяжелая голова, глаза за увеличи-

вающими стеклами очков были велики и тоже толсты. Негромко ответив на приветствие нежданных гостей, Прохор Медведев отложил в сторону газету, сняв очки, помассировал пальцами веки.

— Теперь вы сделайте так, граждане,— подумав, сказал он.— Потрите ноги об тряпку да садитесь-ка на лавку, чтобы я вас всех мог видеть. А ты, Семен Василич, садись подле меня... Вы садись, садись на лавку, пьяный народ! Бог стоячего человека только в церкви любит...

Рамщик Медведев внимательно оглядел гостей большими дальнозоркими глазами, поразмыслив, свернул газету на восемь долек, прогладил ее по сгибам и положил по левую руку от себя, так как очки лежали на правой стороне. После этого он с легкой улыбкой постучал ногтями по глухой кедровой столешнице, еще раз поразмыслив, задумчиво сказал:

— Я тебе завсегда рад, Семен Василич. Ты у меня — желанный гость. Вот и садись на хорошее место, займай стул по чину, а остальной народ пусть на лавочке обретается... Вот такое дело, граждане-товарищи! Я тебе, Семен Василич, еще больше скажу... На улке дожж, грязь, молонья, ты ко мне иди! Обишка все вокруг себе облила, рыбешки нет, зверь в далечину подался — ты ко мне иди! Шпалозавод сгорел, в народишке мор, война поближе — ты ко мне иди!..

В глухой, темной комнате, на фоне титанической мебели стояли на тонких ножках дорогой радиоприемник «Рига» и лучший из лучших телевизор «Темп-6»; оба агрегата был прикрыты тонкими кружевными салфетками, на салфетках стояли вазы со свежими цветами, а прямо перед глазами рамщика Медведева, между очками и газетой, проливал тихую музыку «Маяка» транзисторный радиоприемник «Спидола», протертый до блеска фланелевой тряпочкой, которая лежала за радиоприемником и для удобства пользования, чтобы не махрилась, была обшита темной каймой.

— Ты завсегда ко мне заходи, Семен Василич,— задумчиво продолжал рамщик, прислушиваясь к сладкой музыке из транзистора.— Я тебя водочкой завсегда угощу, хороший ты человек, но пошто, спрошу тебя, должон я вот этих нахлебников поить на свои кровные?.. Вот ты мне на это ответь, мил друг Семен Василич!

Произнося эти медленные, задумчивые слова, рамщик Медведев поднялся с места, выпрямился, и сделалось видно, как он до смешного непропорционален: при большой, толстой голове у него было тщедушное, маленькое тело, тонкие ноги, узенькие бедра и отдельные от всего этого руки, которые, как и голова, могли принадлежать только телу другого человека — такие они были большие и сильные. Эти руки заросли темными вьющимися волосами, мускулы на них не перекатывались, не двигались, а лежали каменными буграми, металлическими литыми извивами; свои удивительные руки тщедушный рамщик держал по-обезьяньи широко.

— Ежели ты мне не отвечаешь, Семен Василич, пошто я должон этих нахлебников поить, то я тебе сам на это отвечу,— продолжал рамщик Медведев, подходя к шкафу с тюремными глазками.—

Я их по той причине пою, Семен Василич, что они с тобой всю пьяную дорогу обретаются и на тебя, Семен Василич, своего рубля не жалеют, как ты завсегда без денег...

Он замолчал. Солнечные лучи в горницу проникали осторожно, упав на некрашеный пол и неоштукатуренные стены, приглушались до оранжевости; толстые кедровые стены не пропускали ни звука, высокий потолок, вместо того чтобы делать комнату просторнее, окончательно впитывал в себя остатки пространства. В этой беззвучной, глухой тишине подземелья рамщик Медведев неслышными пальцами открыл неслышную дверцу кедрового шкафа, достал хрустальный графин, тоже неслышный и с неслышной пробкой, и понес его к столу.

— Варвара, а Варвара! — не повышая голоса, позвал Медведев.— Надо бы закуску сгоношить, Варвара.

В боковой комнате послышались приглушенные шаги, зашуршала материя, и в горнице появилась сестра хозяина — высокая женщина в длинном монашеском платье и черном глухом платке. Она молча подошла к гостям, сложив пальцы лодочкой, почтительно и с приятной улыбкой подала каждому руку, а Семену Баландину поклонилась в пояс, но руку подать не решилась.

— Спасибо, что зашли, Семен Васильевич! Не забываете нас.

Жена рамщика Медведева погибла в годы войны, детей у них не было, и вот уже около двадцати пяти лет Прохор Емельянович жил с сестрой. Они были дружны и согласны, сестра работала медсестрой в поселковой больнице, дом Медведевых считался одним из хлебосольнейших в поселке. Рамщик зарабатывал около четырехсот рублей в месяц, сестра получала шестьдесят и пенсию за мужа, погибшего на фронте.

— Ты накрывай на стол-то, накрывай, Варвара!

Рамщик Медведев неслышно поставил на стол графин с водкой, заняв свое царственное место, положил руки на столешницу.

Стена над его головой была самой светлой и веселой: ее от лавки до потолка заклеили почетными грамотами. Девяносто три грамоты висело на стене, начиная от грамоты Президиума Верховного Совета СССР и кончая грамотой поселкового Совета,— вот каким знаменитым рамщиком был щупленький и большеголовый Прохор Медведев.

Его слава была так велика, а положение было таким прочным, что на старости лет рамщик позволил себе роскошь сделаться открыто и вызывающе религиозным, хотя не верил в бога и редко думал о нем. Раз в три месяца он отправлялся за пятьдесят километров в Тогурскую церковь, где шикарным жестом разбрасывал пятерки и трояки, а потом, во время службы, стоял впереди всех богомольных старух. А вечером с бутылкой дорогого коньяка шел к попу отцу Никите и до поздней ночи вел с ним тайные и медленные беседы.

Иконы занимали всю левую стену горницы.

— Вот такие-то дела, Семен Василич! — тихо сказал знамени-

тый рамщик.— Новому директору Савину шибко не потрафило, что я его не полюбил... Нет, не полюбил! Мужик он, конечно, работящий, умный, непьющий, но я его не полюбил, бог знает почему... То ли глаз мне его не ндравится, то ли директорска баба сильно в кости тонка, то ли директорски очки мне душу воротят? А может, мне то не ндравится, что он кажно утро купатся да физкультуру делат?.. Конечно, кажному подольше жить охота, но ты при мне, при Медведеве, рукам не маши, в трусах по песку не бегай, свою бабу при всем народе в ушко не целуй... Да ты слышишь ли меня, Семен Василич?

Семен Баландин, оказывается, ничего не слышал и не видел. Что-то бормоча и пошевеливая пальцами беспомощно висящих вдоль тела рук, он смотрел в пол бессмысленными глазами, опухнув лицом, потел так сильно, что брови казались лохматыми от влаги. Для понимающего человека было ясно, что Семен Баландин вступал в ту стадию опьянения, когда внешние раздражители действуют отрицательно.

Рамщик Прохор Емельянович Медведев, повидавший на своем веку немало пьяниц, легонько вздохнул.

— Ты не ставь разносолов-то, Варвара! — сказал он.— Давай что скорее...

После этого Медведев поднялся, подойдя к Баландину, протянул ему хрустальный графин и красивый фужер.

— Сам наливай, Семен Василич!

Баландин выпрямился, встряхнув головой, посмотрел на графин с водкой испуганно и отчужденно, потом медленно-медленно, страстно и тупо потянулся к водке. В его фигуре, выражении лица, тусклом блеске глаз не было ничего осмысленного, человеческого, и походил он на отупевшее от жажды животное, которому подносят к морде воду. Семен Баландин вдруг схватил графин, прижал его к впалой груди.

— Есть! — хрипло проговорил Семен.— Есть!

У него опять дрожали руки, его так трясло, колотило, что он не мог, как и утром, взять в пальцы фужер. Поэтому он поставил его на стол, бормоча и колыхаясь, обморочно бледнея, сначала налил полфужера, затем, попридержав горлышко графина, дробно стучащее по краю посуды, по-мальчишески тонко вздохнул, потупился и добавил еще на палец толщины; потом Семен попытался унять руку, самопроизвольно наклоняющую графин к фужеру, но не справился с желанием и добавил еще на палец. Остановился Семен тогда, когда тонкий фужер до краев наполнился водкой.

— Ну хватит! — шепнул Семен.— Хватит!

Нервно пошевеливались под передником руки сестры Медведева, сидел лицом к стенке Витька Малых, морщился Устин Шемяка, презрительно усмехался Ванечка Юдин, рамщик разглядывал толстые ногти на своих пальцах... Потом раздалось прерывистое бульканье, страдальческий вздох, звук горловой спазмы, и наступила тишина, длинная, страдальческая, выжидательная и обнадеживающая.

— Готово! — насмешливо сказал в тишине Ванечка Юдин.— Изволили выпить...

Семен Баландин несколько раз бессмысленно мотнул головой, сделал знакомые, обирающиеся движения пальцами по бортам грязного пиджака, затем как бы взорвался — сел на табуретке прямо, глаза заблистали, мускулы налились оставшимися в теле силами, прямая спина напряглась, и заносчиво задрался маленький, безвольный подбородок.

— Ты Савина в моих глазах не порочь, дорогой Емельяныч! — грозно сказал Семен Баландин и по-детски погрозил рамщику грязным пальцем.— Ты меня хочешь поссорить с ним, но тебе это не удастся... Не удастся, Емельяныч, хотя я тебя люблю и уважаю... но ты меня с Савиным не поссоришь...— Он покачнулся на табуретке.— Савин — человек тоже хороший... А тебе я уж говорил, Емельяныч, что ты самый хороший человек на все-е-ей земле.

Он качнулся из стороны в сторону устойчиво, как маятник.

— Ванька, ты чего улыбаешься? Не веришь, что Емельяныч хороший человек?.. Так я тебе докажу! Емельяныч, дай я тебя поцелую... Ты просто не знаешь, Емельяныч, как я тебя люблю и уважаю. Ты мне брат, Емельяныч. Не веришь? Дай я тебя поцелую... Только раз поцелую — и все...

Еще несколько раз покачавшись маятником, Семен упал грудью на стол, застонав от удара об острое дерево, забормотал приглушенно:

— Я всех уважаю, и меня все уважают... Ты дурак, Ванька, если не веришь... Ты ду-у-рак!.. Все дураки, кто не верит... А во что не верит? В серую мышь. Маленькая такая, хвост тоненький, сквозь кожу видно, как сердце бьется... бьется... сквозь кожу видно...

И захрипел перехваченным горлом, полууснул, ушел в полузабытье, в полуобморок...

— Пьяницы, они хорошие люди! — важно сказал рамщик Медведев.— Вот ты на Семена погляди, сестра, как он защищат Савина, хотя тот севши на его место... Ах, беда, какой славный человек гибнет!.. Нет, сестра, не здря, не здря граф Лев Николаич Толстой, говорят, тоже любили пьяниц, как вот я их люблю... Однако, родна ты моя сестра, меж пьянюгами тоже встречатся шибко паскудный народишко...

Рамщик угрожающе медленно повернулся к кедровой лавке, пробежав по лицам троих, задержал пронизывающий взгляд на Ванечке Юдине, смерил глазами его с головы до ног, прищурившись остренько, сказал холодно:

— Вот это как получатся, Иван, что тверезый ты человек славный, добрый, а как насосешься водки, то злей тебя в поселке нет? А вот Устинушка наоборот: в трезвости он зол, а в пьяности добрей его мужика нет... Это как так получатся, что ты в пьяном безобразии жену бьешь смертным боем, а Устина при его пьяном обличии жена сама колотит? Вот ты мне это объясни...

Это рамщик Медведев заметил правильно. Выпив очередную порцию водки, Ванечка Юдин действительно весь наливался тупой и бессмысленной ненавистью к миру, а злой, как цепной пес, в трезвости Устин Шемяка сидел на лавке с блаженно-красным и добрым лицом.

— Ну коли ты мне по-хорошему не отвечашь, гражданин-товарищ Ивашка Юдин,— продолжал рамщик,— то покедова Семен Василич дремлет, я такое дело объявляю: тебе, гражданин-товарищ Юдин, водки больше нет, а всем остальным — хоша залейся!.. А ты, сестра, не стой. Ты, сестра, присядь, где желашь... Нам сейчас Устинушка Шемяка зачнет рассказывать, как на областно совещание передового народу езживал... Ты давай-ка, Устинушка, призакуси чем бог послал да обскажи, как дело-то было...

Устин Шемяка пошевельнулся, застенчиво улыбнувшись, сказал неуверенно:

— Да чего там рассказывать-то. Во-первых сказать, все знают, во-вторых объяснить, ты здря, Емельяныч, на Ванечку-то взъелся... Он вот молчит, не перебиват...

— Нет, уж ты рассказывай, Устинушка! Ты уж потешь народ, добрый молодец!.. Я вот даже радиво выщелкну, чтоб тебя послушать... Начинай с богом, Устинушка!

РАССКАЗ УСТИНА ШЕМЯКИ

— Про это дело ежели рассказывать, то надо поподробне рассказывать, чтобы склад был, а ежели склада не будет, то лучшее и не рассказывать... Так что сидеть вам надо спокойно, перебивать меня не следоват, я и сам собьюси, когда на город переезживать стану... Ну, ежели по порядку соопчать, то это еще в тот год было, когда из рамщиков я само первым стахановцем был, меньше сто сорока процентов нормы не давал, с Доски почету не слезал, кажный месяц да квартал мне — премия! Когда сто рублев старыми, когда — двести, а когда и все пятьсот... Одним словом, давно это было, еще при старых деньгах, когда мы с Петрой Анисимовым, Кешкой Мурзиным да Аникитой Трифоновым на совещанье передового народу в област поехали. Я еще тогда ни разу в городе-то не был, как на фронт меня не брали, что я рамщик... Главне этой специальности в войну только одна специальность была — пилоправ!.. Ну, в город мы едем сразу опосля майских гулянок, пароход называтся «Пролетарий», мы — каждый при каюте, матрас под тобой мягкий, полосатый, ровно зверь зебра, на пароходе два буфета, в один всех запущают, в другой — только нас, стахановцев... Теперь вопрос заострям так, что на кажной пристани еще народ присаживается. Скажем, в Кривошеине гляжу: Степша Волков! «Здорово, парнишша, ты это откудова и куда, чего на пароход громоздишься при бостоновом костюме?» — «Тоже,— отвечат,— премию лажу получить, я счас на лесопункте механиком, мне зарплата — три тысячи пятьсот! Пошли-ка, парнишша, в буфет, мы за это дело разговор поимем...» Ладно! Хо-

рошо! В область бежим пароходишком быстро, а народ все подваливат да подваливат! Обратно гляжу: Виталька Веденеев из Молчанова, назад глаз ворочу: Ивашка Балин из Парбигу... Ну, просто шею извертел — так знакомого народу шибко!.. Быстро ли, медленно, но приезжам в областной город, с пароходу сгружамся — мать честна! Тут тебе духовой оркестр, тут тебе плакат «Привет стахановцам!..». Тут тебе прям на берегу барышня сидит и командировочну деньгу дает. Я, к примеру, на стары деньги триста восемьдесят получил — рупь к рублю! Теперь надо за город объяснить... Дома, конешно, пребольшущи, транвай по рельсу бежит, названиват, в магазинах — коверкот! А в гостинице — абажур... Сам он, значится, круглый, розовый или зеленый, внутре проволока, кругом кисть! В самой гостинице три этажа, а на первом этаже — ресторан с музыкой. Даешь мужику, который меж столами бегат, двадцатку, говоришь: «Катюшу»!» — получашь «Катюшу»! Ну, тут вам правду сказать, мы и начали при командировочных деньгах куражиться, разгул душе давать!.. Скажем, я за «Катюшу» двадцатку выброшу, Петра Анисимов, Кешка Мурзин, Аникита Трифонов, Степша Волков обратно же выбросят... Ну, вот тут ребята из Тогура, где церковь, претензию к нам имеют... Один, скажем, подходит, губу набок свертыват и так говорит: «Вы бы,— говорит,— чила-юльские, себе отдых дали, совесть поимели, как и, окромя вас, есть народ. Мы,— говорит,— всего три раза «Каким ты был, таким ты и остался...» сполнили, а вы,— говорит,— «Катюшей» по второму кругу идете... Как так? Может, вы,— спрашиват,— по тридцатке мужику бросаете?» Я ему и говорю: «Да нет, Марк, двадцатку!» Ну, тут Степша Волков возьми да и захохочи. Все сразу к нему: «Что? Как? Почему?» А он и говорит: «Да вот энтот, что на длинной трубе играт,— это мой свояк! Я ведь на городской теперь женат!» — «Как на городской, когда ты это успел, Степша, ну-к, расскажи!» Тут все тогурские — человек пять — к нам за стол валят... Да!.. Вот, значится, тогурские к нам за стол валом валят, и мы решенье принимам такое, чтобы «Катюшу» вперемежку с «Каким ты был, таким ты и остался...» сполнять. Ну, конечно, Степшу слушам, а он ничего, он молчит, а потом и скажи: «Хватит в этим ресторане пить. Айдате,— говорит,— в другой — в сам ресторан «Север». Ладно! Переходим в ресторан «Север», садимся за самы лучши столы, водку заказывам, начинам пить без торопливости, и опять то «Катюшу», то «Каким ты был, таким ты и остался...» нажваривам... Ну, все хорошо было бы, если бы не Марк Колотовкин. Этот как захмелился пошибче, так сразу взял моду кричать: «Мы кетски, мы тогурски, мы лучшее всех!» Он, конечно, мужик фронтовой, грудь у него вся в орденах, но к нам мильционер раз подходит, два подходит, а на третий раз говорит: «Так и в отделение можно угодить, граждане! Пообстереглися бы!» А Марку это одна сласть! «Кого,— говорит,— в отделенье? Меня? Ах ты, кила милицейская, ах ты, тылова крыса!» — «Кто кила милицейска? Младший лейтенант милиции? При сполнении служебных обязанностей? Да за это ведь срок!» Ну и берут нас всех, голубчиков, за грудки, из

«Северу»-ресторану выводят на простор и ладят вести подальше, а Марк просто надрыватся: «Ах гады, ах предатели, ах тыловы крысы!» Он так до тех пор вопит, пока нас всех, миленочков, в большой автобус не содют и не везут в обтрезвитель. Едем, значится, мы, а Аникита Трифонов мне шепчет: «Прячь деньгу в сапог!» Конечно, я, сразу разумшись, остатние двести семьдесят рублей заместо стельки кладу — и кум королю! А в обтрезвителе, братцы, порядок, строгость! Кажному — отдельна койка, простыни, пододьяльник, две подушки, байково одеяло, кажному от головы пирамидон выдают. Ладно! Хорошо! Утром нас чин чином побудили, каждому расписаться в книге велели, а потом говорят: «С кажного семьдесят рублев!» Вот тут-то, братцы, самый смех и есть. А почему? Да потому, что мы отвечам: «А у нас денег нету!» — «Как так нету? Вы же вчера командировочны получали?» — «А вот так и нету, что мы их пропили».— «Это по триста рублей-то?» Ну а мы свое: «Нам триста рублей — тьфу! Мы поболе вышего получам, мы деньги не считам». Успех?.. При деньгах один Марк оказался, он их в сапог-то не спрятал, как всю дорогу орал: «Тыловы крысы!» Он, Марк-то, с утра тихий стал, все смущатся да извинятся, семьдесят целковых без словечка отдал и смирный такой пошел с нами на совещанье...

Устин Шемяка застенчиво улыбнулся, не зная, куда спрятать большие черные руки, незаметно засунул их под столешницу.

— Ты дальше, дальше сказывай,— проговорил Медведев.— Про то скажи, как на совещанье пришли...

— Как пришли? Обыкновенно пришли...

— Ты подробность дай, Устинушка, подробность дай!

— Ну, дальше так было...— медленно произнес Устин.— Приходим, это, мы на совещанье, хотим зайтить, это где сидеть, а нам: «Вы куда? Кто такие?..»

— Ты не останавливайся, ты дальше иди...

— «Кто такие?..» — печально повторил Устин.— Ну, мы и отвечаем: «Стахановцы!» — «Как ваши фамилии?» Ну, мы и говорим: так и так наши фамилии... А они...

— Вот это интересно, что они-то?

— Они и говорят: «Вот это кто!» Вы, говорят, теперь шибко известные. О вас, говорят, утром сообщенье было, что в милицию попали...

— Ну...

— Ну и не пустили...

Рамщик улыбнулся, расцепил руки.

— Теперь скажи, а на совещании-то в это время кто на трибуне выступат?

— Ты на трибуне,— ответил Устин.— Ты обретаешься на трибуне, Прохор Емельяныч! Это я в дверь видел.

Рамщик Медведев откинулся на спинку стула, хохоча, широко разинул рот, но смех его был вкрадчив, негромок, как бы осторожен. Смеялся он все-таки долго, минуты две, потом сделался серьезным, нахмурив брови, сказал только для сестры:

— Вот ты видишь, какой он есть, твой брат Прохор! А ты вчера: «Не буду пельмени лепить!»

И опять повернулся к Устину, спросил строго:

— Ну а что я с трибуны говорю?

— Этого я не могу сказать, Прохор Емельянович!

— Правильно! — обрадовался рамщик.— Что я говорил, этого ты услышать не мог, коль за дверью стоял! Ах ты, господи, Семен Василич просыпается...

Однако Медведев ошибся, так как Семен Баландин только немного поднял голову, сделал попытку открыть глаза, но не смог — опять уронил голову на мягкие руки.

Минуту было тихо, потом рамщик сказал:

— Слабый он человек, Семен-то Василич! Я бы на его месте-то да при его-то грамоте — министр! А вот сейчас я умный, а он дурак!.. Характера у него нет, у Семена-то Василича! А у меня — характер... Я правильно говорю, сестрица?

Сестра рамщика ничего не ответила, а только посмотрела на брата большими блестящими глазами.

7

После медведевского щедрого угощения, после хорошей и крепкой водки знаменитого рамщика четверо приятелей, достигнув той стадии опьянения, когда, как в народе говорят, хмельному и сине море по колено, никого и ничего на свете не боялись. Молчаливые и вздрюченные, с вызовом шли они по поселку. Свесил голову на грудь и покачивался пьяный Семен Баландин, опять потерявший ощущение места и времени, опухший, как вурдалак, страшный мертвенной белизной незагорелого лица; блаженным и радостным был Устин Шемяка, скрежетал зубами в необъяснимой злобе ко всему человечеству тщедушный Ванечка Юдин.

Поздно отобедавший, славно отдохнувший, по-воскресному свободный поселок Чила-Юл следил за четверкой десятками глаз — любопытными и укоризненными, хохочущими и печальными, осуждающими и завистливыми, неприязненными и ободряющими, сердитыми и подначивающими. Вслед приятелям мудро улыбались довольные послеобеденной жизнью старики, сравнивающе глядели на них пожилые женщины, отстраняюще — молодки, с испуганным любопытством осматривали их девчата, непонятно прищуривались мужчины средних лет, посмеивалась легкомысленная молодежь. Некоторые чилаюльцы смешливо здоровались с приятелями, другие присвистывали, третьи звонко щелкали пальцами себя по тугому горлу, а шпалозаводской бухгалтер Власов, заметив приближающуюся четверку, вышел в одной майке на крыльцо своего нового дома, скрестив руки на груди, усмехнулся саркастически.

— Здорово бывали! — насмешливо сказал он пьяным, когда они поравнялись с ним.— Вань, а Вань, тебе помнится, какой завтра

день? А понедельник, гражданин хороший... Будет предельно плохо, если утром не вернешь трешку...

Четверка остановилась... Ванечка Юдин на самом деле занимал под хлеб три рубля у Власова, клялся и божился вернуть не позже понедельника и забыл, конечно, об этой трешке, выпустил ее из виду, как и многие другие трешки, которые одалживала ему сердобольная деревня. Сейчас он вспомнил о деньгах, увидев бухгалтера Власова, и как-то вдруг, без всякой подготовки неистово заорал:

— Вор! Ворюга! Вор, ворюга!

Детские щеки Ванечки покрылись красными пятнами, грязные пальцы сжались в кулаки, глаза выкатились из орбит.

— Жулик! — сладостно орал на всю улицу Ванечка Юдин.— Народ грабишь, подлюга! Кто Гришке Перегудову шесть рублев недоплатил? Кто товар у Поли с-под прилавка берет? Ворюга! Гад! Подлость!

Покачивая головой в такт Ванечкиным крикам, бухгалтер Власов неторопливо вышел из калитки, стараясь не пропустить ни одного бранного слова, слушающе выставил в Ванечкину сторону волосатое ухо, присев на скамейку, сладостно почмокал губами. Вслед за этим торопливо перешли улицу два мужика, что сидели на лавочке у противоположного дома, задержалась в стремительном беге по поселку баба-сплетница Сузгиниха, специально пришагал на шум старик Протасов с марлевыми тампонами в ушах, прикатили на велосипедах трое мальчишек, не слезая с седел, поставили ноги на тротуар. Подошел кособокий мужик Ульев и деловито сел на траву, чтобы было вольготнее.

— Кажный бухгалтер — вор и жулик! — кричал Ванечка.— Все гады! Все подлюги! Все ворюги! А ты, Власов, хужее всех... Вор! Гадость! Подлюга! Я тебя в упор не вижу! Я тебя через колено ломаю... Вор! Жулик! Подлюга!

Хохотали и свистели мальчишки, кособокий мужик Ульев согласно кивал, из окон соседних домов выглядывали любопытные старухи в белых платочках, на скамейках, густо обсаженных отдыхающими стариками, царило оживление; на крылечки всех соседних домов высыпали женщины... Только братья Кандауровы по-прежнему отдыхающе сидели на своей зеленой скамейке, положив большие руки на колени, беседовали с таким видом, словно ничего не слышали.

— Тебя надоть сничтожить, Власов! — кричал Ванечка Юдин.— Тебя надоть с двухстволки, тебя надоть... Вор! Жулик! Гадость!

Продолжая неспешно разговаривать, братья лениво поднялись, тяжелым шагом могучих людей пошли навстречу крикам Ванечки Юдина.

Братья Кандауровы были высокими, черноволосыми, с крутыми подбородками и квадратными ушами, а руки у них были такие же длинные и толстые, как у рамщика Медведева. В молодости братья Кандауровы наводили страх на деревню сплоченностью, мужеством в драке, привычкой, даже обливаясь кровью, никогда не отступать; сами братья драку никогда не начинали, но если их принуждали

драться, били жестоко. В годы войны братья Кандауровы были знаменитым танковым экипажем, прогремели на всю страну, а вернувшись с фронта, принесли на троих двенадцать орденов и множество медалей. Все они работали рамщиками, славились рассудительностью и трезвостью, справедливостью, много лет подряд были членами партийного бюро завода и депутатами райсовета.

Братья шли к пьяным спокойно, касаясь друг друга плечами, одинаково глядели на кричащего Ванечку Юдина, переговаривались вполголоса. Ванечка заметил их поздно, когда братья уже выстроились за его спиной, когда Витька Малых и Устин Шемяка, бросившись к разбушевавшемуся приятелю, схватили его за руки.

— А, братовья! — восторженно закричал Ванечка.— Братовья Кандауровы! Вот по кому плачет срезка! — Он обморочно закатил глаза, на губах запузырилась сумасшедшая пена.— Чего глядите, гады? Не вы одне, гады, раны имеете. И у других есть!

С неожиданной пьяной силой Ванечка вырвался из рук Устина и Витьки, отскочив в сторону, рванул на груди спортивную майку с буквами «Урожай». Слабая материя поддалась так легко и охотно, словно давно ждала этого; с треском разъехавшись от горла до пупа, майка обнажила чудовищный, невозможный шрам на животе Ванечки Юдина: казалось, что желудок вынули, а вместо него возле самого позвоночника бугрилась клочковатая кожа, похожая на свежеразрезанное коровье вымя.

— Гляди, гады, каки раны у других имеются! — кричал Ванечка.— Гляди, как народ воевал!

Сидел на травушке-муравушке наслаждающийся ссорой мужик Ульев, топтался старик Протасов с ватой в ушах, пригорюнившись, стояли две женщины в платочках, заглушил мотоцикл только что подъехавший на шум парень в кожаной куртке и мотоциклетных очках на лбу, толпились мальчишки, спокойно наблюдали за происходящим красивые, здоровые, по-городскому одетые жены братьев Кандауровых.

— Гляди, народ, что Ванечка Юдин с фронту привез!

Глядели на изуродованного человека притихающее солнце, повечернему шелестящие тополя, красные рябины, мягкоцветные черемухи; заглядывали на смертельные раны река Обь, желторожие подсолнухи, дома, небо, белое облако; глядели и три брата Кандауровых, изуродованные лица которых были такими же, как Ванечкин живот. Они, братья, горели в танке, носящем имя «Смерть Гитлеру»; на теле братьев не было живого участка кожи, как и на лицах со сгоревшими веками без ресниц. Спокойно, безмятежно глядели братья на Ванечкину рану, и Ванечка понемногу затихал — перестал кричать, сделал попытку запахнуться в разодранную до пупа майку с отдельными буквами «о» и «ж», протрезвленно встряхнул головой.

— Не вы одне воевали! — тихо проговорил он.— Не вы одне в орденах да медалях!

Вот что говорил Ванечка Юдин, чтобы оправдаться перед братьями Кандауровыми, с которыми вместе учился, дружил, вместе пошел

в армию; ехали они в одной теплушке, вместе писали письма домой, вместе вспоминали родную Обь — все было одинаковым в их судьбе, пока война не развела по разным подразделениям: Ванечку зачислила в пехоту, братьев — в танковые войска. А после войны еще одно разделение — сержанты Кандауровы вернулись на шпалозавод, а уволенный из армии старший лейтенант Юдин пошел скитаться по мелким начальственным должностям: был председателем ДОСААФа, артели «8 Марта», заведующим клубом, уполномоченным по сбору лекарственных растений, заведующим магазином, а сейчас работал в спортивном обществе «Урожай».

Тихо было на улице. Славно было. Солнце уж присело заметно к горизонту, лучи потеряли резкость, приглушились, и теперь было еще заметнее, чем утром, какая хорошая деревня этот/поселок Чила-Юл. Ласково и мило светились окна домов, чистота улицы под мягким солнцем казалась комнатной, деревья пошевеливали свежей листвой, река катилась бесшумно мирно, по-равнинному.

— Поднадень, Ванечка, другу майку! — раздался в толпе тихий и робкий голос.— Я вот принесла...

Из толпы осторожно вышла женщина с маленьким птичьим лицом, подталкиваемая в спину суковатой палкой бабки Клани Шестерни, приблизилась к Ванечке Юдину, протянула ему застиранную майку с надписью «Урожай». Это была жена Ванечки, счетоводша шпалозавода Вера Ивановна. Отдав мужу майку, она снова скрылась в толпе, незаметная и серая, как соловьиха, согнутая и уже старая-старая, хотя ей не было и пятидесяти.

— Поднаденься, Ванечка! — сказал из толпы старик Протасов.— Поднаденься, чтобы брюхо-то не застудить...

— Прокричался, Ванечка? — негромко спросил старший из Кандауровых, брат Иван.— Надорвал, поди, горло-то!

Пьяные молчали. Давно привалился к забору и подремывал Семен Баландин, сидел отдыхающе на свежей траве Устин Шемяка, улыбался растерянно испуганный и бледный Витька Малых. На крыше шпалозаводской конторы радиодинамик пел про Волгу, на которой есть утес, смеялись на огородах женщины, собирающие к ужину белобокие огурцы, в отдалении скрипел колодезный журавель.

— Наше терпенье кончатся! — прежним тоном сказал старший брат Иван.— Ты, конечно, человек раненый, геройский, Ванечка, но тебе надо укорот дать. Семена Василича будем в больницу класть, Устина мы, конечно, из бригады сволим, ежели будет продолжать, а с тобой что?.. Как на тебя управу найти, если ты от району работашь?

Голос Ивана Кандаурова был тих, заботлив, серые глаза в меру жестковаты и в меру печальны, обожженное лицо казалось особенно страшным оттого, что было спокойно.

Братья по-прежнему стояли тесно, загораживая весь тротуар, касались плечами друг друга, а пьяные, слушая неторопливую речь Ивана, понемногу повертывались к Семену Баландину с таким упрямством и необходимостью, как повертывается к солнцу желтый подсолнух.

— Семен Василич, а Семен Василич! — громко позвал Устин.— Очнись, Семен Василич!

Снижающееся солнце било в опухшее, водянистое лицо Семена Баландина, высветляя громадные мешки под глазами, растрескавшиеся до крови сухие губы, щербатый рот. Приплюснутый к забору, раздавленный собственной тяжестью, Семен все-таки оторвал голову от лацкана грязного пиджака, поглядев на братьев стеклянными глазами, заученным, механическим голосом спросил:

— Ты меня уважал, Иван, когда я был директором? Нет, ты мне прямо скажи, уважал? Ты меня уважал?

— Уважал.

Семен Баландин выпрямился, найдя мутными глазами сидящего на земле мужика Ульева, торжественно показал на него пальцем.

— А ты, Ульев, меня уважал?

— Шибко уважал, Семен Васильевич! — ответил Ульев, продолжая сидеть.— Мы от тебя, кроме пользы, ничего не видели...

— А что ты мне сказал, Ульев, когда я к тебе на первомайскую гулянку отказался прийти?

— Зазнался, говорю, Семен Васильевич.

— Во! Правильно!

Оторвав спину от забора, Семен Баландин опасно покачнулся, начал падать, но не упал, а побежал вперед и повис на плече Ивана Кандаурова. По инерции Семен прилег щекой на грудь Ивана, удержав равновесие, оттолкнулся от Ивана руками и снизу вверх заглянул в страшное лицо бывшего танкиста.

— Хорошие ребята меня приглашали, чтобы поделиться радостью,— сказал Семен,— а вот такие, как Ульев, из подхалимажа... А откажешь ему, на всю деревню крик: «Баландин не уважает рабочего человека!»

Семен Баландин еще раз опасно покачнулся, задержав падение на плече Витьки Малых, пронзительно посмотрел на приятелей и так зачмокал губами, точно сдувал муху с подбородка.

— Ты зачем меня приглашал, Ульев? — тоненьким голосом спросил Баландин.— Тебе чего от меня надо было? Ты отвечай! Чего тебе от меня надо было?

Ульев поднялся с земли, отряхнул с брюк сухие травинки, стал боком отходить в сторону.

— Стой, Ульев! — тонко крикнул Семен Баландин.— Ты зачем меня в гости приглашал? Чего тебе от меня надо было?.. Не отвечаешь?! Тогда дай мне трешку, Ульев! Сейчас дай трешку, когда я не директор шпалозавода!.. Дай трешку! Дай!

Радиоприемник на конторской крыше сообщал о том, что Черное море — самое синее в мире, по улице катили на велосипедах с десяток мальчишек, на западной стороне неба загорелось красным светофорным светом маленькое неподвижное облако, и кожаный парень на мотоцикле мчался к нему с девчонкой на заднем сиденье. Девчонка обхватила парня за талию трепетными руками, ее длин-

ные волосы не успевали за мотоциклом и казались соединенными с клубами каштановой пыли.

— Давай и мне трешку! — выпучив глаза, истерично заорал Ванечка Юдин.— Давай и мне трешку, Ульев! Рази не я играл тебе на баяне? Кто тебе играл на музыке, гада сопливая? Гони и мне трешку, раз сидишь, как в кино, и на нас глядишь... Давай деньги!

Не обращая внимания на визжащего Ванечку Юдина, Иван Кандауров неторопливо повернулся к братьям и тихо сказал, кивая на Баландина:

— Вот до чего человек дошел, не то что здоровье, а и совесть у него водка отняла... Вся деревня виновата, а он сам правый... Все перед ним в ответе...— Он грустно покачал головой.— Так-то оно, конечно, полегче...

Толпа понемногу расходилась. С треском и ревом клаксона унесся на мотоцикле «Ява» парень в кожаной куртке; пошли, семеня ногами под длинными юбками, словно плывя по тротуару, две печальные женщины; рассеивались по переулкам ребятишки, старики на скамейках снова занялись молчанием, перевариванием пищи, своим собственным стариковским разговором. На улице стало пусто, и только мужик Ульев по-прежнему сидел на траве.

8

И снова по поселку Чила-Юл шла четверка пьяных приятелей. Они двигались в том направлении, куда концентрическими лучами сходилась сейчас вся воскресная поселковая жизнь,— к большому деревянному клубу. Здесь приближался семичасовой сеанс, жужжал киноаппарат, киномеханик Гришка Мерлян уже покуривал на перилах, рядом на футбольной и волейбольной площадках ухали мячи, на клубных лавочках сидели старики, гуляли по тротуарам парами девчата, ездили вокруг клуба на велосипедах мальчишки. Возле клуба было шумно и весело, под лучами приглушенного солнца сверкали разноцветные одежды, празднично зеленело футбольное поле, уже висел над домами прозрачный месяц.

Отделенная от всего воскресного мира, похожая на людей, возвращающихся из плена, приближалась пьяная четверка к нарядному и веселому многолюдью клуба. У приятелей были такие бледные лица, словно не существовало на земле солнца, кожа была так суха и припорошена пылью, точно на земле не было воды, одежда была такой серой, словно над землей никогда не выгибалась разноцветной дугой радуга. Грязным с головы до ног был нище одетый Семен Баландин, потеряла разноцветье клетчатая ковбойка Устина Шемяки, в волосах опьяневшего Витьки Малых путались желтые хвоинки, оброс за день рыжей жидкой щетиной Ванечка Юдин. Серо-темные, качающиеся, они казались движущимся мрачным пятном на чистом и светлом разноцветье воскресного поселка.

С жалостью и ужасом глядел клубный народ на бывшего дирек-

тора шпалозавода Семена Васильевича Баландина — самого грязного, опустившегося и несчастного из знаменитой четверки. Когда он подошел к веселому клубу, два старика на крашеной скамейке переглянулись, покачав головами, и неторопливо обменялись впечатлениями:

— Семену бы Васильичу надоть бы в баню сходить! — неторопливо заметил рыжебородый дед и положил подбородок на палку.— Вот ежели ты возьмешь, Флегонтыч, купца, то он через баню себя блюл...

— Твоя правда, Макарыч,— согласился второй старик, костистый и совершенно лысый.— Баня ему не помешат, но и воздух нужон. Через это ему бы надоть в тайгу податься!

Насмешливо, зло и неприязненно смотрел клубный народ на блаженно-красного, счастливого собой и опьянением, всем миром и друзьями Устина Шемяку, которому поселок не прощал того, что сильный, здоровый мужик, как говорили в поселке, «смущал на пьянство» Семена Баландина, Ванечку Юдина и совсем молодого Витьку Малых.

С состраданием и виной перед его фронтовым прошлым смотрел поселковый народ на Ванечку Юдина, о пьянстве которого говорили давно устоявшейся, привычной фразой: «Ванечка-то, он ведь на войне спорченный».

Равнодушно глядел клубный народ на чужака забайкальца Витьку Малых, которому ничего не приписывалось, за которым ни вины, ни добра не числилось, а упоминался он всегда только в связи с Семеном Баландиным, да и то мельком.

Пристально и по-деревенски дотошно глядел клубный народ на четверых приятелей, но уже можно было заметить, что глаза наблюдателей постепенно сходятся на Ванечке Юдине, так как именно он возле поселкового клуба проявлял особую активность: фыркал и нетерпеливо переступал ногами, кривил нижнюю губу, выпячивал грудь.

Отлично зная, что за этим последует, старики на скамеечке прерывали беседу, мальчишки останавливали велосипеды, не занятые волейболом и футболом парни подходили поближе, а киномеханик Гришка Мерлян переместился на более удобное для наблюдений место.

Ванечка Юдин продолжал наливаться злобой. Вот он ненавидяще поглядел на футболистов, вот злобным зверьком ощерился на волейбольного судью, вот хищно наклонился вперед, как бы собираясь прыгнуть на ближнего к нему парня, а пальцами сделал такое движение, словно выпускал когти. Потом Ванечка сорвался с места, подбежал к волейболисту, подающему мяч, схватил его за руку.

— Ты откуда подаешь, гадость?! — визгливо закричал Ванечка.— Было же говорено, что надоть отходить два метра до черты! А ты чего делашь, кила бычачья?! Ты чего делашь?.. А это кто играт? Это кто играт, я вас спрашиваю?!

Всплеснув руками и тут же забыв о подающем, Ванечка, шата-

ясь, подошел к высокому белоголовому парню, издевательски улыбаясь, начал поигрывать отставленной в сторону ногой.

— А тебе кто позволил выйтить на площадку? — тихо спросил Ванечка и начальственно-важно огляделся по сторонам.— Я рази тебя не дисви... Я рази тебя не дискви... Я рази тебя не прогнал с площадки? — выпучив глаза, заорал Ванечка.— Я рази не запретил тебе, гадость, ходить на площадку, как ты спортил волейбольный мяч?! А ну, подь ко мне! Второй раз повторяю: подь ко мне... Да не ты, не ты! А вот ты, Сметанин, подь ко мне...

Ванечка Юдин еще раз начальственно и насупленно посмотрел по сторонам, саркастически улыбнувшись, неторопливо вынул из кармана грязный блокнот и огрызок карандаша.

— Такие будут распоряжения, Сметанин! — сквозь зубы процедил Ванечка.— Во-первых, ты, Сметанин, с капитанов свольняешься, во-вторых, вон тот Неганов, который мяч спортил, от игры отстранятся на полгода, в-третьих, сымай сетку... Седни игры не будет! Лишаю вас игры, как вы не сполняете вышестоящие приказы спортивного руководства... Давай, давай, сымай сетку!.. Кроме того, ты завтра подойди ко мне, Сметанин... Подойди ко мне утречком — я с тобой по отдельности разберусь!

Поигрывающий отставленной ногой жесткогубый, с выкаченными глазами, Ванечка Юдин сейчас не был смешон. В глазах Ванечки блестели все фронтовые ордена и медали, выглядывала из них вся его послевоенная мелконачальственная жизнь, сверкал огонь до сих пор не погасшей жажды командовать, приказывать, увольнять.

— Пошли, Ванечка! — тихо сказал Витька Малых, страдая за товарища.

Но Ванечка Юдин не услышал приятеля. Он еще раз саркастически улыбнулся, поглядев на Сметанина как на пустое место, сам пошел к волейбольной сетке, чтобы снять ее, и в том, как он шел, как двигался и как нес плечи, тоже не было ничего смешного, ничего легкого.

Ванечке Юдину оставалось всего несколько шагов до волейбольной сетки, когда от футболистов отделилась спокойная фигура в длинных трусах. У приближающегося человека были незагорелые рыжие ноги, обутые в разноцветные бутсы, на голове проглядывала сеточка, надетая для того, чтобы не путались волосы, на футболке белели буквы «Динамо».

— Морщиков! — испуганно вскрикнул Витька Малых.— Тикаем, Ванечка!

Участковый инспектор милиции старший лейтенант Морщиков, играющий в поселковой команде центральным защитником, был таким неторопливым и вальяжным человеком, так берег свои футбольные силы, что до сетки дойти не изволил: остановившись на краю футбольного поля, он поднял руки и показал Ванечке десять растопыренных пальцев.

— Десять суток! — обмирая, охнул Витька.— Тикаем, тикаем, Ванечка!

Юдин сник так быстро, как сникает человек, если его, швырнув наземь, придавливают коленом. Он болезненно сморщился, выронив из пальцев блокнот и карандаш, попятился, прикрываясь Витькой Малых, ибо милиционер глядел на Ванечку так, точно еще не решил, возвращаться ли на место центрального защитника или надевать форму, висящую на стойке правых ворот. Когда же Витька и Ванечка допятились до Семена и Устина, милиционер помахал им рукой: «Вон с площадки!»

Четверо пьяных медленно отступали, все пятились и пятились, и Семен Баландин не спускал глаз с вратаря, который стоял у ворот, привалившись спиной к штанге. Это был крановщик Борис Цыпылов — опять весь белый, горячий от закатного солнца. Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый!.. Поиграет в футбол, примет в клубной кочегарке душ, пойдет домой на длинных легких ногах. Перешагнув порог, поцелует жену, детей, поеживаясь от счастья, усталости и здоровья, ляжет в кровать. Чистые простыни! Пододеяльник! Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый!

— От клуба не надо бы уходить! — озабоченно шепнул Устин Шемяка, когда приятели благополучно выбрались из клубной ограды.— Якименко сегодня шибко гулят... У его сын из армии возвернувшись...

В доме рамщика Якименко действительно праздновали весь вчерашний вечер и сегодняшний день, сменилось за это время четыре очереди гостей, но к семи часам вечера гулянка уже совсем распалась — сын Васька шастал в кедрачах с Шуркой Петровой, жена Якименко так ухайдакалась с гостями, что непробудно спала, гости разошлись, а Георгий Якименко, оставшийся в одиночестве, принес отцовскую радость клубному крыльцу, буфету и шампанскому, которое очень любил.

Теперь он стоял возле клубного буфета, не протрезвившись еще, лучась радостью здорового и благополучного человека, курил привезенную Васькой из Германии заграничную сигарету и просыпал пепел на черный выходной костюм.

— Я уж не говорю за то, что Васька — кругом классный специалист! — рассказывал Якименко хитрованному старику Пуныгину.— Я уж на то вниманья не обрашшаю, что он от генерала три благодарности имет, а я за то хочу тебе, Гаврилыч, сказать, что сын у меня к родителям уважительный. Факт, Гаврилыч, такой... Как это мы зачали гулять, так он, Васька, сразу: «Вы, говорит, папа, и вы, говорит, мама, себя по неправильности ставите, как на обычны места сели. Вы, говорит, в этом доме самы главны! Вам, говорит, надоть поперед всех сидеть...» Вот те палец на отруб, что так и говорит! Хошь у кого спроси...

В этом месте рассказа рамщик Георгий Якименко, конечно, восторженно хлопнул ладонью по плечу старика Пуныгина, старик Пуныгин, конечно, от тяжелой руки рамщика покачнулся, но ничего супротивного не сказал, и Георгий Якименко продолжал бы и даль-

ше свой восторженный рассказ, если бы сбоку не послышался знакомый голос Устина Шемяки.

— Здоров, Жора! — восторженно закричал Устин Шемяка и тоже звонко шлепнул рамщика по широкому плечу.— Здорова, черт собачий! Чего ж это ты от народа утаиваешь, Жорка, что Васька-то весь в медалях из армии пришедший?! Ах ты, Жорка, черт собачий! Дай я тебя поцелую!

И так хорошо сияло доброе лицо Устина, такими искренними были его глаза и радость за Жору Якименко, что рамщик сразу понял: пришел тот человек, которого он, Якименко, ждал со вчерашнего вечера. Устин Шемяка не станет морщиться и недоверчиво покачивать головой, как хитрый дед Пуныгин, Устин Шемяка не будет жеманно отказываться от выпивки, как солидные гости, Устин разделит с рамщиком каждую капельку его счастья и радости.

— Устинушка, родна кровинушка! — в рифму заорал обрадованный рамщик.— Да где ж ты был, где ж ты пропадал, ласточка моя! Ой да ты Устинушка, родна кровинушка! Да ведь мы с тобой, Устинушка, ровно братья... Уж сколь мы с тобой лесу переворочали, сколь мы бревен на себе перетаскали! Виринея, ну, где ты есть, Виринея, когда мой самолутший друг пришел?

Рамщик Якименко разметал в стороны очередь возле буфета, до пояса просунувшись в окошко, заорал в краснощекое лицо буфетчицы Виринеи Колотовкиной:

— Шанпанского нам, любушка, шанпанского!

Выдравшись из окошка обратно, рамщик взасос поцеловал Устина Шемяку, хохоча и приплясывая, кинулся обнимать старика Пуныгина.

— И дружков своих сюда подавай, Устинушка, родна кровинушка! — кричал рамщик.— Весь поселок сюда давай! Виринея, дышло те в горлышко! Шанпанского... Ха-ха-ха! Рамщик Георгий Петрович Якименко гулят! Сын у него вернулся из армии!.. Васька вернулся!.. А ну подходи, который там народ... Батюшки! Да и сам Семен Васильевич тута! Мать родненька, да это мой родной племяшка Ванечка, сестры моей родной сын!.. Держись, народ, Гошка Якименко гулят!.. Виринея, шанпанского!.. Семен Василич, дай я тебя поцелую. Да ты и сам не знаешь, какой ты есть человек, Семен Василич!.. Виринея, три плитки шиколада!.. Жорка Якименко гулят!

9

Солнце понемножку спускалось к луговым озерам и веретям, бежали по сорам фиолетовые тени, предзакатно розовела Обь, и мерно постукивал мотором катер на зеркально-гладкой воде. На поляне было уже сумрачно, над землей струился прохладный воздух, висели уже над Заобьем две крупных звезды, а луна, набрав силу, сверкала холодно, словно льдинка. На потемневшей поляне валялись пустые

бутылки от шампанского, станиолевые обертки от шоколада, пустые консервные банки...

Минут десять назад ушел домой вдруг отчего-то заскучавший Георгий Якименко, и на поляне оставались только четверо приятелей. Валялся на захолодавшей земле Семен Баландин, подремывал с открытыми глазами Ванечка Юдин, радостно и тупо улыбался Устин Шемяка, а Витька Малых время от времени задирал голову, обнажая белые, молодые зубы, громко хохотал. От шампанского, которое Витька пил жадно, как ситро, лицо у него порозовело, движения замедлились, и не было уже в парне ничего от того утреннего Витьки Малых, который лучился радостью, вихляясь из стороны в сторону, пел песню про моряка, что едет на побывку.

Устин Шемяка сладостно улыбался. Он сидел, по-восточному скрестив ноги, покачивался из стороны в сторону, как на молитве; лицо пьяного сладко морщилось, глаза тонули в чувственных морщинах, мускулистая фигура сделалась вялой, бескостной. Из могучего мужика сейчас можно было вить веревки и плести лапти, завязывать его узлом, волочить за собой на уздечке. Сейчас Устин Шемяка никаких перемен состояния не хотел: ни разговоров, ни песен, ни водки, ни движений, ни сна, ни бодрости.

Ванечка Юдин сидел с открытыми остановившимися глазами, совершенно слепыми и по-мертвому остекленевшими, хотя со стороны можно было подумать, что Ванечка видит закатывающееся солнце, сиреневую, как утром, реку и серых по-вечернему чаек.

— Ой, братцы, умру! — медленно захохотав, сказал Витька Малых.— Ну до чего смешно!

Смех его волной пронесся над ельником и поляной, заглохнув в траве, эхом побродил под яром; было тихо, жаловалась иволга за деревенскими огородами, молчал воскресный шпалозавод, пошипливала паром локомобильная электростанция.

— Я просто от смеха помираю! — пожаловался Витька Малых, прикрывая хохочущий рот ладонью.— Ой, чего я вспомнил... Вы от смеха на землю ляжете, братцы!

У пьяного Витьки были детские интонации, нижняя губа капризно оттопыривалась, глаза сияли, а щеки щипал пьяный румянец; смеясь, парень отклонился назад, всплеснув руками, завлекающе повторил:

— Ой, что я вспомнил, братцы! Устинушка, Ванечка, Семен Васильевич... Семен Васильевич, да ты слышишь ли меня?

Оторвался и упал в воду с яра большой кусок ослизшей глины, услышав всплеск, зорко глянула на реку ближняя к яру чайка, помедлив, на всякий случай спланировала туда.

— А я все равно расскажу!

Витька вскочил, встав на колени, расширившимися глазами обвел приятелей — полуобморочного Семена Баландина, закаменевшего Ванечку Юдина, улыбающегося Устина Шемяку.

— А я все равно расскажу! — повторил Витька и снова нежно

засмеялся.— Я возьму да и расскажу... Ой, братцы, что я вам расскажу!..

Описав два плавных круга, чайка поплыла вверх и вверх, словно ее поднимали на невидимой ниточке.

РАССКАЗ ВИТЬКИ МАЛЫХ

Ой, братцы, я вам такое расскажу, что вы со смеху помрете... Я не то чтобы пьяный, но голова у меня кружится, а ты, Устинушка, моя кровинушка, не сиди как турок — я уже от хохоту помираю... Ну, дело было на родине, в Забайкалье. Как-то раз ко мне приходит Федька Галицын. Черный такой, из полубурятов, здоровается, просит попить. Ну я ему даю ковшик воды из речки Ингоды... Ох и вкусная же вода, братцы! Ну Федька Галицын выпивает ковш воды, садится на мою кровать — я тогда при мамке и папке жил — и говорит: «Витька, а Витька, айда-ка на танцы, там все наши бабы будут, если хочешь, я тебя с Веркой Тереньевой познакомлю, она на тебя глаз кладет!» Ладно! Надеваю я вельветовые штаны, белую рубаху, надрючиваю туфли. Приходим мы в горсад, музыка играет, Федька меня с ходу к трем бабам подводит. Одна баба — его симпатия, то есть Женечка, вторая — кто, неизвестно, третья — Верка Тереньева... Ростом с меня, здесь — порядок, здесь — будь здоров, ноги — во! «Чего вы,— говорит,— Витенька, на танцы не ходите? Если не умеете, я вас — мигом!» Я говорю: «Ладно!» А тут Федька шепчет: «Давай с Веркой от третьей лишней откалывайся! Потанцуем маленько и пойдем ко мне в общежитку. Я сегодня один — все на линию уехали!» Федька на железной дороге работал, бригадиром, рельсы менял... Ладно! Мы с Веркой от той бабы, которая не знаю кто, откалываемся, гуляем по горсаду, она меня, как зайдем в тень, обнимает да целует. Она за меня замуж хотела! Это сейчас мне двадцать два, а тогда и двадцати не было, я из себя был ничего — молодой, волос у меня был кудрявый... Ладно! Верка, она так: здесь у нее — порядок, здесь — будь здоров, ноги — во, но мне она не сильно нравилась. У нее верхняя губа толще нижней, когда целуется, мне воздуху не хватает... Ладно! Значит, она обнимается, целуется, я терплю, чтобы не обидеть,— она баба хорошая, а тут и Федька: «А не прогуляться ли нам?» Верка, конечно, спрашивает, куда гулять, и Федька прямо режет: «Возьмем,— говорит,— чего-нибудь выпить да и пойдем ко мне в общежитку!» Ну, Верка, конечно, сразу за меня цепляться, лакированными туфлями — цок-цок! Значит, ей со мной хоть на край света, а Федькина Женька — ни в какую! То да се — идти не хочет... Тут Верка ее в сторону отводит, на нее сердится, а Федька — мне: «Ты не теряйся, Витька! Ты чего краснеешь?» Ну, тут подходят Верка с Женькой, говорят: «Согласны!» Ладно! Идем мы, значит, в общежитку, идем, значит, через вокзал, так как водку только и можно достать как на вокзале... Ну, приходим на вокзал. Федька — в буфет, а мы — на перрон. Я это дело люблю. Один поезд туда, другой

сюда, а тут — нате вам! — приходит экспресс Владивосток — Москва. Ресторан в нем, через окно видать, что у буфетчицы, на голове кружева. Ладно! «Вы,— говорю,— бабы, стойте на месте, я бананы куплю!» Я эти бананы сильнее других фруктов люблю — ох и сладки, ох и мягки! Ладно! Иду я в вагон-ресторан, покупаю два килограмма бананов, спускаюсь с подножки, а тут драка... Что такое? Почему? Один мильтон свистит в свисток, двое бегут слева, четвертый — майор — сверху по мраморным ступенькам спускается... Дальше гляжу: ужасть! Еще дальше гляжу: мать честная! Один пассажир при пижаме кровью обливается, три пассажира — эти без пижам — на него наскакивают... Что такое? Почему? Он один, вас трое, милиционеры еще бегут, а майор неторопливо спускается... Ладно! Вижу: один — без пижамы — обратно размахивается и трах по сопатке того, что в пижаме. «Вор! Поездной вор!» Ладно! Хватаю того, что без пижамы, за руку, спокойно говорю: «Чего ты его по сопатке хлещешь, когда она уже разбитая?» Тут слышу: меня — хрясть по голове! Оглядываюсь: это второй, который тоже без пижамы, да еще и орет: «Сообщник! Где милиция?» Ладно! Подбегают. Разом три мильтона, майор с мрамора спускается и говорит: «Садите-ка всех их в вагон, на месте преступления разберемся...» Ха-ха-ха! Значит, девки наши стоят, ничего понять не могут, а потом Верка — вот за что я ее уважать стал! — ка-а-ак бросится к нам, ка-а-а-ак схватит милиционера за руку: «Не троньте его! Витенька чистый, как стекло!» Ха-ха-ха! Руки мне назад шнурком вяжут, я со смеху помираю, но кричу: «Да я же читинский, на Большой Бульварной родился... Чего вы меня волокете, когда я только к поезду подошел?» А майору не до смеха: «Разберемся, на какой ты улице родился!» Ха-ха-ха! Ну, дальше вы вообще от смехотки концы отдадите!.. Два милиционера заталкивают меня в купе, третий приводит проводницу и на меня: «Он?» А она... ой, не могу, ой, дайте просмеяться... Ха-ха-ха! Проводница-то и говорит: «Он!» И начинается такая потеха, что я совсем обезживотел... Везут меня до Хилка, а мне завтра к восьми на работу, а ключ от экскаватора у меня в кармане... Вот умора, братцы! Ха-ха-ха! Ну, отчего я такой пьяный, что луна-то... И ведь две, братцы, вот смех-то! Одна — слева, другая — справа... Ну, отчего я такой пьяный! Да, не молчите вы, ребята!.. Мне одному скучно, мне одному холодно...

Витька Малых упал грудью на землю, вздрагивая и пьяно икая, потом постепенно затих, косо и неловко положив голову на траву. Ресницы у Витьки смежились, синеватое глазное яблоко увлажнилось, и это сделало его совсем похожим на сонную птицу.

— И почему это так всегда получается,— прошептал он,— что я сбоку припека... В какое дело ни вмешаюсь — и мне хуже, и другим плохо... Майор-то мне в Хилке и говорит: «Мы этого поездного вора давно приметили, а когда тебя увидели, решили: сообщник!» И чего это я всегда сбоку припека?

В тишине и молчании прошло минут десять. По-прежнему каменно сидел Ванечка Юдин. Не двигался, чтобы не пролить радости опьянения, Устин Шемяка. Медленно, как бы по частям возвращал-

ся в мир солнце-заката Семен Баландин, обморочно-бледный, опухший, тоненько стонал: невыносимо болела звенящая, как бы стиснутая пыточными обручами голова, пустой желудок — Семен Баландин три дня не ел — терзали острые спазмы, в ушах гудело, трещало, выло, как при настройке радиоприемника, над глазницами время от времени вспыхивали колющие острые молнии, больные, как укол тонкой раскаленной иглой.

Поддерживая немощное тело руками, уронив голову на грудь, Семен Баландин исподлобья глядел на то, как славно и тихо опускается на землю лунная ночь. Солнце уже пряталось за сизую дымку, устав за длинный жаркий день, накрывалось ею, как пуховым одеялом, все краски мира походили на размытую акварель, и, наверное, от этого чудилось, что в теплом воздухе пел тоненький и грустный пастуший рожок, хотя в безмолвии по-прежнему существовало два звука: все еще стонала иволга да поплескивала под яром розовая обская вода.

— Утопиться бы! — медленно сказал Семен Баландин.— Утопиться бы!

В его голосе звучала тоска по теплой вечерней воде, извечному плавному ходу реки на север, покою берегов, блаженству вечного движения, бесчувственности, беззаботности, сладости всегдашнего неба над зелеными холмиками кладбища... Как хорошо дереву, воде, розовому горизонту... На речном дне покачивались водоросли, ходили сытые и сонные рыбы, донный нежный песок отражал розовость тихой воды. Вечность, медленные движения, покой...

Молодые сине-розовые ели как бы сами собой раздвинулись, показалась седая макушка бабки Клани Шестерни, но дальше бабка не продвинулась — остановилась, пропуская вперед жену Устина Шемяки, тетку Нелю, и серенькую бессловесную счетоводшу Веру Ивановну Юдину. Женщины двигались бесшумно, их появление казалось таким же естественным и необходимым сейчас, как закат солнца, прозрачный свет луны над рекой, тонкий звон комариных крыльев; их появление было таким естественным и необходимым, что Витька Малых печально улыбнулся, Семен Баландин вздохнул, а Ванечка Юдин и Устин Шемяка глядели на жен совершенно спокойно.

Дальнейшее произошло в тишине и неторопливости. Тетка Неля положила одну ручищу на плечо мужа, второй схватила его за волосы и потянула вверх таким движением, словно выдергивала из земли крупную редиску, и пьяный Устин начал медленно приподниматься, как бы вырастая, как бы возникая из ничего. Тетка Неля подняла его лицо до уровня своего лица, повернув к себе, встряхнула, точно полный мешок перед тем, как завязать его.

— Нажрался до отвала, гада! — неторопливым шепотом спросила она мужа и наотмашь ударила его ладонью по щеке.— Нажрался, гада, а огород не огорожен, картошка из погреба не достата...

Она во второй раз хлобыстнула мужа, не отпуская, вытерла ладонь о свое согнутое колено.

— Нажрался, гада, сверх покрышки, а дрова не колоты, огород неполитый, корове ботало не достато!.. На тебе! На тебе!

Замедленно улыбаясь, помолодев, покрасивев, тетка Неля заскорузлой железной ладонью била мужа по нежной розовой щеке.

Загубленная пьянством мужа молодость — на тебе! Припадочный сын, зачатый в пьяную ночь, на тебе! Тысячи пропитых рублей, бабье одиночество в холодной кровати, дом без хозяина, дети без отца, насмешки соседок, позор и поношение — на тебе, на тебе, на тебе!

— На тебе! На тебе, гада такая!

Теперь уже три звука существовали в вечерней тишине: стон иволги, плеск обской волны, звонкие удары по живому телу... Попрежнему призывно глядел на темную реку несчастный Семен Баландин; страдая и боязливо втягивая голову в плечи, смотрел на избиение Витька Малых, а очнувшийся Ванечка Юдин хохотал.

— Давай, тетка Неля! Валяй, тетка Неля! — кричал Ванечка.— Жги, тетка Нель, жги!

Но дело уже шло к концу. Широко расставляя ноги, тетка Неля двинулась к ельнику, волоча за собой обмякшего мужа. И только тогда обнаружилось, что на поляне нет жены Ванечки — так она незаметно исчезла. А сам Ванечка Юдин, оказывается, уже стоял на ногах, ощерившись, глядел в ту сторону, куда ушли Устин с женой, и выражение лица Ванечки было такое, точно он продолжал кричать: «Жги его, Неля, жги его!»

Маленький, хилый Ванечка Юдин казался неожиданно крупным на фоне неба, левобережья и прозрачной луны. Лицо Ванечки было покрыто мелкими морщинами, кожа на скулах натянулась, нервно шевелил увядшую кожу шеи острый кадык. Ванечка покачивался, скрипел зубами.

— Нечего сидеть! — крикнул он сдавленным голосом.— Надо дальше иттить... Подымайся, Семен! Витька, гадость, тоже вставай... Чего расселся, губастик чертов!

10

Солнце только что спряталось за синюю дымку, голубые задумчивые тени лежали на гладкой дороге, по-ночному мычали доеные коровы, бегали по тротуарам обрадованные вечерней прохладой собаки. Поселок отужинал и посмотрел кино, отыграл в футбол и волейбол, отсидел на лавочках; понемногу пустело на улицах, исчезали последние человеческие звуки, во всем, что видел глаз, уже жил длинный рабочий понедельник, о котором не думали только молодые.

Накинув подружкам на плечи свои пиджаки, прогуливали возлюбленных парни, тесно сблизив головы, сидели на свободных от стариков и старух лавочках; те, что постарше, уводили девчат за околицу деревни — целоваться и шептать на ухо ночные слова. Мотоциклисты с девчатами на заднем сиденье давно унеслись в луга и ве-

рети; шли в обнимку со своими девчонками волейболисты и футболисты в майках с надписью: «Урожай».

В пьяной тройке снова произошла перестановка: впереди, как утром, энергично шагал Ванечка Юдин, за ним — Семен Баландин, он сейчас почти не покачивался, но двигался зыбко, неуверенно, словно ощупывая подошвами каждый сантиметр деревянного тротуара. Витька Малых побледнел, осунулся, то и дело ежился, точно ему было холодно. Замыкая пьяную тройку, Витька заботливо приглядывал за Семеном Баландиным, хотя сам волочил ноги, по-старчески шаркал подошвами.

Приятели шли в никуда, шли только потому, что надо было двигаться... Давно закрылся магазин, в домах гасли огни, считанные минуты оставались до конца работы клубного буфета... Тройка шла как бы на ощупь. Они вяло прошли от ельника до сельповского магазина, обреченно постояв возле закрытых дверей, двинулись дальше. Теперь их мог выручить только счастливый случай. Иногда случалось, что в одном из домов горел огонек позднего застолья, иногда на пути пьяных встречался тоже пьяный односельчанин, не допивший спиртные домашние припасы, иногда...

Счастливый случай на этот раз явился в облике мужчины средних лет явно не чила-юльского происхождения. Мужчина прогуливался между крохотной поселковой гостиницей, называемой заезжей, и сельповским магазином. Счастливый Случай, Благоприятный к Пьяным, держал в руке тальниковый прутик, беззаботно помахивая им, наслаждался деревенской тишиной, теплым вечером, молодой луной. По внешнему виду мужчина был из командированных, которые на шпалозавод приезжали часто: что-нибудь проверять или расследовать, изучать какой-нибудь вопрос, чем-нибудь помогать. Счастливый Случай был облачен в хороший костюм, туфли отражали последние блики заката, в галстуке затаенно поблескивала булавка.

— Рубль идет! — шепнул Ванечка.— Стойте на месте!

Продолжая злобно скалить зубы, Ванечка журавлиными ногами подошел к незнакомому мужчине, низко поклонившись, вдруг кокетливо улыбнулся и сделал ручкой так, как делают кавалеры в полонезе.

— Драствуйте! — ласково сказал Ванечка.— Прощайте меня великодушно, товарищ командировочный, но терпежу нет, когда я такое дело вижу...

Ванечка потянулся к высоко вознесенному над ним лицу незнакомого мужчины, поежившись как бы от страха, показал пальцем на дымящуюся в полных губах мужчины папиросу:

— Я, дорогой товарищ, из областного центру, апрелем в больнице лежал, как раненный на фронте, так врач сказал: «Вы, товарищ раненый, еще пить-то пейте, но вот это дело ни-ни! Курить,— говорит,— много вредне, чем пить!» Прощайте великодушно, товарищ командировочный, только мое фамилие Иван Спиридоныч Юдин. Будем знакомы!

Ванечка торопливо сунул темную ладошку в большую руку

незнакомого мужчины, который повел себя неожиданно странно: не слушая Ванечку, он поверх его головы вопросительно вглядывался в неясную фигуру Семена Баландина, полузакрытого Витькой Малых.

— А ваше фамилие как будет? — развязно спросил Ванечка Юдин и мелко расхохотался.— Два колечка на руке носите... Одно, что женатый, второе — что холостой! Ох, знаем мы этих командировочных! Им баба не попадай!

Высокий незнакомец по-прежнему, тревожно вытянув шею и приподнявшись на носки, вглядывался в серую фигуру Баландина.

— Баландин! — тихо окликнул он. — Семен!

Было темно и глухо. Постояв еще немножко в напряженной позе, мужчина разочарованно опустился на пятки и, спрятав в карман ту руку, которую пожимал Ванечка Юдин, веселым басом спросил:

— Так что вам надо, товарищ?

— Рупь! — ласково ответил Ванечка.— Дайте рупь раненому фронтовику, как за народ пролившему кровь... Гоните рупь, гражданин из областного центру!

— Держи! — весело сказал мужчина и двумя пальцами подал Ванечке металлический кружок. — А теперь марш-марш, герой!

Еще раз кинув взгляд в сторону Семена Баландина, мужчина недоуменно пожал плечами, резко повернувшись, пошел в заезжую, так как хорошо погулял по широкой и короткой чила-юльской улице. Длинные и крепкие ноги уверенно уносили от пьяных сильные прямые плечи, гордо посаженную голову с седыми висками, ясную улыбку на полных губах.

— В клуб! — скомандовал оживший Ванечка.— Скорей бежим в клуб...

Возле буфетного окошечка стояли трое мужчин в брезентовых спецовках и пожилая женщина с кожаной сумкой; она уже укладывала в сумку каменные пирожки, а мужчины — рабочие рейда — ожидали очереди.

Ванечка Юдин с торопливой злобностью влетел на крыльцо, остановившись, зачем-то попятился назад, словно ему был нужен разбег. После этого Ванечка сделал обратное движение, то есть подался на полшага вперед, стиснув зубы, поочередно оглядел троих рабочих... Из клуба доносился вальс «Амурские волны», доски крыльца мерно подрагивали, ярко светилось окно буфета, похожее на окно квадратного прожектора.

— Дайте двадцать три копейки! — съеживаясь, крикнул Ванечка Юдин.— Дайте двадцать три копейки!

Маленький, хилый, израненный человек сейчас был страшен. Сквозь щелочки опухших век светились злобные глаза, налился кровью шрам возле уха, тело трепетало, извивалось, зубы — мелкие и острые — были оскалены, а туловище так наклонено вперед, словно Ванечка был готов с урчанием и визгом впиться в ногу ближайшего мужчины.

— Дайте двадцать три копейки! — дрожа, повторил Ванечка.— Дайте, дайте!

В молчании получив деньги, Ванечка купил черную бутылку плодово-ягодного вина и медленно сошел с крыльца, прижимая бутылку и стакан к несуществующему животу. Он двигался боком, оглядываясь, как двигался бы крохотный, но отважный зверек, не только избежавший смертельной опасности, но и уносящий в нору кусок шкуры врага. Дрожащий Ванечка спустился с крыльца, продолжая двигаться боком, завернул за угол клуба, чтобы оказаться в тени, в одиночестве, в радостном безлюдье.

— Идите за мной! Не стойте, идите!

Продолжая мелко дрожать, Ванечка сорвал зубами с горлышка металлическую пробку, наклонив бутылку правой рукой к стакану, стоя начал наливать. Он тяжело дышал, по лбу стекала толстая и прямая струйка пота. Налив полный стакан, Ванечка снова бережно и хищно прижал бутылку к пустоте желудка, ощерившись, хрипло крикнул:

— Давай, Сенька, принимай!

Семен Баландин пошел к стакану падающими, поскальзывающимися шагами, руки и ноги у него не дрожали, а ломились в суставах, как перешибленные, рот западал, зрачков не было — все глаза казались зрачком, утонувшим между толстыми тяжелыми веками.

— Ты знаешь, кто тебе дал рубль? — хихикнув, спросил Семен.— Борис Прокудин... Мы с ним вместе учились...

— Пей! — заорал Ванечка.— Пей, через колено ломанный!

Стакан с плодово-ягодным вином Семен Баландин держал на уровне пояса. В тишине было слышно, как стекло постукивает о нижнюю пуговицу пиджака, потом рука начала медленно вздыматься, и о стакан застучала следующая пуговица, потом еще одна и так до тех пор, пока стакан не прижался мягко к обросшему щетиной подбородку Семена. И наконец донышко стакана медленно задралось. Пил Семен мучительно долго, стеная и задыхаясь, судорожно втягивая пустой живот. И когда донышко стакана сверкнуло пустотой, Баландин медленно начал падать спиной на Витьку, который успокоенно шепнул:

— Ничего, ничего, Семен Васильевич!

После этого Витька Малых привычно уложил Семена Баландина на захолодавшую траву, повернув его вверх лицом, чтобы не задохнулся, отрицательно покачал головой, когда Ванечка протянул ему полный стакан плодово-ягодного.

— Я больше не буду! — озабоченно сказал Витька.— Мне хватит, Ванечка! Ты гляди, что с Семеном Васильевичем-то делается...

И как раз в этот момент на западной оконечности небосклона погасла последняя светлая точка дня, похожая на раскаленный, остывающий пятак. Он сначала был желто-белым, затем все краснел и краснел, потом края подернулись синеющим холодом, а уж затем холод растворил в себе все красное и оранжевое. По-ночному сделалось на улицах поселка, отданного во власть прозрачного месяца.

— Ну, видел, кила поросячья, как деньги достают? — выпив полный стакан плодово-ягодного вина, вызывающе произнес Ванечка Юдин. — Видел, как с народом надо обращаться?! А ну, садись, я тебе буду случай рассказывать, какой со мной был, когда я еще такую соплю, как ты, пополам перешибал одним мизинцем... Садись, мать твою так, когда тебе старший начальник приказывает... Садись!

Было удивительно, что самый маленький, хилый и тщедушный из четверых приятелей пьянел медленнее всех, до сих пор сохранял ощущение реальности и даже чуточку трезвел, когда выпивал очередную порцию спиртного. Однако все это было так, и Ванечка Юдин, скомандовав Витьке Малых садиться, вдруг прошелся перед ним и лежащим на спине Семеном Баландиным цепкой кривоногой походкой.

— Ну вот слушай, кила коровья, кого я тебе стану рассказывать,— грозно сказал Ванечка. — Слушай, гада ползучий, да сиди тихо, ровно тебя тут и нету... Я это терпеть не люблю, когда меня всяка прокудина на ровном месте перебиват!

РАССКАЗ ВАНЕЧКИ ЮДИНА

— Случай этот самый произошел почти что на самом кончике войны, когда в точности произошел, этого тебе знать не надо, как ты в сурьезном деле разбираешься так же хреново, как баба в рыбаловке. Мы, сказать тебе, сопля ты зеленая, тогда не то что в обороне стояли или наступление вели, а так себе — середка на половинку, пришей нашей собаке хвост, подари ихней рыбе зонтик... Я тогда старшим лейтенантом был, френч у меня полковничий, на боку два пистолета — один вальтером прозывается... Значится, стоим мы не то в обороне, не то еще в какой холере, но только мне комбат утром по телефону звонит, я трубку левой рукой беру, четко отвечаю: «Чулым слушат, товарищ комбат, какие будут ваши распоряжения, товарищ Кеть?» Это я оттого так выражаюсь, что наш полк много обского народу имел — комбат, и тот был колпашевский, так мы все родны реки себе забрали. Я, к примеру, «Чулым», комбат, как ты сам, гадость, понимаешь, «Кеть», комроты-три, к примеру, «Ягодная»... Ну ты этого тоже, через колено ломанный, понимать не можешь... «Чулым слушат, товарищ комбат!» Это я ему через телефонну трубку говорю, а он мне сразу укорот дает. «Ты, — грит,— не слушай, а поглядай по сторонам, не ори,— грит,— зазря по телефону, как немцы у тебя под носом. Ты хоть,— грит,— и геройский человек, что за восемь месяцев прошедши от сержанта до старшего лейтенанта, но ты,— грит,— у меня арест или чего еще похужее схлопочешь!» Вот так комбат беседу со мной ведет, а мне это в приятность, это мне в радость — я сам был сурьезный, строгий, так и чужу строгость любил... «Этого,— говорю,— товарищ комбат, больше не повторится, стреляйте,— говорю,— меня из того вальтера, который я вам достал, если,— говорю,— такое повторенье будет место иметь. Простите,— говорю,— виноват,— говорю,— ваше замечанье принимаю»,— го-

ворю. Он на это дело в трубку, видать, улыбается. «Ладно,— грит,— стрелять я тебя из вальтера не буду, тебе, наоборот, за него спасибо. Сам полковник Студеникин такого вальтера,— грит,— не имеет...» Вот так мы разговор с майором, что из Колпашева, ведем, обои улыбаемся, а потом он на приказанья переходит. «Ну-к,— грит,— подбери мне пяток обских ребят. Я,— грит,— с ними с ходу — в небольшу разведку. Надо,— грит,— немцев за вымя пошшупать, чего это они молчат, голосу не подают, словно их и нету, мать их за ногу!» Я отвечаю, как надо, по уставу: «Есть,— говорю,— товарищ майор, сполнить ваше распоряженье! Только,— говорю,— мне ребят нечего подбирать, как они,— говорю,— счас возле меня сидят и спорятся, кому остатний раз «бычка» курить. С куревом,— говорю,— так плохо, товарищ майор, что надо бы хужей, да некуда. У меня пулеметчики с утра не курены...» Он грит: «Знаю! Сделам! А кого ты со мной пошлешь, Юдин?» — «Как кого? Да Федьку Мурзина, да Петьку Колотовкина, да Генку Шабалина, да Анатольку Трифонова, да Олега Третьякова! Все,— говорю,— товарищ майор, наши чилаюльские, один другого охотник да рыбак лучшее, все,— говорю,— в орденах, как кедра в шишках!» Он говорит: «Это мне подходит! Хороший ты собрал контингет, Юдин!» Вот так он мне говорит, а я ему: «Будет сполнено!» После этого телефонну трубку швырк и тихонечко к тем ребятам подгребаюсь, которы из-за «бычка» спорятся. Ка-а-ак гаркну: «Смирна! Пятки вместе, носки врозь!» Ну они взвились, н-ну-у они подскочили, ровно их крутым кипятком ошпарили! Однакоть стоят ровно, на меня геройским глазом зырят, сыколики, пятки вместе, носки врозь, а я перед ними хожу, тоже весь бренчу орденами да медалями. «Вот что,— говорю,— орлы-птицы, дело скучное, не разбери-поймешь: то ли мы в обороне стоим, то ли наступленье ведем. Не разбери,— говорю,— поймешь, пришей нашей собаке хвост, подари ихней рыбе зонтик». Они, само собой, молчат, дисциплину блюдут, но по зыркалкам вижу: заговорят в строю. «Вольно,— говорю,— вопросы имеются, не стесняйся, боевой народ, не боись своего командира — спрашивай». Ну, Анатолька Трифонов и спрашивает: «А чего ты смекнул, товарищ старший лейтенант?» — «А то,— отвечаю,— что в разведку вас подошлю. Сам,— говорю,— не пойду, как у меня наблюденья и командованья много, а вот майор из Колпашева, тот с вами пойдет». Они, само собой, говорят: «Ура!», «Да здравствует старший лейтенант Иван Юдин!» — говорят. И тут как раз прибегает колпашевский майор, и я, конечно, своему боевому народу даю дисциплину: «Пятки вместе, носки врозь!» А он: «Давай закуривай, ребята!» И вынает из кармана золотой парсигар — во такой! На-а! Значит, вынает парсигар и мне: «Закуривай,— грит,— Юдин, это тебе за то, что ты мне геройский народ собрал!» — «Спасибо,— отвечаю,— благодарю!.. Это же,— говорю,— довоенны «Пушкин»!» Ладно! Он повдоль строю идет, народ осматриват, кого надо, проверят. Шустрый такой, веселый, одно слово, городской, колпашевский... А я «Пушку» курю — ну тебе как весело!.. Опосля того майор команду дает: «За мной,—

грит,— по одному! Выходим,— грит,— к дороге Котбутс — Финстервальде...» Вот ты тако слово можешь выговорить — «Котбутс — Финстервальде»? Да ты и не старайся, дура богова, ты тако слово не то что сказать, а и понять не можешь! Ддд-а! Вот, значит, майор впереди, они — за ем, я — на месте. Стою, «Пушку» докуриваю, кругово наблюденье через стереотрубу произвожу, сквозь зубья матерюсь, как промеж нашей позицией и лесом место открытое. А он, немец, начинае оживать: постреливат, мины бросат, разные штуки производит. Это, конечно, плохо, но хорошо! «Кульманков,— кричу,— лутший снайпер моей роты,— кричу,— давай!..» Кульманков, конечно, из остяков, тоже наш, обской, белку дома в правый глаз бил... Ну, подгребат он ко мне с оптикой, тоже во все горло кричит, как был контуженый. «Кого,— кричит,— батька-матка, бить будем? Офицерье одно,— кричит,— или всех сподряд?» Он меня «батька-матка» звал, как я ему — командир. «Всех сподряд бей,— кричу,— давай не тяни, ребята через чисто поле бегут, а с имя колпашевский майор!..» Н-да! Начинат он немцев выцеливать, одного срезал, второго, третьего и кричит: «Батька-матка, дай, пожалуйста, закурить! У вас в парсигаре папиросы бар-бар?» «Бар-бар» — это поихнему, по-татарскому или по-остяцкому, вроде как бы «имеются»... «Бар-бар,— говорит,— хорошу папиросу...» Мать честна! Гляжу: колпашевский майор парсигар у меня забыл!.. Ты это пойми, како страшно дело произошло! Парсигар-то колпашевский майор у меня забыл! Стою я ни живой ни мертвый, на парсигар гляжу, и тут меня психическа мысля за ухо берет. Вот, смекаю, колпашевского майора смертельно убили, он умирать собирается, перед ей, перед смертью, закурить хочет. В один карман — толк, в другой карман — толк, в остатний карман — толк! Парсигара нету! Ах ты, гадость, старший лейтенант Юдин! Это ведь ты, гадость, у меня парсигар увел! Дддд-а! Надо бы хужее, да некуда! «Ладно,— думаю,— где мой помкомроты?» — думаю.

А он, гадость, в окопе сидит, храпит, гадость, в обои норки. «Как так,— кричу,— взбуживайся,— кричу,— примай командованье, Петька!» Помкомроты взбуживается, конечно, ни хрена не понимат, глазами лупат, но у меня — строгость, у меня — порядок, у меня — не моги! «Ладно,— грит,— примаю командованье, что,— грит,— прикажешь делать, Иван?» — «Как что? Веди наблюденье, Кульманкову давай заданье, дисциплину блюди, чтоб ни-ни...» Беру три гранаты, вальтер, каску вздеваю — и пошел!.. Бегу, само собой, зигзагой, где надоть, к земле припадаю, в упавшем виде перекатываюсь, обратно бегу кривой зигзагой. Пули — вжиг-вжиг, миномет — ахах! Одна мина так близко взрывается, что у меня морда вся в грязе, как утресь дожжина шел. Потом гляжу: двое немцев мне наперекосяк! Нда-а! Двое немцев, значит, мне наперекосяк шпарют, три немца, гляжу, с другой стороны заходють, а еще один чуток справа берет. Шесть человек на одного, а мне парсигар отдавать... Ну дела! И вот послушай, дура ты фенькина, како действие я произвожу, чтоб непремен майора достигнуть... Я, сопля ты зеленая, в лошшину не

беру, а, наоборот, лезу на горушку, чтоб он, немец,— за мной! Кульманков-то, остяк-то нижневартовский, их в лошшине достигать не может, а на горушке — отдай! Нда-а! Покуда я по горушке кривой зигзагой шнырил, он-то, Кульманков, троих срезал. Значится, один немец теперь у меня слева, остатные наперекосяк лезут, но это мне тьфу! «На кой хрен,— думаю,— он есть, старший лейтенант Юдин?!» Залегаю, автомат на одиночные ставлю и того немца, что слева, промеж глаз срезаю, второго — бью в грудя! Значится, теперь у меня один немец, который наперекосяк... Ну, это шибко опытный! Издаля видать, что на возрасте и рыжий, а колпашевский майор с ребятками уже до лесу подбегают. «Это чего же,— думаю,— я их через этого рыжего не достану, образина ты фашистская?!» И тут я тако мероприятее произвожу, что мне бы надоть Героя Союза, а не то дело каблучить, что со мной колпашевский майор выстроил... Я, сухой ты, немазаный, руки вверх вздеваю, встаю во весь росточек и немцу кричу: «Рус капут, бери меня шнель-шнель, плен! Сдаюся, дескать, твоя взяла, образина ты немецкая, бери меня, дескать, с потрохами!» Ну немец, гада рыжая, сперва боится на горушку вздыматься, соображат, сука, что его Кульманков срежет, а потом и смекает, гадость, что он мною, то есть старшим лейтенантом Юдиным, от Кульманкова как щитой, прикроется. Ну, ползет ко мне немец скрытно, кривой зигзагой, перекатывается, все, черт рыжий, умет и знат!.. Это тебе как? Это тебе, сопля ты зеленая, не с бабой вожжаться, не щеколадкофе пить, не в кресле сидеть! Это тебе — война, это тебе — старший лейтенант Иван Юдин, это тебе — смерть в глаза заглядат! Способный был немец, умный, как утка, только отруби не ел. Он того скумекать не мог, что Кульманков-то белку в правый глаз бил, что Кульманков-то в мою измену сроду поверить не мог, что остяк-то нижневартовский мою хитрость с ходу понял... Ну, немец голову-то поднял, чтоб мне показать, как за ним в плен ползти, да вдруг и дернулся. Он только чуть-чуть дернулся, а я гляжу: заместо глаза — дыра! А с затылку шерстяна шишка. Ну, как быват, когда из овечьей шубы клок выдрали. Ддд-а! Догоняю колпашевского майора у самого лесу, за плечо его хвать, докладаю: «Так и так, товарищ майор, разрешите парсигар вручить! Не мог я его,— докладаю,— ваш парсигар, при себе держать, как курить вам тут с ребятами нечего, а вы подумать можете, что я парсигар нароком утаил!» Это дело у дальнего лесу было, здеся немец нас достать уже не мог. Майор на боку лежал, а тут на брюхо перевертыватся, на меня зырит и грит: «За парсигар спасибо!.. Ребята,— грит,— давай закуривай, а ты,— грит,— старший лейтенант Юдин, получи благодарность командования, что нас прикрыл!» Я, само собой, отвечаю: «Служу советскому народу!» Тогда майор опять грит. «Теперь дальше,— грит,— слушайте, Юдин! За одно дело вы,— грит,— благодарность получили, а за другое дело,— грит,— десять суток аресту! Па-а-а-вторить!» Я, само собой, режу: «Есть получить десять суток аресту!» — а сам на него гляжу, как дите на мамку. Тогда он объясняет: «Это за то,— грит,— Ванька, что ты разрешенья на выход не имел!»

Теперь ты мне вот и скажи, на хрена мне этот арест был нужон? Вот ты мне и объясни, сопля морожена, по какой такой радости меня колпашевский майор до селезенок при народе припозорил? Рази я помкомроты не оставил, рази я курево не принес? А он: «Дисциплину нарушил!» Я по сию пору, как колпашевского майора встрену, голову на девяносто градусов ворочу, его в упор не вижу... Вот ты мне и скажи, где справедливость? Я ему парсигар, он мне десять суток! Это рази не гад? Вот ты скажи мне, рази он не гад, хоть и работат счас завоблоно? Поди, думат, что я его с сердца снял, когда он мне сам орден на грудь вешал?.. А я — нет! Я ему все помню! Я все помню!..

11

Разгоревшись, рассветившись напропалую, висела над сонным Чила-Юлом чуточку выщербленная луна, стояли на высоких ногах плоские тополя и осокори, и было видно уже, как хороша и прозрачна ночь, как сияет небо, как славно лежит под ним чистый, новенький поселок Чила-Юл, спокойно спящий перед длинным рабочим понедельником. Покой и мир, радость отдыха и счастье здорового утреннего пробуждения — все это легкими тенями лежало в притихших палисадниках, струилось в воздухе ночной прохладой, лунной желтизной прикасалось к посветлевшим бревнам домов, дышало снами за темными стеклами. Отдыхали до семи часов утра уставшие машины шпалозавода, река была недвижна, как озеро, сама луна ленилась, сонная, передвигаться по небу, и работящая Земля перед ней вращалась медленно-медленно.

Окончательно протрезвевший Витька Малых ночного великолепия не замечал. Взволнованный и растерянный, он стоял на коленях между Семеном Баландиным и злобно усмехающимся Ванечкой Юдиным, переводя взгляд с одного на другого, не знал, как поступить, что сделать... Витька Малых не мог оставить на холодной земле бывшего директора шпалозавода, но ему было жалко и Ванечку Юдина, так взбудораженного собственным рассказом, что майка на нем была темна от пота, а лицо перекошено яростью.

Ночь, как нарочно, сияла великолепием. Луна была прозрачно-желтой, тени деревьев резки, словно начерченные китайской тушью, несколько разноцветных бакенов светились на реке неправдоподобными драгоценными камнями, дома казались плоскими, как декорации, тополя, березы и черемухи — вырезанными из жести, а трава — наклеенной на блестящую от луны ровную землю.

— Вставай, ты! — злобно крикнул Ванечка Юдин и пнул ногой бесчувственного Семена Баландина.— Вставай, чего развалился! Айда водку доставать!

Но Семен Баландин не шевелился, а сидевший возле него на траве Витька Малых с ужасом смотрел на кривляющегося Ванечку Юдина.

— Не хотите — один пить буду! — скрипнув зубами, прошептал Ванечка Юдин.— Один буду!

Он легко, не пошатываясь, злобно набычившись, пошел на Витьку Малых, начиная с этого свое грозное шествие по ночному поселку. Теперь Ванечка Юдин до трех-четырех часов утра будет голодным волком шастать по улицам, останавливаться возле всякого дома, где светится огонь, задираться с каждым, кто встретится на пути, гоняться за собаками, пинать коров, ночующих возле прясла, ломать молодые деревья в палисадниках. В поисках остатков водки или браги он станет врываться в дома, стучать кулаком по столу: «Я за вас, гады, кровь проливал!» И дело может кончиться тем, что его задержит участковый инспектор милиции Морщиков, страдая за Ванечку, до слез жалея его, оформит третий арест на пятнадцать суток, а после третьей отсидки...

— Ванечка, Ванечка, постой!..— крикнул Витька Малых.

Но Ванечка Юдин уже уходил в сияющую лунность походкой пластуна-разведчика. Он шел так, словно намертво вцеплялся в землю кривоватыми ногами, подошвы отрывал от земли с таким усилием, точно сапоги были металлическими, а земля магнитной; голова у Ванечки была втянута в плечи, уши стояли по-волчьи остро, руки были глубоко забиты в карманы. Опасный он был, страшный, по-звериному неожиданный...

Витька Малых поежился, шмыркнув носом, потер лицо двумя ладонями так, словно умывался. После этого он длинно-длинно вздохнул, ссутулился по-рабочему и озабоченно нагнулся над последним из приятелей:

— Семен, а Семен, давай будем вставать...

Семен Баландин, оказывается, не спал. Он неподвижно лежал на спине, глядя блестящими глазами в светлое небо. Сейчас у Семена Баландина было лицо умирающего старика, прожившего длинную и спокойную жизнь. Сперва старик умирал неохотно и тяжело, тоскуя, ворочался и ворочался, борясь с костлявой, а потом вдруг притих, присмирел, согласился умирать от такой смерти, которая походила на жажду сладкого сна. И вот уже обобрал себя старик прозрачными пальцами, приукрасился перед вечным покоем и, желая смерти, как сна после длинной жизни, в последний раз мирно глядел в небо — какое оно останется, когда он сладко заснет...

— Будем подыматься, Семен!

— Сейчас, Виктор! Повремени еще минуточку..

— Я бы погодил, да Анка ждет...

Была ночь перед рабочим понедельником. Давно затихли суетные мотоциклы, полчаса назад бесшумно укатил домой последний велосипедный мальчишка, парочки на скамейках сидели мертво, шла по тротуару на бесшумных подошвах девчонка, из тех, кого никто не провожает, стояла мягкая тишина...

— Идти надо, Семен Васильевич.

Витька зашел за спину Баландина, просунув руки под мышки, поставил его на ноги, затем ловким движением забросил руку Се-

мена себе на шею, обняв бывшего директора шпалозавода за талию, сделал первый пробующий шаг — все было хорошо! «Минут за десять доберемся!» — весело подумал Витька и одобрительно сказал:

— Вот какие мы молодцы! Теперь нам подня-я-я-ться на тротуарчик, пойти ро-о-о-о-вненько... Вот так! Молодца, Семен Васильевич!

Они пошли по белому от лунного света тротуару. Конечно, Семен Баландин все-таки немножко покачивался, ноги у него подкашивались, тело обвисало, но разве можно было сравнить сегодняшнее с прошлым воскресеньем, когда Витька Малых тащил на загорбке неподвижное тело бывшего директора! Сегодня была не ходьба, а разлюли-малина, одно блаженство, пустяковые пустяки, и Витька Малых улыбался, радуясь за Семена, зорко следил за тем, чтобы доски тротуара под Баландиным были ровные, чтобы шел он гладким путем. Ах, как было все хорошо, как удачно!

— А вот и аптечка, Семен Васильевич! Вот и до аптечки дошли!

Остановившись возле ярко освещенного окна аптеки, Витька снял руку с талии Семена Баландина, выполняя привычные операции, осторожно зашел вперед, чтобы Семен мог опереться на его плечи.

— Иди смело, Семен Васильевич! Не бойсь: не упадешь!

В аптеке было светло и чисто, пахло всеми лекарствами сразу, а аптекарша Клава отсутствовала — она целовалась в соседней комнате с Володькой, сыном учительницы Садовской.

Витька заботливо приставил Семена Баландина к высокому прилавку, слегка придерживая его рукой, стал терпеливо ждать, когда аптекарша нацелуется. Слышно было, как Клава смеялась, как Володька называл аптекаршу «ласточкой», а в перерыве между поцелуями пел что-то очень веселое.

— Здрасьте, Клава! — очень вежливо поздоровался Витька Малых, когда аптекарша наконец вышла.— С благополучным дежурством вас!

Аптекарша Клава была такая красивая и голая, что Витька боялся на нее глядеть: грудь аптекарши была обнажена чуть ли не до сосков, юбки почти не существовало, а губы всегда были влажные, словно Клава постоянно целовалась. Сейчас аптекарша беззастенчиво закалывала растрепанные волосы, а пуговицу на груди застегивать не спешила.

— Мы вот пришли,— тихо сказал Витька.— Я и Семен Васильевич...

— Ничего спиртного продаваться не будет! — заученно проговорила Клава.— Без рецептов ничего не отпускается, не продается. Если есть рецепт, лекарство продается, отпускается, выдается...

Выслушав это, Витька застенчиво улыбнулся, но ничего не сказал, чтобы не помешать Семену Баландину, который уже начал делать то единственное, что можно было делать в его положении,— глядеть на Клаву глазами смертельно больной собаки. Подбородок бывшего директора лежал на растопыренных ладонях, ноги он широ-

ко расставил, чтобы не упасть, спина у него торчала остро, как у конька-горбунка. Семен Баландин опять зябко дрожал, и от этого высокий прилавок раскачивался.

— Без рецептов...— бормотала аптекарша Клава,—...ничего не выдается, не отпускается, не про... Бог же мой, Семен Васильевич, что вам сегодня надо?

— Флакон одеколона «Ландыш» и две бутылочки аралии или стланика...— очень четко произнеся слоги, медленно проговорил Семен.— Если есть календула, то... две бутылочки настойки календулы!

Семен Баландин снял дрожащие руки с прилавка, вытащил из кармана потертый и грязный замшевый бумажник. Раскрыв его, он достал завернутую в клочок газеты стопочку монет, сложенных аккуратно: двадцатник к двадцатнику, гривенник к гривеннику, пятак к пятаку, трешка к трешке, двушка к двушке.

— Девяносто семь копеек,— сказал Семен.

— Правильно! — согласилась Клава.— Одеколон «Ландыш» — пятьдесят семь копеек, два пузырька календулы — сорок... Девяносто семь копеек!

Минут через десять Витька Малых и Семен Баландин осторожно подошли к дому бывшего директора шпалозавода. Крупное здание опоясывала мрачная темнота, на уличной стороне дома окна были крест-накрест заколочены досками, в палисаднике не осталось ни одного живого кустика — все высохли. Болтались под скатом крыши два провода, так как у Семена Баландина отрезали домашний телефон, а забора вокруг дома не было, надворных построек тоже — их бывший директор сжег в зимней жадной печке.

Дверь дома была не заперта; из сеней они попали в длинный, широкий коридор — со скрипучими полами, пылью, запустением, запахом тлена и гниющих овощей. Потом пыльная лампочка без абажура осветила грязную, захламленную комнату — одну из четырех; серый, в жирных пятнах матрас без простыни, щелястый пол, стол без скатерти, на котором стояли бутылочки из-под одеколона и настоек календулы, аралии и стланика; здесь же стояла глубокая тарелка с отломанным краем и закопченный чайник без ручки.

— Вот и доехали! — весело сказал Витька Малых.— Пузыречки мы поставим вот сюда, ботиночки надо сразу снять, пиджачок тоже, а носочки... Их надо простирнуть, Семен Васильевич... Давайте я их Анке отнесу.

Приговаривая и улыбаясь, Витька уложил Баландина на грязный матрас, не получив согласия насчет грязных носков, завернул их все-таки в газету и заторопился домой.

— Спокойной ночи, Семен Васильевич, бывайте премного здоровехоньки!

Выключив свет, Витька Малых на цыпочках вышел из дома Семена Баландина и быстро-быстро помчался по деревянному тротуару — спешил очень к своей молодой жене Анке, давно дожидающейся его возвращения. Витька бежал так быстро, что луна тоже не

удержалась — побежала вслед за ним, подпрыгивая именно тогда, когда подпрыгивал Витька, исчезая в тот миг, когда он проваливался в ямины неровной дороги...

12

Жена Анка еще не спала, а, наоборот, сидела на крылечке казенного дома, тихонечко беседовала с кем-то и даже воркующе смеялась; сначала — издалека — Витька не мог понять, с кем это Анка мурлычет, но когда приблизился к калитке, то удивился: рядом с Анкой сидела старая старуха Кланя Шестерня, опираясь на палку.

Веселая Анка старуху слушала внимательно, хохотала охотно, отклоняясь назад, и, освещенная крылечной лампочкой, показывала два ряда белых зубов. Считающий бабку Кланю Шестерню смешной и забавной, Витька радостно остановился в калитке, загодя бесшумно смеясь, услышал скрипучий голос старухи:

— Твой-то взрачный, работяшший, наживной, все при нем, голуба моя льдиночка, но он у тебя сопьетси в само коротко время... Вот ты на меня, Анют, веселым глазом глядишь, зубы перламутровые кажешь, а он у тебя сопьетси как пить дать...

Набегавшаяся за день по деревне бабка Кланя Шестерня казалась все такой же шустренькой и даже голову держала выше обычного, хотя по-прежнему походила на громадную шестерню — эта сгорбленная спина, эти локти, эти лопатки, этот острый затылок...

— Давай, бабуль, давай! — весело закричал Витька старухе.— Давай наводи критику. Это я расчудесно люблю!

Закрыв за собой скрипучую калитку, Витька было побежал к жене и старухе, но неожиданно для самого себя приостановился, зачем-то поглядев в землю, пошел к крыльцу медленно. Он приблизился к Анке, хихикнув, ткнул ее пальцем в круглое колено и сказал:

— Здоров, Анка!

Было понятно, что Витька стесняется при свете долго глядеть на высоко открытые ноги жены, робеет при виде ее немного обнаженной маленькой груди. Поэтому он совсем смутился от присутствия бабки Клани Шестерни, сев рядом с Анкой, сказал развязно:

— Ну ты давай, бабуль, дальше рассказывай, как я сопьюсь. Это мне шибко интересно будет послушать...

Ночь стояла сказочная. Небо теперь было бархатисто-зеленым, звезды тонко розовели, горизонт отливал голубоватым, луна была похожа только на луну и больше ни на что, а с рекой Обью произошло ночное чудо: вздыбившись к небу, она аркой отраженных звезд стояла над поселком Чила-Юл. Мирно и тихо — по привычке — лаяли собаки, и голоса их были по-сонному хрипловаты.

— Ты, льдиночка моя зеленая, дурак! — неожиданно сердито сказала бабка Кланя Шестерня.— Мало того что ты самолично дурак, ты, окромя того, дураком, ровно одеялом, прикрываешься, ле-

жишь на дураке, ходишь под дураком и унутрь дурака потребляешь. Ты, льдиночка моя, знаешь, как быстро сопьешьси?.. В два года! Вот дай-ка я тебя глазом окину... У бабки Клани Шестерни на того, кто быстро спивается, глаз-алмаз! Ну-кось, придвинь к бабке мордоворот и руку мне дай...

Скрюченными, костистыми пальцами бабка схватила Витьку за руку, отталкиваясь от крыльца палкой, еще немного выпрямила перегнутый старостью позвоночник, и Витька Малых впервые увидел глаза бабки Клани Шестерни. От неожиданности он всплеснул руками, восторженно захохотал:

— Ну, ты, бабка, даешь! Ну, ты шустра!

Серые глаза бабки были веселы и молоды, за восемь десятков лет не потеряли яростного цвета, были драчливыми и мудрыми одновременно, смешливыми, как у конопатой девчонки, и пронизывающими, как у знахарки; это были такие глаза, от которых становилось весело-превесело, спокойно-приспокойно, уютно-приуютно.

— За два года сопьешься, парнишша! — спокойно сказала Кланя Шестерня.— Грудка у тебя не так широка, как узка, нерв не такой сильный, как слабый, головеночка не так кругла, как дынечкой... Ко всему ты, Витюшк, в жизни интерес имеешь, все тебе мило, кажно дело старательно производишь... Значит, сопьешьси! Ты это, Анюта, возьми на замет...

И тогда, захохотав навзрыд, упала грудью на крыльцо действительно светлая и прозрачная, как льдинка, жена Витьки Малых — нарымчанка Анна. Молодая женщина смеялась от души, вытирая в уголках глаз восторженные слезы,— так тешило ее предсказание бабки Клани Шестерни. Да как было и не хохотать Анке, если она выросла в доме, где без водки не садились за стол. Родной отец Анки, старый сплавщик, всю жизнь выпивал перед едой здоровенный стакан водки, на праздники уничтожал по две бутылки, но никто не видывал его пьяным. Старик до сих пор не ушел на пенсию, хотя достиг шестидесяти девяти годов, был здоров и могуч, как старый осокорь; водка доставляла ему отдых после трудной работы, зверский аппетит и радость, и Анка за много лет привыкла к тому, что от ласкового, доброго, веселого отца остро попахивает алкоголем, и этот запах ей был привычно мил, как запах детства.

— Ты тоже скажешь, бабуся! — нахохотавшись, воскликнула Анка.— Сопьется! Разве Витюшка не мужик? Так чего же он не может в нерабочее время выпить? На свои пьет, не на чужие!

Распрямленная бабка Кланя Шестерня глядела на Анку грустно. У старухи было такое выражение лица, словно она хотела укоризненно покачать головой, но не могла сделать этого из-за неподвижной шеи.

— Твой сопьетси! — печально сказала бабка.— Он на моего второго мужика смахивает: тоже такой открытый, как русская печка при гостеванье...— Она вдруг светло улыбнулась.— Ежели желаити, я вам про своих мужиков расскажу... Вот почему я за пьяными доглядаю да спуску не даю? А через то, что я трех мужей от

водки потеряла, через нее сиротой бездетной осталась... Может, на всю область другой такой нету, как я, бабка Кланя Шестерня. Я всегда с пьяными сражаюсь, как знаю, какое горе от водки быват...

РАССКАЗ БАБКИ КЛАНИ ШЕСТЕРНИ

— Я, может, одна така на всю область, что мои три мужика от ее, проклятой, на нет свелись, мне детишек не заделали, сиротой оставили, до временного-времени сгорбатили... Мне теперь, по слухам, поболе восьмидесяти годков, но я горбата на сотню или того похужее, а ведь это все от нее, от проклятой!.. Первым мужиком у меня купца Кухтерина приказчик был. Богатый не богатый, но дом в Чила-Юле об двенадцати окон держал, трое коней в санки закладывал, на жилетке — цепа, а как революция содеялась, к генералу Колчаку ушел, я — чуждый алимент!.. Первого моего мужика звали Федюха, сам белый с головы, ус длинный, черный, закругленный, а споился он от моей красоты и веселого нраву... Это я не шуткую — мне шутковать гнута спина не разрешат! Однако в молодости красиве и веселе девки не было, чем Кланька Мурзина! Волос у меня до колена, глаз у меня крупный да серый, нога подо мной круглая, прямая, щека — захоти да не ущипнешь! Хожу я по бережку, ровно пава, на каждого мужика не поглядываю, на кофте у меня пуговица не держится. Мой Феденька от радости кажный день язык глотат, меня княгинюшкой зовет, всем за меня хвастат и такой веселый, что за стол без водки не садится. Я ему кажный завтрак, кажный обед и кажный ужин песни пою, хожу при шелковой шале, ботинок на мне — до колена, кофта белым-бела, на груде — кружев, на бедре — шелковый панталон, как у городских купчих. Голос у меня звонкий — самой ушам больно! Я и городски песни знала, про то пела, как соловьем залетным или про рысаков... Где я этим песням научилась, сама не знаю, а Федька-то прям алмазной слезой исходит, как я пою: «Были и мы когда-т рысаками...» Я ему каждый день пою, мы из постели до полудня не вылезаем, губы у нас побитые, глаза у нас провалились, мы обои с лица чернем, но я все пою, я все пою да пою... «Были и мы когда-т рысаками...» Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, только начал мой Феденька при любой погоде пить и, льдиночка ты моя прозрачная, в одногодье до того с кругу спился, что меня узнавать под утро не желаит. Все ходит по горнице да так жалобно кличет: «Где ты есть, моя княгинюшка, где ты есть, моя соловушко?» Я ни жива ни мертва лежу, ему про то, где я есть, сказываю, но он мои слова во вниманье не берет, в печку и подпол заглядыват, глаз у него нету — одни белки. И вот мово родного Феденьку к купцу Кухтерину везут, на три дня в баню садют, паром и квасом пользуют, но это дело Феденьке не помогат — он все меня ишшит, а найти не может и на людей уже бросатся... Потом совсем пропал пропадом мой мужик. Где обретался, неизвестно; полтора года я все реву да плачу — нет его. А тут

генерал Колчак и с ним мой Феденька объявлятся темной ночью при офицерских штанах. Я к нему на грудь от радости пала, реву, как недоена корова, а мой родитель да братовья — за берданы и топоры, как они есть красны партизаны... Я от родителя и братов Феденьку спиной горожу, хочу за лапушку смерть на свои грудя принять, а он не будь дурак, сиганул в окно — и нет его, Феденьки... Я его год ждала, второй хотела ждать, как сообчают, что он, Феденька-то, застрелимшися от перепою... Его партизанска пуля не взяла, мой родитель с братьями его не достигли, а она, проклятая, его порушила... Плакала я сподряд три дня и три ночи, белы щеки расцарапала, волос клочком с головы драла, тонки пальцы ломала, да что поделашь, льдиночка, когда любый-разлюбый в сырой земле полеживает... Одним словом, как церковно время прошло, на мне партизанский повар Еремей обжениватся... Этот мужик славно-тихой был, все больше дома сидел, возле печки рану грел, бывало, все возле пупа чешет поверх рубахи, а на меня, ровно на икону, глядит. Работал он с утра до вечеру, на одной хромой кобыленке десять десятин поднял, а вот песни мои не любил. Как я, бывало, про рысаков запою, он сразу с лица белый делатся и зубьем скрипит: «Не могешь ты его, гниду колчаковску, забыть!» А ежель я из дому куда уйду, он от ревности зеленет... Ну и почал пить! Раз — пьяный, другой раз — пьяный, третий — пьяней пьяного. Я себя держу, но сладу мне с собой нет: все Феденьку вспоминаю, какой он веселый был. Я Еремею про милого Феденьку слова не говорю, но он сердцем чувствоват, когда я прежнего мужика в память беру, и еще пуще прежнего запиват... Еремей быстро спился! Я от его сама убегом убежала — он меня поколачивать начал. Я три весны в холостяцкой жизни обреталась, на все гулянки хаживала, хахелей имела, но до себя на кровать не пущала, как мне это дело после Еремея хуже смерти было... Ну а в двадцать шестом годе меня взял партейный. Сам из городу, все книжки прочел, с товарищем Калининым за ручку ручкался, кажно второ слово у него — не понять, а сам сурьезный да расчудесный. Я его шибко уважала да любила, как он и мужик был, и при авторитете, и детишек хотел от меня иметь, хотя не поспел... Этого мужика звали Есиф, по фамилии он прозывался Кац-нель-сон, из евреев, а они ее, проклятую, в рот не берут. Однако, льдиночка ты моя золотистая, это те из евреев ее, проклятущую, в рот не принимают, какие меня, дуры, не прикасаются! Я, льдиночка ласковая, себя дурой за то покликала, что своего родного Есифа сама сгубила... Я-то, с двумя пьянюгами намучившись, при родном мужике Есифе такой манер завела, что как про водку речь, так я — на дыбки! Скажем, приходит мой Есиф домой, я нюхну — вроде самогонкой шибат! И вот я на родного моего Есифа криком кричу, ногами топочу, суседей сзываю. А ему от этого дела — позор! Он партейный, он с товарищем Калининым за ручку ручкался, он в светлую коммунизму идет. А мне останову нету! Ну, нету мне останову, как слепой кобыле, когда ее шоршень под хвост чокнет! Он, скажем, на собранье, а мне грезится, пьет, он, к примеру, агитацию разводит, а мне

обратно — пьет! Бегу это по улице, сама простоволоса, его до черных глаз люблю, над ним, голубчиком, вся дрожу, а у самой рот до ушей: «Ратуйте, народ, у меня третий мужик спиватси!» А кулака тогда много было, ему, кулаку, Есиф — нож вострый, он кулаку — кость в горле. Вот и приезжает на субботу городской мужик при коже да при нагане... Вот приезжат он — и ко мне: «Как пьет? Скоко пьет? Шибко ли напиватся?» А позади меня семеро мужиков из кулачья, бороды вот какие, сами пьяны, а говорят: «Каждый день пьет!» А мужик при коже и нагане головой качат: «Ах, ах, товарищ Кац-нель-сон! Не думал, что тебе мел-ко-бур-жу-аз-на сти-хи-я одолет!» И грозит мово родного Есифа сключить с партейных, и велит ему ехать отсюдова... С тех поров я взамуж не выходила. В деревне уж известно было: кто с Кланькой сойдется, тот станет горький пьяница. Вот оно каково быват, льдиночка ты моя светлая... А остатню жизнь так живу, что за чужими мужиками доглядаю. Я им покоя не даю, я на их баб натравливаю, сна-покоя лишаю, когда какой мужик много пить начинает... Я, может, одна така на всю область, что от водки трех мужиков лишилась!

Луна висела неподвижным фонарем, аркой стояла река, тишина была такой полной, что собачий лай растворялся в ней, как капли чернил в море, и на крыльце, где сидели трое, было тоже тихо, уютно. Молодые глаза бабки Клани Шестерни блестели, руки на палке лежали спокойно, голос к концу рассказа потерял обычную ворчливость.

— Вот каково быват, ластонька! — повторила Кланя Шестерня.— А ты говоришь: твой не сопьетси!

Славно улыбался Витька, славно смеялась его жена Анка. Сидели они рядом, тесно прижавшись плечами друг к другу, похожие друг на друга — толстогубые, простые, открытые, такие молодые, что моложе быть невозможно, и такие добрые, что казались детьми.

— Береги слово! — ласково сказала бабка Кланя Шестерня.— Он парнишша хороший, душевный. Тебе с им долго жить, остерегай его, Анют, пушше глазу...

Еще немного помолчав, Кланя Шестерня согнулась, застукотив палкой по дереву, пошла домой. А Витька и Анка еще сильнее прижались друг к другу, перестав дышать, долго сидели неподвижно. Потом Витька повернулся к жене, засмеявшись, поцеловал ее в лоб тихим поцелуем; затем он взял ее руки в свои, поглядев в светлые глаза, начал гладить гладкую щеку пальцами, приговаривая:

— Ах ты Анка, моя Анка! Ах ты бабеночка моя, ты бабеночка!

Она ласково и нежно ежилась, вытягивала губы, прижималась к мужу плечом и коленями, все ниже и ниже наклоняла голову, затем, наоборот, подняла ее, усмехнувшись по-детски, прошептала Витьке в подбородок:

— Ты у меня ласковый, когда выпьешь... Вот всегда был бы такой...

Она положила голову мужу на плечо, затихла. Ночное время струилось медленной Обью, движением размашистого хвоста Боль-

шой Медведицы, падающими звездами — вот одна упала, вот покатилась вторая... Июль! В конце июля и начале августа в нарымских краях звезды падают часто...

13

На кривых ногах, ссутулившись, шел по ночному Чила-Юлу пьяный Ванечка Юдин. Сунув руки в карманы, он плотно прижал локти к бокам, подошвы дырявых ботинок к земле прислонял осторожно, словно пробовал, крепка ли земля, способна ли удержать маленькое, жилистое тело.

Чила-Юл давно спал беспробудно: по всей длинной улице уже не светилось ни одного огонька, не чуялось ни одного движения; лаяли собаки, мычали по-ночному коровы, овцы коротко мекали, отчего-то просыпаясь, чего-то боясь. Из открытого окна ближнего дома, забытое, проливало звуки полуночное радио.

Все спали в Чила-Юле.

Страшный в одиночестве, с блестящими, неутомленными глазами, двигался по поселку Ванечка Юдин. Бесшумно миновав четыре темных дома, он начал замедлять шаги перед пятым; еще больше ссутулился и сжался, когда заметил, что окна пятого дома доверчиво и широко распахнуты. В палисаднике шелестела рябина, свечечками стояли голубые ели, иглы их были маслеными от лунного света. В открытых окнах пошевеливалась сонная тишина, медленно выползало из них мерное покачивание маятника больших часов, и мерещилось, что дом дышит сонно и глубоко.

Ванечка бесшумно подошел к окну, приложив ухо к невысокому подоконнику, прислушался — трещало сухое дерево, стучали часы, ударяло сердце в груди самого Ванечки. Прислушиваясь, он поднял голову к небу, увидел, как вдруг скатилась с вершинки Большой Медведицы звезда, чиркнув по темному небосклону, погасла, как сырая спичка. Ночь еще потемнела, стало видно, как набухает Млечный Путь, похожий на бесконечную дорогу.

Сердце стучало в груди звонко, часто, громко, словно не принадлежало Ванечке.

— Вера! — позвал он.— Вера!

Удары собственного сердца отдавались в висках, пронизывали все тело, словно через Ванечку пропускали медленный электрический ток.

— Вера!

Удары сердца сливались с ударами маятника больших часов. Ванечке уже казалось, что он весь начинает раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, и задевает за голубые ели, за пышную рябину. Он закрыл глаза и подумал: «Я шибко пьяный!»

— Вера! — тонко крикнул Ванечка.— Вера!

Темный дом был пуст, как лунная река: в нем жил только длинный маятник больших старинных часов, а жена Ванечки, боясь воз-

вращения пьяного мужа, ушла с детьми ночевать к соседям. Можно было только гадать, какой из десятков сонных домов приютил их.

— Вера! — в последний раз шепнул Ванечка.— Вера!

Дышать было нечем. Он по-рыбьи открыл рот, царапая пальцами грудь, наконец-то хватил глоток свежего ночного воздуха, до тех пор держал его в легких, пока не прояснилось в глазах. Ванечка хрипло засмеялся, медленно, осторожно развернувшись, начал выламывать из городьбы осиновую стежину. Забор скрипел и шатался, высохшее дерево хрустело, но не поддавалось. Ванечка долго не мог разодрать мягкую осину, все скрежетал зубами, широко расставлял ноги, чтобы не завалиться на спину, когда отломит стежину.

— Есть! — наконец прохрипел он.

Постояв на месте несколько секунд, Ванечка широко размахнулся, хэкнув, забросил в огород осиновую палку и только тогда почувствовал, что стало легче — можно было дышать и даже двигаться, и он пошел по улице, не понимая, куда идет, зачем идет.

Только метров через двести, в том переулке, который вел самым коротким путем к реке, Ванечка вспомнил десять велосипедных солнц, тупой голос Устина Шемяки: «У Цыпылова в кране четверть спирта. Чего-то там промыват...»

Четверть спирта! Ванечка ускорил шаг. Теперь у него была цель, надо было скорее ее достичь. Искать больше было нечего, и походка у Ванечки переменилась — он шел теперь четким, ровным, деловым шагом, безошибочно сворачивал в нужные переулки, ловко перелезая через плетни, и наконец вышел к реке, туда, где работал на кране Борис Цыпылов, где была четверть спирта.

Но, достигнув наконец этого желанного места, выбравшись из узкого проулка на берег реки, Ванечка вдруг остановился так резко, словно наткнулся на препятствие. Он даже попятился, опасно пошатнувшись, едва не потеряв равновесия.

Казалось, к чила-юльскому берегу причалил навсегда дневной белый пароход, облитый солнцем и музыкой, а между рекой и серой туманностью Млечного Пути навсегда остановились белые чайки. Из лунной воды вздымалось в небо металлическое и ажурное, подвижное и живое. Недосягаемую его вершину венчал красный огонек, ниже — посередине между огоньком и водой — над бездной висел белый человек. Трудно было понять, на чем он сидит, за что держится вытянутыми руками, что делает, паря в воздухе.

Это сидел в стеклянной сквозной хабине крановщик Борис Цыпылов. Над головой его слепящим глазом горел прожектор, а когда Цыпылов прикасался к чему-то рукой, все металлическое, ажурное всей громадой повертывалось, наклонялось, вздымалось, двигалось.

Вот огненный глаз увидел на кромке рейда белые, как раскаленные куски металла, шпалы, ощупав их со всех сторон, нацелился, опустилась стрела, и поплыли раскаленные полоски сквозь холодный воздух. Затем огненный глаз увидел в темной воде огромную пустую баржу, раскалив и ее добела, небрежно бросил горячее на

горячее. А через секунду равнодушно и бегло озирал пустое небо, пустую реку и пустой берег.

Съежившись, согнувшись, Ванечка Юдин медленно приближался к погрузочному крану, боясь, чтобы прожектор не нагнулся к нему, Ванечка сначала крался под высокими штабелями, потом боком, осторожными ногами наступил на конец трапа, соединяющего берег с краном. Огненный глаз по-прежнему занимался раскаленными полосками шпал, заботился только о том, чтобы они укладывались в раскаленное нутро баржи.

Ванечка почувствовал дрожащий, теплый металл, запах краски и электрического напряжения. Подрагивающие лесенки вели вверх и вниз, металлические поручни переплетались, металл двигался во все стороны, вращался и соединялся, разъединялся и вращался; все вокруг гудело и шелестело, отовсюду струилось тепло, все казалось опасным — болты толщиною в руку, зубчатые шестерни, сверкающие масляными плоскостями, скольжение металла по металлу, снующие рычаги и светлая медь.

Поручни узкой лестнички, ведущей вверх, дрожали, как деревья на ветру, по металлу катились электрические отблески, и казалось, что лестница сама движется вверх, как эскалатор, и что к ней опасно прикасаться. Однако Ванечка чувствовал, что именно эта узкая и опасная лестница ведет к Борису Цыпылову, к сквозной кабине, к теплому красному огоньку и к тому, что влекло Ванечку на кран,— к большой четверти со спиртом.

Опять сжавшись, согнувшись в три погибели, чтобы не мешать вращающемуся, гудящему, скользящему, соединяющемуся металлу, он сделал два осторожных шага вперед, наступив на кромку движущегося круга, поплыл в темень и пустоту, инстинктивно ухватившись за какой-то металлический выступ. Его понесло на металле к черной воде, вознесло над бездной, повлекло дальше в ночь, в редкие огни обского левобережья. Потом металл остановился, вызвав у него головокружение, секунду постоял неподвижно — послышался стук шпал, падающих в трюм баржи, затем раздалось легкое гудение, и Ванечка поехал в обратную сторону. Прильнув к металлу, судорожно держась руками за какой-то теплый выступ, Ванечка ездил вместе с поворотным краном до тех пор, пока кран не остановился.

«Катаюся»,— пьяно подумал Ванечка.

— Катаюся! — крикнул он крану, реке, темному небу.— Катаюся!

Ванечка заторопился, бросился к подножию лестницы, ведущей наверх, схватился за вибрирующий металл обеими руками, начал торопливо переступать ногами. Но скоро он понял, что наверх подняться не может: ноги скользили по металлу, срывались, дрожащие поручни сами отталкивали руки назад, и Ванечка скрежетал зубами, обливался потом — лестница не пускала наверх. Он было кинулся к ней снова, собрался вцепиться руками выше прежнего, но вдруг мелькнула тревожная мысль: «Не успею». В кране опять назревало

движение, что-то опасное, неуловимое происходило вверху, готовно гудело, и он попятился, сошел с вращающегося круга. Трубно прогудела сирена, огненный глаз равнодушно глянул в пустое небо, и кран опять поплыл, задвигался.

— Цыпылов! — закричал Ванечка.— Цыпылов!

Крановщик висел в густом и темном воздухе — светлый и легкий, насквозь просвеченный.

— Цыпылов! — кричал Ванечка.— Цыпылов!

Крановщик не слышал его. Он и сам не слышал себя в гудящем воздухе.

Опять сдвигался и раздвигался металл, зияла бездна. Ванечка пошатнулся, держась за трап руками, пополз к берегу, извиваясь и чувствуя, как на затылке поднимаются от страха волосы.

14

Витька Малых, укладывая спать Семена Баландина, забыл поставить в изголовье кровати стакан с водой, и в третьем часу ночи, очнувшись от забытья, Баландин ощутил такую жажду, что стало узко в горле. Боясь пошевелиться, открыл глаза. он перестал дышать и продолжал лежать неподвижно.

Кожей он чувствовал лунный свет на лице, большой желтый квадрат давил на ноги, покрытые грязным пикейным одеялом, одинокий лунный блик распрямил ладонь правой руки. Было душно, сыро, пахло водочным перегаром, изгнившей селедкой и пустотой. Самыми живыми, освещенными предметами, видимыми через плотно сжатые веки, были стоящие на табуретке одеколон «Ландыш» и настойка календулы; бутылочки ярко светились белыми кружевными колпачками, от них было спокойно левому плечу, левой, безлунной щеке, сжатым в кулак пальцам.

Хотелось умереть. Вспомнилась полуденная река, услышался гортанный крик чайки, рассыпалось искорками по лесу солнце... Тихонечко опуститься в зеленую воду, не двигаясь, с открытыми глазами пойти ко дну, прикоснуться щекой, роговицей зрачка к прохладной водоросли, поежиться от прикосновения медленной рыбы; тело исчезнет, растворится боль, отодвинутся от сердца концы острых иголок... Сделаться теплым, как вода, уходить все дальше и дальше от солнца, крутого обского берега, людей, домов, бесконечной улицы с деревянным тротуаром... Он застонал, зашевелился, услышал, как на мягких звериных лапках сходится в темный угол комнаты тишина.

— Плохо! Ох как плохо!

Стоит тонким иглам вонзиться еще на миллиметр, придвинуться к центру, покачаться из стороны в сторону...

Он открыл глаза.

— Охо-хо-хо!

Окно сладострастно изогнулось, медленно встало на дыбы, пол, наоборот, оставался горизонтальным, но приподнялся, как бы вспу-

хая, приблизился к подбородку Семена; еще через секунду-другую начал медленно падать на грудь щелястый, с балкой-крестом, бесконечно вытянутый в длину потолок. Комната сдвинулась, сживаясь, хотела сомкнуться вокруг головы и глаз, но вот движение замедлилось, так как среди сближающихся стен, потолка, пола возникло дрожащее, как марево, волнообразное существо без конечностей.

— А-а-а-а!

Голова пухла, раздвигалась, увеличивалась с той же медленной скоростью, с какой уменьшалась комната. Ожидая, когда они со звоном встретятся, Семен отстраненно наблюдал за волнистым существом. Оно мерцало зеленым фосфоресцирующим сиянием, струилось, было полупрозрачным, поэтому сквозь него все видимое казалось искаженным — окно радостно изогнулось в обратную сторону, луна перестала быть кособокой, а черемуха за окном, потеряв ветви, сделалась прямой и гладкой, как телеграфный столб. Широко и старательно открывая губастый рот, волнистое существо пело: «На побывку едет молодой моряк...» Семен перевел взгляд в темный угол — угол пел басом: «Грудь его в медалях, ленты в якорях...»; он поглядел на спинку кровати — она запела тенором: «Над рекой, на косогоре, стали девушки гурьбой...»; он глянул на спокойно приближающийся потолок — тот пропел дискантом: «Здравствуй,— все сказали хором,— черноморский наш герой...»

Комната все уменьшалась и уменьшалась, голова все увеличивалась и увеличивалась...

Шатаясь, Семен поднялся, держась руками за спинку кровати, досадливо отмахнулся от волнистого, прозрачного существа — оно мгновенно присело на стол, заколебалось. Скользя по стенке спиной, крестообразно раскинув руки, чтобы не упасть, Семен приблизился к ведру с тухлой водой, зачерпнув кружкой, снова по стенке вернулся к кровати. «Я сегодня не умру! — подумал он, когда удалось удержать в пальцах бутылочку с мутной жидкостью.— А пробка? Ну что пробка?.. Я ее выну!»

Волнообразное пропело: «Ходит-бродит он меж ними, откровенно говорит...»

Отвинтив зубами пластмассовые пробки и вылив содержимое бутылочек в кружку, Семен перестал смотреть на видение и подумал: «Мало осталось пробкового дерева... Однако и заменители неплохи!» Потом он закинул голову, широко открыв рот, начал выливать в него смесь так, словно наполнял замкнутый сосуд, то есть боялся глотать, но и тревожился за то, что может пролить мимо. Когда же рот наполнился достаточно, он заставил себя проглотить сразу все, и это ему удалось. «Я сегодня не умру!» — снова подумал он и, повременив, вылил в рот остальное...

Положив голову на ладони, Семен стал терпеливо ждать облегчения. Волнистое существо неохотно расчленивалось на маленьких, деловитых и суетливых подводных жителей без определенной формы; все они не знали, куда девать себя,— тыкались в стены, в тем-

ный угол, устраивали кучу малу под столом, заузившись, пытались проникнуть сквозь щели пола, а зачем? Была открыта дверь, настежь распахнуты окна... Подводные жители хором пели: «Где под солнцем юга ширь безбрежная, ждет меня подруга нежна-а-я-я...» У них были свежие мальчишеские голоса, пели они старательно... «Очень жарко! — подумал Семен.— Может быть, будет дождь...»

Он лег, натянул на плечи пикейное одеяло, тоненько вздохнув, расширил глаза... Стены, пол и потолок, оказывается, вернулись на прежние места, окно сделалось вертикальным, подводные жители исчезли так мгновенно, словно их никогда не существовало. И тьма в углу рассеялась, теперь было видно, что возле плинтуса чернеет отверстие в полу...

Семен умиротворенно улыбнулся, подумав о том, что вот наконец впервые за сутки сможет на два-три часа уснуть по-настоящему, счастливо подтянул ноги к животу — так он делал в детстве, на теплой и сонной постели, под большим блестящим фикусом. Потом он медленно решил: «Полежу с открытыми глазами минут десять-пятнадцать... Торопиться ведь мне некуда... Буду лежать, ни о чем не думать, смотреть в угол...» Он представил, как из черного отверстия выходит мышь — маленькая, серенькая, под кожей видно, как бьется сердце... Она поднимается на задние лапы, рыльце подрагивает, усы моржиные, хвост членистый, как у ящерицы... Все наладится, все обойдется...

Свернувшись в комочек, совершенно счастливый, сонный, с доброй улыбкой на черных губах, Семен лежал на кровати и глядел в угол комнаты...

Вдруг выйдет серая мышь — самая маленькая, шустрая, глаза бусинками, под кожей видно, как бьется сердце...

Но в доме Семена Баландина не живут маленькие серые мыши: им нечего есть.

ЮРИЙ КАЗАКОВ

ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

1

Пролетая разъезды и полустанки, не останавливаясь даже на многих больших станциях, поезд мчится на север. И во всем поезде нет на этот раз человека счастливее, чем Василий Панков.

Пять лет не был Василий дома и ничего не писал о себе. Да и о чем писать? Живет он легко, любит переезды, дальнюю дорогу, незнакомые города. Привык к вокзалам с неизменными специфическими запахами, к транзитным кассам, к районным гостиницам, общежитиям...

Бродяга по натуре, он редко вспоминает о тех местах, где пришлось ему побывать. Вновь его туда не тянет, даже не все эти места он и помнит хорошо. Так много городов он повидал, поселков, глухих мест — где же запомнить!

Два последних месяца он работал на монтаже турбинного котла, перевыполняя нормы, торопясь кончить работу до срока. На пологом голом берегу реки, рядом с лесозаводом, с огромными штабелями выкатанного леса, торчало недостроенное кирпичное здание электростанции. Крыши не было еще, были только лебедки, трубы котла — изогнутые, похожие на скелет огромного доисторического животного. Были связки тросов и канатов, бревна, балки наверху, на фоне бледно-синего неба, и целый день солнце, солнце... И пыль, и пот, крики рабочих, спешка, ругань, шипение автогенной сварки, частый гулкий стук пневматических молотов, запах карбида, опилок и шлака, липкого от нефти.

Настало время подъема смонтированного и опрессованного котла. Комиссия сомневалась в прочности тросов и лебедок, и Панков, взявший ответственность на себя, бледный, несмотря на смуглоту, стоял на мостике, слушал скрип тросов, блоков, щелкающий треск лебедок, облизывая пересохшие губы, смотрел на еле двигавшийся вверх и застывавший скелет котла. А рядом с ним стояли и смотрели, стискивая зубы, и хрипло дышали все одиннадцать человек, вся его бригада.

На другой день бригаде вручали почетные грамоты, а вечером он напился, с кем-то дрался, с кем-то целовался, плакал, хотел топиться и утром, проснувшись в общежитии, избитый, в изодранной рубахе, с больной головой, долго не мог прийти в себя и не мог ничего припомнить из вчерашнего.

Теперь он едет домой. Он в том легком расположении духа, когда все кажется простым и прекрасным, когда ни малейшая забота не омрачает жизни. Нет теперь у Панкова никаких желаний, кроме желания отдохнуть, пожить дома, отоспаться на сеновале, попьянствовать, поиграть на гармошке — словом, у него отпуск!

Думает он только о деревне, перебирает в памяти всех деревенских, вспоминает их голоса, язык, походку, лица... Повидать их всех — вот что с радостью предвкушает он. О своей недавней работе, о монтаже котла Панков не вспоминает.

2

На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и играя глазами.

Василий русоголов и странно смугл лицом и телом — в деревне его все зовут Копченым. Глаза у него серые, веселые, нагловатые. Вообще же он весь подборист, суховат и щеголеват: любит шелковые рубашки, галстуки и нарочно шьет себе широкие внизу брюки. И знает, конечно, о себе, что нравится девушкам.

Сближается он с ними быстро, но так же быстро и расходится: они ему надоедают. Про себя он решил давно, что женится в двадцать восемь лет и непременно на своей деревенской. Он уверен, что мать уж присмотрела ему двух-трех невест, что все они хороши: здоровы, красивы, из хороших семей, где нет ни пьяниц, ни придурков в роду. Так женились его отец и дед, его старшие братья и соседи, так женится и он.

После коньяка Василий быстро пьянеет, громко хохочет, громко говорит, обращаясь ко всем без разбору, к соседям, к проводникам, к старым и молодым.

— Мамаша! — говорит он.— Вы, конечно, меня извините... Извините! Я — как стеклышко! Ну, выпил, правда... А разве есть такой закон, чтоб не пить? Кто я? Строитель! Да? Мамаша! Меня в Москву звали — полторы сотни оклад, да? А я у себя в командировках больше заработаю, да? Не веришь, мамаша?

И он невнятно толкует о заработках, о каких-то инженерах, презирая их дипломы и образование, презирая вообще культуру, выше всего ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью.

В соседнем купе начинают играть в подкидного. Василий идет туда, тоже садится, но играет плохо, путает ходы, роняет карты и все говорит, с восторгом вспоминая какого-то однорукого, как он с ним играл и как однорукий ловко сдавал карты и помнил все ходы.

В вагон входит чернявый полненький человек в белом халате, с розовым гладким лицом, с золотыми зубами и маслянистым блеском глаз. Он останавливается в вагоне посередине прохода и говорит звучным, сытым баритоном, быстро всех оглядывая и быстро улыбаясь заученной золотой холодной улыбкой, портящей его сытое красивое лицо:

— Дорогие товарищи! Наш ресторан к вашим услугам! Что? Перебивать будете потом! Холодные и горячие закуски! Большой ассортимент вин...

Встрепенувшись, Василий Панков тотчас идет в вагон-ресторан, качаясь на переходных площадках, не закрывая за собой дверей, толкая пассажиров. В ресторане он опять пьет коньяк, еще больше пьянеет, знакомится с кем-то из другого вагона, идет с ним туда, приглашает его к себе в деревню, всех перебивает, пытается что-то рассказать, хочет казаться умнее, образованнее, чем на самом деле, но пьяная глупая серость так и прет из него.

Часа через два он возвращается в свой вагон, присаживается к шахматистам, подсказывает, мешает им, потом играет сам. Утомив и выведя из себя партнера, он начинает ходить по вагону.

— Ну, с кем сыграем? — громко предлагает он.— На сто пятьдесят грамм! Даю форы: ладью... Ну? Кто желает?

Никто не хочет с ним играть.

— Никто не желает? Слабаки вы все против меня! Эй, курчавый! — обращается он к совершенно плешивому толстяку.— Сыграем, курчавый, тебе я две ладьи уступлю, а?

Тот отворачивается к окну, делает вид, что не слышит. Шея его наливается кровью.

— Седой, а? — не унимается Василий.— На двести пятьдесят, а? Не желаешь? Обиделся, седой, а? Извините... Извините!

Какая-то девушка, которой Василий нравится, не выдерживает и прыскает. Приободренный Василий, чувствуя, что все обращают на него внимание, начинает еще пуще ломаться, ему весело, ему кажется, что он ужасно остроумен. Он каламбурит, говорит присказками, поговорками — дорожными, стертыми и пошлыми.

Наконец он все-таки устает, замолкает и скоро засыпает на своей полке. Спит он, свесив руку, раскрыв рот, пуская слюну на подушку и громко всхрапывая.

А поезд между тем все мчится и мчится на север; день проходит быстро. Меркнет небо за окном, темнеют поля, леса становятся сумрачными, заря бледнеет и гаснет.

Скоро в вагоне зажигают свет, начинают разносить чай, и незаметно наступает вторая ночь в дороге.

3

Хорошо ехать ночью в поезде!

Вздрагивает, качается вагон на стыках рельсов, неярко горят матовые лампочки под потолком. Скажет кто-то невнятное слово во сне, слезет кто-нибудь с полки, сядет у окна, закурит, задумается. Все приглушенно в этот час, все тихо, только внизу длинный гул и перестук колес.

А за окнами темная, безлунная ночь. Промелькнет изредка слабый огонек в путевой будке обходчика, проплывет мимо, как видение, глухой полустанок с непонятным названием, с единственным фона-

рем на перроне и березами в палисаднике, и снова подступает к окнам непроглядная мгла, и не понять, лес ли за окном, поле ли.

Промчится с пронзительным гудком встречный поезд, рванутся, затрепещут под напором ветра занавески, плотной струей пронесутся мимо освещенные окна, искрой мелькнет красный фонарь на заднем вагоне. И странно тогда думать, что в прогудевшем минуту назад встречном поезде тоже едут люди, едут туда, откуда ты, может быть, только вчера уехал, так же сидят в вагонах, негромко разговаривая, мечтают о чем-нибудь, или спят — и снятся им особенные сны,— или смотрят в окна, и у каждого своя судьба за плечами, у каждого своя жизнь впереди. Кто все эти люди? Куда едут они, что им снится, о чем так глубоко задумываются, о чем говорят и чему смеются?

Хорошо ехать ночью в поезде!..

Хорошо думать о том, что мимо проплывают темные деревни, озера, глухие сторожки и реки, которые угадываешь только по гулу мостов.

Появится где-то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра, долго держится почти на одном месте, потом погаснет, заслоненная косогором или лесом. Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, но и машина мало-помалу отстает, и вот уже снова темно...

Сколько же земли осталось за тобой, сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь! И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда, о жизни и смерти которых ничего не узнаешь, так же как не узнают и они о тебе.

Как сожмется сердце от мысли, что великое, непостижимое множество судеб, горя, и счастья, и любви, и всего того, что мы вообще зовем жизнью, тебе никогда не придется увидеть!

Стучат колеса, и ты едешь навстречу новому, неизвестному, и то, что было вчера, все позади, все прожито! Как много думается обо всем этом под равномерный стук колес, под гул быстрого движения!..

4

Василий Панков просыпается в час ночи. С минуту он тупо размышляет о том, куда и зачем едет, потом все вспоминает и немного оживляется. Голова у него болит, но уже поздно, все закрыто, и негде опохмелиться. Тем не менее с каждой минутой он все веселеет: скоро его станция! Закурив, он выходит на площадку, открывает наружную дверь и крепко хватается за поручни.

В лицо ему бьет ветер, дергает волосы, выдувает из глаз слезы. По траве, по кустам, по телеграфным столбам прыгают желтые пятна света из окон. Впереди при поворотах видны скрученные снопы искр от паровоза, быстро раскручивающиеся и тающие в темноте. Наверху, в глубоком пепельном небе, светятся бесконечные звезды,

сияет, дымится Млечный Путь, а к северу — будто бездонный провал: нет звезд и ничего нет, одна глухая черная пустота.

Панкову радостно. Сколько километров осталось до дому? Три? Пять? Он дышит глубоко и трудно, с усилием выталкивая из груди плотный воздух, но не хочет отвернуться, не хочет уйти в вагон.

А черная пустота все надвигается, теперь только над головой горят звезды, а Василий все не может понять, что это такое. Но вот в лицо ему бьют первые сильные капли дождя, ветер холодеет, и тут только Василий понимает: то, что раньше казалось пустотой, было на самом деле дождевой тучей. Он отступает в глубь площадки, вытирает мокрое лицо холодной рукой и идет в вагон.

В вагоне душно. Панков останавливается возле своей полки, смотрит вдоль длинного, слабо освещенного прохода с торчащими с полок ногами, пробует свои чемоданы и, подумав, надевает пыльник и шляпу.

Хлопнув дверью, выходит на площадку проводница. Поезд начинает притормаживать.

— Торбеево! — говорит проводница, возвращаясь.— Кто до Торбеева?

Василий встает, одергивает пыльник, поправляет шляпу, торопливо закуривает, снимает тяжелые чемоданы и, задевая за ноги спящих, тащит к выходу.

— Ну вот... приехали! — радостно бормочет он проводнице и спешит выходить.

На станции дует свежий ветер с мелкой пылью дождя. Панков спускается на землю, ставит чемоданы, смотрит вперед, потом оборачивается назад: никого не видно. На земле, на лужах лежат квадраты света из окон поезда. Проводница тоже спрыгивает на землю, быстро оглядывается, будто навсегда хочет запомнить эти лужи, запах чистой мокрой травы, черные телеграфные столбы.

— Что, не встречают? — весело спрашивает она Панкова, ожидая услышать от него тоже веселый ответ.

Но Василий хмуро молчит. Он растерян и встревожен. В палисаднике торчит одинокий фонарь, светит, помаргивая, сквозь березы. Подальше виднеется здание станции с освещенными окнами, все остальное тонет в темноте.

Не дождавшись ответа, проводница, показывая крепкие икры, лезет на площадку. Впереди, возле багажного вагона, кто-то машет фонарем. Тонко свистит паровоз, со звоном дергаются вагоны. Проводница, вытянув наружу руку с фонарем, другой рукой поправляет берет.

— Гляньте на станции, может, от дождя прячутся! — кричит она напоследок.

Василий поправляет шляпу, вздыхает, берет чемоданы и медленно бредет на станцию мимо палисадников. Его все быстрее и быстрее обгоняют вагоны.

5

Он входит в темный коридор, задевает за что-то железное, сваленное у стены, нашаривает и отворяет дверь.

На станции он был последний раз лет пять назад, но, войдя в большую комнату, видит, что здесь ничто не изменилось. На стенах все так же расклеены плакаты, призывающие к выборам, графики движения поездов, правила для пассажиров. Горит большая лампа в потемневшем абажуре из газет, лежат на столе желтые, крупные огурцы, хлеб...

На лавке, положив под голову сумку с инструментами, спит железнодорожник. Откинутая рука его черна и блестит от мазута. У ног его на полу чадит фонарь. Топится почему-то печь. Пахнет махоркой, березовым дымом от печки и раскаленным железом.

В углу кто-то сладко и долго зевает, из-за печи выглядывает красное лицо старика с рыжей бородой и изумляется, виновато моргает, стаскивает с головы шапку, вылезает из угла и протягивает заскорузлую, шершавую ладонь.

— С приездом тебе... А я тебя дожидаюсь! — неуверенно говорит он и улыбается, показывая желтые, съеденные зубы.

— Дядя Степан! — Панков сразу узнает своего соседа и дальнего родственника.— А где мамаша?

— Кого?

— Чего с матерью-то моей? Не заболела?

— С мамашей-то? А чего с ей? Жива-здорова, тебя ждет. За тобой приехал. Забегала, съездий, говорит, устреть...

— А я уж думать разное стал,— облегченно говорит Василий.— Ты на лошади, что ли?

— Гы-гы! — смеется Степан.— Ай ты не знаешь? Дрезина у нас теперя! На лошади... Чудак-человек!

Степан суетится, собирает в углу какие-то мешки, сумку, связывает и развязывает веревочки.

Собравшись, он восхищенно осматривает Василия, крякнув, берет чемоданы, косолапо перешагивает порог, топает по коридору, выходит на улицу и, отвалясь на левую сторону, шагает к дрезине.

Василий идет за ним. Дождь по-прежнему моросит, шумят березы, блестят под фонарем мокрыми листьями. Там, где недавно стоял поезд, тускло светятся рельсы, чуть подальше, на запасных путях, темнеют длинные груженые платформы.

— Чего-то не слыхать было про тебя? Как живешь-то? — спрашивает Степан, останавливаясь и взваливая чемодан на плечо.

— Живу нормально! Инженером-практиком работаю,— привирает Василий.— Зарабатываю — дай бог всякому! Строим все... Секретное строительство! — опять не выдерживает он, чувствуя, как все дрожит в нем от удовольствия.

— Ну? — удивляется Степан и смачно сплевывает.— Строите, значит. Это — дело хорошее. А у нас, Василий Егорыч, тоже такое строительство пошло, всю деревню взбуровали. Теперь комбинат у

нас на энтом берегу, поселок, народищу тьма, москвичей понаехало. Девки ровно ошалели: как вечер — в комбинатский клуб, и уж оттеда никоим образом не вытащишь. А многие кто и работать туды поустроились, председатель наш аж за голову взялся.

— Ого! — в свою очередь, удивляется Василий.— Ну а ты как?

— Кого?

— Ты-то как, спрашиваю?

— Я-то? Хо! — Степан оживляется.— Один я... Один! Старуха-то, слышь, померла! Второй год с покрова пойдет. На покров и померла. Отволок я ее на погост, поминки исделал, все натурально, честь честью. Девки у меня, знаешь? Девок я еще раньше замуж повыдал, ну их, живут там у себя. Один я теперя — ах, хорошо! Хошь, у меня поживи — весело живу, изба здоровая, хоть катайся!

Подходят к большой дрезине-мотовозу.

— Все или еще кто плетется? — спрашивает московским говорком шофер, докуривая папиросу.

— Все! — уверенно откликается Степан, карабкаясь на подножку.

Шофер бросает окурок в лужу, сигналит и прислушивается.

— Тогда поехали! — говорит он и заводит мотор.— А кто опоздал, тот пускай богу молится!

Дрезина трогается, вспыхивают фары, вырывая из темноты дорожные знаки, щиты, уложенные наперекрест шпалы, одинокие голые сосны. Проскакивают стрелки. Постукивая на стыках, дрезина набирает ход, со звонким гулом несется в темноту. Немногие пассажиры смолкают, смотрят в окна, туманя стекла своим дыханием. Мчатся уже с каким-то зловещим воем, сильно раскачиваясь. Мимо сплошной черной стеной летит лес. Редко попадаются фонари, освещающие длинные склады или просеки. На стеклах видны тогда косые извилистые капли.

Василий, совершенно счастливый оттого, что скоро увидит мать, что в дрезине тепло, попахивает бензином и чемоданами, оттого, что дождь перестает — на темном небе начинают показываться фиолетовые клочки со звездами,— сидит, отвалясь, широко расставив ноги, сдвинув на затылок шляпу. Он любит старика Степана, любит шофера и пассажиров, любит быстроту, с которой они мчатся, и прорывающийся в щель чистый родной воздух.

— Дядя Степан! — наклоняется он к старику.— Ты зайди к нам-то, посидим, выпьем... Да? Эх, и дадим мы с тобой сегодня жизни!

Борода старика приподнимается и расширяется. Он лезет в карман, нагибается к коленям, делает что-то в темноте, потом чиркает спичкой и закуривает: оказывается, делал папиросу.

Дрезина мчится, изредка гнусаво гудя. Впереди брезжит зарево огней лесокомбината. Степан шевелится, вытягивает шею, поглядывает вперед через плечо шофера. У него тоже радостные мысли. Скоро они приедут, в доме Панковых поднимется переполох, придут соседи, начнутся разговоры, подарки...

6

Дома у Василия выходит все так, как он мечтал. Пьет. Каждый день гуляет, играет на гармошке, заново знакомится с девушками, а они заигрывают с ним. Ходит он с ними в комбинатский клуб, в соседнюю деревню, хвастает своей жизнью и ловит со Степаном рыбу на перекатах.

Все эти дни он неизменно счастлив. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, он чувствует обожание и нежность матери, соскучившейся по нем, чувствует, что он хорош, молод, нравится девушкам, и уверен, что все они мечтают выйти за него замуж. И большего ему не надо.

Но однажды он просыпается под утро в повети, где обычно спит. Будто чей-то голос внятно произнес его имя, позвал куда-то. Проснувшись, он слушает, как вздыхает внизу корова, как возятся мыши в сене, и жадно курит, подставляя ладонь под огонек папиросы, чтоб не заронить искры.

Внезапно он ощущает знакомую тоску по дороге, по вокзалам, по гостиницам... Ему надоело! Жизнь в деревне, на родине, кажется ему уже скучной, непривлекательной. И он мучительно думает, куда бы поехать на оставшееся время, идет в избу, пьет молоко, считает у побелевшего окошка деньги, прислушивается к сонному дыханию матери и опять думает.

Наконец он вспоминает, что есть у него кореш в далеком южном городе, что как-то зимой кореш писал ему и звал к себе. Вспомнив и тотчас решив, не откладывая, ехать к этому корешу, поеживаясь от радостного озноба, идет опять в поветь, ложится в сено и засыпает.

Днем он укладывается, говоря матери, что работа не ждет. Потом обходит соседей, родных, прощается, особенным образом жмет руки случившимся не на работе девкам, всем обещает писать, зная, что не напишет, и идет домой.

Здесь уже топчется огорченный Степан, мать плачет украдкой, сморкается в фартук, и Василий тоже пригорюнивается на минуту. Но в груди у него поет радость, сердце бьется быстро: в дорогу, в дорогу!

На станции Василий томится, дядя Степан раскупоривает бутылку и сумрачно выпивает, а мать сидит подпершись, смаргивает слезы и, не отрываясь, глядит на сына. Когда Василий приехал — в тот счастливый поздний вечер,— бегала по дому, ног под собой не чуя, вся пылала от радости и совсем молодой казалась. А теперь вот, на станции, сидит старуха старухой и все глядит на сына.

— Что это ты какой-то?..— время от времени говорит она.— Пожил бы еще... В дому-то родном и пожить. И не напишешь никогда матери-то, как же это ты! Докуда же так будешь? И гнезда у тебя нет, всем ты чужой.

Дядя Степан тоже глядит на Василия, тоже хочет что-то сказать, но только крякает и еще выпивает.

— И теперь вот, куда едешь? — говорит мать и тоскует.

Василию становится вдруг жарко. Он свешивает голову и думает о своей жизни. А и надоело же в самом деле! Все какое-то случайное, и друзей настоящих нет, и ничего нет — одна дорога, вокзальные буфеты в памяти.

И жалко ему становится себя, какая-то горечь, неудовлетворенность наполняют сердце, скучно и стыдно как-то делается, и сказать нечего.

А еще через два часа, простившись с матерью, обняв и расцеловав ее напоследок, пожалевши ее и себя заодно, вытерев глаза, через два часа он сидит в вагоне-ресторане.

Поезд мчится на этот раз на юг, за окном опять мелькают деревни, станции, дороги, поля, леса... Напротив Панкова сидят два молоденьких лейтенанта в парадной форме. Оба темноволосы, оба с пробивающимися усиками, оба со значками училища, оба довольны и веселы, оба не отрывают глаз от сидящих за спиной Панкова девушек, смеются, шепчутся, пьют пиво, курят, пуская дым тонкими струйками вверх, и краснеют, когда девушки взглядывают на них.

Василий Панков быстро пьянеет, ему хочется говорить, шуметь, обращать на себя внимание. Он встает, покачиваясь, со стаканом в руке подходит к компании за соседним столиком, чокается со всеми, что-то говорит, хлопает всех по плечу.

— Вы меня извините...— говорит он.— Извините!

Потом возвращается к своему столику, с чувством превосходства и одновременно зависти смотрит на лейтенантов, провожает взглядом официанток, слушает радио, впитывает весь этот ресторанный воздух, с волнением думает о городе, куда он едет, забыв уже о своей матери, о родном доме, о Степане, о девчатах, и опять, пожалуй, во всем поезде не найдется человека счастливее, чем он.

Легкая жизнь! Мчится по земле, спешит, не оглядывается, всегда весел, шумен, всегда самодоволен. Но пуста его веселость и жалко самодовольство, потому что не человек он еще, а так — перекати-поле.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Витька Борзёнков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать» стакан-другой красного. Потом вышел, закурил... Подошла молодая девушка, попросила:

— Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки — молодая, припухла, пальцы трясутся.

— С похмелья? — прямо спросил Витька.

— Ну,— тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

— А похмелиться не на что,— стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

— А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

— Пойдем — поправься.— Витьке понравилась девушка — миловидная, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже както взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хорошо.

— Здесь живешь?

— Вот тут, недалеко,— кивнула девушка.— Спасибо, легче стало.

— Может, еще хочешь?

— Можно вообще-то... Только не здесь.

— Где же?

— Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет...

В груди у Витьки нечто такое — сладостно-скользкое — вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом — можно все успеть сделать.

— У меня там еще подружка есть,— подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

...НЕИСТРЕБИМАЯ
ВЕРА, ЧТО ДОБРЫЕ
ЛЮДИ ПОМОГУТ ЕЙ,
ВЕЛА ЕЕ И
ВЕЛА

— С закусом одолеем,— решил он.— Есть чем закусить?
— Найдем.
Пошли с базара как давние друзья.
— Чего приезжал?
— Сало продал... Деньги нужны — женюсь.
— Да?
— Женюсь. Хватит бурлачить.— Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты — куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой,— интересней.
— Хорошая девушка?
— Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая.
— А насчет любви?
— Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало,— здесь вот кипятком подмывало чего-то такое,— такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.
— Не промахнись. Будешь потом... Непривязанный, а визжать будешь.
В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. (Ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.
В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах — уютно. Витька вовсе воспрянул духом.
«Шик-блеск-тру-ля-ля»,— всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.
— А где подружка?
— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?
— Посижу. Только поскорей, ладно?
— Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро.
Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях.
Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радиолу не завел: без радиолы сердце билось в радостном предчувствии.
Потом помнит Витька: пришла подружка Риты — похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, «работала каучук». Потом пили... Витька прямо тут же, за столом, целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею.
«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки.— Вот она — зараза кипучая. Молодец я!»
Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку

Риту... И понял: опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай... Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево переулком и вправо по улице опять прямо. «И упретесь в автобусную станцию». Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно,— бормотал он,— я вам устрою...

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю до донышка, запустил бутылку в скверик... Были рядом с ним какие-то подвыпившие мужики, трое. Один сказал ему:

— Там же люди могут сидеть.

Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку — оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

— Ну?! — удивился Витька.— Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

— А кто же тут, по-твоему?

— Суки! Каучук работаете, да?

Трое пошли на него, Витька пошел на троих... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

— Наших бьют!

Еще налетело человек пять... Попало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь — Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой.

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали — этим пользовался Витька и бил.

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол — между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал. Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

— Батюшки-святы! — испугалась мать.— Чего же ему теперь за это?

— Тюрьма. Тюрьма вечная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела — только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?

— Батюшка, ангел ты мой господний,— взмолилась мать,— помоги как-нибудь!

— Да ты что? Как я могу помочь?!

— Да выпил он, должно, он дурной выпивши...

— Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже, наверно, завели дело...

— А кто же бы мог бы помочь-то?

— Да никто. Кто?.. Ну съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже... Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета — тот тоже развел руками:

— Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать. Все равно, наверное, придется писать. Ну, напишу хорошую.

— Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что — по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

— Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке... Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

— Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочко-то...

— Да не за что...

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году), старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила — крепкий рос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный — дурак дураком становится. В отца пошел — тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово — тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице — тоже от Витькиной бляхи.

Бляху с интересом разглядывали.

— Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще — не ребром угодил...

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени, и завыла, и запричитала:

— Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки! Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой — простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще — чтоб мать все поняла.

— Ты подожди, мать. Ты встань, встань — здесь не церква. Иди глянь.

Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса.

— Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

— Во флоте, во флоте — на кораблях-то на этих...

— Теперь смотри: видишь? — Начальник перевернул бляху, взвесил на руке.— Этим же убить человека — дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром — конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь: простить. Ведь он трех человек в больницу уложил. А одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно — мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

— Да сыночки вы мои милые! — воскликнула мать и заплакала.— Да нешто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает — подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры — народ до жалости неохочий, даже и они — кто отвернулся, кто стал закуривать...

— Один он у меня — при мне-то: и поилец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал — как же тогда с девкой-то, если его посадют? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи — жалко...

— Он зачем в город-то приезжал? — спросил начальник.

— Сала продать. На базар — сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь?

— При нем никаких денег не было.

— Батюшки-светы! — испугалась мать.— А иде ж они?

— Это у него надо спросить...

— Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез — украли их у него!.. Жулики украли...

— Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник — за что он его-то?

— Да попал, видно, под горячую руку.

— Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сы-

новья! — Начальник набрался твердости.— Не будет за это прощения, получит свое — по закону.

— Да ангелы вы мои, люди добрые,— опять взмолилась мать,— пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и светто увидела... Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

— Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться, действительно.

— А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала — пропасть! Все им готовила...

— Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! — уже кричал начальник.— Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались!

— Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

— Пусть к прокурору сходит,— посоветовал один из присутствующих.

— Мельников, проводи ее до прокурора,— сказал начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем уж бестолковой: — Сходи к прокурору — он повыше нас! И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты!

Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

— Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

— Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

— Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю — а каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

— Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что — мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

— Ты к чему это?

— Пошли. Я к тому, что — будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить — пьяный, деньги украли: обидели человека. Но судить все равно будут — чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить...

— Да сам же говоришь — пьяный был!

— Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напил-

ся. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь — сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.

Прокурор матери с первого взгляда понравился — внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано — что сын ее, Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами — хорошая девка... Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... Заговорил издалека, тоже как-то мудрено:

— Вот ты — крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?..

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ищо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе — отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались...

— Вот! — Прокурор поймал мать на слове.— Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал. Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко — там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны... Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд.

Мать поняла, что и этот невзлюбил ее сына. «За своего обиделись».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся.

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. Есть краевые организации. Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не сужденый, потом тяжельше будет...

— Скажи этим добрым людям, что они... не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

— Да посоветовали...

— Ну, поезжай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце... Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним...

— Это можно,— сразу согласился прокурор.— У него что, деньги большие были, говорят?

— Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери.

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного — его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло... Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара. Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так — на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти — ладно, эти за своего обиделись, а те — подальше которые — те помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей.

— Ну? — спросил ее начальник милиции.

— Велел в краевые организации ехать,— слукавила мать.— А вот — на свиданку.— Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

— Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери — сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... А сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженые мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

— Что, мать,— спросил один, мордастый,— тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь...

Витька был один, а камера большая, и нары широкие. Он лежал на нарах... Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним мать, вскочил.

— Десять минут на разговоры,— предупредил длинный. И вышел.

Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

— Гляди-ка,— под землей, а сухо, тепло,— сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он

осунулся за ночь, оброс — сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой тряски.

— Деньги-то, видно, украли? — спросила мать.

— Украли.

— Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за их затевать? Не они нас наживают — мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали,— стыдно. Две шлюхи... Мучительно стыдно! И еще — жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы,— ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она — только она, никто больше — нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали... Бюллетень возьмет...— Витька посмотрел на мать.— Лет семь заделают.

— Батюшки-святы!..— Сердце у матери упало.— Что же уж так много-то?

— Семь лет!..— Витька вскочил с нар, заходил по камере.— Все прахом! Вся, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка...

— Тебя как вроде уже осудили! — сказала она с укором.— Сразу же — жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно...

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была...

— Ну? И он что?

— Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — кувырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, судить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки-святы! Нагрели руки...

В дверь заглянул длинный милиционер.

— Кончайте.

— Счас, счас,— заторопилась мать.— Мы уже все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя карахтеристику... Хорошую, говорит, напишу.

— Там... это... у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай...

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору — тоже возьму карахтеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеевна хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок-то с собой — может, кого задобрить придется?

— Не надо, хуже только наделаешь.

— Ну, погляжу там.

В дверь опять заглянул милиционер.

— Время.

— Пошла, пошла,— опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюжку и яйцо.— На-ка поешь... Да шибко-то не задумывайся — не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники — они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться — сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь — про Верку хошь... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала...

— Ну?

— Горюет.

У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Както так, не потеплело.

— А ишо вот чего...— Мать зашептала: — Возьми да в уме помолись. Ничего, ты — крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду — до поезда — да забегу свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилостивются. Похоронку от отца возьму.

— Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.

— Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожут. Ты, главно, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уже дадут, так год какой-нибудь — для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь — они через полгода выходют. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.

Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.

— Время, время...

— Пошла.— Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала: — Спаси тебя Христос.

И вышла из камеры... И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость — когда вот так, тут — просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится... Но мать действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигда не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние,— это гибель, она знала. Она действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни — в краевые организации.

«Господи, помоги, батюшка,— твердила она в уме беспрерывно.— Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполошный — как бы не сделал чего над собой».

Поздно вечером она села в поезд и поехала.

«Ничего, добрые люди помогут».

Она верила, что помогут.

ИВАН УХАНОВ

ВОЖДЬ БЕДСТВИЙ

Отец слыл в поселке толковым мастером. И жить бы ему среди людей долго и славно...

— Да-а, руки-то у него были золотые, но характер жидковат,— с досадливой горечью потери вспомнил однажды про моего отца дядя Матвей, сосед.

Характер жидковат?

Вот с этим-то мне обидно было согласиться. Как, чем сполна измерить, чего в отце больше — слабости иль силы, если вспомнить, каким он с фронта пришел. Израненен весь, но жив и бодр — двенадцать орденов и медалей на груди!.. Да, если вспомнить?

Война смолкла, в деревню съезжались уцелевшие мужики. По улице Ключевки носились ребятишки в солдатских пилотках, брялцали медалями, нацепив их на заштопанные рубашонки, наяривали на губных трофейных гармошках.

Возвращение отца я, помню, ждал как чуда. Когда он уходил на фронт, я был еще в пеленках, ничего не запомнил, и долгожданная встреча с ним мне рисовалась так: ясным утром отец въезжает в деревню на боевом белом коне, поднимает к глазам бинокль, видит у крыльца нас, шестерых своих родных детей, маму и скачет к нам. А мы стоим и не дышим от радости: теперь у нас есть отец, теперь незачем нам голодовать, холодовать, грызть жмых и хлебать горькие щи из лебеды, теперь у нас будет все...

В тот июньский день кто-то стукнул в наше окно и ошалело закричал:

— Маруся, гляди, твой Степан идет!

Все, кто был в избе, сшибая друг друга с ног, бросились на улицу.

Деревню пересекала речка Кармалка, ее берега соединял деревянный мосток. На своей старенькой спине он мог держать грузовик с сеном, стадо коров, пляшущую свадьбу... Стоял мосток да поскрипывал и казался вечным. Но в дни половодья льдины сломали обветшалые столбы-опоры, мосток рухнул, вешняя вода унесла его. Наладить новый мост было некому и некогда: люди занимались посевной, огородами, а главное — почти все плотники Ключевки полегли на войне. Конюх Колька Донец приволок откуда-то на лошадях длинный рельс и уложил с берега на берег.

По утрам он поспешал на работу и, не желая гробить время на двухкилометровый обход, раза два, как циркач, перебрался через бушующую реку по рельсу. Но более не стал рисковать. Состязаясь в храбрости, мы, ребятишки, тоже влезали на рельс, ступали два-три шага, но тут же пятились: внизу ревел мутный поток и от одного взгляда туда кружилась голова... Человека в гимнастерке и пилотке (это и был отец) от нас отделяли метров двадцать водной преграды. Мама кричала и показывала солдату, чтобы шел в обход. Но тот словно ничего не слышал, неотрывно глядел на нас и улыбался. Вот он поправил на спине вещмешок, постучал сапогом по рельсу и легко шагнул на него, покачиваясь. Мама вскрикнула и закрыла лицо ладонями. Но отец уж соскочил на землю и, раскрылив руки, ждал, кто первым кинется ему на грудь...

На том и этом берегу мальчишки с хорошей завистью смотрели на нас, Савельевых, особенно на отца — бесстрашного человека.

В первые дни, возвратясь с фронта, отец как-то щедро, по-доброму загулял. Выпивал он будто от непосильной радости, от изумления: как это я выдюжил в такой страшной войне?! Сто раз могли убить, искалечить, сжечь, но вот — надо же! — целым вернулся!

И жил он в собственной семье на правах редкого, желанного гостя. Но гостевание затягивалось, начинало озадачивать маму.

— Мужик выпил — велик ли грех? Эх, возвратись, воскресни мой, да я бы его, родненького, в вине-то выкупала бы,— нашептывала ей вдовая соседка.— А твоему Степану сам бог велел. Изранен... да вся грудь в медалях. Так за что кровь проливал? А вот за жизнь такую: захотел — поел, пожелал — выпил...

Однажды утром, молча выкурив папироску, отец твердо сказал:

— Шабаш, Маруся. Погуляли, отдохнули — пора за дело.

Он сколотил бригаду и целое лето строил из самана коровник для колхоза. Дело вел споро и хорошо, бригаду даже премиями отмечали, в соседние деревни зазывали подсобить в строительстве. Однако осенью у отца открылась старая рана на ноге, с месяц он провалялся в районной больнице. Председатель колхоза подыскал ему легкую работу — поставил на пока продавцом в сельмаг. Грамотности у отца большой не имелось, да и тяготила его, каменщика, такая работа: возиться с деньгами он не любил и не умел. К тому же в магазине он оказался вблизи опасного соблазна: вино в ту пору завозили в бочках и продавали, как керосин, в разлив. Крепился, но все же за прилавок вставал порой нетрезвым. Его выдавали нос и уши, рдеющие даже после одного стаканчика вина. Маме и старшей моей сестре Тоне иногда приходилось подменять отца у весов.

Не прошло и полгода, как он, чуть окрепнув после больницы, с радостью передал магазин молодухе Татьяне Зениной.

— Ну, и слава богу,— облегченно вздохнула мама. Когда же узнала, что отец устраивается каменщиком на спиртзавод, что стоял за околицей нашего поселка Ключи, огорчилась до слез. Наслышалась она, насмотрелась: многие ключевские мужики на заводе себе

ЗА ГОЛУБОЕ НЕБУШКО,..

ЧТОБ НЕ ВИДАТЬ ВАМ ВОЙНЫ

жизнь свихнули. На зиму нанимались грузчиками, плотниками, возчиками. Деньги получали немалые — это само собой, вдобавок частенько удавалось еще то бражки, то спирта отведать. Бывало, придут на станцию вагоны с углем для завода. Рабочих рук не хватает, а вагоны нужно опростать срочно. Тут на заводе смекают: чем за простой вагонов тыщи рублей платить, лучше ведерко спирта грузчикам втихаря поднести, то есть вдобавок к договоренной оплате,— и дело шустро исполнится. Находились на заводе и другие спешные заботы. И мужички, ласково пришпоренные спиртом, проявляли завидное усердие, готовы были гору свернуть. Сплачивала их веселая мысль, что сразу же после тяжелой совместной работы-аврала дружно усядутся в круг и поделят, разольют по желудкам острую, обжигающую награду. А поскольку добывалась она сообща, в поте лица, честным трудом, то не оценить ее, то есть не выпить стаканчик-другой, каждому казалось грехом, неуважением к «обществу» да и к самому себе, к своему пролитому поту. Каждого тешила еще такая мысль: пьет-то не на свои и не на чужие — выпивки на заводе дармовые, ничья зарплата, а значит, и семья не страдает.

Однако заводу женщины посылали проклятья:

— Провалиться бы ему сквозь землю. Сколько пьянчужек наплодил!..

Но провались завод, исчезни в самом деле, многие пожалели бы. В завод ездили за бардой со всех окрестных деревень. Теплая, кашицеобразная, как густой кулеш, барда была сытным и дешевым кормом для скота и птицы, незаменимой прибавкой к соломе и сену. А в неурожайные годы скотина только за счет барды и выживала. Во все концы везли и несли ее... Иногда на заводе, помню, случались ЧП: по недосмотру аппаратчиц или из-за поломки брагоперегонной установки, ветхой, дореволюционной, вконец изношенной, в барде оказывалась изрядная примесь спирта. Пока неполадки заметят, устранят, в открытые оцементированные ямы возле завода натекали тысячи декалитров хмельной жидкости.

— Ушел! — Эта тревожно-веселая весть молнией облетала деревенские дворы, волнуя в основном мужчин. В сани, в телеги спешно запрягали все, что только могло нести упряжь: лошадь, быка, корову,— и устремлялись к заводу, точно в погоню за близкой удачей.

Бочку барды с примесью спирта привез однажды и отец.

— Ушел,— весело подмигнул он маме, выпрягая из саней корову.

— Зачем вез такую? — упрекнула мать.

— А лучше бы порожняком вернуться? Что люди наливали, то и я... Барда как барда,— защищался отец.

Мама взяла ведро и хотела раздать теплое сытное пойло животным, но отец несмело попросил ее:

— Подожди малость, пусть отстоится.

Он присел на облучок саней и с благодушной улыбкой стал глядеть перед собой в снег. Похож он был на рыбака, который загодя знал о счастливом исходе рыбалки. Немного погодя кашица в бочке

осела, отец кружкой счерпал в кастрюлю светло-коричневую, цвета пива, жидкость и понес в избу. На пороге его встретила мать, выхватила кастрюлю и выплеснула жидкость в снег. Отец побагровел, чертыхнулся, потом понурил голову и забормотал:

— А вообще верно, мать... Напасть какая-то. Черт-те че...

Барду из бочки он раздал скотине — корове и бычку, наиболее густую, со дна, вывалил в корытце курам. Птицы жадно клевали дышащую хлебным паром кашу. С плетня слетела стайка воробьев и нахально прорвалась к лакомству. Тесня друг друга и ссорясь, птицы мигом поглотали барду и захмелели. Петух кривил шею, таращил красные глаза и встряхивал головой, будто норовил сбросить с нее какую-то повязку. Куры, наоборот, сделались вялыми и сонными, как в летний зной. Воробьи оставались такими же бойкими, но в полете были менее устойчивыми, прицельными: спугнутые, летели к плетню, но некоторые промахивались и стукались о стенку бани, стоящей за плетнем...

Мама понимала, какая грозовая туча нависнет над семьей в случае поступления отца на спиртзавод.

— Я ж своим делом буду занят. На кой мне эта бражка? — доказывал отец.— Меня сам главный инженер приглашал. А завода мне что пугаться-то? Я там, сама знаешь, и до войны работал.

— До войны ты, Степа, другим был,— потерянно качала головой мама.— Тогда ты вино-то и не замечал.

— Завод ставят на реконструкцию,— уговаривал отец.— Новый корпус класть будем. Брагоректификационную аппаратуру привезли, железные чаны. А деревянные и прочую рухлядь повыбрасывают. Теперь завод заводом будет, а не бражной конторой...

Голос и слова отца слегка поутешили маму. Она поверила, что он идет строить новый красивый завод на месте старого, убогого, плодившего бражничество и прочие безобразия.

Освоившись на новой работе, отец потянул за собой старшего сына Андрея, плотничавшего в мастерских колхоза. Андрей пошел без колебаний: на заводе — техника, сновали грузовики, посвистывал на стройке подъемный кран, призывно распевал по утрам заводской гудок.

Жизнь в семье налаживалась. Каждое утро отец и Андрей шли на завод, мать — в коровник, Павлик — в конюшню запрягать лошадей в водовозку, Тоня — в колхозную контору, к бухгалтерским счетам. Сергею, Клаве и мне поручалось стеречь телка и гусей на луговине, полоть картошку, поливать огород. Каждый знал свое дело.

Осенью, опережая призыв в армию, уехал в город Андрей и, к нашей радости, поступил в военное училище летчиков. Отца эта новость не осчастливила. Он не любил все военное, уверял, что после такой войны, какую он прошел, людей и через сто лет воевать не уговоришь. Отпускать Андрея отцу не желалось: тот уже приобрел сноровку, самостоятельно мог сложить печь голландку...

После проводов Андрея отец еще с полгода ходил на завод, клал из кирпича стены и трубы. Но реконструкция закруглялась, дел для

каменщика поубавилось, и отец опять расслабился, забражничал: меньше работы — больше выпивок. Оправдывался он тем, что выпивает не по своей воле, а по просьбе людей, уважающих его — мастера-печника... Отец был трудолюбив, как муравей, аккуратен и ловок в своем деле. Сложенные им русские печи, ладные и уютные, жарко топились, долго держали в себе ровное тепло, все пеклось в них споро и без пригару.

Хозяйки на селе разговаривали:

— Сейчас-то прямо рай. И беды не знаю. А до савельевской была... Ох, не печь — прорва. Кидаешь, кидаешь в нее — и все как в трубу...

— Ага. Вот и у нас. Пока горит — тепло, прогорело — следом выстудило.

— А в савельевскую и всего-то пять-шесть поленцев положи да малость кизячку, и такого она тебе жару-духу даст! Сутки в доме теплынь.

— А у вас савельевская аль нет!.. Савельевская? Ну и дай бог...

Отцовы печи стояли в деревенских избах как памятники его редкому мастерству, славили всю нашу фамилию. И мне казалось: пока печи живут и греют людей, с нами ничего плохого не случится.

Заказы отец выполнял по выходным дням или после заводских смен. А кончил заказ — прими угощеньице, хлеб-соль. Не обессудь, так сказать. Благодарные земляки нередко доставляли его домой веселым и хмельным, да еще с деньгами в кармане. Маму такие отцовы заработки вскоре стали лишь огорчать. В семье нашей исподволь начало складываться тягостное настроение: мы как на злое действо стали смотреть на ремесло отца, то есть на то, что кормило и славило нас, было гордостью нашей фамилии. Мама гнала заказчиков, но это ей не всегда удавалось, и тогда она приставила меня к отцу в качестве помощника, а вернее — в роли сторожа, телохранителя. Когда мы клали печь, я помогал отцу: сеял песок, носил воду, таскал раствор, подавал кирпичи... Работа нелегкая, но труднее было окорачивать отца в часы хлебосольных угощений. Вино и закуску, как я слышал, знатному печнику подают не только из благодарности, но и со страху. Сколько слухов, россказней блуждало по деревням о злых шутках печников, которые они якобы учиняли над теми, кто скупился на угощение или на оплату их таинственного труда! А таинств взаправду оказывалось немало. Случалось, сложит печник печь. С виду ровна, аккуратна, все как надо, но тепла не держит. Как решетом воды не начерпать, так и печью этакой избы не согреть. Помучается, пострадает хозяин да к печнику с поклоном: «Помилуй, за что наказал?» А сам из-за пазухи дары достает. Придет печник, выбьет из бока печи в известном лишь ему одному месте кирпич, засучит рукав, слазит в сажное нутро ее, что-то поправит и снова вставит кирпич на место. Взберется еще на чердак, в дымоходе поковыряется — и пожалуйста, печь с того разу начинает по-доброму служить хозяину.

Бывало, печник свою обиду на прижимистых домочадцев выра-

жал тем, что внутри дымохода ребром кирпич выставлял. Сперва печь топится исправно, но через два-три месяца кирпич этот сажей обрастет и закупорит дымоход... Отец этак никогда не баловался, работал на совесть, и люди старались угостить его от чистого сердца.

Однажды летним воскресным вечером мы возвращались из хутора Озерцы, где возвели одному хлебосольному хозяину русскую печь. Отца так наугощали, что шел он, как раненый, опираясь на мое узкое плечо. Потом упал, распластался на пыльной обочине и уснул. Надвигались сумерки, я тормошил отца, норовя поднять, но он был каменно тяжел, нем и глух. Я со слезами беспомощности сел возле него, как около сломанной телеги. Кажется, впервые я ужаснулся пьяному человеку.

Пьяный хуже больного или раненого — этим хоть помочь можно. Пьяный же в помощи не нуждается, не просит ее, так как не ощущает себя в беде. В раненом или больном человеке, если не утеряно сознание, живет разум, то есть то, что отличает его от животного. У пьяного разум отключен. Раненого или больного ведет и исцеляет надежда. У валяющегося на дороге пьяного нет никакого ощущения жизни, никакой связи с ней. Он мертв, хотя и дышит. Он выбыл из жизни, хотя и не умер. Он мертвецки глух, слеп, бесчувствен, хотя и не лежит в могиле... Громыхни сейчас грозовой ливень, воспламенись хлебное поле, отец не шелохнется, все решать и делать надо будет без него, за него, ибо его нет в разумной жизни людей и природы, хотя он лежит на дороге.

...Справа от горизонта росла, заволакивая небо, иссиня-багровая, в красных отблесках заката, тяжелая туча. Оттуда же припахивало дождем. Я поднатужился, оттащил отца подальше от дороги и побежал к деревне. Задворками пробрался к нашему дому, крадучись нырнул под поветь, где стояла ручная двухколесная тележка, и неслышно, чтобы меня не увидела мама, выкатил ее через задние ворота со двора. Затем сбегал за дружком Митяем Пашкиным, позвал его в помощники.

К полю мы побежали через пажить, напрямик, решив обогнать изготовившийся дождь. Молнии слепили нас, земля под ногами временами словно бы проваливалась, исчезала. Резкий удар грома вдруг так шарахнул над головой, что Митяй присел и съежился, как от крепкого подзатыльника. Дождь после первых же капель перешел в шипящий густой ливень.

Отец лежал недвижно, вода хлестала по нему, как по бревну, и Митяй даже попятился с испугу: разве живой человек так валялся бы под ливнем? Молнии распарывали темное небо, озаряя диким неземным светом мутные из-за дождя окрестности, нас, покойнически безмолвное тело отца. Я быстро подкатил тележку, воткнул ее оглобли-ручки в бугорок, чтобы она не отъехала, и взял отца за плечи, Митяй обхватил ноги и вскрикнул: «Он живой, теплый!..»

Надрывая животы, мы еле-еле втащили отца на тележку и, поскальзываясь босыми ногами на придорожной раскисшей глине, покатили ее. Глина липла, навертывалась на маленькие колеса, утраи-

вая толщину их ободьев, они едва крутились, тележку мы тянули почти волоком. Небо вспыхивало, пушечно громыхало, и Митяй, тяжело дыша, испуганно-радостно вскрикивал: «Будто на войне мы, раненого везем, а?»

Затемно въехали во двор. На крыльцо вышли мама и Клава, помогли занести отца в избу, стащили с него мокрую грязную одежду, уложили в постель. Отец икал, поскрипывал в зябком своем беспамятстве зубами, а мама сидела перед ним, прямая и тихая, по щекам ее текли слезы.

Промокший, кажется, до самых костей, я сорвал с себя мокрую рубашонку, штаны и, выпив кружку молока, тотчас уснул на диване. Мне приснилось, будто мы с отцом снова в Озерцах, опять за хозяйским столом, снова отец поднимает и опрокидывает себе в рот стаканчики. Только в них не водка, а светлые мамины слезы.

Я схватил отца за руку, вскрикнул и проснулся... Потом долго не мог уснуть, в полубреду метался, стонал от бессильной ненависти ко всем предметам, похожим на стаканчики, к звукам булькающей жидкости, к зеленому цвету стоящих на витринах бутылок... Хотелось взять дубину, пройтись по всем магазинам на белом свете и вдребезги разбить все зеленые бутылки...

Утром отец встал чуть свет, сам подоил и выпроводил в стадо корову, напоил теленка, сходил в колодец за водой — так замаливал он вчерашний свой грех, зарабатывал на похмелье. Да, теперь он не мог, как прежде, опохмелиться чаем или огуречным рассолом — просил, требовал вина. Подчас корил маму, что вот-де из-за ее скупости он, не опохмелившись, тотчас может помереть.

Однажды воскресным утром он встал с тяжелой головой, опухшим лицом, с красными, злыми глазами и начал приставать к маме. Та подала ему оладьи со сметаной и из какого-то своего тайника добыла стопочку водки. Он выпил ее и просветленным взглядом обвел избу. К оладьям не притронулся. Чуть погодя он опять пожелал водки. Но где ее взять?

Отец умоляюще посмотрел на меня и, пошарив во всех карманах, дал деньги. Затем дрожащей рукой написал записку продавцу, попросил отпустить мне, несовершеннолетнему, бутылочку портвейна. Мама хотела остановить меня, но отец, распахнув рубашку на груди, закричал: «Маруся, что тебе дороже — моя жизнь или стакан вина?!»

Я бросился в магазин, как в аптеку за лекарством.

Отец выпил портвейна, съел несколько оладьев и, повеселев, стал топтаться в избе, ища себе дело. Но все валилось из его рук, и он опять начал выпрашивать вино.

— О, господи, да когда конец этому?! — взмолилась мама и хотела уйти из избы. Но отец встал перед ней на колени, сложил руки на груди и тихим, но страшным, каким-то рыдающим голосом сказал:

— Прощай, Маруся. Ра-ас-ти детей.

Затем встал и пошел в чулан. Там он, заядлый охотник, взял пат-

ронташ, старый двуствольный дробовик и по скрипучей лестнице поднялся на чердак. Мы с Клавой — следом за ним. Не оглядываясь, отец сел на кирпичный выступ дымохода, вынул патрон, загнал его в ствол, поставил приклад к ногам и стал медленно подводить черное дуло ружья себе под челюсть. Мы с криком выскочили из-за трубы и схватились за ружье. Услышав шум, на чердак мигом взобралась мама.

Клава плачет, я плачу, мама плачет.

Отец обнимает нас, лицо у него грустно-виноватое, страдальческое. Усталые и больные, мы слезаем с чердака. Мама, как сонная, бредет в избу, достает откуда-то деньги и молча протягивает мне. Я опять бегу в магазин за портвейном.

Как-то в тот самый момент, когда отец, вымогая вино, опять схватился за ружье, в избу случайно зашел дядя Матвей. Увидев отца, стоящего посреди избы, взлохмаченного, с дробовиком в руке, он спросил:

— Что, Романыч, на охоту собрался?

Отец сконфуженно промямлил что-то.

— Мало он выпил, дядя Матвей. Еще дайте, говорит, не то застрелюсь,— пояснила шестиклашка Клава.

— Во-от оно что,— покачал головой дядя Матвей.— И это бывший фронтовик, гвардеец?!

Отец стыдливо отвел глаза, но тут же схватил патронташ, ружье и шагнул к двери.

— Ты куда?

— На чердак он, дядь Матвей. Стреляться,— опять подсказала Клава.

— Стой! — крикнул дядя Матвей и схватил отца за плечо.— Стреляйся здесь, при нас!

Отец кинул на него горячий взгляд, но все же остановился и сел на табурет, не совсем, кажется, понимая, чего от него хотят. Тем часом дядя Матвей выхватил из его рук патронташ и ружье, ловко вогнал заряд картечи в ствол и вернул ему. Отец подрагивающими то ли от хмеля, то ли от страха руками стал тыкать ружье себе в грудь. Тут дядя Матвей закричал:

— Нет, браток, этак ты никогда не застрелишься!

Он взвел курок, сдернул с отцовской ноги кирзовые сапоги (теперь отец легко мог нажать на спусковой крючок большим пальцем левой ноги). Отец вздрогнул, сгорбился и побледнел.

— Что ж это, Матвей... ты вправду хочешь, чтоб я порешил себя? — суровое изумление было на лице отца. Он тихо встал с табурета, положил ружье на сундук и вышел на крыльцо. Долго сидел там, нахохлившись, угрюмо дымя папиросками.

Присмирел он после этого случая. С работы являлся трезвый, тихий, в глаза нам не смотрел, а все как-то мимо да грустно.

— Сама ты, Маруся, виновата. Поблажки ему даешь... Ведь не от бед Степан хлебает ее, а от уюта. Пришел с войны на все готовенькое: ты и детишек, и себя, и хозяйство в целости-сохранности

сберегла. А заявись он к разбитому корыту, к спаленной хате — небось не разгулялся бы,— сердито высказался однажды дядя Матвей, на что мама возразила:

— Грешно бы добавок-то Степану желать, нацеплять к тем болям и ранам, что перенес... Не дай бог никому. Ты б, Матюша, в баньку пригласил его да поглядел...

— Что мне на него смотреть? Ты на меня погляди! — нервно отмахнулся сосед.

На худощавом лице дяди Матвея краснеют глянцевитые бляшки — следы сильных ожогов. Когда он смеется, видны его ровные, поразительно белые зубы. Вставленные зубы. Свои он потерял на фронте. В Ключевку Матвей Трофимович Елфимов возвратился в середине войны, жестоко израненный и контуженый. Возле правого уха у него приставлена этакая черненькая пуговка с тоненьким проводком. Перед сном дядя Матвей отцепляет от ноги короткий кожаный протез, снимает «ухо», зубы и все аккуратно раскладывает возле себя. Кто-то в шутку однажды назвал его раскладушкой. «Пока наш раскладушка соберет себя по частям, опять в зиму без дров останемся»,— ворчливо шутили бабы, встречаясь иногда с неторопливой хозяйской осмотрительностью дяди Матвея, бригадира.

— Я не прочь со Степаном попариться. Но дело тут не в бане...— поостыв, пояснил дядя Матвей.

А я, слушая разговор, вспомнил, как однажды отец взял меня, мальца, с собой в нашу баньку, спину ему веничком похлестать.

Разглядывая крепкое, подбористое, но изуродованное шрамами, грубыми рубцами тело отца, я прицепился к нему с расспросами. Отец стал пальцем водить по своему животу и груди, как указкой по карте.

— Это.... осколком под Москвой чиркнуло. А тут пулевая, навылет — у Великих Лук, есть там городишко Торопец. Вот там... Ну а бедро огнеметом подпалило у Зееловских высот — это под самым Берлином...

Я смотрел на отца с гордостью и жалостливой любовью. Если бы его тело, думал я, не прикрывала одежда, люди бы видели все его раны, увечья и многое бы ему прощали. Мало ли сделал он для них, для нас, для всей Ключевки, пройдя с боями от Москвы до Берлина?!

— Не один он воевал, покалечен. Вон Трофим Ушаков... Двух сынов потерял, сам изранен, а ничего, не раскис, не улез в бутылку. Когда горе большое, вином его не залить.— Дядя Матвей не одобрял мамино заступничество, и, когда отец попадался ему на глаза пьяный, он встряхивал его за грудки и негромко стыдил: — Опять размок, фронтовичок. Э-эх, своими же пьяными ногами топчешь свой авторитет...

— Верно, Матюша, верно,— винясь, соглашался отец.— Но... всяко мы воевали. Кто-жарко, кто с прохладцей. А я всегда, все четыре года в коренниках, на передовой, в первом эшелоне... И нервы, сам знаешь, не лыковые, порваны, не держат.

— Не прибедняйся. На тебе еще пахать можно,— по-бригадир-

ски строго урезонивал отца Елфимов.— И нечего все на войну валить. Позади она. А впереди — жизнь, работа. Вон сколько работы в колхозе! Ты же на завод умыкнул. А там самого черта пить научат.

Эти горячие перепалки фронтовиков ничего мне не разъясняли, я так и не мог уразуметь: где, когда и почему отец к спиртному пристрастился и кто тут больше всего виноват?

Ну, перво-наперво, винили завод. Вот кабы отец, придя с войны, устроился в приличное, трезвое заведение, то и жизнь его сложилась бы иначе... Но работал же он на заводе до войны — и ничего, не пил.

Тогда, может быть, истоки отцовского порока в его ремесле, в руках мастера-печника? Но добро не рождает зло. Если отца уважали, угощали, ценя его работу, разве ж тут люди виноваты? Выпей, закуси, но не напивайся. Пей, но дело разумей...

Дядя Матвей все эти трудные вопросы решал просто:

— Сам ты себе, Степан, злейший враг... Знаю, война тебя потрепала, спиртзавод как собутыльник тебе на дороге повстречался. Знаю, побочные заказы избаловали — печной мастер нарасхват! Но главный бес, Степа, в тебе сидит. Да, в тебе!

Отец вяло соглашался, похож он был на человека, у которого с трудом нашли хворь, многие годы подтачивающую его здоровье, оставалось лишь взяться за лечение. Но вот беда: сам-то отец не считал себя больным — сердце, печень, желудок, почки и прочие органы в порядке, так что ж лечить?! Ах, от вина, от выпивок лечиться? Так разве ж то болезнь? Захочу — и брошу пить.

— Так захоти! — кричал дядя Матвей.

И отец иногда мог держать себя, обходился без хмельного. Однажды ему было велено срочно обмуровать новый котел в кочегарке. С зари до зари пропадал он на заводе, до срока кончил дело. Его усердие начальство отметило ценным подарком — бритвенным прибором в красивом кожаном футляре.

Но таких трезвых полос в его жизни выдавалось все меньше и реже. Опять его где-то угощали, поили и доставляли домой «чуть тепленьким». По утрам он вставал с отекшим лицом, дрожащими руками, с каким-то звериным блеском в красных глазах и начинал гонять маму, требуя опохмелиться. «Я — отец!» — с угрожающей и вместе с тем уязвленной гордостью кричал он, размахивая кулаками, и мы, дети, бросались к маме, заслоняя ее собой от неуправляемых кулаков. В такие минуты отец не был похож на себя обычного, и мы не признавали его. Тогда он отчаянным криком напоминал, что он наш отец. Он просил и требовал к себе прежнего почтения, хотя сам давно уже был не прежний. Спасая свой разрушающийся авторитет, он, приободрив себя рюмкой, начинал рассказывать нам о былых своих геройствах на фронте. Когда-то мы вымогали у отца такие разговоры, слушали его разинув рты. Теперь же не любопытствовали, не донимали его расспросами, хотя и слушали иногда, но не слышали. И отец верно улавливал это наше настроение. Однажды резко оборвал свой рассказ, лицо его мученически исказилось, и из глаз

покатились к подбородку невероятно настоящие, прежде никогда не виданные нами его слезы.

— Эх, вы... Что ж вы так? Жить жирнее стали, да? — неумело всхлипывая и вытирая рукавом рубахи эти немыслимые свои слезы, тихо говорил отец.— И теперь, стало быть, плевать вам на нас... кто крови не жалел. Сталинград держал... Только мое орудие двести выстрелов — без продыха, слышите?.. Кровь из ушей капала, краска на стволе горела...

С какой-то вежливой жестокостью мы дослушивали отца и сразу же расходились по своим делам, а он еще долго и одиноко сидел за столом, согбенный, сникший, и нам было жалко его такого...

В те дни в нем объявился вдруг интерес к своим боевым наградам, что уж лет десять забыто лежали в узелке где-то на дне семейного сундука. Однажды вечером, собираясь с мамой в гости, отец попросил достать ордена и медали. Он надраил их суконкой, привинтил к обоим бортам своего черного выходного пиджака и, поджидая маму, стал как-то стыдливо-торжественно прохаживаться по комнате, искоса взглядывая на нас. Мы, дети, с обновленным интересом смотрели на него. «Ого, папка весь в наградах, как Буденный, только без усов!» — подивилась Клава, и всем нам в тот вечер было приятно и чуточку неловко: у каждого в душе ворохнулась смутная вина перед отцом.

Однако не прошло и месяца, как он, возвращаясь с какого-то гулянья, не дошел до дома, свалился у чужих ворот. Оповещенные, мы пошли на другой конец деревни и впотьмах привезли отца на тележке. Пиджак и медали были вывожены в золе и глине, пришлось отмывать и чистить их. С тех пор на его боевые награды мы вдруг стали смотреть без прежнего восхищения.

Как-то вечером, желая выпить, отец опять разбушевался, с кулаками подскочил к маме. В избе были мы со старшей сестрой Тоней.

— Не трожь маму! — Мы кинулись на отца, повалили на диван, и Тоня ремнем стала связывать ему за спиной руки.

— А-а, родного отца к-крутить?! — заикающимся от ярости голосом кричал он.— Видали: вырастил дочку! Руки выкручивает...

Отец выматерился, и от бранного слова Тоня вдруг согнулась, будто ее в живот ударили.

— Эх, срамник бесстыжий,— всхлипнула мама.— Родную дочь позоришь...

— Это она... руки крутит,— поднимаясь с дивана, рычал отец.— Для того я с фронта к вам шел? Для того?!

— Да лучше б совсем не приходил... вот таким! — выкрикнула ему в лицо Тоня и бросилась из избы.

Через несколько дней, несмотря на уговоры председателя колхоза, Тоня уволилась и поехала в город, а точнее — «куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда». Тоне шел двадцать второй год, из них пять лет она бухгалтером отслужила в колхозной конторе. Все ее очень ценили, никак не хотели отпускать... Маленькая спаленка Тони в левом углу избы опустела. У всех нас было тяжело на душе,

Тоня будто не по доброй воле уехала из дома, а мы вынудили ее. Мама, однако, верила: вот-вот дочь вернется, и пока не разрешала никому из детей занимать спаленку. Иногда сама уходила туда и, занавесившись, тихонько всхлипывала там.

После отъезда Тони отец какое-то время жил трезво, неслышно, осунулся от каких-то своих тяжких дум, гложущих его изнутри. С нами говорил осторожным, виноватым голосом. Вид у него был такой, словно он следом за Тоней собирается куда-то уехать. Появилась у него странная привычка уходить за околицу, в вечернюю летнюю степь, и одиноко бродить там без дела. Маму это его поведение озадачивало, но на вопросы ее отец ничего не отвечал, а лишь скорбно улыбался.

...Призвали на армейскую службу Павла. На его проводах отец крепко выпил, плясал, пел, плакал, потом исчез куда-то. Вечером его нашли за огородами на ковыльном холмике. Зачем он удалился туда и полураздетым лег на холодную октябрьскую землю?.. Он заболел, три недели провалялся с воспалением легких, бредил, разговаривал со смертью, звал и ругал ее, смеялся и плакал. А как начал поправляться, притих, сник, призадумался. Он будто не радовался своему выздоровлению.

Однажды к нам заехал старый лесник Михеич и упросил отца поглядеть, «подлечить задурившую перед самой зимой голландку». Через сутки отец вернулся с лесного кордона — веселый, с неузнаваемо просветленным лицом, а главное, совсем трезвый. Лесник угостил его медом, показал пчельник, и отец загорелся желанием купить и резвести пчел. Ульи он сам сделает, а опыт пчеловодства у него какой-никакой еще с детства остался: дедушка пчельник имел.

— Вот как начнут кричать лягушки на реке, так и пчелы открывают свои полеты,— пустился в добрые воспоминания отец в тот вечер.— А выемка меда? Это ж праздник!.. Этак пополудни в тихую, ясную погодку самый срок... Дедушка дымком их малость утихомирит и начнет рамки из улья доставать. А я их к бабушке таскаю, к медогонке. Веселая, сладкая работа!.. А над изгородью головы соседских ребятишек торчат, и бабушка давай их медом угощать... Нет, даже и раздумывать нечего, пчелы нам очень сгодятся. Вот увидите, я вас медом закормлю...

— Ох, не знаю,— покачала головой мама.— Пчелы-то, я слышала, опрятность, порядок любят. И не терпят пьяных.

— Что так, то так,— чуть смутившись, согласился отец.— Кто поел чеснок, копченую рыбу или, вот верно говоришь, выпил — к улью не подходи... Помню, дедушка в тот день, когда мед качать, в баньке мылся, чистую рубаху надевал. Верно, мать, пчелки ни запаха пота, ни водки не выносят. Жалят такого, как врага.

— Ну, вот... Как же ты ладить с ними будешь? — печально усмехнулась мама.

— Ничего, мать, слажу. Дело-то светлое да и... для души моей опора как раз. А я все смогу. Вот они, мои руки. Да, пьяный-то проспится — к делу годится, а вот дурак — никогда!

Отец с такой ретивостью вцепился в свою затею, с такой светлой надеждой, как будто от благополучного исполнения ее зависела дальнейшая его жизнь — хорошо или дурно пойдет она.

И началась у отца радостная страда. Каждый день, придя с работы, он наспех закусывал и торопился в чуланчик — свою крохотную мастерскую-столярку, где до полуночи пилил, строгал, стучал, творя новые ульи. Упиваясь делом, он забывал про выпивки, помолодел, даже ростом стал вроде бы выше. Вместо прежних резковатых его команд: «Сбегай!», «Уйди!», «Дай!» — мы слышали теперь: «Ты сбегал бы», «Ты принес бы мне, а?»

В начале февраля отец выпросил на конюшне лошадку, запряг в легкие сани, пригласил меня в помощники, и мы поехали в лесничество за пчелами. Я спросил отца, как же мы повезем их по морозу.

— Самая сейчас удобная пора покупать и перевозить их. А весной или летом нельзя: пчелки на свою старину улетят...

Всю дорогу отец рассказывал о неведомой мне жизни, сказочном трудолюбии пчел, в голосе его было много ласковости, давно не слышанной неторопливой нежности. О пчелах он рассказывал как о понятливых, родственных ему в чем-то главном существах.

Лесник продал нам вместе с ветхими ульями четыре пчелиных семьи-трехлетки, то есть крепких количеством и состоянием здоровья пчел: даже в февральский день на солнечном припеке в затишье было слышно, если прижать к улью ухо, тихое несмолкаемое жужжание.

Мы благополучно довезли пчел до дому и осторожно, как хрупкое и драгоценное приобретение, внесли ульи в прохладные сени. Отец решил выставить их, когда сойдет снег, в огороде под березками, где чистый воздух, безветренно, много дневного солнца, куда не доходят от сарая запахи навоза.

В мае, пересаженные из стареньких ульев в новые, пчелы начали свои полеты. Прозрачная толща воздуха над огородом так и сяк прочеркивалась летящими точками, озвучивалась едва слышимой музыкой какого-то непрестанного и упорного труда — неумолчным, радостно-суетливым жужжанием, отчего двор наш, огород оказались вдруг в центре доброй, животворящей стихии. Отец, как ребенок, тянулся к ульям, будто к новым, красивым игрушкам. Что-то прихорашивал, пристраивал. В пчельник, огороженный невысоким и легким плетнем, он выходил в чистой одежде, свежевыбритый и умытый.

Мама поначалу смотрела на пчел как на объявившуюся в домашнем хозяйстве лишнюю заботу. К тому же пчелам то новые вощинки давай, то сахарную подкормку — одни расходы, а пользы пока никакой. Однако пользу от пчел мама усмотрела в другом: увлекшись пчельником, отец забыл вино. И мама не жалела никаких затрат на пчел, согласилась бы, наверное, держать их, даже если бы они вовсе не сулили нам никакого меда. Отец же, наоборот, в пчелах видел работников. Пчелы — не голуби, не для баловства их заводят. Бога-

тый медосбор — значит, толковый пчеловод. Нет меда — значит, никудышный.

Меда в наших ульях не было. Наоборот, пчелы сами просили меда, нуждались в подкормке и спасении. Отец покупал и подкладывал в ульи то меду, то сахару. Раза два ездил за советом к леснику, тот приезжал, осматривал ульи и оставался доволен тем, как отец ведет дело. А что меда нет, так это год такой тяжелый. Засуха. Все пасеки одинаково бедствуют.

Лето и вправду выдалось недобрым. Солнце подпалило не только хлеба, но и травы. В конце июня нива выглядела так же, как в сентябре. Недозревший хлеб, дабы не пропал зазря, в колхозе скосили на корм. Горько и непривычно было видеть опустевшие, наголо остриженные поля ржи и пшеницы в начале лета, то есть в дни, когда обычно лишь кустятся, выбиваясь в трубку, зеленые всходы. За околицей, где-то на выжженных солнцем глинистых взгорках, затевались пыльные рыжие вихри — «чертячьи драки», дымно неслись они вдоль дворов, вскидывая в знойно-мглистое небо клочья газет, тряпки, пучки соломы... Серые от пыли, пожухлые и скрюченные листья деревьев не шумели, скреблись, жестяно шуршали, как искусственные лепестки кладбищенских венков. Зори являлись без росы... Пчелы, как и скотина, были голодны и злы. Жалили беспричинно людей, изрядно искусали однажды и отца. Лицо его вспухло, перекосилось. Отец натер сырой картошки и сделал себе примочки.

Привыкший быть мастером и хозяином того дела, за которое горячо брался, он оказался теперь словно в тупике и с досадливой растерянностью искал из него выход. По вечерам он усердно поливал грядки капусты, укропа, помидоров, шеренги подсолнухов вдоль плетня, надеясь создать около пчельника зеленую микрозону. Но старания эти были напрасны, и отец сник, тихонько как-то запаниковал. Узнав, что у лесника Михеича пчелы, несмотря на засуху, все же находят, добывают мед, он впервые после долгого перерыва сходил в магазин за четвертушкой и молча, без удовольствия опростал ее за ужином.

— Значит, не судьба, мать,— устало сказал он маме.

— А ты не торопись. Пчельник развести — это тебе не печку скласть. Терпение нужно,— утешала мама.

— Да не в пчельнике дело. И не в засухе, хотя... сволочь, будто нарочно меня укараулила, подстерегла! — от какой-то гибельной беспомощности выругался отец.

Осенью он с угрюмой неторопливостью бережно утеплил ульи, пристроил над ними кровлю, чтобы дождем не заливало. Выходя на крыльцо курить, он смотрел на пчельник такими глазами, какими человек смотрит на плоды бесполезного своего труда, какими оглядывает ласково ухоженное поле, на котором, однако, ничего не уродилось. Определив пчел на зимовку, отец будто схоронил их, обходил всякий разговор о пчельнике, о меде, которого нам так и не довелось отведать. Щадя отца, мы и сами не упоминали о пчелах.

Вскоре я уехал учиться в институт и о дальнейшей жизни отца узнавал в основном из писем. Он по-прежнему выпивал, пошумливал в семье и сам маялся, страдал от этого. Ходил на завод, а в свободное время клал русские печи и голландки сельчанам, которые по-прежнему дружно и угодливо-неумышленно спаивали его... С пчелами он так и не поладил. И хотя следующее лето выдалось зеленым, добрым, пчельник не одарил медом. У отца, как писала мне мама, не хватало терпения, выдержки для ведения такого строгого дела. Без должного пригляда сперва одна пчелиная семья отроилась и улетела, затем другая сгинула...

А осенью пришла страшная телеграмма, и я выехал в деревню на похороны отца. Его сварило паром, когда он в генцеварном цехе обновлял асбесто-кирпичный свод в топке котла. Был слегка во хмелю: кочегары бражкой угостили.

Умер отец в тот же день, ненадолго приходил в сознание и просил у мамы прощения. Мама безутешно плакала. Но прибывшая из города на похороны Тоня не уронила и слезинки.

— Конец-то должен быть какой-то. Не нынче, так завтра... Не сварился бы, так замерз,— вдруг строго, с больной и горькой беспощадностью произнесла она и сразу подсушила этими словами мамины слезы.

Дядя Матвей же, заслышав эти Тонины слова, скорбно запротестовал:

— Не надо бы эдак-то, Антонина... Испробовали бы вы с наше, тогда бы... Вы ведь как отца с войны встретили?.. Ага, руки, ноги, глаза целы, работать горазд — значит, порядок, нормальный мужик. Вот, дескать, и веди себя нормально. Я тоже его корил: говорю, я-то держусь, а почему ты не можешь? Воевали-то равно, оба покалечены... А прав ли я был? Кому ведано, кто промерит, на какую глубину война каждого из нас пропахала, искорежила? Мы знай кричали Степану: не пей, притормози! А где ему взять тормоза? Не мог он... Тот, довоенный, мог притормозить, а этот нет. Потому как только с виду был он Степаном, но фактически от него прежнего лишь чехол, ободья одни остались. Капот от двигателя.

...И вот я стою у могилы отца. Более четырех лет прошло со дня похорон, но будто вчера толклись здесь, месили смоченную осенним дождем, тяжелую возле разверзнутой могилы глину. Тихие, молчаливые были похороны — без слезных причитаний и каких-либо речей... Отец лежал в гробу, поставленном на две табуретки, прохладное солнце слабо освещало его спокойное, виновато-задумчивое лицо. «Простите меня, люди. Так уж вышло»,— это горестно-просительное выражение его лица запомнилось мне и часто потом преследовало меня. Снова и снова отступал я в своих воспоминаниях к тому дню, когда впервые увидел отца — в форме солдата, одолевшего всех врагов на земле.

Запомнились слова бабки Федосеевны, несмываемо осевшие в моей душе.

— Отмучился, Романыч. Царствие ему небесное. Отмаялся, родимый,— поцеловав отца в лоб, сказала она.

Сажусь на скамейку возле ухоженного зеленого холмика, достаю из кармана зерна пшеницы и разбрасываю (для птиц) по всей могиле и возле жестяного, окрашенного серебрянкой памятничка.

И опять гложет память, опять вижу веселое светлоглазое лицо отца...

Я живу, а он, еще не старый, лежит в могиле. Значит, что-то недоглядели мы, упустили, в чем-то не поняли его, не помогли... Может, у отца были глубокие тайны. А мы не распознали их, мы просили его лишь об одном: брось пить! И думали, что наша просьба легкая.

Я вздрогнул: кто-то сзади хлопнул меня по плечу.

— Николай? О, сколько лет! Здравствуй! Тебя не узнать, бакенбарды отрастил.— В оградку, скрипнув решетчатой дверцей, вошел Митяй Пашкин, друг детства. После окончания школы мы лет пять не виделись: разъехались по городам. Я лишь слыхал, что Митяй кончает нефтяной институт в Уфе... Подрос, покрупнел, а всегдашние яркие веснушки на его круглом большеротом лице вылиняли, подевались куда-то.

Мы крепко тряхнули руки друг друга, чуточку заволновались даже, не зная, о чем говорить.

— Погодка, денек, ух! — радостно и глубоко вздохнул Митяй, вертя крепкой, коротко стриженной головой. Я поддакнул и тоже огляделся вокруг, как бы заново изумляясь солнечной тишине летнего дня — особенной какой-то, умиротворяющей здесь, на маленьком сельском кладбище.

— Ну, ты как — надолго сюда?.. А я вот недельку урвал перед экзаменами, мать наведать, озоном подышать... Ты подожди меня, посиди, а? Я мигом сейчас, бабушке цветы вот отнесу. Троица нынче, праздник, вон почти к каждой могилке люди пришли.— Митяй распахнул желто-голубую спортивную сумку, оттуда выглянули букетик тюльпанов и блестящая спица транзисторного приемника. Он зашагал в дальний верхний угол кладбища, энергичным взмахом руки приветствуя сидящих возле холмиков людей.

— Здорово, педагог,— сказал мне проходящий мимо с лопаточкой в руках Матвей Елфимов.

Я протянул руку навстречу растопыренным его пальцам, дядя Матвей ухватил ее и остановился.

— Могилку деду поправлял, ну и маленько помянули, как водится...— Дядя Матвей будто оправдывался, что синие глазки его слишком веселы. Он вошел в оградку, сел на скамеечку рядом и улыбнулся, глядя на могильный холмик, усыпанный зерном, кусочками ватрушек, пирогов: — Ишь, сколь наложили! Кто идет мимо,

тот и отщипнет от своей стряпни для Степана. Ныне в его печах везде пироги пекут... Во всех дворах.

Чуть погодя подошел Митяй, торопливо вынул из сумки бутылку водки, газетный куль с закусью, стаканы, живенько наполнил их.

— Ну, давайте, мужички, по махонькой, так сказать, по славянскому обычаю помянем предков... заодно и за всех нас. Я вот Кольку Савельева сто лет не видал. Как, дядь Матвей? — с запозданием попросил позволения Митяй.

— Да можно... маленько,— кивнул дядя Матвей.— И Степану угодим. Ох, поддержал бы он нас сейчас. В работе жег себя, но и выпить был охотник... Давайте. Вон глянь, для того нынче люди и идут сюда, чтобы родные могилы навестить.

— А помнишь, Коля, как мы твоего отца по дождю волокли? — разрезая ножичком прошлогодний соленый огурец, начал Митяй.

— Но, хватит! — оборвал его дядя Матвей.— Испробовали бы вы с наше, тогда б понимали...

— Ну, будем...— Митяй не спеша выпил, захрупал огурцом.

Я стоял и смотрел в свой стакан: безвинно поблескивала на солнце кристально-чистая водица... Всего полутораметровая толща прохладной земли отделяла нас от ее жертвы.

Дядя Матвей меж тем взглянул на меня с умилением, детски-искренними глазами, и, заранее горько сморщившись, потянул из стакана.

— Не за могилки, а за жизнь. За голубое небушко вот, чтоб не видать вам войны. Как нам вот со Степаном довелось,— фукая и вытирая губы ладонью, бормотал он.— И где ж ему, исковерканному, было устоять...

Большая, но какая-то привычная, инертная мудрость звучала в его словах. Мне даже казалось, что дядя Матвей слегка лукавил, отклонялся от себя обычного, строгого, неохочего до выпивок человека. А сейчас, захмелев, он вроде бы уж и не винил водку в гибели отца, покрывал, амнистировал ее. Так мне показалось.

— А по-моему, водка... пьянство, как и война... Даже губительнее...— не в тон разговора горячо, сбивчиво начал я.— Да, у нас нет социальных условий для пьянства, но а каков итог?... Трескают... безмерно, как с ума посходили...

— Коля, погоди. Я не понимаю... Не выпил, а уж охмелел — такие речи... Это что — твой тост? Иль ты не рад встрече, мы тут лишние, мешаем? — Митяй неопределенно посмотрел на меня, не зная, как быть — обидеться на то, что я сказал, или свести все к шутке.

Разговор наш смолк, стало тихо, лишь воробьи радостно чивикали и, не пугаясь нас, трапезничали на могильном зеленом холмике, склевывая зерна пшеницы и крошки пирогов. А над нами вставал, голубел высокий солнечный день, и всей душой, мыслями хотелось быть похожим на него, благоденствовать под стать ему, не копить в себе тоску и отчаяние.

— Эх! — лихо-неопределенно вздохнул Митяй и энергично подал мне на кончике ножа ломтик огурца. Я потянулся за огурцом,

перекладывая стакан в другую руку, и ненароком вдруг выронил его. Митяй на лету поймал стакан, но водки в нем уже не было. Он отдал мне его, искренне сожалея, что «добро пропало», схватил бутылку и нацелил в стакан.

— Да ладно уж... на козла сено тратить,— отказался я.

Теперь он был совсем неопасен, этот стакан, как мина, из которой вынут взрыватель. В такой мине нет смерти, а есть только футляр от нее.

— Чудак человек... Ну, смотри, как хочешь,— хохотнул Митяй.

А я оцепенело-блаженно рассматривал свой пустой, хрустально сверкающий на солнце всеми гранями стакан, продолжая дивиться своему наивному открытию: «Что вы наладили: водка, водка! Да при чем тут водка?.. Лишь выпитая она — чудовище, вождь бедствий, владыка, адресат проклятий, гигантский паук-вампир, обретающий власть всесветного неуязвимого порока. А невыпитая водка — всего лишь бутылка с прозрачной водицей, безобидная склянка... Да, да. «Какая на вине вина за то, что пьет его глупец?» Кто это сказал?..»

— О господи, с чего вы тута весялитесь? — послышался шепелявый старушечий голос. Мы обернулись и увидели возле оградки бабку Федосеевну. Она перекрестилась, отвесила поклон и молитвенно запричитала: — О боже, мы исчезаем от гнева твоего, прости нас за согрешения наши и насыть нас милостью твоею, и будем мы радоваться и веселиться во все дни наши...

— Федосеевна, а ты с нами-то немножко бы... капелюшечку... за троицу и вот за упокой Степана Романыча.— Дядя Матвей плеснул из бутылки в стакан и поверх оградки протянул его старухе.

— Вот так пройдусь, каждой могилке покланяюсь... чтоб приняли меня тута с миром. Скоро ить мой черед сюда,— шепелявила она, словно объясняя свое появление возле нас. Потом осыпала себя крестами, как бы открещиваясь от поданного ей стакана. Мутные глазки ее, однако, весело засуетились.— И-их, грешники мы... Но для праздника Христова не грех выпить чарочку простого.

Федосеевна взяла стакан и, отхлебнув глоток, сморщилась, вытерла губы концом черной косынки. Митяй подал ей кусочек хлеба, она отмахнулась.

— Ни-и... Я без закуски... Как вроде причастия... Прости нас, господи, и возвесели нас за дни, в кои ты поражал нас, за лета, в кои мы терпели бедствия...— бормоча, Федосеевна перекрестилась, вернула недопитый стакан, еще раз поклонилась нам и пошла тихонько вдоль могил, опираясь на палочку.

— Митрий, давай-ка... не будем мешать Николаю. Пускай с отцом наедине побудет,— обычным своим строгим голосом сказал дядя Матвей, обнял Митяя за плечи, и они бесшумно вышли за оградку.

«...Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной»,— негромко донесся откуда-то мотив знакомой песенки, пустая печаль легкого недоумения и уютной обреченности слышалась в не-

спешном, вдумчивом голосе певицы. Я догадался: это Митяй, выйдя за воротца кладбища, включил транзистор, лежащий в его спортивной сумке...

Дома я застал маму, тетю Ксению Елфимову, соседку, и молодую доярку Лену Прошкину. Шли из коровника на обед да заглянули к нам. Мама небось пригласила.

И вот уже стол готов, поданы красные соленые помидоры, яйца, сметана, лапша с курятиной... Женщины вяло, как мне показалось, начали обедать. И видно было по их глазам, что на столе чего-то не хватает. Вот и мама скользнула по тарелкам и лицам взглядом, спохватилась: «Ох, дурочка старая, совсем забыла!..» Выскочила из-за стола, метнулась в горницу и, возвратясь, поставила посредь стола бутылку водки, стаканчики.

— Давайте, бабоньки, чуток... за троицу и... моего Степана помянем. Коля, командуй, мужик ты средь нас, разливай,— попросила мама и посмотрела на всех облегченно: теперь на столе было все, что полагалось по обычаю.

Лица женщин повеселели. Я знал, что водка им не всласть, не раз видел, с какой подчас презрительной необходимостью они выпивали ее. Но за компанию, словно бы храбрясь друг перед другом, да если еще по стоящему поводу, они могут выпить. Потому я быстро распечатал бутылку и разлил водку по стаканчикам. Переглянувшись стыдливо-озорными глазами, женщины выпили, тетя Ксеня — всего полстаканчика. Сморщились, зафукали, замахали руками и, закусив, повернули ко мне любопытные лица.

Я взглянул в глаза отцу, который с каким-то печальным вопросом смотрел на нас сверху, с портрета, медленно отодвинул свой стаканчик и извинительно-негодующе выдохнул:

— Не могу... Не хочу. Ненавижу!..

Женщины оторопело переглянулись.

ВЛАДИМИР КРУПИН

ЖИВАЯ ВОДА

Тебе на память,
мне на камень.

Заговор

— Жили-были...— начинал Кирпиков, но Маша кричала:

— Ой, только не дед да баба!

— Мать, слышь?

— Чего? — откликалась из кухни Варвара.

— Чего внучка-то говорит, хватит, говорит, пожили.

— Живите,— разрешала Маша,— ты мне не сказку расскажи, а про себя.

— Про себя? — Кирпиков раскрывал газету, притворялся, что изучает ее, и докладывал: — Про меня ничего не написано.

— Как ты был маленьким,— заказывала Маша.— Как ходил за живой водой.

— Ходил и ходил.

— Ну, деда, ну последний раз! Ну! «Жили вятские мужики плохо, но этого не знали...» Деда! Дальше!

— Жили и жили. И думали, что живут хорошо, не хуже других, но пришел захожий человек, говорит: «Чего это вы так плохо живете? Живой воды, что ли, не пивали?»

И сам Кирпиков, и Маша, и Варвара знали, что он расскажет историю до конца. Для Маши-то! Да она как хотела им вертела. Да он и рад был. Машенька тоже бегала за ним как хвостик, как привязанная. И не разобрать было, кто из них ребенок. Машенька воскресила начало его жизни. Оно как будто уходило куда-то на пятьдесят лет и вот вернулось.

Это не было стариковское впадание в детство, нет, эти воспоминания были за семью печатями взрослого труда, нехваток, лишений, войны, снова труда, глухоты к детству собственных детей, но пришла Маша, положила свои ручонки на эти печати, и они исчезли, двери упали прахом, и — боже мой! — как и не было всей жизни, а только детство.

Как, оказывается, он много знал сказок! Будто он сам сочинил все сказки про дурачков, и Бабу Ягу, и Кащея, он свободно шел по незнакомой дороге, уверенный, что выйдет к нужному месту. А песни! Уж на что Варвара певунья, и та́ диву давалась, как муженек распевал «Ой да вы не вейтеся, русые кудри», «Во субботу день ненастный» (эту она даже подтягивала, а Машенька, не вдаваясь в смысл,

КРАСОТА
ЕСТЬ

ПРИРОДА
ЖИЗНИ

танцевала), «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...». А сколько вполне печатных частушек сыпалось вдруг из памяти Кирпикова на восхищенную Марию!

Она не оставалась в долгу и угощала стариков новомодными песнями, которых знала множество. «Не плачь, девчонка», «Снегопады — это очень, очень хорошо», «То ли еще будет» и другие, заставляла деда играть в детский сад. Варвара раз усмеялась, когда ее старик изображал мальчика-бояку. «Не бойся, мальчик,— говорила Маша, приступая к лечению,— сейчас машинка немного пожужжит, пыль с зубиков сдуем, и все». Кирпиков, помнящий выдирание остатков зубов без заморозки и делание искусственной челюсти, искренне выказывал ужас. Пришлось побыть ему и тетей-воспитателем, а Маша являлась к нему в группу с проверкой. «Что-то у вас, Александра Ивановна (Кирпиков надевал Варварин фартук), дисциплина хромает. Сделайте выводы». И Кирпиков делал. Он проводил собрание и стращал непослушных кукол-детсадовцев криком: «На Гитлера работаете!» То-то Маше смеху.

— Ну, деда,— напомнила Маша,— «...сказал им захожий человек: «Чего это вы так живете, что хуже вас никто не живет?»

— Мужики говорят: «Ты давай уматывай по холодку, а уж мы сами разберемся». Ну, он умотал, а мужики задумались. День думают, два, неделю: а вдруг в самом деле живут хуже всех? Обратно, и живой воды не пивали. Надо спросить. Надо, как не надо! Кого спросить? Как кого? Самого, больше некого...

Маша усаживалась поудобнее. Кирпиков понимал, что запрягся в историю и надо тянуть до конца.

— Кого послать? Кого ни коснись, никто не хочет. Этот боится, этому некогда. На том грех, на этом два. Я тут же крутился. Мужики решили: пошлем Саньку. Молодой, на него не обзарятся. «Вали, Саня, узнай, как и что. И живой воды попроси. Если что, мы даром отработаем». Ладно, говорю. Да и самому охота поглядеть. Взяли меня мужики за руки, за ноги, раскачали и на небо забросили. Только рубаху в штаны заправил, охранники: «Кто такой? Куда...» Так и так, к самому. А там у них так налажено, все так сверкает, что стыдно в рванье-то. Да босиком. Один говорит: «Может, не пускать?» Другой все же за то, чтоб пустить—много ли, мол, сопляк, знает и все ж таки связь с народом. Пустить! Не успел моргнуть, как переодели, обули, представили. Вот, говорю, послали спросить. «Откуда?» — «Вятский».— «Что за народ?» — «Да ничего,— ему отвечают,— в рамках терпимости. Храмы вот только ставят деревянные, а в остальном терпят. И живут хорошо, ребятишки даже летом ходят обутыми. Перед вами наглядный пример».— «Еще какая просьба?» Вот, говорю, велели спросить, как бы живой воды, хотя бы по глоточку. Разговоров много, а не пробовали. «Выдать! Все?» Все не все, а уж сзади в спину тычут — кланяйся. Вышел в переднюю, очухаться не могу, думаю, как бы запомнить: вот эдак я стоял, вот эдак он сидел, а что ж не спросил-то, хуже мы живем или лучше? Гляжу, а уж я обратно

босиком. Мне говорят: «Давай валяй ко своим, иди еще потерпи». А как, говорю, живой-то воды, ведь обещали. «Будет. Расплата потом». Подвели ко краю, спихнули. Да ловко рассчитали, упал на солому, глазами хлопаю, а в руках здоровенная бутыль. Кругом мужики. «Принес ли?» — «Вот». Стали пробовать. Да больно всем понравилась. Да раз пустили по кругу, да другой, да и песню запели.

— Какую песню? — спросила Маша.

— Какую? «Степь да степь кругом, путь далек лежит».

— А в тот раз пели «Славное море, священный Байкал».

— Не одну, много пели. Распелись, глядят — бутыль пустая. «Давай, Сань, недолгое дело, слетай за добавкой». Я и жду, когда раскачают да бросят на небо. «Нет,— говорят,— это ближе, беги в сельпо, никакой разницы...»

— И тут ты просыпаешься? —спросила Маша.

— И тут я просыпаюсь.

1

Не в бархатный сезон, как сказал поэт, пришел в мир наш герой, прожил жизнь, как велели, и неужели кто-то осудит, что в эти минуты он сидит за кружкой пива? Вернее, не сидит, а стоит и говорит речь. И все его слушают, хотя в час закрытия пивной невозможно завладеть общим вниманием. Хотел, например, некий Вася Зюкин от восторга души запеть, но тут же буфетчица Лариса выкинула певца. И снова тишина. Если бы в пивной могли выжить мухи, было бы слышно, как они пролетают.

— Мы чешем в затылке, а лысеем со лба,— говорил Кирпиков.— И точно так все. Поэтому если даже мы спрыгнули не с одного дерева или вышли не из одной пещеры, все равно мы были братьями и сестрами. Хотя бы троюродными или четвероюродными. И если заняться, то везде найдешь свою родню. Даже в Африке, только, может, они не признаются...

Интересно, чем же привлек Кирпиков общее внимание? Разгадка заключалась во времени года: наступала весна. Уже высунулись из снежных варежек ладошки пригорков, уже хозяева поглядывали на огороды. Огороды были у всех — лошадь только у Кирпикова. Лошадью был безымянный мерин лесобазы. Кирпиков числился сторожем лесобазы, но считал себя конюхом. «Слово «сторож»,— говорил он,— позорит нашу действительность. Раз есть сторож, значит, имеются воры. Но кому надо, тот и у сторожа украдет, а от честных и стеречь нечего».

Весной в дни посадки картофеля и осенью в дни уборки Кирпиков становился желанным для всех. Его наперебой угощали, лучше сказать — поили авансом, и, что важнее для него, выслушивали. Он переставал быть Сашкой, вспоминалось его полное имя.

— Говорите, Александр Иванович,— возник робкий голос пенсионера Делярова.

— Приказываю слово «баба» вычеркнуть из всех списков,— приказал Кирпиков.— На полях заметьте: женщины. Приступайте!

— Нет подобных списков,— сказал Деляров,— неоткуда вычеркивать.

— Дурак ты,— сказал ему Кирпиков.

— Я дурак?! — трусливо спросил Деляров, взглядом вербуя свидетелей.

— Ты, ты,— успокоил его шофер Афанасьев, в просторечье Афоня.

— Только без рук! — крикнула Лариса.

— Все дураки,— обобщил Кирпиков.

— Ну, если все,— успокоился Деляров.

— ...за исключением моего мерина. Нас много — он один. Он последняя лошадь, я последний конюх. Он умрет, и я отомру. Записываем далее: красота есть природа жизни. Но вы все слепые.

Изречение о красоте пропало незамеченным, а упрека в слепоте мужики не приняли — какие же они слепые, если шли по домам самостоятельно, а если спотыкались, то не от слепоты, а оттого, что обойти препятствие не было сил.

— История жизни учит...— продолжал Кирпиков.

Но чему учит история жизни, никто не узнал. Жаль. Что делать — земное притяжение одолело. Кирпиков рухнул. Искусственная челюсть отрывисто лязгнула.

— По домам! По домам! — закричала Лариса.

Стали расходиться по одному и группами.

Вася Зюкин встречал выходящих и радостно спрашивал:

— Все видали? Ну Лариска, ну баба! Оторви ухо с глазом и оба разом! Как меня, а?! До трех раз, не меньше, перевернулся. На четыре точки встал. У жены моей и то так нечасто выходит. Самое главное,— хвалился он,— ни одна стеклотара не разбилась, хоть бы где трещина.

Вышел не пивший ни грамма, но окосевший от спиртных паров пенсионер Деляров. Он разулся и убежал трусцой. «От инфаркта,— думал он,— и от пивной подальше». Конечно, без необходимости пахать огород он бы не стал кланяться Кирпикову. Но не копать же лопатой. «Однообразный физический труд отупляет»,— думал Деляров.

Афоня вывел Кирпикова, уравновесил.

— Дойдешь?

— Докуда? — спросил Кирпиков, плохо ориентируясь.

— До дому.

— В какую сторону?

— В эту,— показал Афоня.

— В эту дойду,— ответил Кирпиков.

На прощание они пожали друг другу руки. Это было рукопожатие равных по положению в поселке людей. Если у Кирпикова был мерин, то у Афони — грузовик. Привезти сено, подбросить

дровишек — за этим шли к Афоне. Разница была в оплате. Кирпиков за работу получал пол-литра с закуской, Афоня брал деньгами.

Афоня, а с ним и Вася Зюкин ушли. Вася, потряхивая бутылками за пазухой, запел. Бутылки звякали на две октавы выше — Вася не тянул.

— Башку тебе баба отсоединит,— полушутя-полупрорицая сказал Афоня.

— Сегодня не,— весело ответил Вася,— ей сегодня ни до чего, у нас собачка сдохла. Завтра похороны, приходи, помянем.

— На мерине приеду.

Вскоре звяканье затихло, и Кирпиков, всем нужный человек, остался один, всеми брошенный. Ему так много подносили, что он набрался сверх меры. Ему следовало бы знать, что пресыщение наказывается, но все мы крепки задним умом.

Мимо по железной дороге, временным ожерельем обхватывая горло поселка, летели поезда. Днем пассажиры могли видеть крохотный вокзальчик, станционный буфет, несколько десятков домов, забор лесобазы, штабеля дров, металлическую трубу общественной бани; ночью мелькало несколько огоньков, и все.

Но как упрекать пассажиров мягких, купейных и плацкартных вагонов в том, что у подножия мелькнувшего за окном станционного буфета страдает их ближний, а они не спешат на помощь. Тем более и страдал он заслуженно. Мог и не напиваться. Но опять-таки, как винить Кирпикова: просили выпить — не мог отказать. Ему оставалось проспаться и отрабатывать аванс.

Дальние поезда летели мимо, но два раза в день останавливался пригородный. Единственный пассажир, сошедший в поселке, запнулся за Кирпикова.

— Кто там? — спросил Кирпиков спросонья.— Сейчас запрягу.— И очнулся: над ним стоял человек в форме.

Кирпиков одолел земное притяжение и тогда только разглядел, что форма не милицейская.

— Не на того нарвался,— сказал он, собираясь снова залечь.

Но человек свирепо встряхнул его, и Кирпиков узнал лесничего Смышляева. Пошли вместе. Кирпиков шел зигзагами, будто запутывал следы.

— Ну что,— спросил он лесничего,— разбогатело государство от моей пятерки?

— Если ты поумнел, то разбогатело.

— Штраф не пища для раздумий,— назидательно сказал Кирпиков.— Возьми на карандаш. За веники! — воскликнул он, адресуясь небесам.— За веники меня штрафанули на пятьдесят рублей на старые деньги!

— Нечего в питомник соваться! Я на каждый росток надышаться не могу!

— Все там ломают,— Кирпиков наивно думал, что ссылка на большинство оправдывает,— а засекли меня. Думаешь, я обеднел из-за твоей пятерки?

— Лишний раз не выпьешь.
— Меня и так уважат в десятикратном размере. А кто тебе поднесет? Пошли в стекляшку проверим. Заворачивай. Никто не заплачет, где могилка твоя...
Лаяли собаки. Они преследовали две цели, и довольно успешно: оправдывали объедки с хозяйского стола и передавали вдоль по улице как эстафету подгулявшего Кирпикова и его спасителя.
Из Кирпикова начинал выходить хмель, и он мелко постукивал вставными зубами.
— И чего было человека тревожить? — обиженно сказал он.— Лежал бы себе и лежал. Нет, вставай. Не можешь ты, видно, чтоб люди спокойно жили. А я тебя другом считал.
— Опять неладно,— усмехнулся лесничий.— Оштрафовал — плохо, от простуды спас — плохо. Ты золотые веники ломал. Это посадки карельской березы, из нее лучшая мебель.
— А мебель нам ни к чему,— заявил Кирпиков, принимая лужу за кусок асфальта.— Я и без кровати, на полу сплю — некуда падать.
Лесничий вывел его на берег.
— И вообще,— сказал Кирпиков,— будет у кого пожар, я больше тушить не пойду — пусть все сгорит. Без чего можно обойтись, это лишнее и вредное. Это уж просто не знают, как из народа деньги выманить. Сколько стоит мебель из карельской березы?
— Тысячи три, с половиной.
— Три с половиной?! — На такую заоблачную цифру Кирпиков так потрясенно ахнул, что собаки озадаченно смолкли.— Вот ты когда себя выявил! Вот где тебя подловил! Три с половиной! На спекулянтов работаешь. Мебель, хренебель, рестораны. Одни тунеядцы. Работать некому. Закрыть рестораны — вот и рабочая сила.
— Нет, Александр Иванович, красивая вещь — это хорошо. Вот представь, ты сделал...
— Не собираюсь...
— Да уже и некогда. Дошли.
— Я и сам вижу. Дошли! Был ты мне хорошим, сам напортил. Ты людей на мне не учи. Ты к народу задом не становись.
— Прожил ты жизнь, а ума не нажил.
— Как это прожил? — вскинулся Кирпиков.— Чем я кому помешал? Места я немного занимаю, так что разрешите пожить!
Лесничий пожал плечами и пошел своей дорогой. Идти было неблизко. Плохонький лес-самосев шумел под ветром, и даже привыкший к лесу человек вздрагивал, когда ветер внезапно заслонял дорогу веткой.

2

— Картина Репина «Не ждали!» — так комментировал Кирпиков свое переступание через порог.— Не слышу оваций.
Варвара вздохнула и отвернулась. Можно было, дождавшись мужа, пойти спать, но она по опыту знала, что, пока он не выгово-

рится, не уснет. Имелось средство — выдернуть вставную челюсть, но муж был начеку.

— Не двигаться,— предупредил он, ложась в углу под иконой. Лег на пол принципиально, как бы заочно доказывая лесничему, что слова у него не расходятся с делом.

— Ну, борони, борона,— вздохнула Варвара.— И когда ты только образумишься? Ведь лысый уже, леший ты, леший, в четыре глотки льешь, да когда хоть доверху нальешься, когда хоть руки мне развяжешь, леший ты, сатана.

— Ответь на вопрос,— сказал на это Кирпиков и закурил,— есть ли в могиле кровати? Нет. Три очка. Второй вопрос: когда я умру? Отвечаю: ни-ко-гда. Весной и осенью я на вес золота, умереть не дадут. Лето исключается. Остается зима. Нахожу вывод — на зиму уезжать в Африку.

Варвара пошла в кухню и налила в стакан воды.

— Под иконой не посмеешь,— хладнокровно сказал Кирпиков.— Мне даже выгодно, что ты веришь. А я пока не спешу.

— Господи, твоя воля, прости неразумного. Не доводи до греха.

Кирпиков распалился:

— За что простить? За то, что всю жизнь хребтину ломал, за это? За то, что пятерым детям образование дал? За то, что воевал? А? Что чужой копейки не взял? За это? Не приближайся! Стоять на месте! Прицел постоянный!

Варвара, усыпляя бдительность, взялась за штопку.

— Я вижу перед собой темноту, то есть тебя. И должен просвещать. Даю справку на вопрос в устном виде. Бог для начала был, не спорю. Он завязал тут жизнь, сказал — живите, и дал свободу. И мы занялись. Скажи, кто создал твоих детей? Нет ответа. Я или кто другой? Открой тайну. Все-таки я? И запомни: я их создал — я и есть творец. Проверь. Ударь табуреткой — выживу. Поздно менять планету.

Варвара плюнула и ушла. Кирпиков, делая вид, что утирается, вскочил.

— Ты плюешь?! — заговорил он.— Ко мне не пристанет. Прошу слова: в меня плюнула русская женщина. Предел кончен.

Все-таки сегодня он был не в ударе. Чувствовал какую-то слабость. То ли хмель проходил, то ли разговор с лесничим подействовал. Раньше он выделывал штуки похлестче, например, репетировал, как ему лежать в гробу (значит, умирать все-таки собирался).

— Следующим номером нашей программы,— объявил Кирпиков и пошел к репродуктору...

Номер назывался: «Не хотите со мной разговаривать? Очень хорошо! Я вынужден говорить с Москвой».

— Како те, лешему, радио, времени два часа! — чуть не плача, закричала Варвара из кухни.— Все другие спят давно, господи, за что мне такое наказание?

— Итак! В эфире Кирпиков. Местное время... Мать, мерина кормила?

— Чтоб он сдох, твой мерин.

— Просим извинения у слушателей. Это происки чуждого элемента. По команде кормила? Я серьезно спрашиваю.

— Кормила!

— Благодарность в приказе. Итак. Товарищи! К нам с просьбой обратилась простая рядовая труженица, внешне ничем не приметная женщина. Это ты. Исполняем для нее песню.

Кирпиков запел:

Когда я был начальником,
Носил штаны в полоску...
Сохранять спокойствие,
Дайте папироску.

Как и полагалось искусству вообще, искусство Кирпикова было правдивым. Закурить хотелось, папиросы кончились, штаны в полоску износил, и не одни, и начальником побывал. Здесь же, на месте лесобазы, были колхозные поля, и Кирпиков, вернувшись из госпиталя, бригадирил. Что касается призыва к спокойствию, его можно толковать по-разному. Кирпиков же как реалист не вкладывал в него какого-либо второго смысла — он просто призывал к спокойствию. На самый крайний случай мог найтись кто-то и сказать, что неважно, какие штаны носил герой, но на всех не угодишь.

Но недешево стоит занятие искусством — Кирпиков поплатился: Варвара подкралась сзади, схватила за голову и выхватила вставную челюсть.

Кирпиков не смог даже пристойно кончить передачу — не будешь же шамкать беззубым ртом.

Варвара, спрятав добычу, села на стул и долго с состраданием наблюдала, как муж обиженно грудит половики и мостится на них.

— Саня, Саня,— горестно сказала она,— до чего ты дошел, боже мой, полжизни ты убавил своей пьянкой. Был человек, стал Сашка. Ведь света белого не видишь из-за водки проклятущей! Ведь не пил же ты эдак раньше, вот и Машку привозили, не пил. Меня совсем ни во что не ставишь, издеваешься, все нервы вымотал, глаза бы не глядели! Брошу я тебя, уеду к кому-нибудь из ребят.

— Жужжа шы шам,— сказал Кирпиков.

— А не нужна, так все равно не вернусь. Под окнами просить пойду, и то легче. Эх, Саня,— говорила Варвара,— а ты-то кому нужен? Сдохнет твой мерин, и кто о тебе, кроме своих, вспомнит? Пенсию выработал, живи радуйся. Это кто же взлюбит твою пьянку? — говорила она, качая головой.— Кто тебе запрещает в праздники или после бани выпить, кто? Ведь выпить можно, напиться грех. Когда я тебе в рот глядела или стакан вырывала? Грязный ведь валялся, до чего дошел, совсем от тебя человека не осталось.

Смотреть на жену означало смотреть правде в лицо. Кирпиков смотрел. Такая вдруг усталость подперла, сердце заболело, голова закружилась.

— На! — сказала Варвара, доставая вдруг полную бутылку и стукая об стол.— На, залейся.— И вставные зубы принесла.

Смена политики давно не влияла на Кирпикова: Варвара все перепробовала в целях воспитания. Вот бутылка, вот возможность говорить — сразу две прихоти ублажила. А он и не заговорил, и пить не стал, сидел понурясь. Жалостливым видом своим он притушил злость жены. Уже на излете сердитости она пожелала:

— Всю стрескай.

— Прижимает, мать,— сказал Кирпиков, потому что почувствовал, что и лежать не мог, и сидеть трудно, попытался встать — сердце ощутимо застучало.

— Легко ли!

Ему бы к фельдшерице, но он постыдился беспокоить ночью людей, отнес недомогание на выпивку и стал мучиться в одиночку.

Какое ни бывает сильное участие к страдающему человеку, человек одинок в боли.

Впервые в жизни он дал повод своей жене стать сильнее его: хворала чаще она, а он злился, что вечно не вовремя, с ним же ничего не делалось, ни одна холера, по его выражению, его не брала. Что только он не вытворял над своим здоровьем: потный купался; неделями на лесозаготовках мял сухомятку; спал урывками, сунувшись в угол; пил из весенних луж в проталинах, куда на первое тепло сползались живучие насекомые и уже головастики начинали дергать хвостами. А фронт!.. Все, вместе взятое, не означало, что он умышленно издевался над собой, так уж выходило, что он первый лез в воду на сплаве, работал в лесу еще при лежневках, когда не было котлопунктов, спать обычно бывало некогда, ждала работа. Не видя выхода, он придумал, что он трехжильный, что суровая жизнь есть закалка. Одна жила, говорил он, у всех, две кой у кого, а три у тех, на кого вся надежда. Но что такое беспредельная закалка, как не изнурение?

— Тебе говорили, тебя предупреждали? — почти радостно говорила Варвара. Она помогла раздеться, лечь в постель.

Вскоре, видя побледневшее лицо мужа, его вялость, перестала злорадствовать, стала жалеть, но, и жалея, упрекала и подчеркивала, что вот допился, что она всегда говорила... словом, то, что уже говорилось сто раз, но не действовало и должно было подействовать именно сейчас.

— Нету, нет, Саня, такого молодца, чтоб поборол винца.

Чувствуя себя унизительно от своей слабости и стесняясь, что вызвал столько хлопот, Кирпиков уверял, что все нормально, сейчас засадит стакан и встанет как миленький. Варвара и в самом деле налила, но на водку было рвотно смотреть.

— Убери! — велел Кирпиков. И попросил: — Открой окно. Легче стало дышать.

— Живой бы воды сейчас,— помечтал Кирпиков,— а не эту заразу. А вот нет, сколько ни хочется, нет живой воды. Сколько сказок — живая вода. А в жизни нет и нет. Ну хоть бы кто раз в жизни спросил, с чего пьем.

— Спи уж! Лишь бы на кого свалить.

Было уже поздно. Если бы Кирпиков мог приподняться, он бы увидел, как светлыми точками в мягкой темноте скользят пассажирские поезда. Но и не приподнимаясь, он слышал стук колес; когда он стихал, слышался лай собак. И прохожих не было в этот запредельный час, и луна по-прежнему отсиживалась за тучами, но собаки усердно лаяли и въедливо слушали, лает ли сосед и лает ли сосед соседа, а если сосед соседа молчал, то дружно лаяли на него — и бедный пес вынуждался лаять вместе со всеми.

3

Всю ночь маялся Кирпиков. Никогда не ходивший к врачам, он напугался своего состояния. Он пытался встать, но слабость валила обратно. Под утро ненамного уснул и проснулся весь мокрый. «Пропотел»,— обрадовался он. В открытое окно сквозило, пахло свежими опилками, навозом, угольной гарью. Рваные тучи резво подхлестывались ветром. Медленными лебедями проплывали по стене солнечные пятна. Кирпиков встал, накрошил в ведро с водой хлеба, надавил десяток вареных картофелин, посолил.

На крыльце зажмурился — так остро сверкало солнце в лужах. Чувствуя тяжесть ведра и все-таки не отдыхая, чтоб не тешить болезнь, он открыл конюшню.

Мерин не сразу начал пить из ведра — ждал команды.

Команда последовала:

— Приступить к приему пищи!

Мерин склонил морду к ведру.

— Эх, милый,— обессиленно заговорил Кирпиков,— попадешь ты в лошадиный рай, в человеческий. Что ж мы друг без друга будем делать? Пожить бы еще лет полста, а? Да нет, много. Лопай, лопай. Как запрягемся на декаду, смотри, чтоб ударные темпы...

Хотелось сесть, но Кирпиков не сел, стал вытаскивать из угла заржавевший плуг. Потянул за ручки — и ноги подломились. Упал на сухую солому, ударился лицом о лемех. Сердце захлебисто застучало, потом оборвалось.

Он хватал ртом воздух и не мог выдохнуть: сухая пыль стояла в горле...

Варвара увидела его около конюшни, откуда он еле-еле душа в теле выполз и лежал, подтянув ноги к груди.

— Нализался уж! — закричала она и испугалась: во всю щеку шел красный порез.

Виновато улыбаясь, он прошептал:

— Все, мать. Вот мне и позвонили. Иди объяви всем, что я околел.

Фельдшерица Тася, как и все, заинтересованная в Кирпикове, пришла по первому зову. Диагноз, поставленный ею, был таков:

— Не те ваши годы, Александр Иванович, чтоб так храбриться.

Три курицы отдали жизнь за жизнь Кирпикова. Три грудные куриные косточки собрал он и трогал сухими пальцами.

Такими косточками, похожими на уголок, играют дети. Берутся за концы и со словами: «Мне на память, тебе на камень» — раздергивают. Кому достанется часть побольше, считается, что он умрет позднее. Когда приезжала Маша, они тоже так играли. Кирпиков держал косточку за самый кончик, а Машу учил держать около уголка — и Маша побеждала. «Я никогда не умру!» — говорила она. «И правильно!» — одобрял он. Вот бы приехала, она б его живо растеребила, поставила на ноги, повела бы смотреть секретики. Когда он был маленький, у них не было такой игры: копается ямка, туда кладется разный красивый сор — стекляшки, камешки, тряпочки,— потом ямка закрывается стеклом и засыпается. И сверху ничего не видно.

У них с Машей был сделан большой секретик. Они пили чай, Маша болтала ногами, вертелась за столом и довертелась: разбила чашку. Миленькая, как она испугалась! Кирпиков думал — палец порезала. Нет. Ревет-уливается. Из-за чашки? Всего-то? Кирпиков схватил свою, которая досталась еще от деда, и хлопнул об пол. Маша все равно плакала. Он стал совать ей тарелку: «Бей, Машенька, бей». Маша понемногу успокоилась. Тогда они подмели осколки, выбрали красивые и сделали секретик.

Впервые став беспомощным, Кирпиков оказался великим занудой. Весь он изнылся, исстонался, загонял Варвару до того, что она уж и не рада была, что муж дома, а не — прости, господи! — в пивной. Он все посылал звонить невестке.

— Пусть Машку везет. Ты понимаешь русский язык? Иди звони.

— Господи, и болеть-то нормально не умеешь,— злилась Варвара.

Кирпиков приподнимался на кровати.

— Ты знаешь,— говорил он проникновенно,— я много сейчас думаю.

Варвара попадалась на удочку.

— Ну, хоть додумался, что пить нельзя? Хоть додумался, что за всеми не угонишься?

— Да, мать, надо тормозить. Да я уж и перестал. Ты знаешь, я ведь и не жил еще.

— А кто за тебя шестьдесят лет жил?

— Не знаю. Только не я. Я еще и жить не жил — вся жизнь одним махом: ломал хребтину, тебя обижал...

— Хоть теперь-то понимаешь...

— Вся жизнь из-под седла да в хомут, дети все мимо прошли, дня от ночи не отличал.

— Да, Саня, ох неналомный ты был.

— Надо мне с моей жизнью проститься и жить по новой системе. Перестроить свое заведение. Ты меня прости, зла не помни, я не виноват, что так меня крутило.

Варвара уходила кормить оставшихся куриц, мерина, шла в ма-

газин, где бабы и продавщица Оксана спрашивали, когда же Кирпиков думает пахать одворицы: погода подпирает, земля сохнет.

— Да уж как-нибудь,— вздыхала Варвара и возвращалась домой.

Но однажды Кирпиков довел ее.

— Хорошо ты устроилась,— сказал он,— очень хорошо. Помолилась и живешь.

— Из-за тебя, лешего, молитв не знаю! — со слезой закричала Варвара.— Поехала на пасху со старухами, рта не раскрыла. Позорище, со стыда сгорела.

— Но раз уж ты уцепилась, верь,— опять начинал Кирпиков.— Если тебе больше не за что держаться.— Он начинал кашлять, и Варвара видела в этом знамение: кашель за богохульство.— Нет, товарищи, плохо мне — пусть будет плохо, а хорошо — пусть будет хорошо, не перед кем унижаться, сам достиг. Я сам себе бог. И новую жизнь начал тоже без него. Он за меня не пьет? Он бросил курить?

— Господи, господи,— закричала Варвара,— думала отдохнуть перед смертью, нет, не даешь! Как на точиле живу. Какой к тебе лихорад прицепился, что ты меня травишь? Ухожу!

— Не бойсь, прорвемся! — закричал он вслед.

В тетрадке, которую держали на письма, он после недолгих мук творчества проставил сегодняшнее число, месяц, год. Написал: «Я родился весной в девять часов утра...» Дальше заело. Он посмотрел на часы, сверил по солнцу, как раз девять часов утра. Посмотрел в тетрадку — стоит сегодняшняя дата, время совпадает. И все разговоры его и заявки о новой жизни вдруг представились ему очень серьезными. Он встал — неуверенная легкость в ногах, но стоит же, не падает, сердце бьется, солнце светит, скоро Машка приедет, чем не жизнь!

Он умылся (немного заныла царапина на щеке) и в девять десять подсел к столу, снова посмотрел в тетрадку и засмеялся: получилось, что он родился десять минут назад и уже крестился умыванием. «В самом деле! — воодушевленно подумал он.— Надо по-хорошему развязаться с прошлой жизнью — и в новую!»

Он бойко, почти без ошибок начал строчить: «Я, Кирпиков Александр Иванович, находясь в полном уме и добром здравии, завещаю внучке моей, Марии Николаевне...» — тут перо споткнулось: завещать было нечего. Он обвел взглядом комнату, прикинул в уме: действительно нечего. Даже головой крутанул — вот это, называется, пожил. Его легко можно было упрекнуть в непоследовательности: то ему ничего не надо, то вдруг чего-то хочется завещать.

«А дед?» — вспомнил он.

Дед его перед смертью подозвал к себе любимого внука Саню и сказал: «Завещать тебе нечего, но только одно — до обеда не пей! Не водка затягивает, а опохмелка».

Кирпиков этим успокоил себя и начал заново, уже в другом духе: «Остановите маятник — Кирпиков покинул вас, чего и вам жела-

ет...» Он вовсе не желал всем останавливать маятник, но хитрая штука письменная речь: хочешь сказать одно, а, говоря по-нынешнему, выкатывается из-под шарика другое. Дальше Кирпиков почесал в затылке и вновь занес ручку над тетрадью, но тут, как черт его поднес, ввалился Афоня.

До лучших времен тетрадь закрылась.

— Чего это ты? — Афоня пристально вглядывался в Кирпикова.— Морду-то где рассобачил, говорю?

— Об соху звезданулся.

Афоня достал из кармана посудинку и уже убежал на кухню за стаканами.

— Мне не бери! — крикнул Кирпиков.— Я больше не пью.

— За это поздравляю! — сказал Афоня.— Сколь людей из-за нее на корню гибнет! Умеешь пить — начальник, а нет — утрись. Ну, чтоб тебе не хворать!

— Я больше не пью.

— Значит, помрешь.— Афоня отставил было стакан, но так как замах хуже удара, а замашка произошла, организм приготовился, то он выхлебнул свою порцию, передернулся и поднял палец.— А знаешь, почему помрешь?

— Я больше и не курю,— добавил Кирпиков.

— Еще быстрей помрешь. Знаешь, почему? Нельзя таким рывком — сорвешь шестерни. Надо постепенно скорости переключать, а то муфта полетит. Мотор,— он похлопал по левому верхнему карману,— в капиталку загонишь. Не веришь? Мне один рассказывал — у них мужик помер. На сплаве. Надсадился, лежит, просит: «Дайте хоть сто грамм». И нашелся, сволочь, умник какой-то, говорит: «Не давайте, это вредно!» Главное — спирт-то был! И не дали! Врач потом сказал: если б выпил, жил бы. А ты таким рывком — это, Саша, под откос.

— Не буду! — твердо сказал Кирпиков.— Ты мой стакан тоже выпей.

— Смотри сам,— успокоился Афоня и выпил порцию Кирпикова. Делать ему больше нечего было, и он собрался.— Ну, давай! Я погляжу, да и тоже отрекусь от этой водяры. Лучше сэкономить. О! — вдруг сказал он, пораженный.— А как же за работу?

Это был вопрос по существу. Не брал Кирпиков деньгами, но те, кому он помог, разве отпустят, не отблагодарив. До этого времени хозяева выставляли после работы бутылку, она совместно распивалась, и все были довольны.

— Правильно! — воскликнул Афоня, уходя.— Бери деньгами.

Население поселка начинало волноваться. Картошка, вынутая из подполий, уже давала крепкие синеватые ростки, земля прогревалась, навоз на одворицы натаскан, а пахаря нет. Где?

— Небось не просыхает! — кричал обиженный пенсионер Деляров.

Круглая продавщица Оксана, жена Афони, тоже негодовала — на Кирпикове был долг в пять двадцать. Давался он Кирпикову натурой в счет будущей вспашки, будущее наступило. Оксана не постеснялась спросить Варвару, думает ли ее муженек отрабатывать денежки. «Болен он».— «Небось опился».— «В самом деле болен».— «Скрываешь».— «Спроси фершелицу. Дай я его долг отдам».— «Я уже сама отдала, если он не хотел мне помочь, так и скажи». И т. д.

Соседка Кирпикова Дуся говорила, что да, фельдшерица приходила, но сама же отвергла сердобольный вариант: «Спирту небось за вспашку притащила, вот дует».

Бедная Варвара, раньше имевшая от весны и осени, кроме огорчений, все же и моральное удовлетворение как супруга знаменитости, сейчас не знала куда деться. Никто не верил, что Кирпиков болен. «Закрылся да хлещет!», «Коровьими глотка́ми!», «Его поили, он думал — даром?!»

— Мы не дураки, как некоторые думают! — кричал пенсионер Деляров.— Авансы выданы!

— Вы не дураки,— уважительно говорила Дуся, мать-одиночка. И в данное время вообще одиночка, дочь самокруткой ускочила замуж в город.

С приходом Афони наступила ясность момента. Кирпиков болен. Был. Выздоравливает, зря не орите. Больше не пьет ни под каким видом. За работу (тут Афоня сделал паузу) будет брать деньгами.

— Деньги — мера труда! — крикнул Вася Зюкин.

— Молчал бы! — оборвала его Оксана.

— А расценки? — бегая трусцой вдоль прилавка, кричал Деляров.— Пусть покажет расценки! А подоходный налог он думает отдавать? А частносекторский? А комиссионный? А многодетный? А прогрессивный?

— Действительно, вот именно! — поддакивала Дуся.

— Платить по совести,— отвечал Афоня.

4

Кирпиков чинил упряжь. Сшивая ременные вожжи, резко продергивая дратву, он все больше оживлялся и все больше уважал себя — победил, выдержал натуру, действительно переродился. Визит Афони он расценивал так — приходило прошлое с его пережитками, но оно его не утянуло и уже не утянет.

Всю упряжь перебрал он, все проверил, добрался до кнута. Плетенный из узкой сырой кожи, кнут залоснился, почернел, черенок из вереса был как лакированный. Сколько раз этот кнут взвивался над мерином! И без того надрывался мерин, тянул воз, и казалось, вот-вот сдохнет — и останется воз в глубокой колее, в сыром овраге, но со свистом и руганью врезался кнут, обжигал кожу, и мерин дергался, чуть ли весь не продевался в хомут и выволакивал воз на

высокое место. Старший сын Николай тоже мог помнить этот кнут. Дважды он попробовал его: первый раз, когда Кирпиков увидел сына курящим и чуть не оторвал папиросу вместе с губами, и второй раз, когда ребята возили солому на быках и в полдень убежали купаться. И заигрались, пикируя с деревьев, подражая Тарзану из трофейного фильма. Заигрались все, а досталось Кольке, сыну бригадира. «Бей своих, чтоб чужие боялись» — так оправдывал себя тогда Кирпиков.

Через колено сломал черенок, отшвырнул к печке. Нет, никого больше он не ударит в своей новой жизни.

— Ну! — решительно сказал он, вставая, обводя взглядом свою избу: кровать, на которой он чуть не умер и выжил, тетрадь, в которой была запись о его втором рождении.— Ну, запевай «Дубинушку» на две недели.

Он выкатил из конюшни плуг, смазал взвизгивающее колесико.

— Выходи,— велел он мерину.

Мерин не шевельнулся. Наступила заминка. Не хотелось Кирпикову ругаться в новой жизни, но для мерина наша речь не делится на печатное и непечатное.

— Выходи, голубок,— сказал Кирпиков.— Будет твое имя Голубок. Или Голубчик. Ругань забудь. Начнем жить по-новому. Выходи, Голубчик.

Номер не прошел. Положение деликатное. Ругаться неприлично — пережиток, но пахать надо. Кирпиков хватился за пояс — кнута нет. Им хоть бы пугнул для виду. Мерин тоже мучился — хозяин заговорил с ним как-то непонятно. Пришлось легонько одноэтажно матюгнуться. Мерин облегченно вздохнул и вышел.

Варвара вынесла ведро с водой.

Но опять заминка — не пьет мерин, ждет команды. Пришлось скомандовать, не ехать же с ненапоенным конем — запалится.

— Приступить к приему пищи,— сказал Кирпиков и сморщился: так издевательски по отношению к трудяге мерину прозвучали эти слова.— Ты тоже хорош,— сказал он с упреком.— Тебе дают самостоятельность, не матерят, а ты? Нет в тебе гордости.

— Может, еще дома побудешь? — испуганно спросила Варвара, думая, что муж заговаривается.— Окреп бы, а, Саня?

— Я бы побыл,— сказал Кирпиков,— но не от меня зависит — пора.

Солнце хлестало во всю свою теплынь и светлынь. Корешки каждой травинки крепли, холодная водица торопилась по ним вверх. Мальчишки старались выскочить из дому босиком. Даже ожидающий их справедливый подзатыльник был не помеха. Хотелось сигануть вдоль по улице по лужам, но вдруг замечал мальчишка красных жучков-солдатиков, присаживался на корточки и смотрел, как солдатики бегают взад-вперед, и пытался понять, куда они бегут, зачем, но бегали они пустые, без толку, и было их беготне только одно объяснение — весна.

И началась страда.

Поселок стоял частью на песке, частью на глине. Подзолистые были повыше и быстро высыхали, песок сыпался из-под плуга в отвал с шуршанием. Лемех продирался песком до блеска и пронзительно вспыхивал на заворотах, когда Кирпиков переставлял плуг в новую борозду.

Начал Кирпиков с одворицы Ларисы. Отказался выпить, его не неволили. Лариса подумала, что еще сто раз успеет отблагодарить, да и сто раз уже, полагала она, ему наливали и в долг и даром.

Ближе к пруду, на суглинках, земля была тяжелой, непроворотной. Там были огороды фельдшерицы Таси и почтальонки Веры.

Мерин, приседая от напряжения, продевался в хомут, плуг выталкивало вверх, Кирпиков обшибал ноги о вывороченные комья и камни и поневоле матерился.

Хозяйки просили перепахать второй раз, впопережку по вспаханному. Кирпиков не отказывал, но давал мерину и себе передышку. Мерину выносили искрошенную в тазу буханку хлеба, пахарю стопочку. Раньше стопочку Кирпиков принимал и, бывало, шутил: «На допинге идем»,— сейчас отнекивался.

Мерин доедал хлеб, и снова они принимались «за нелегкое дело свое». Кирпиков сбрасывал телогрейку, в следующем доме оставлял пиджак, потом стаскивал и рубаху и шел за плугом в шапке и в синей спортивной майке. Майку привез ему сын. Кирпиков поправлял падавшую с плеча лямку и орал на мерина: «Куд-ды, так-распростак, пр-рямо! Бороздой!» — и тому подобное, потому что ругаться пришлось: мерин одержал победу над именем Голубчик и сохранил прежнее к себе отношение.

После работы хозяйки зазывали Кирпикова в дом. Кирпиков и сам бы рад отдохнуть и поговорить. Раньше, когда он пил в каждом доме и перехаживал хмель на ногах, у него было непрерывное дурное состояние. Сейчас он смертельно уставал, но голова не болела, это радовало, хотя выпить с устатку, разогнать кровь ох как тянуло. Держался.

— Ну, не осуди, не побрезгуй,— говорили ему, пододвигая стакан.

— Нет, нет,— говорил он,— не заставляйте, не могу.

— Ну что такое для мужчины рюмочку?

Наливали побольше.

— Какая тут рюмочка, эка бадья. Ох, бабы, не тратьтесь вы на это пойло.— И переводил разговор: — Небогата наша землица, бессолая, да тепла,— говорил он, кладя на стул шапку и садясь на нее.— Ледник виноват. Ледник-от был, мать его конташку, и утянул на юг все наше плодородие. У них там всякие цитрусы, хитрусы. На нашей земле растут. Зато там у них холера, а у нас нет. Возьми на заметку — холера заводится в тепле.

— Хоть закуски поешь,— просила хозяйка.

Но обедать в чужом доме, не выпив перед этим, было уже совсем неприемлемо.

— Дома поем.

Хозяйки терялись.

— Ну, так чего,— говорили они, стесняясь,— уж больно хорошо вы помогли, Александр Иваныч, деньгами возьмите.

— Не беру.— Кирпиков брался за шапку и уходил.

В другом доме повторялось то же. Мерин ел хлеб, Кирпиков пытался поговорить.

— Грамотешку бы мне,— говорил он,— я бы начальником стал. Я бы вас научил, чтоб вы хуже всех не жили. Грамотешки у меня маловато, а вы живете, и ладно. Ну народ! Хоть пень колотить да день проводить.

Ему пододвигали стакан. Он уходил. Его догоняли, совали деньги, он не брал.

— Примите мой труд даром,— говорил он и направлялся дальше.

«Что с мужиком случилось? — судили о нем.— Был человек как человек, сейчас неизвестно что».

Вопрос с оплатой труда Кирпикова решился просто — деньги стала брать Варвара. Хозяйки приходили к ней и совали кто три, кто четыре рубля. Варвара сначала не брала — и сложилось такое мнение: это Кирпиков подучил ее набивать цену. Откровенно говоря, Варвара была рада деньгам. Но, не ожидая от мужа ничего хорошего, уж не чаяла дождаться конца посадки.

Муж возвращался домой к ночи, два часа выдерживал опавшего в боках мерина, после поил. Сам, не раздеваясь, валился часа на четыре. И то ли ему некогда было слушать, то ли спал крепко, но казалось, что все меньше и меньше лают собаки.

С рассветом он входил в конюшню, будил мерина, давал овса, а сам кашлял до изнеможения — сказывался табак. Но не курил.

— А ну! — говорил он, разбирая упряжь, и, горбясь, выходил со двора.

Жалостливо смотрела вслед Варвара и спрашивала:

— Когда свою-то картошку посадим?

— В порядке общей очереди,— принципиально отвечал Кирпиков.

Перевернутая борона весело волоклась по земле, отпотевший лемех пускал вялых зайчиков, отражая первое рассветное солнце.

Приехала невестка. Приехала одна, без Маши.

— Заживаться мне некогда,— сказала она.— Я взяла два дня за свой счет. Папаша, простите меня, вы, ей-богу, ненормальный. Иметь в своем распоряжении лошадь и... Памятник вам никто не поставит.

Обращение «папаша» Кирпиков не любил и ответил, что мерин этот не его, а на балансе, что рабочие лесобазы имеют право на вспашку, что за услугу внесли в бухгалтерию деньги.

— Быть у воды да не напиться,— пожала невестка плечами.

— Жажды не испытываю,— надменно ответил Кирпиков.

И все-таки повернул коня к своему двору. Помог растрясать в борозды пряди желтого навоза, следил, чтобы пласт от пласта был на расстоянии лаптя.

А невестка стала приезжать вот из-за чего. Кирпиков по страсти своей к освобождению от всего лишнего решил, что хватит под картошку и трех соток, а остальное хотел засадить смородиной и малиной, чтобы было чем порадовать Машу. Но невестка решительно выступила против:

— Образования садовода у вас нет, а земли займете столько, что всю картошку вытеснит. Я стану приезжать, если вам трудно.

В уборку Кирпиков отдал свою картошку с лишних соток невестке. И раньше им посылали, но сейчас стало выходить, что картошка берется не в подарок, а как своя.

Злее обычного Кирпиков орал на мерина. Хотелось ему увидеть Машу. Вот уж кто помог бы ему утвердиться в новой жизни. Какая там пивная, да сгори она, пропади она пропадом, сто лет бы туда Кирпиков не зашел, если бы с ним была Маша.

Варвара привычно дивилась, как расторопна невестка, как ловко хватает из ведра и растыкáет в бок пласта картошку, как в шутку, но энергично покрикивает на свекра. Варвара не любила невестку, но умом понимала, что их спокойному Николаю такая в самый раз. Не какая-нибудь развей-растряси из нынешних. И как раз с невесткой Варвара хотела поговорить о причудах мужа. Надо было урвать момент.

— Подарочек привезла! — крикнула невестка, меняя пустое ведро на полное.

— Ой да чего уж ты, да зачем? — отозвалась Варвара, а про себя посердилась, так как подарки невестка везла рублевые, но преподносила так, будто достала их по великому блату.

Конечно, Кирпиковы отвечали отдарком, и не рублевым, но все выходило, что невесткино не в пример ценнее. Главное в подарке — оригинальность, считала невестка, а Варвара думала, что главное в подарке — полезность.

Сажать картошку — не копать. Трех часов не прошло, как закончили. Варвара и невестка собрали пустые мешки и ведра и пошли в дом приготовить стол посидеть на дорогу, а Кирпиков отцепил от валька плуг, прицепил борону и стал ходить с угла на угол разравнивать участок.

— С успехом трудиться!

Держась за шляпу и начиная снимать ее для приветствия, показался за забором пенсионер Деляров.

— Нам бы этого добиться,— уважительно откликнулся Кирпиков.

Деляров обалдел и шляпу не снял, хотя как раз следовало приподнять ее: ведь ответили ему человеческим языком, не матюгнулись, как в былые времена. «Нельзя снимать шляпу — сильное солнце, вредно,— торопливо думал Деляров, да так и держал руку у

полей шляпы, будто принимал парад проходящего строевым шагом мерина.— Значит, правда»,— потрясенно думал Деляров. К правде относились слухи о Кирпикове: что на людях он больше не пьет, что притворяется бескорыстным, что собирать деньги научил жену.

— Спасибо, говорю, на добром слове,— сказал Кирпиков.

Он уже развернул мерина и шагал обратно, а мерин часто кивал, будто сообщал Делярову: пьем по ночам, деньги давай, слупим с тебя четвертную.

— Тпру, Голубчик.

Перевернув борону, Кирпиков положил на нее плуг, подошел к Делярову.

— Сейчас мне невестку провожать, так что смотрите: или подождете, или потихоньку сами начнете пахать. Сможете?

«На «вы» назвал!» — окончательно испугался Деляров.

— Сам, сам,— пролепетал он. Снял шляпу и подставил лысину для просушки жарким солнечным лучам.

Подарочек, привезенный невесткой в этот раз, был явно не дешев. Это была заклеенная блестящей бумагой пузатая бутылка.

— Французский коньяк! — объявила невестка.— Разве не оригинально: в поселке французский коньяк?

— Ой да матушка ты моя, да зачем хоть и тратилась-то, да ведь послушай-ка, что вышло-то.

И Варвара торопливо рассказала о перемене в муже.

— Может, язва открылась? — спросила невестка.

— Есть стал лучше, все подряд.

— Вот видите,— сказала невестка,— ничего их не берет, а молодые нынче из болезней не вылезают. Может, женщину завел? Не смейтесь, мамаша, мужчины такой народ, что... У нас у одной в бухгалтерии муж выдумал, что прописали одиночный ночной режим, а через декаду застала с любовницей.

Но все-таки Варвара отклонила домыслы о женщине как нереальные.

— Делать-то мне что, ведь, матушка, приходят, деньги ведь суют...

— Деньги брать,— решила невестка.— Давайте я отвезу, положу на книжку на ваше имя. Именно на ваше, мама. Мало ли что и как в жизни.

— Конечно, конечно,— горестно поддакнула Варвара.

Стол тем временем был накрыт. Пришел и вымыл руки молчаливый Кирпиков. Сели. Невестка содрала фольгу с горла, сняла оплетку, отвинтила пробку. Кирпиков не понял сперва, что в бутылке алкоголь, но невестка гордо сказала: «Коньячок» — и назвала цену.

Варвара ахнула.

— Да-да,— сказала невестка.— И не возражайте. И я очень вас одобряю, папаша. Пейте для здоровья по рюмочке. Вначале надо согреть рюмку, лучше бы, конечно, серебряную, в ладонях, а потом...— Видя, что свекор сидит и не греет в ладонях рюмку, невестка обиженно сказала: — Вы не верите, что столько дорого стоит?

— А чего ради врать-то? — спросил Кирпиков и, полагая, что рюмка такого питья не повредит его решению не пить, сделал глоток. И тут же испугался: — Это ведь я рубль проглотил?

— Больше, папаша, больше,— засмеялась невестка.

Но не смогла уговорить Кирпикова выпить и слила коньяк из его рюмки обратно в бутылку. Сама выпила (чтоб картошечка росла!), пообедала и собралась.

— Папаша, берегите себя,— сказала она, вернее, завела свою вечную песню,— смотрите, какой высохший стали.

— Ну так как,— решился сказать Кирпиков,— Машу-то привезешь? Я бы и сам подскочил за ней. Ты же видишь, что встал на твердые рельсы. Лето поживет.

— Загадывать вперед ничего нельзя. Может быть. Я собираюсь лечиться, Коля тоже посылает, это я только с виду здоровая, а так вся насквозь больная, такие анализы плохие,— она посмотрела на Варвару, та закивала,— так что не знаю, не знаю. Надо еще дожить. Ой, не пора ли?

Как ни возражала невестка, Кирпиков накупил ей полные руки игрушек: механического робота, шагающую куклу, посудный набор. Ждать поезда не стал, говорить было не о чем.

— Что это у вас с Машей за секретики? — спросила невестка на прощанье.

— Да пустяк,— отмахнулся Кирпиков, а самого так и обдало радостью.

И тем более чтоб не делиться ею с невесткой, он чуть не прытью побежал к Делярову. Дом Делярова стоял рядом с афанасьевским, а немного ближе к станции дом Зюкиных, а еще ближе буфет Ларисы. Буфет Кирпиков проскочил с ходу, а у Зюкина застрял.

— Зайди-ко, зайди! — закричал Вася.

Кирпиков подумал: надо зайти. Давно обещал, да и собака сдохла, бояться некого.

Открыл калитку, от конуры на него... залаяла здоровенная собака. Рыжая с черными глазами. Подскочила другая, третья сидела возле груды пустых посудин и жмурилась от их блеска.

— А говорили...— начал Кирпиков.

— Та-то сдохла,— радостно сказал Вася,— в землю закопал и надпись написал, а эта... вишь, входит в доверие. Цыц, зараза! (Собака облегченно умолкла.) Значит, та-то собака,— продолжал объяснять Зюкин,— сдохла, цепь, как говорится, опростала, а свято место не бывает пусто, прицепили эту. Вот сортировкой занимаюсь. Чего только люди не пьют.— И он стал, показывая этикетки, перечислять:— Вермýт — выпьешь, деньги вернут, еще называют сквéрмут или вермýть. Вот рислинг-кислинг. Солнцедар — солнцеудар по печени. Вот палаческая-стрелецкая. Вишь, мужик с топором. Стервецкая — еще говорят.

Собака на цепи снова залаяла, кося глазом на хозяина. Она старалась в первые дни службы поднажать, чтоб забылась предшественница. Беспривязная собака тявкнула за компанию, подбежала к

подворотне, никого не увидела и затявкала на цепную собаку: брешешь, дура, а на кого? Собака, лежащая у груды бутылок, уснула под этот лай.

— Ты когда пахать приедешь? — спросил Вася.— Там законно вздрогнем.— Он рискованно, но картинно отшвырнул бутылку изпод полевой горькой.

— Ни грамма! — решительно отрезал Кирпиков.

— Как с простыми людьми, так уже и выпить стало нельзя? — спросил Вася.

Чтоб не обидеть простого человека Васю Зюкина, Кирпиков объяснил:

— Не советую по двум параграфам: первое — вредно, второе — жена тебя все равно испольщет.

— Средство знаю,— сказал Вася.— Вот придешь пахать, расскажу. Не тронет. Видал? — Он повел рукой.

И, уже уходя и торопясь, Кирпиков все же заметил, кроме трех виденных собак, еще четырех, да еще два щенка ползали среди зелени на подоконнике за стеклом и со двора походили на аквариумных водяных собачек.

5

Деляров замучился. Обратиться к мерину как следует он не умел. Попробовал ругнуться, но вышло так жиденько, что мерин едва шевельнул ушами, а Деляров перестал думать о пользе физического труда, и уже был готов заплатить энную сумму за пахоту, и уже не рад был, что связался с огородом, как пришло спасение.

Не успел Деляров сказать заготовленную фразу: «Ну, Александр Иванович, теперь я вас понимаю»,— как мерин, заметивший свое начальство, налег так, что Деляров поволокся за плугом как на буксире.

— Попаши-ко, попаши в охотку-то,— поощрил Кирпиков и сел возле забора на корточки.— О! О! — крикнул он, не сходя с места.— Пр-ряма! Бороздэй! И-эх! Так-расперепротак!

Деляров воспрянул. Он понял, что денег с него не возьмут, не платить же за покрикивание со стороны, и стал подвякивать на мерина и злобно пришлепывать по спине вожжами.

— Понужай,— одобрил Кирпиков.— Перед весной стоял в конюшне ровно печь, сейчас выработался. Ничего, в пользу.

Те оживление и радость, охватившие Кирпикова, когда невестка передала слова Маши о секретиках, прошли. Может быть, Маша просто говорила о разбитой чашке. Вряд ли ее привезут. Не поверят, что он живет по-новому, да и в самом деле, какое уж тут рождение. Не хотел мерина ругать, а лает чище прежнего. Курить бросил — лучше не стало, никакого облегчения. Когда болел и выздоровел и записал, что родился, казалось, что все будет как у новенького, а тут еще хуже — пахота тянется и тянется, выпивал бы, так и ускорилась бы.

Мерин ленился. Деляров мученически глядел на Кирпикова, и тот не вставая покрикивал.

— Как свинья нарыла,— сказал Кирпиков в конце,— не родился ты пахарем, задницу отлягиваешь.

— Не скажите,— отвечал Деляров,— ведь я то, что называется, практически впервые. Лошадь и упряжь казенные, сейчас нет частной собственности на подобные вещи, но ваш авторитет перед лошадью, ваше управление через окрик, которое напоминает руководство без непосредственного контакта...

— А чего пахарю-то не поднесешь? — прервал вдруг Кирпиков.

У Делярова была в загашнике бутылка водки, и он заранее предназначал ее на вспашку, но теперь-то за что? Любопытно! Пришел, посидел, поматерился, еще и поднесите ему! Ну наглость. Выпьет да потом разлюли-любезную Варварку за деньгами пришлет. Негодуя, Деляров отправился в загашник. «Им ничего не докажешь,— думал он,— лучше не связываться, кровь не портить. Слава богу, у меня гемоглобин в норме. А у них уж небось спирт по жилам течет. Никаких запросов». Копошился нарочно долго, надеялся, что совесть в Кирпикове заговорит и он уйдет. Но и Кирпикову захотелось уязвить этого дальнего человека, купившего здесь дом. «А кто в нем жил?» Уж и не помнил Кирпиков: многие уезжали. «Хоть на бутылку накажу. Ишь, в пахари записался».

Смирившийся Деляров вышел, но все-таки заметил, что жидкость могла бы быть и в целях внешнего растирания, что, значит, зря наговорили на Кирпикова, что он прекратил губить себя, но раз такое желание, то конечно. Но другие не поднесли бы целую ноль пять.

— Пейте, только я не поддержу ваш тост.

Слегка позабытым жестом Кирпиков отщипнул жестяной колпачок.

— Вот,— суетился Деляров, подставляя банку консервов,— килька в томатном соусе. Закусывайте, но должен заметить, что рыба в томатном соусе не звучит. Хорошая закуска оседает в центрах. На местах только это.

Кирпиков поднес водку ко рту. Деляров сочувственно сморщился. Кирпиков размахнулся и выхлестнул водку на пашню.

— Чтоб росло! А это возьми поясницу растирать.— Он вернул Делярову начатую бутылку.

— А! А! — заикался Деляров.— Тут я посажу плодовый кустарник.

Вслед за водкой Кирпиков вывалил из банки на пашню и кильки.

— Правильно! — воодушевленно вскричал Деляров.— Это же так плохо действует на кислотность желудка, на отложение солей, но водку-то вы зачем? Вы, значит, стали так оригинально истреблять? Правильно, ведь все равно сквозь организм она бы вылилась на землю. Хотя в видах здоровья советуют передовые врачи. Например, марочные выдержанные сухие виноградные вина.

— В самделе,— весело сказал Кирпиков,— волоки-ка марочное, я пока твою работу переделаю, а то смотреть противно.

Деляров заткнул водку тряпочкой и рысцой побежал в магазин. Кирпиков не стал перепахивать, мучить мерина, прицепил борону и изборонoвал как следует участок. Он решил больше не ехать никуда сегодня, хотя было обещано Афоне. Невестка выбила из графика.

Продавщице Оксане, конечно, донесли, что мерин ходит по одворице Делярова, и она три раза переспросила, не ослышалась ли.

— Сухое?

— Да, парочку.

— Кирпикову?

— Я посоветовал. В видах опохмелиться.

— Водку ему, обманщику.

— Подносил, на пашню льет.

— На землю?!

— Можете понюхать это место.

И бабы, клявшие водку проклятую, осудили Кирпикова. Как это можно — губить добро.

Оксана подала Делярову сухое вино. Он прочел:

— «Выдержка три года».

— Да еще три никто не брал. Шесть.

Деляров рысцой вернулся. Кирпиков уже сидел, немного клонясь вперед и влево. Сердце напоминало о себе. И он старался не сердить его. Деляров проявил интерес:

— Покалывает? — «Не будешь пить»,— подумал он.— Вы знаете, у меня был оригинальный начальник. Когда прощался, то говорил: пока живи. Это у него была такая шутка. Ну вот, как пожелали: каберне.

— На вшивость проверял? — спросил Кирпиков.

Он снял красный колпачок, потревожил пробку. Ее вдруг с силой выбило изнутри, и резкая пенистая струя вырвала бутылку из рук. Бутылка срикошетила о забор, потом, шипя, улетела на афанасьевскую сопредельную усадьбу. Вторую бутылку Кирпиков открывал с любопытством. Повторилась та же история, только бутылка усвистала к небесам и больше не вернулась, наверно, стала искусственным спутником Земли.

Деляров мгновенно сносился за третьей. Но открывал ее сам. И хотя осторожно стравливал набродивший виноградный дух, все-таки половину вышипело. Кирпиков отпил, сплюнул, еще отпил. Еще сплюнул.

— Как вы метко выразились: на вшивость,— вздохнул, отдышавшись, Деляров.— Богат русский язык, но как встретишься с ним тет на тет...

— А ты не встречайся,— сказал Кирпиков.— Такой квас в жару хорошо. Вали еще за одной. Протрясись для пользы дела.

— Все свидетели! — закричал в магазине Деляров.— Он пьет!

— Разве это питье? — разочаровала его Оксана.— Водки ему втакарьте, все вам спасибо скажут. Ишь, хочет выгодиться.

На одворице повторилась та же история. В этот раз Кирпиков угостил мерина. Мерин пошлепал губами.

— Удивительное воспитание! — восхитился Деляров.— А если бы поднесли смертельное питье, принял бы? Я, вы знаете, к тому, что мой начальник часто вспоминал, как царь, например, подзывает кого-то и дает выпить чашу. И тот знает, что там яд, и все же пьет. Конечно, сейчас другое, в наше время смертность сведена практически к нулю.

— Ты что, умирать не собираешься?

— Очень невежливо напоминать об этом.

Кирпиков посмотрел и душевно сказал:

— Я по-хорошему, не обижайся. Знаешь, взял бы ты да брякнул бы по прилавку: подходи, пей, знай Делярова! И на поминки бы не оставлял.

— И никого бы этим не удивил.

— Ты и так уж удивляешь, бегаешь, задницей трясешь. Зря: от смерти не убежишь, еще ни у кого не получалось!..

— Я убегаю не от смерти, а от инфаркта. Сейчас люди возвращаются к земле, и я вернулся.— Деляров помочил в вине язык.— Да, вы знаете, букет далеко отстает. Хотя виноградные вина потребляют долгожители. Они хорошее пьют сами, а сюда — что останется.

— У меня собака взаперти сидит, никому не показывал, сырым мясом кормлю,— сообщил Кирпиков.

— Кобель или девочка? — спросил Деляров.— И что же?

— С жеребенка. Башку откусывает в один присест. На волю рвется. Скоро дверь прогрызет. Я боюсь, ты побежишь, а она за тобой.

— Вы шутите?

— Я-то шучу, а она и не облизнется.

Бутылка, неудачно запущенная, потревожила Афоню. Бутылка дошипела возле него. Он вгляделся — на свежей пашне деляровского огорода гуляли грачи. Вот это мило-здорово! А ему он думает одворицу пахать? Но как спросишь? Это же верх невежливости — помешать выпивке.

Даже допустим, думал Афоня, что огород ему сегодня не вспашут, это пусть, но вот что обидно: Кирпиков сел выпивать с Деляровым, а давно ли с ним, с Афоней, не захотел.

Целый ящик каберне привез на перевернутой бороне Деляров. Он бодренько приматюгивался на мерина. «На всю ночь загужуют»,— подумал Афоня. Спасение было в одном — помочь выпить и умыкнуть пахаря. Небрежно любуясь вечерней зарей, Афоня стал прогуливаться по одворице и, конечно, был окликнут.

— А я вас сразу-то и не заметил,— застеснялся он.— Че, маленько сели отдохнуть?

— По случаю аграрного события,— объяснил Деляров.

— Надо, надо.

— Садись, Афоня,— сказал Кирпиков.

— Да что вы, ребята, что вы, я так просто, выйду, думаю, покурю...

Отказ был обрядом, который хотя бы на скорую руку, но надлежало выполнить.

— Давай-давай,— велел Кирпиков.

— То есть, конечно, логично,— пригласил Деляров.

— Эх,— крякнул Афоня, соглашаясь.— Дураков в больнице лечат, а умных об забор калечат.

Через полчаса Афоня опрастывал уже четвертую бутылку, удивляясь слабости питья, негодуя за это почему-то на грузин, хотя каберне было молдавское.

— Неужели так и пьют? И не косеют? А пить да не косеть — так зачем пить? Парни, давайте остатки, пойду на водку менять.

— Меняй! — кричал Деляров, напившийся из жалости к потраченным деньгам.— Тару и нетто меняем на брутто!

А Кирпиков уже давно не пил. Морщась, он вздрагивал от шлепков Афони по спине. «Вот был мне звонок,— думал он,— и я хотел начать жить сначала, а ничего не получается, и если это никому не нужно, то у меня ничего не выйдет. Они рады, что я готов выпить, и всем лучше, что я буду как прежде, хотя прежде мне было плохо. Они отделывались от меня бутылкой, это была плата, а того, кому платят, всегда ставят ниже себя. Ведь дело не в питье, дело в унижении. Как выносили мне на крыльцо стакан, луковицу: «Спасибо вам, Александр Иваныч». Как я выпивал, шутил шутки, и вслед мне: «Ты к кому теперь, Сашка?»

Афоня сходил домой и вернулся победителем. Деляров пытался встать на голову, так как по режиму пришел час тренировки кровообращения.

— Светленькой!

— Не буду, Афоня.— Кирпиков отвел стакан.

— Лишаетесь права голоса! — снизу вверх крикнул Деляров.

— Афоня,— спросил Кирпиков,— ты купил бы мебель за три тысячи рублей?

— А кто сомневается?

— Да я.

— Хошь,— сказал Афоня,— мешок денег покажу?

— Покажи.

— Выпей, тогда покажу.

— Не буду.

— Слышь,— сказал Афоня Делярову,— брось физкультуру. Сашка не пьет, в умные записался.

Деляров встал на ноги.

— Попрошу документы,— приказал он Кирпикову и отработан-

ным жестом протянул руку.— Попрошу.— В сумерках рубиновым светом горела багровая лысина.— Три раза не повторяю.— Лицо Делярова краснело теперь уже от усердия.— Разговаривать будем в другом месте.

— Со стороны кто бы зафотографировал,— сказал Кирпиков.

— Александр Иванович! — вдруг узнал его Деляров.— Мы в расчете? Попрошу расписку. В счет угощения занесите осеннюю уборку. Подпись, число. Печать не обязательна.

— Так и не выпьешь? — спросил Афоня.

— Время не теряй.— Кирпиков пошел к мерину, разобрал вожжи.

— Меня спасет природа, меня оживит земля,— бормотал Деляров, садясь на борону. Хорошо, что борона оказалась книзу зубьями.

— Простынешь,— предупредил Кирпиков.

— Не вижу смысла,— отвечал Деляров.

Он засыпал. Грезилась ему широкая пойма реки, и вся его. И идет он, Деляров Леонтий Петрович, вдоль редиски, капусты, укропа, хрена, урюка и огурцов и включает на грядках цену: 2 руб., 3 руб., 5 руб., 10, 16, 32, 700, 800 и так далее в накопительной прогрессии. Идет он, солнце светит, и уже грядок не видно, сплошные цифры, сплошные нули. «В очередь! — говорит Деляров.— В чем дело? По одному. Указываю пункты быстрого прохождения для вашей пользы: фамилия, инициалы, происхождение, род занятий. Начинаем! Кто? Картошка. Род занятий? Картошка. Происхождение? Из-за границы. В землю! Следующий! Картошка! Происхождение? Из картошки. В землю! Следующий! Картошка! Туда же! Следующий!»

Все кружилось, туманилось в сознании Делярова. Он командовал, а на самом деле покоился на холодной, губительной для здоровья весенней земле, именно той, которая должна была спасти его.

— Питухи! — презрительно выразился Афоня.— И водка есть, а выпить не с кем.

— Как не с кем? — сказал, выплотняясь из мрака, Зюкин.

— Ва-ся! Держи.

— Собаку бы мне,— сказал Вася, приняв стакан и заранее вздрагивая.— Или бы хоть щенка.

После обилия собак, виденных у Зюкина, и после такого заявления Кирпикову стало интересно, и он попросил у Васи объяснения. Тот начал издалека:

— Меня с детства лупят. Отчим лапти плел, так колодкой по башке зафугачит — каждый раз помирал. Поэтому я и маленький, по голове ж нельзя бить — от каждого удара ребенок сседается на мачинку.

— Ты короче,— недовольно сказал Кирпиков,— а то даешь вводную.

Он невольно вспомнил, что и сам под горячую руку «учил» детей.

«А меня разве не учили? — оправдал он себя.— Как еще ребра-то целы?»

Позволив себе роскошь вступления, Вася перешел к истории вопроса. История была известна: жена его бьет, когда он возвращается пьяный.

— А у меня баба дело туго знает,— весомо сказал Афоня,— я мужик молодой, денежный, и она не выщелкивается.

— Я свою раскусил,— продолжал Вася.— Она по той собаке такой траур закатила, сверх нахальства. Обо мне бы хоть вполовину так пострадала в дальнейшем. Я помянул на законном основании, захорошел, да и ушел и... не с вами добавил? Ну, неважно. Домой иду, гляжу — собака. Думал, воскресла.

Афоня хлопнул в ладоши и показал Кирпикову на Васю: артист! Поглядел с сожалением на Делярова, эх, не слышит, и пошевелил его; тот пробормотал:

— Хорошо тому живется, кто записан в бедноту...

— Будете слушать? — обиделся Вася.

— Как же! Закуси.— Афоня протянул перья зеленого лука и сказал: — Дочери дали задание: вырастить лук и с линейкой наблюдать, на сколько идет вверх. Я говорю: наблюдай, но посади побольше.— И захохотал.

— Ну так вот, взял на руки, тяжелая, гадина, поднес к столбу, лампочка на нем горит, гляжу — совсем не тот коленкор. А, думаю, пока разбирается, я спать лягу, лежачего не бьют. И вот, братья,— Вася тряхнул волосами,— получилось событие факта, если вру, бейте по морде лица.

- Ну!

— Собаку пожалела, меня не тронула. Я это дело задробил — сейчас, если выпью, только чтоб какую скотину принести с собой. На зеленый свет! — крикнул Вася воодушевленно.— Собак лучше меня кормит. Мясом! А мы все жалуемся — мяса не хватает.

— Жить хорошо стали.

— Тут другое,— сказал Вася значительно.— Это они поднимаются до людей. Жена читала: травы поднимутся до животных, а животные до человека.

— А мы докуда?

— До бога.

— Сиди уж, Васька.

Кирпиков уж и не рад был, что остался. А выпил бы — и так же бы смеялся над Васиным рассказом, так же бы, как им, казалось, что выпивка оживляет. А в самом деле было противно. Мерин, понявший, что на сегодня пошабашили, успокоенно вздыхал.

Вася объявил:

— Начинаем наш маленький, но небольшой концерт. Мы с товарищем работали на Северной Двине, ничего не причиталось ни товарищу, ни мне, а также свое сочинение: «Посмотрите на меня, я маленьким родился, извините, господа, отец поторопился...»

Веселье разрасталось. Уже Афоня сообщил, что Васе много чести

сидеть с Афоней, уже Деляров вскакивал и просил закрыть дверь на три оборота, уже прибегала дочка Афони, дважды он гонял ее за закуской, а под конец послал за гармошкой к Павлу Михайловичу. Но пришла Оксана и разогнала компанию. Мужа, однако, проводила без крика, и он ушел, ведомый дочерью.

Дочь, обзывая отца вождем краснорожих, говорила:

— За руль не смей, а то я знаю, что делать.

Оксана взялась за Васю, попрекая, что он тащит ей сдавать ее же бутылки.

— Критика мимо ушей,— заявлял Вася.— Ты план по стеклотаре на одном мне выполняешь. Ты лучше дай мне каку-нить живность.

— А ты-то! — упрекнула Оксана Кирпикова, и как он ни доказывал, что не выпил, не поверила.

— Да разве тебе чего докажешь?

— Ты своей Варварушке доказывай. Посылай свою страдалицу деньги собирать.

— Деньги и вещи согласно описи,— бормотал Деляров,— а также народное изречение: хрен с ём, подпишусь на заём! А также устное пение собственного творчества...

— Поднимайтесь,— говорила Оксана,— баиньки пойдем.

Кирпиков погнал мерина домой. Вдалеке раздался собачий лай, визг, потом все затихло. Видно, Вася не сплоховал...

И еще день прошел. Эти дни стояли теплые, ночью поднимался туман, заслонял лунный свет. Жалко: луна весной особенно хороша, а свет ее не доходил до земли, тратился понапрасну. Лунное сияние могли видеть пассажиры тяжелых самолетов, но им предстояло долго лететь — и они старались быстрее заснуть. Одна только девочка с русой косой, командир октябрятской звездочки, смотрела неотрывно на облака сверху — и ей хотелось спрыгнуть и покататься на лыжах. Она поворачивалась сказать отцу, но тот спал и видел земные сны. Ведущий пилот и штурман также могли бы любоваться белыми полями облаков, если бы не считали облачность помехой.

6

— Гонят нас, конец марта. Утром метелит, днем распускает. Наст режется, под снегом вода. До чего едкая! Чуть не каждый день гоняли мины топтать. Так и называлось: мины топтать. Господи, твоя воля, разберись и пойми,— говорила соседка Дуся.

— Ой, не говори, чего пережили, какую войну скачали,— подтверждала Варвара.

Они сумерничали. Все разговоры были о пережитом, потом переходили на нынешнюю молодежь, которая в их годы с мизинец ихнего не перенесла, что хоть маленько бы почитали стариков и что вообще не разбери-поймешь, чего делается: и парни охальные, и девицы — бесстыжие лица, и погода вертится, и мужики в две глотки льют, а ведь что бы, кажется, не жить: и телевизоры стоят, и в

магазинах любой материи полны полки, носить не износить, и пенсию выдают, но уж больно молодежь непочетники, идешь по тротуару, так и прут навстречу, так и сшарахнут. А все от атома. От него, от него, леший бы им подавился. Да атом бы черт с ним! Бога забыли.

Но какие бы проблемы ни решал женский ум, он непременно займется решением одной-единственной проблемы — проблемы проклятых мужиков. И хотя поется в частушке: это слишком много чести — говорить про мужиков; хотя и сами мужики в припадке совести понимают, что не только разговора о себе не заслуживают, вообще ничего не заслуживают, тем не менее, тем не менее...

— Это чего же,— встрепенулась Дуся,— второй чайник додуваем, как бы не опузыреть. Дак вот чего я начала-то: гоняли мины топтать, а не пойдешь — застрелят. Детей, правда, разрешали дома оставлять. Топчите, говорят, топчите, партизанам спасибо говорите. Так умучаешься, думаешь, хоть бы уж скорее взорваться.

— Ой не говори, ой не говори,— поддакнула Варвара.

Она все ждала стука калитки. Но нет — привычно протяжно тянулись составы да хлопало белье на веревке под окном.

— Дак не пьет твой-то? — Этим вопросом Дуся выдала себя. Не смогла утерпеть: уж слишком высоко взлетела история трезвости Александра Ивановича и была видна всем.

Но Варвара не поддержала разговор и ответила косвенно:

— Нарасхват ведь он. На кусочки растаскивают. Пей, Дуся, конфетами угощайся. Не пишет Рая-то?

Напоминание о дочери было ответным ударом. Дуся записывала нынешнюю молодежь в непочетники именно из-за дочери. Дочь Рая не стала посылать переводы, а была должна, считала Дуся. Рая выскочила замуж внезапно, покрыла грех венцом и переводами как бы искупала его. Но время прошло, и грех, видимо, показался искупленным.

— Пишет,— ответила Дуся,— набрала мне и себе на юбку и кофту сколько-то банлону, сама привезет, что из-за пустяков почту мучить.

Варвара вернула разговор на воспоминания:

— Мне в войну другим боком досталось. Мужик в армии. Бригадир привел во двор жеребую кобылу: береги, отвечаешь лично, никому не давать, иначе под статью, вредительство. Ошпарю солому кипятком, тяпкой иссеку, отрубей добавлю, а отрубей-то! — весь амбар выползаю, косарем скребу. Все понимала, матушка, говорить только не могла. Ухожу куда, с избы замок сниму, на хлев навешу. Сберегла. И так вторую зиму. Дрова на себе, воду на себе, но трех жеребят — двух в армию, одного на лесозаготовки... Ой! — вздрогнула от стука Варвара.— Не идет ли?

Обе прислушались.

— Ветром шабаркает,— сказала Варвара и этим выдала свое нетерпеливое ожидание мужа. И поневоле поделилась: — Боюсь, Ду-

сенька, так боюсь, лучше бы выпивал. А как скопится да прорвет, дак...— Варвара замолкла, будто отшатнулась от ужасного видения.

— Какой ни есть,— вздохнула Дуся,— какой ни есть, а мужик. А без него-то вдесятеро тяжелей.— И поджала губы.

Мнение поселковых жителей сводило Дусю с Деляровым. Она не сопротивлялась, но боялась продешевить. Неизвестно еще, кто этот Деляров да и хочет ли он сам,— словом, курочка была еще в гнезде, яичко не было снесено, и сплетня жевала несуществующую яичницу.

Дверь, по выражению Варвары, шабаркнуло, но уже не ветром. Вошел хозяин, вошел с такой силой, что по ошибке открыл дверь не в ту сторону. Дуся, взвизгнув, исчезла.

— Где? — спросил Кирпиков бледнеющую Варвару.— Где эти сволочные деньги? Дай их сюда.

— Саня, Саня...

— Дай их сюда и пойдешь по дворам и отдашь обратно. Сейчас же!

— Их нет,— выговорила несчастная Варвара,— их невестка увезла... на твое, на наше имя сберкнижку заведет.

— Так,— сказал Кирпиков и сел.

Пока бежал домой, пока распрягал мерина, он уговаривал себя не пороть горячку. «Невестка,— подумал он,— она и тут подтакалась, она и тут...»

— А ты, дура,— спросил он,— отдала? Ты, безмозглая, ходила по домам, меня позорила. На это у тебя ума хватило. Ум у тебя в два пальца. Муж не пьет, не курит, мало?! — Он посидел, обвел взглядом чисто прибранную, теплую избу.— Забирай свои хунды-мунды и катись к своей невестке.

— Убей, не поеду. Выгони, ты сильней.— Варвара чуть не плакала. Муж сидел мрачно и неподвижно, и слеза в голосе не пронимала его. Тогда Варвара пошла в наступление: — Не имеешь права выгонять, дом на мне записан.

На ком был записан дом, они оба не знали, но Варвара знала закон — человеку без жилья нельзя. Но и это не прошибло Кирпикова. Он достал с полатей дощатый чемодан-сундук. В чемодан полетели платья, туфли (одна пара), полушалок, халат. Комкая халат, Кирпиков поглядел на Варвару, в чем она. Она была в халате.

— Расплодились,— сказал он о халатах. А по адресу зимнего пальто заметил: — В руках понесешь.

Варвара причитала:

— Только стали жить, детей на ноги поставили, нет, давай людей смешить. Не надо мне ничего, не складывай, голая уйду, будто я с них деньги спрашивала, сами суют.

— Не брала бы.— Кирпиков не забыл про мыло и полотенце, а последней снял и положил икону.

То, что муж подал голос, поощрило Варвару.

— Суют! На порог подкидывали... Да много ли и денег-то было, да чего и стоят нынешни-то деньги...

Чемодан не закрывался. Кирпиков думал, чего из него выкинуть.

— Больше не деньгами, а вином приносили.

— Где? — спросил Кирпиков, отодвигая чемодан.

Птицей полетела Варвара в чулан и стала носить бутылки. Набралось изрядно, далеко за десяток. Бутылки светлого стекла хрустально сверкали, темного — отливали лазурью.

— Богатство.

Муж снял с гвоздя караульную берданку, взвел ударник.

— Стреляй,— сказала Варвара,— ни в чем я не виноватая.

— Отойди.

Прицелился в батарею бутылок. Щелкнул боек. Осечка.

— Люди сбегутся,— сказала Варвара.

Вторая осечка. Сменил патрон. Снова осечка.

Ярость, до сих пор сдерживаемая, выхлестнулась, и Кирпиков, перехватив берданку за ствол, пошел на бутылки врукопашную. Первым же ударом смел всю батарею. Брызнуло стекло, полилась водка, сивушно запахло.

Одна, неразбитая, бутылка покатилась под ноги Кирпикову. Он добил ее, как змею, прикладом сверху вниз. Только тогда берданка выстрелила.

Оба посмотрели в потолок.

— Точка,— сказал Кирпиков.— Дай сюда паспорт.

Пока Варвара рылась в комоде, он хотел закурить. Руки тряслись. Он бросил горящую спичку в лужу водки. Спичка не спеша погасла. Он зажег другую спичку и уже специально стал поджигать водку. Не загорелась.

— Делают дерьмо,— сказал Кирпиков.

Варвара протянула ему оба паспорта. Он раскрыл паспорт жены на чистой странице. Взял ручку, крупно написал: «Свободна». И подписался.

— А убился бы? — спросила Варвара и заплакала от испуга.

С ней сделалось плохо, и Кирпиков стал отхаживать ее, побежал за водой на кухню, зацепился за чемодан и чуть не упал на осколки бутылок. «Виски бы водкой потереть,— подумал он,— и взять-то ночью негде».

На людей, как доказано, все влияет: расположение звезд, активность солнца, поведение луны. Может, этим объяснялось то, что Дусе не спалось. Она вертелась с боку на бок, вставала, зажигала свет и глядела на будильник. Думала о Делярове. Тот чувствовал это, спал плохо, вскакивал, пытался блудливо критикнуть порядки и все рассаживал картошку, а та, что была посажена раньше, уже начинала прорастать.

Доставивший домой очередную собаку Вася Зюкин спал на полу, не достигнув кровати. Перед сном он успел оскорбленно подумать: «Как собака, так пожалте мыться, а как муж, так хоть бы поесть чего дала». В благодарность за приют вымытая новоприбывшая собака подползла и подсунула себя под голову Васе вместо подушки. А на

животе у него устроились сытые, крепнущие щенки из прежних приносов. Вася сгребал их вбок, но щенки упорно лезли на теплое место, заодно закаляя волю.

Плохо спалось и супругам Афанасьевым. Афоня время от времени поднимал голову и задавал жене любопытный вопрос:

— Тут, кроме тебя, еще другой бабы нет?

Холодеющий воздух носился по поселку, обветривались свежие пашни, зябла в земле картошка. Потревоженные черви восстанавливали свои катакомбы.

7

Наплюйте тому в бесстыжие глаза, кто скажет, что женщины ненасытны, что им много надо. Что им надо? Да ничего — одну заботу. Вымоешь в понедельник посуду — жена рада до субботы. Другая, правда, заботой считает жертву всем ради нее, но, повторяем, достаточно заботы.

«До самой бы смерти так»,— думала Варвара, глядя, как растерянно хлопочет муж. Ищет градусник, не находит, бежит на кухню и забывает, за чем бежит.

— Мать, тебе грелку на ноги или льду от Дуси из погреба принести?

— Сядь, Саня, сядь.

Когда мы боимся потерять друг друга, мы умнеем. Мы не вечны, надо дорожить друг другом, но увы, увы! Свои планы всегда кажутся нам важнее, и не посылаются ли нам болезни как напоминание о том, что мы не вечны? Сколько слез пролито из-за нас, мы бы захлебнулись в этом море, но, снова и снова прощенные, мы снова и снова пытаемся чего-то добиться, не понимая, что нужнее всех покоренных вершин радость дня.

— Все хорошо, Саня, сядь.

Кирпиков обессиленно сунулся в изножье кровати.

— Лекарь,— засмеялась Варвара,— с такими-то лопатами.

— А их не отмыть, не отпарить,— ответил Кирпиков и посмотрел на свои тяжелые сухие руки. Согнутые, будто специально, чтоб к ним приходились и топор, и лопата, и пила, и соха, и багор-пиканка, и вилы... да начни только перебирать — на третьем десятке не собьешься. И все приходилось к его рукам, любой инструмент давался ему.— А у тебя что, лучше? — Он потянул Варварину руку, уже немного дряблую, всю в неровных напухших венах.

— Сравнил! У меня до костей простираны.

И Варварина рука была согнута, и тоже навсегда. То же самое, каким только инструментом не продлялись ее руки, и ухватами, и сковородниками, и коромыслом, и всякими лопатами: железными, деревянными, хлебными; граблями да теми же вилами, тем же топором, той же сохой.

Уж и поработали Александр Иванович и Варвара Семеновна на своем веку!

О, не одно европейское государство разместилось бы на поле, вспаханном Кирпиковым, какой альпинист взобрался бы на стог сена и соломы, наметанный Кирпиковым, какой деревянный город можно было выстроить из бревен, им заготовленных, сколько товарняков нужно было б, чтоб перевезти дрова, напиленные и расколотые им за всю жизнь, сколько людей согрелось бы у тепла этих дров!

А Варвара? Сколько перестирала она одного только белья — веревка сохнущих детских постирушек, мужниных рубах опоясала бы земной шар; студеной воды, перетасканной ею, хватило бы налить большое озеро.

Только нет такой статистики, нет такого огромного поля, такого поднебесного стога, такой растянутой по экватору веревки с бельем, нет такого озера.

Они вдруг застеснялись, чего это ради разжалелись друг друга: жизнь прожили, никогда такого не бывало. Но этой весной каждому пришлось ощутить угрозу одиночества и испугаться его.

Кирпиков обратно разбирал чемодан, выкладывал назад Варварино имущество. Взяв икону, засомневался: при своем безбожии и при том, как час назад он ее в сердцах хватанул, как было ставить на место?

— Из-за тебя ведь только и молилась,— тихо упрекая, сказала Варвара.

— Ну теперь-то? — спросил Кирпиков. Он кашлянул.— За меня больше незачем молиться, пить кончено. Терплю. Это такой подвиг, мать! Заново родился! — Кирпиков подумал и отнес икону на полати, а место на божнице занял фотографиями детей и внуков. Внучка Маша встала в центре.

— Молись! — весело сказал Кирпиков.— Вот бы Машку совсем к нам!

— Какая мне еще Маша? — сказала Варвара, переживающая замену иконы.— Я свое досыта отнянчила, отрожала. Это мимо тебя дети проскочили: работа да война, тебе и хочется поводиться с маленькими, тебе она вместо игрушки, а питание, а купание, а заболеет? Нет, нет, все! Отдоилась я, довольно.

— Ладно, мать,— примирительно сказал Кирпиков.— Ладно.— Он стал сгребать осколки к порогу.— Одно хорошее в этой водке,— сказал он,— пятен не оставляет.

Варвара пересилила себя и встала. Замела стекляшки к печке. В жестяной отдушине шумело. Ветер хлестал ветками по окнам.

— Бьется погода,— сказала Варвара.— В погоде что в народе.

И оба невольно подумали о детях: как они?

— То-то у меня поясница давала знать,— сказал Кирпиков.— Я думал, сохой натрудил, а это к перемене погоды. Совсем барометром становлюсь.

— У меня тоже позвонки ломало.

— Да у тебя вечно что-нибудь,— привычно сказал Кирпиков, но осекся: жена больна, да и, видно, прошло время, чтоб ляпать чего-то не подумав.

Никогда раньше не думал, что и как говорить при жене,— не на трибуне, а вот, оказывается, как переходят на него же обратно его слова. Сделал жене плохо, и самому больно. Как будто стала нервная система одна на двоих.

— А мне когда плохо,— отвлекла его Варвара,— я всегда сенокос вспоминаю. А, Иваныч? Сердце-то от радости так и росло!

На сенокосе он всегда шел впереди, рассекая поляну надвое, за ним Варвара, а дальше, все суживая прокосья, косили дети. Младшенькая, еще не доросшая до литовки, растрясала валки и старалась успеть за всеми. Она приносила воду из родника-кипуна. Чайник вытягивал ей ручонку, холодная вода плескалась на исцарапанные коленки.

Кирпиков помнит, как он дошел до конца поляны, за ним докосила Варвара, наступавшая на пятки. Кирпиков наточил литовку и хотел начинать новый ряд, на свал. «Вот неналомный,— сдержала Варвара,— дай хоть отдохнуть-то.— Оглянулась и вдруг шепотом:— Отец!»

Он тоже оглянулся — дети догоняли их. Третьим рядом шел Николай, размашисто, по-мужицки укладывая траву; за ним Тоня, берущая неширско, но чисто; дальше Борис, закусивший губу, нервничающий, чтоб не отстать; последним тюкался Михаил, прокосье вел неровно, маленькая литовка прыгала, все кочки были его. Всех сзади мелькало платьице младшенькой.

Варвара не стерпела, побежала помочь. Но никто не уступил ей свой ряд.

8

Почтальонка Вера брала по утрам свою сумку и, придерживая ее рукой, бегом разносила почту. Привычка к бегу осталась от тех времен, когда поселок был еще большой, а дети Веры были маленькие и она торопилась к ним. Стали дети большими, разъехались, разъехались и у других. Подействовало и то, что леспромхоз перевели дальше на север. Поселок сгрудился около станции — и его можно было легко обойти пешком. И в дом не к кому торопиться, пусто, но — инерция — все равно Вера привычно бежала, торопливо махая свободной рукой, как бы увеличивая этим свою скорость. «Куда это я бегу?» — думала она, проскочив поселок насквозь, и бежала обратно.

Вера первой узнала о торжестве у Кирпиковых и первой разнесла эту новость по домам. Зовут тех, говорила она, махая рукой, у кого Кирпиков пахал одворицы.

— Всем пахал дак,— говорили ей,— всех, что ли, зовет?

— Велели любому говорить: приползи, да приди.

Деляров долго чистил полуботинки. С утра он не бегал ни рысцой, ни трусцой, потому что из вчерашнего веселого вечера запомнил одно: Кирпиков научил собаку преследовать убегающего. Это надо проверить. Если собака есть, то реагирует ли на убегающего? Вообще Кирпикова за подобные шуточки надо привлечь куда надо.

Дуся тоже прихорашивала свою обувь и вообще всю себя, но цели ее были иные. Пора было доказать дочери, что ее мать умеет жить, и дать наконец дочери возможность произнести слово «папа».

Зюкин обувь не чистил, считая это роскошью. «Если я хуже собаки, то зачем?»

Ботинки Афони сорок последнего размера почистила жена Оксана.

Из прочих приглашенных явились: почтальонка Вера, суетливо начавшая помогать Варваре и разбившая уже пару стаканов (привыкшая к звону стекла, Варвара удивилась бы, если б ничего не били); фельдшерица Тася, по фамилии мужа Вертипедаль (она тоже начала помогать); ее муж счетовод Павел Михайлович Вертипедаль; буфетчица Лариса, женщина необъятная, но энергичная; и продавщица Оксана. Не явились: жена Зюкина (она вообще сторонилась всяких обществ); лесничий Смышляев (его по причине удаленности не звали); лесник Павел Одегов; стрелочники Зотов Алфей Павлинович и его тихая жена Агура, происхождением староверы (не на кого оставить дорогу); глухой пенсионер Севостьян Ариныч и дочь его Физа Львовна и прочие.

В передней комнате хозяин занимал гостей.

— В подкидного! — объявил он.

Сели в дурачка. Трое на трое. Первая команда: Афоня, Деляров, Оксана; вторая: Кирпиков, Зюкин и Дуся. Начались обычные присловья:

— Карта не лошадь, к вечеру повезет.

— Дама, за уши дра́ла.

— Король, за уши порол!

— Туз, по пузе буц!

— Леонтий Петрович, вы карты держите так, что в них выспаться можно,— предупредила Лариса.— Я не играю, но должно быть честно.

— Да кому это надо подглядывать? — возмутилась Дуся.

Она оттого скорее возмутилась, что противная Лариса как-то фасонисто, по-городскому ломает язык. Пе-ет-ро-вич! Ишь! Дусю осенило — а ведь приберут мужика. Она торопливо подвела свою команду и поздравила Делярова с победой.

— А вы, дурачки,— сказала она партнерам,— тасуйте колоду.

Партнеру Зюкину было привычно сидеть в дураках, а Кирпиков был настроен благодушно. Раздавал карты и шутил:

— С дураков меньше спросу. На умных воду возят. О, козыри крести — дураки на месте.

И точно: Дуся благополучно предала свою команду еще раз. Она подпихнула Делярову козырную крестовую даму — мрачную брю-

нетку,— и Деляров дал полный отбой. Осталась даже шестерка на погоны.

— Вам, Леонтий Петрович, сплошная везетень, а уж мне не везет в картах, так хоть бы в любви повезло,— пожелала себе Дуся.

Тут уж Лариса увидела в ней соперницу, но легкомысленно не поняла опасности. Что может дать Дуся? Работу на приусадебном участке? А к Ларисе приходи в буфет и сиди до закрытия и после. Какое может быть сравнение?

Между тем поспел стол. Но женщины вначале пошли навести красоту. На кухне Варвара показала отбитые горлышки с целехонькими колпачками. Оксана попросила их себе. У нее есть процент списания на бой, и эти горлышки пригодятся. Но вообще, конечно, Кирпиков-то как бы не того. Женщины посмотрели на Тасю. Тася объяснила, что того или не того, это устанавливают в области. Даже в районе редко. Но вот она поедет за лекарствами и зайдет к психиатру.

С тем и вышли к столу. Пока разливали, успели поговорить, что погоду крутит, но дождя нет, а хорошо бы, в самый бы раз на посаженную картошечку-то.

Встал хозяин дома. Он готовился сказать красиво, но только и сказал:

— Прошу выпить и закусить.

Надо было ему хотя бы чистой воды в стакан налить, хоть что-то поднять. А то странно получалось — хозяин не пьет, а гости, значит, угощайтесь сами.

— За все хорошее! — сказала Дуся и чокнулась с Деляровым.

Деляров сегодня не сопротивлялся. Красные прожилки на щеках и носу, проступившие вчера, просили освежения. Он выпил, Дуся пригубила. Вася долго озирался и не пил. Но за окном чирикнул воробей, и Вася подумал, что можно ведь и воробья поймать. И выпил. Об Афоне и говорить нечего.

Стали закусывать. Кирпиков не выпил, ему есть не хотелось. Готовая речь вдруг подперла, и он встал.

— Наши дети должны знать, из какого корыта ели первоначальную пищу.— Кирпиков хотел сказать о краях отцов и дедовских могилах, но сбился: упоминание пищи из корыта прозвучало не к месту.

Вечеринка пока не ладилась.

— Эх,— задорно сказала Дуся,— девяносто песен знаю, а молитвы ни одной! — Ей хотелось петь, танцевать, веселиться.

Влюбленные как-то забывают, что во все века любовь мешала жить нормальным людям. Например, Варвара очень осудила Дусю. «Доложилась! — подумала она.— Еще не допили, еще не поели, а уж за пляску».

Но любви и кашля не утаишь.

Павел Михайлович Вертипедаль, пришедший с гармоникой, сидя в зауголье стола, степенно наедался. Степенно заметил:

— Вот, Дуся, запомни: сколько здесь за столом посидишь, столько и в раю.

— Голодному цыгане снятся! — крикнул Зюкин.

— К убытку,— сказала Дуся и с вызовом посмотрела на Ларису.

Хорошо мужикам соревноваться — кто кого перепьет, тот победил, а бедным женщинам? Пьешь — осудят, совсем не пьешь — осудят, поёшь — значит, выхваляешься, пляшешь — высовываешься. Как себя показать? Как свалить супостаточку-соперницу?

— Ну, громадяне,— Павел Михайлович поднял стакан,— предлагаю за одну горечь.

Дуся заслонила стакан — не надо.

— Тебе для дури запаха хватает,— сказала Лариса как бы в шутку.

И Дуся приняла это как бы в шутку, но мысленно отметила выпад.

Вечеринка пошла нормально. Уже Зюкин пробовал пропеть: «Привезли да и рассыпали осиновы дрова, это все,— он обводил всех рукой,— это все интеллигенция со скотного двора», уже Павел Михайлович Вертипедаль отлаживал звоночки гармоники, Дуся постукивала каблуком, Варвара скатывала к печке половики, а хозяин сидел на кухне.

Не один. Его донимал Афоня.

— Так и запишем,— говорил Афоня.

— Так и запишем,— терпеливо повторял Кирпиков.

— Значит, сработал концевик? Учти, добром не кончишь.

— Учту.

— Значит, ты утром встал и пошел жить, а нам до одиннадцати ждать?

— Никто не заставляет.

В передней зазвенели колокольчики.

Делярову и не снилось, что за него началась борьба. Он сел рядом с Зюкиным и начал втолковывать ему, что в погребе у Кирпикова — взаперти! — сидит невинная душа.

— Я тоже от жены в сарае спасаюсь,— отвечал Вася.

— Но это душа не человечья, а животного.

— А она меня тоже за скотину считает.

Первой ударила дробью Лариса и критикнула нынешние нравы.

Раньше были кавалеры —
Угощали карамелью.
А теперя молодежь:
Напинают — и пойдешь.

Дуся вплыла плавненько, начала хитренько, будто совсем не интересуясь любовью.

Председатель на трубе,
Бригадир на крыше.
Председатель говорит:
Я тебя повыше.

Тут и Васина музыкальная натура не стерпела. Он сунулся в круг и стал мешаться под ногами.

Где ни пели, ни плясали,
Всюду девки не по нам.
Задушевный мой товарищ,
Лучше выпьем по сту грамм!

Пошли было Вера и Тася, но быстро сшиблись, и остались на кругу две соперницы.

— Отец! — говорила Варвара, придя на кухню.— И ты, Сергей, чего вы здесь, айда-ко-те в комнату, больно девки-то распелись.

Радостная, она под музыку вспомнила подходящую частушку: «Я плясать-то не умею, покажу походочку. Мой миленок пить забросил распрокляту водочку»,— но осеклась: неизвестно еще, чем с «миленком» кончится.

Состязание в передней накалялось. Грузная Лариса как будто легчала на килограмм с каждой частушкой. Дуся, наоборот, худая, тяжелела, но не сдавалась.

Лариса пошла в открытую:

Я свою соперницу
Увезу иа мельницу.
Мели, мели, мельница,
Вертись, моя сопериица.

И лихо рассыпала дробь. Дуся попыталась поправить положение.

Я и пела и плясала,
А меня обидели:
Всех старух порасхватали,
А меня не видели.

Все-таки счастье улыбнулось Ларисе. Она, легко прогибая половицы, подпорхнула к Делярову и стала его вызывать. И хоть он и не вышел, но уважение показал, встал и потоптался.

Дуся подскочила к гармонисту, отбила такт и заявила:

За веселье, за гармошку,
Ой, спасибо, играчок.
Наигралась и напелась,
Так зачем мне мужичок?

И достойно вышла из круга. Лариса же, показывая, что может плясать бесконечно, вызывала по очереди всех кавалеров. Никто не поддался. Вышел, правда, Павел Михайлович. За гармошкой его заменил Афоня. Но плясал Павел Михайлович не азартно, работали только ноги, сам был как деревянный и напряженно смотрел вдаль, будто ждал спасения.

— Туфли ты мне, Оксана, подтакала плохие нарочно, чтобы я ногу сбила.

Вот на что свалила Дуся свое поражение, на туфли, купленные в магазине Оксаны. Дуся жалела, что в пляске не вспомнила частушку, которую так бы в лицо и вылепить этой бочкотаре:

Ты его мани-заманивай,
Я песни буду петь.
На твои колени сядет,
На меня будет глядеть.

Но время было упущено.

Глядя на пляску, Кирпиков испытывал двойное чувство: ишь, напились, скачут, но скачут хорошо.

Пошли за стол по второму заходу. Афоня уселся рядом и продолжил свои разговоры:

— Ты был мужик от и до. От и до. С тобой можно было поговорить и посоветоваться.

— И говори.

Афоня посмотрел на Кирпикова как на ненормального.

— Как же говорить без выпивки?

— Не с кем стало выпить, вот что. Всего-то?

Кирпиков хотел наговорить Афоне упреков, но сдержался, отсел от него и, возвращая естественный ход вечера, запел «Хас-Булат удалой», а там пошли «Что стоишь качаясь, тонкая рябина?», и, конечно, «Что ты жадно глядишь на дорогу...», и, конечно, «На муромской дороге», и, конечно, все ямщицкие, и, конечно, «Враги сожгли родную хату». Тася так звенела, хватала такие верха, так солидно гудел Павел Михайлович, что никто не заметил, что в общем хоре не хватает двух голосов.

На крыльце шел разговор как раз в эти два голоса.

— После обеда полежи, после ужина походи,— говорил мужской голос.

Женский отвечал:

— Конечно, вы мужчина кубатуристый, в вас много войдет, это надо понимать и ухаживать, а то эта корова расплясалась и вас дергает. Надо же понимать, человек — сердечник.

Дусе, это была она, хотелось окончательно уничтожить Ларису перед Деляровым. С ним она стояла.

— Знаете, как ее зовут? Заврыгаловка. Это же ужасно. До такого сраму дойти. А чуть чего — на пару с Оксаночкой через все решета протрясут, обсплетничают, все кости обмоют. А я никого не держу, ни за кем не бегаю, но вас, вас жалко, как они хитро вас обурали. А вы еще такой доверчивый. И хозяин, этот пьюха! Вчера бутылки бил, я говорю: Тася, проверь, может, его опасно здесь держать.

Деляров вдруг повернулся к Дусе.

— Это правда, у него есть большая собака?

— Не знаю,— разочарованно ответила Дуся. Она думала, что Деляров решился ее обнять.— Хотите выпить? — интимно спроси-

ла она.— Я принесу. Пусть они там сидят. Много им чести с вами сидеть.

Пока она бегала, Деляров боязливо косился в сторону двора. Там была конюшня, и, когда мерин переступал на полу, Деляров думал, что это такая порода собак — с копытами.

— Вот она, из Москвы приперлась! — объявила Дуся о своем возвращении.— Сперва я сама проверю, не отравлено ли. Оп! — Она отпила.— А теперь отсюда же... тяни! — Она резко перешла на «ты».

Порция была великовата, но в Делярове сработал инстинкт исполнителя. Он выхлебал содержимое.

— Закуси!

Он счавкал то, что дала Дуся, и даже не понял что. Дуся тихо смеялась:

— Мы как нынешние: хлоп — и на брудершарф.

— Что он сделал первым делом? — громко спросил Деляров.— Я спрашиваю, что он сделал первым делом по случаю войны? Он запер в туалете машинистку, чтобы не утекла тайна.

— Простудишься,— ласково говорила Дуся, набрасывая петли шарфа на шею Делярова.— Я как выскочу с голым горлом, так неделю отгрохаю.

Она слегка затянула шарф. Деляров качнулся к ней. И как получилось, непонятно, только они обнялись. «Леонтий!» — сказала она, и он, трусливо трезвея, поцеловал ее. Потекло молчание. Из дома донеслось «Не осуждай несправедливо, скажи всю правду ты отцу...».

— Если мы сказали «а», то должны сказать «бэ», дойти до «вэ»,— сказал Деляров,— и вообще проделать всю азбуку.

— Леонтий,— как решенное сказала Дуся,— Кирпикову больше подносить не будем, вспахать ты и сам вспашешь. Ты же с мерином справишься. Вчера в магазин приезжал.

— Конечно, справлюсь.

Из дому через порог выпал Вася Зюкин. Деляров вспомнил свои опасения, поднял Васю и втолковал ему, что у Кирпикова есть собака. Вон там. Стучит лапами.

— Какая собака? — спросила Дуся.— Ты что, Леонтий?

— А стучит?

— Это в конюшне, мерин.

— Все, ребята,— сказал Вася Зюкин.— Мне конец. Эх, если бы хоть бы птичку.— И он стал подсвистывать голубей. Или воробьев. Кого получится.

Пьяные кажутся себе остроумными, способными на житейские и любовные подвиги, но на трезвый взгляд они смешны и придурковаты. А может, они и пьют оттого, что не сильные, не остроумные? Может, это и надо — чтоб человек подумал о себе лучше, чем есть? Как знать.

Напевшиеся женщины пошли обсуждать, как жить Варваре дальше; за столом остались мужчины. Павел Михайлович отключил звоночки и подыгрывал только голосами. Он пел сам для себя грустную песню своей молодости:

Еще косою острою трава в лугах не скошена,
Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена...

— Я тебя понимаю, так как уважаю,— говорил Афоня и все придвигался к Кирпикову. Тот, соответственно, отодвигался. Вскоре диван кончился, и пришлось говорить стоя.— Я тебя понимаю, ты встал на подзарядку. Но ты объясни почему?

Вернулся Деляров, спросил, есть ли чего с морозца. Уже все кончилось. В прежней своей жизни Кирпиков со стыда бы сгорел, что гостей не упоил вусмерть, а тут, наоборот, подумал: хватит. Хуже худшего опротивели ему пьяные Афоня, Вася, да и Деляров.

— Где женщины? — спросил Кирпиков.— Куда разбрелись? Плясать и петь перестали.

— С чего петь? — нагло спросил Деляров.

— Ты с ним не говори,— заявил Афоня,— у него не все дома.

— Точно, не все,— спокойно сознался Кирпиков.— Детей нет, внуков нет. Так мне и надо.

Женщины на кухне дотолковались до того, что Варваре теперь будет не жизнь, а каторга, а когда она в простоте душевной показала паспорт с надписью «Свободна», было решено — вот кукиш ему. Не пьет, не курит — это его дело. Такой дуры не найдет, чтоб все его дикости терпеть. И как только ему, седому бесу, дикотолому, не стыдно! Не мог он раньше вывихнуться, нет, он вначале чужую жизнь переехал, все соки выпил, да и вообще все мужики такие. И собрать бы их всех в одно место и бомбу бы бросить. Эх-хо-хо, жена да муж — змея да уж.

— Редко-редко бывают исключения,— вставила Дуся. Она вернулась с улицы посвежевшая от вечерней прохлады.

— Ой, а что это мы мужчин забыли? — сказала Лариса.

Пошли в комнату. Навстречу женщинам, пытаясь их облапить, пошел Афоня. Все увернулись, только Дуся не успела, застряла, но тут же стала выкручиваться. Афоня положил освободившиеся руки на гармонь. Стало тихо.

— Сейчас Сашка сказал,— объявил Афоня,— что у него не все дома.

— Эх,— сказал Кирпиков,— как смешно, не все дома. А у вас? Вспаханы у вас огороды? Посажено? Что еще? Копать? Выкопаю.

Гости начали расходиться. Павел Михайлович ушел с музыкой и увел Веру и Тасю, Афоню увела Оксана. Хоть Оксана публично и осуждала Кирпикова, но втайне мечтала, чтоб и ее муженек взял пример с Кирпикова. Горлышки бутылок с целыми колпачками Оксана не забыла.

Сложнее всех получилось с Деляровым. Он перепугался так, что Дуся предложила ему переночевать у нее. «Домой»,— шептал он.

Дуся и Лариса подлезли под его руки с двух боков и повели. Далеко у переезда затихала гармоника Павла Михайловича. Деляров сполз с плеча Ларисы и валился на более низкую Дусю. Пришли. Ни одна из женщин не решилась бросить его. Обе самоотверженно дежурили всю ночь. Поправляли подушку, совали питье, капли, растирали ноги, делали массаж, клали на лоб мокрую марлю, мерили температуру — словом, замотали Делярова к утру окончательно, замотались сами и только на рассвете уснули.

А с Васей случилось вот что. Жена его при настольной лампе читала книгу «Служебное собаководство». Вся свора дружно дрыхла. В дверь стали робко царапаться и скулить. Жена подумала, что вернулась с улицы последняя собака, и открыла. Вася Зюкин побежал на четвереньках к окну и завыл на луну.

— Фу,— строго сказала жена и стегнула его ремешком. Она прочла в книжке, что излишняя нежность вредит нашим четвероногим друзьям.

А хозяева? Кирпиков сорвал накопившуюся за вечер злость на Варваре. Ну, если чужие не понимают, должна хотя бы жена оценить, понять, каких усилий стоит прекращение одурманивания табаком и выпивкой.

И Варвара, только и ждавшая ухода товарок, чтоб рассказать своему Сане, чего они тут плели, плели, конечно, от зависти, а она не поддалась, тоже обиделась на мужа. И было с чего. Пошла на ночь лоб перекрестить, а на что? Иконы нет. Высунулась в окно — хоть бы одна звездочка.

— Ну смотри, Саня, все отольется. Ну смотри. Я думала, не пьет мужик, домолилась, допросилась, пусть бог от меня отдохнет,— нет, видно, тебе, лешему, ничего не дорого. Да будь ты лучше пьяней грязи, да живи по-людски.

— Пил — не считала человеком, перестал пить — опять не человек? Как же! Сашка-конюх да вдруг всегда Александр Иваныч.

— Пей, да в меру.

— Но что такое мера? Где она? Давно сказано: душа — мера, а душа у нас без берегов.

Ночевал Кирпиков на сеновале. Внизу отдыхал от страды Голубчик, сверху шуршал по крыше мелкий рассеянный дождь. Нет ничего лучше этих ночей. Сколько их было, много, кажется, а ни одна из них не продлилась.

9

Этот легкий, успокаивающий нервы дождь был первым и последним в этом году. Лето выпало нестерпимо жарким.

В зáреке горели торфяники. По утрам небо затаскивало серым дымом. Солнце вставало рано, но поднималось медленно. Сквозь дым оно выказывалось красным. Светло-серые шиферные и выбеленные временем деревянные крыши нехорошо розовели, воздух стоял

палевый. Курицы прятались, собаки бесились, старухи предрекали войну.

Но поезда шли точно по расписанию, мчались так же резво, колесные пары промелькивали так быстро, что заслоняли просвет под вагонами. Много пыли поднималось и неслось вслед.

В лесу было тихо. Шиповник, рябины, елочки и все, что стоит с приходу, было в пыли как в цементе. Пересохшая трава ломалась и сама превращалась в пыль.

— Дождался Африки? — поддевала мужа Варвара.

Лесник Пашка Одегов, приезжающий за едой, передавал, что огонь понизу идет к питомникам, что остановить его — задача неимоверная, что льют жидкую глину, копают канавы, но все без толку.

Лесничий Смышляев с ног сбился, не разувался по неделям — шутка ли, такая жара, были случаи, что хватало искры из-под колеса. Отгребали все, что может гореть, от полотна, чистили лесосеки. Курили в рукав. Смышляев исхудал, выскался, по выражению Варвары.

А вот Кирпиков от жары раздался. Он тяжело переносил ее, ничего не мог поделать, толстел. Это Кирпиков-то, худыр — восемь дыр, раздобрел. Но и вернуться к курению не тянуло. Столько ночей, особенно ближе к утру, он надсадно откашлял. «Опять дрова рубит»,— жалостливо думала Варвара. Передвигаться Кирпиков стал медленнее. Лицо разгладилось, видно, лишняя кожа ушла на живот. «И с чего тебя так разносит, батюшко? — спрашивала Варвара.— И ешь вроде немного».— «С голоду пухну»,— отвечал муж.

Из других новостей были такие: всех собак жена Зюкина выгнала. Они разбежались по дворам, лаяли без разбору, от жары бесились. Может, не только от жары, а и оттого, что кончилась беспечальная жизнь. Ночами они перелаивались и корили друг друга — и чего было ссориться у общего корыта? Всем бы хватило. Все жадность наша, все раньше других надо, вот и получай. Нет, не умеем мы ценить хорошее, лаяли собаки и сговаривались пойти к Зюкиным с повинной. Но выгнали их вовсе не из-за грызни у корыта. Это объяснилось тем, что Вася один заменил всех. Он сам занимался по учебнику, вдобавок ему не надо было отдельно готовить, ел то же, что и хозяйка.

Любовный треугольник Дуся — Деляров — Лариса не распался. Деляров ходил по графику обедать то к одной, то к другой. Иногда женщины сговаривались и делали общий обед. Деляров позволял себе капризы. Он бросил бегать и рысцой и трусцой и выцыганивал поочередно у влюбленных по четвертинке.

Любая новость приедается, и к этой привыкли. Оксана даже с радостью: ее подозрения, что муж похаживает к Ларисе, исчезли, и она крякнула и денежкой брякнула — заказала привезти цветной телевизор. Рассчитала точно — Афоня пристрастился смотреть футбол и выписал со второго полугодия несколько спортивных изданий.

К нему приходил Павел Михайлович Вертипедаль. За месяц они стали знатоками не хуже Озерова и мечтали почитать мемуары Пеле и Круиффа.

Тася тоже ездила в район за продуктами, заходила к психиатру, но он был на совещании, а ждать было долго. Да и зачем? Кирпиков на людей не бросался, в справке, что ударит и не отвечает, нужды не имел, и Тася, переночевав у деверя, вернулась в поселок.

Главное страдание Кирпикова было даже не в жаре. Не привезли Машу, а ведь это было ее последнее лето перед школой. И хотя и других детей почти не было в поселке, Кирпикову казалось, что невестка специально не пускает Машу к нему. В пивную Кирпиков не ходил, дни казались долгими. Он слонялся по дому, брался за тетрадку, в которой в апреле записал о своем втором рождении. Ему по-прежнему хотелось оставить свое жизнеописание. Начав уважать себя, он и жизнь свою представлял более значительной, чем раньше. Еще бы — он помнил лапти и ходил в них, а вот уж человек ступил на Луну, вот уж и сердце чужое стали вставлять, вот на заморозку людей кладут. Конечно, все эти свершения были достигнуты без него, и на Луне бы побывали, не будь Кирпикова вообще, но взять поближе — он помнил конную вывозку из леса по лежневкам и застал лучковую пилу, а уже досыта нагляделся и на могучие трелевочные трактора, и на ленточные пилы. А война? Нет, Кирпикову было что рассказать. Но рассказать было некому. А раз некому, могло пропасть. Записать не получалось. «Грамотешку бы мне»,— повторял он и наконец нашел занятие — сел учиться.

Книг в доме было немного, остались от ребят в основном учебники. «Собачьи» книги — «Каштанка» и «Муму» — Кирпикову не понравились: он не верил, что Герасиму обязательно надо было топить Муму. Ведь он же все равно уходил в деревню. Взял бы с собой, а там-то кто бы ее тронул? Также и в «Каштанке» хотелось поворота сюжета: уж очень фашистская забава была у сына столяра — привязывать мясо на нитку, давать глотать, а потом тянуть обратно. И к этому уходить от хорошего человека? Или уж судьба такая: не угодив хозяину — быть утопленным, а угодив — бежать от него?

Но в руки попалась «Занимательная математика». И на ней Кирпиков застрял. И застрял именно на картинке: в разинутый рот великана входит состав, везущий продукты, съедаемые одним человеком в течение жизни. Цифры приводились ошеломляющие. Приходилось верить, хотя вряд ли Кирпиков съел столько тонн сладостей и фруктов, сколько называлось в книге. По картошке, может, и перевыполнил, но это же было в среднем на среднего человека.

Кирпиков не хотел бы, чтоб труд его и результаты труда, которые, в общем, сводились к питанию и одежде, были только в этом питании и одежде. Физический труд означал большее — он был радостью; когда он не давал радости, превращался в тягостную необходимость. Любой труд Кирпиков делал добросовестно, иначе не мог. При его сноровке и смекалке Кирпиков мог бы рассчитывать в жизни на что-то большее, но нужно было учиться, а было не до учебы. Он

крепко следовал рассуждению, что если все будут ученые, то кто же будет ученых кормить? Кирпиков знал, что жил честно, а значит, хорошо, но если бы спросили, желает ли он такой жизни детям, он ответил бы: нет. Потому и выучил. И сверстники его учили детей, а те, подумал он с усмешкой, воротили морды от родителей. Но это другой вопрос. Ведь все-таки учили. Страдали, что некому будет на земле работать, но время двигалось, урожаи убирались, и длинные составы с продовольствием шли в громадный рот среднестатистического человека. Помогли выученные сыновья — взамен себя послали на землю машины. Изнашивались они быстрее человека, но человек успевал сделать следующую машину. Уважение к машине заменило радость ручного труда, ничтожного в сравнении с машинным. Чего теперь жалеть серп, и косу, и лошадку с сохой, и топор дровосека? И уже пахарей и дровосеков в прежнем тысячелетнем виде можно будет скоро увидеть только в кино, и легко представить, как на них посмотрит Маша. Как на туземцев. А еще сто лет пройдет — кто объяснит? Какой труд приходил на землю во все века, что было на ней, матушке, до железных машин? Не зря же сейчас любую старину тащат в музей. Вот куда надо завещать сохи и прялки, зачем они детям, куда они с ними в своих квартирах? Но главное в большем — соху-то и прялку сохранить легче всего, но ведь при них человек был, о чем-то думал, при них не день, не два — жизнь проходила.

Икона так и лежала на полатях. Варвара обтерла ее и завернула в целлофан. К старухам она с тех пор ходила один раз. Начиналась жара, и они пугали разговорами о преставлении света.

Это преставление казалось Варваре сплошной чернотой. Она вспоминала свой давнишний сон, который был за ночь до выкидыша. Она тогда надорвалась на сплаве (лето было тоже сухое, вода быстро скатывалась, горизонты ее понижались, и всех мобилизовали «чистить пески»), ей бы только для виду налегать на багор, да она и поберегалась, но под артельную «Дубинушку» забылась — и ночью схватило. Она терпела, думала, пройдет, к утру отпустило, и вот она увидела сон. Будто бы она вынесла ребенка в розовой рубашке (значит, была бы девочка), и подходят будто бы три женщины, все в черной одежде. Вот и весь сон. Теперь он повторился.

Варвара проснулась и отнесла воспоминание на жару. Вышла на крыльцо — горизонт по-прежнему был блеклым, в полном безветрии воздух толокся на одном месте. Деревья, трава, забор казались засыпанными пеплом. Апокалипсическое солнце дожигало сквозь синюю полумглу сухую землю. «Преставление света»,— вздохнула Варвара. Понесла пить мерину.

Бедному мерину тоже было тяжко. Исхудавший в посевную, он так и не огладился. Прошлогоднее сено ломалось, было не едкое, сушило горло, а нынешняя трава сохла на корню. Он подолгу стоял у кормушки и ел овес. Но зубы были старые, и овес был не в радость. Мог бы хозяин его измельчить, но он совсем перестал заниматься хозяйством.

— Дома ли, нет ли мужик? — спросили из-за забора.

Варвара увидела — лесничий Смышляев. Они поговорили. Варвара поплакалась, что мужик совсем отбился от хозяйства, все молчит и как бы неладно не было, ведь бес горой качает. Второй день не видно.

Найти Кирпикова помог мерин. За разговором Варвара не закрыла мерина, и тот вышел. Но на улице было еще жарче, чем в конюшне, и мерин потянулся к Дусиному погребу. Он сунулся в него мордой и услышал родной голос:

— Куд-да, мать-конташка?

Мерина заперли обратно, Варвару Кирпиков попросил удалиться, а с лесничим начал разговор.

— Послушай меня. Ты их всех поумнее,— сказал Кирпиков.— Я тут сижу не только из-за прохлады, я думаю. Вот правильно — посохло. Значит, есть наше бессилие, назвали по радио безумие солнца, и где мы с нашей наукой? Трактор сделала наука, а ведь лошадью труднее управлять, чем трактором. Лошадь надо понять, а трактор только смазывать и подвинчивать. Я конюх. Вот я читаю — заносят в Красную книгу зверей, а меня кто занесет? Ведь я вымираю. У всех на глазах.

— Эх, Александр Иваныч, и мой возраст подпер. И вроде занимался делом долговечным, а все не больше чем лет на сто. То, что сажал в парнях, после техникума, это уже поспевает. И вырубят. Сейчас посажу — снова сеча. Эти питомники у меня были с отросточков, как будто с детского сада. Сейчас горит школа, а там были бы университеты. В профессорах под топор.

— Я тебе завидую: тебе есть из-за чего переживать,— искренне сказал Кирпиков,— ты много сделал, а я? Да без меня бы обошлись. Пахать-то? Тьфу! Ради детей жить, так они ой как свободно без меня обходятся. Так мне и надо,— признался вдруг Кирпиков.— Они ведь послевоенные. А я вернулся — грудь в крестах, Россию спасал! Ну, спасал. Не я один, а сколько убитых? Наших-то во сколько раз больше полегло. Спасли. И вот били себя в грудь, вот гордились, а бабы всё волокли да волокли. И детей я прокараулил, а ко внукам сунулся, да они как чужие. Во-от.

— Ты уж очень-то тоже чересчур.

— А уж чересчур не чересчур — толку не дам. Мебель эта в голову вступила — ведь она переживет березу. Значит, надо все перевести в вещи. Лен сгнил бы на корню, а, смотри, рубаху, если не побрезгуют, может и сын и внук носить. Надо и мне во что-то перейти.

— В любом случае станем частью природы.

— Я весь запутался,— признался Кирпиков,— и, кажется, то ли рехнусь, то ли пойму. Как башкой о забор. И не прошибешь, и щели нет. Вот меня бы и Машка Колькина научила. Я не смеюсь. Она рассуждает — о! В ее годы я с четверть ее не знал. А что дальше? Она с такой скоростью дальше. И до чего дойдет?

— До чего-нибудь дойдет.

— А вот в книжке написано — запустят ракету, она с год полетает, а вернутся сюда — здесь уже сто лет прошло. А год я бы спокойно полетал.

— Нас уж не возьмут,— засмеялся лесничий.

— И чего Колька думает, шел бы туда...

— Здравствуйте!

Перед ними стояла Дуся. В руках она держала кастрюльки. Кормила Делярова, принесла пустую посуду.

— Хорошо на холодочке?

— Как не хорошо! — простодушно согласились оба.

Дуся отнесла кастрюльки домой. В другое время она погнала бы от своего погреба, только бы пыль полетела, но сегодня состоялся значительный разговор с Деляровым. Лариса ушла на работу, и они посидели вдвоем. Деляров сегодня сказал: «Я избегаю нервных потрясений, а также соцнакоплений,— он хлопнул по животу,— а она все со срыва, со срыва и все мучное и сладкое. А также пиво. Это же вредительство. А почечные лоханки? Она о них думает?» Дуся интуитивно не стала ругать Ларису. Важнее было укрепить родство душ. «Я тоже зря не расстраиваюсь. Увижу, народ толпится, сразу не бегу, сначала узнаю, может, что дают, а может, кого убили». Еще немного поговорили. «Что на завтра?» — ласково спросила Дуся. «Что хотите, я вам верю». Сговорились на разгрузочном дне. Дуся отскребала кастрюльки и думала, что все-таки забьет Ларису. И будет у нее муж. Работник. Ежемесячная пенсия. Огурцы будет к поезду носить. У мужчин лучше покупают.

Вдруг Дуся подхватилась, побежала во двор. Ну точно — дверь в погреб нараспашку. Дуся успела застать фразу лесничего: «Говоришь, позднее понимание. И то слава богу, а если вообще без понимания?»

— Да при этой жаре,— закричала Дуся,— вы у меня погреб в два счета выстудите, тьфу, вытопите! Весь холод выйдет. Некому за меня заступиться. Вы ведь не продукты, зачем вам охлаждаться, а захотите, чтоб молоко не скисло, и некуда поставить...

Уж и погреб закрыла, уже и собеседники ушли, а она все продолжала разоряться, то ли действительно была рассержена, то ли просто щекотала голосовые связки.

Говорили же Кирпиков и Смышляев вот о чем. «Мне с ними со всеми противно, не о чем говорить. К чему? Я, конечно, попробую воспитывать, ведь надо».— «Ничего не выйдет»,— сказал лесничий. «Почему?» — «Если кто-то чего-то понимает, то только сам»,— сказал лесничий. И добавил, что хорошо, что хотя бы позднее понимание, а то чаще всего срок дотягивают вообще без понимания. Тут как раз и вышла Дуся.

На розвертях простились. Кирпиков помочь в лесу не обещался. «Мне простительно: я этих пожаров перетушил — массу!» — «Конечно, сиди, годы не те».— «Во-от. Только и осталось сидеть да смотреть. И ты перестань скакать, иди на пенсию».— «Да если питомник

нарушится, мне хоть в петлю».— «Все равно ведь вырубят».— «Для этого и растет»,— отвечал лесничий.

— Заходи,— позвал он на прощанье,— я в зимогорах у Пашки Одегова.

10

Раньше или позже, но все понимают простую истину: надо делать добро. Лучше, конечно, понять ее раньше, а то желание делать добро появится, а сил не будет, что толку из бездельного желания. Есть оговорка: деньги. Скопившие их на обманах и спекуляциях к старости сентиментальны и легки на мелкие подачки. Купцы поступали размашистей — бухали состояние на церковь, спасались верой. Но денег у Кирпикова и в заводе не было, да и куда бы он их бухнул. Но сделать доброе дело хотелось. Он решил обойти поселок, ему будет не стыдно поучать — уж теперь-то безупречен. Побрился, бриться было легко, лицо гладкое, надел чистую рубаху и к вечеру отправился.

— Жених! — приветствовал его Деляров.

К нему первому зашел Кирпиков. Держался Деляров надменно, как восточный мужчина. Да, что ни говори, как ни воспевай облагораживающую силу любви, есть у нее и другая сторона. Вот пример — Делярова полюбили. По всем правилам он должен стремиться стать достойным любви, а он? Опустился, стал хуже ленивого кота, в голосе зазвучала руководящая нотка. Даже не встал с лежанки.

— Что ж это, дорогуша, твоя картошечка не растет? На объективные причины спишем? А питаться будем твоими оправданиями? Хе-хе. Если бы мои женщины не поливали...

— Хе-хе,— ответил Кирпиков.

— Бутылочку допить пришел? — продолжал Деляров.

— Подавись,— ответил Кирпиков и, легко вспоминая, как его честила Варвара, отделал Делярова как по-печатаному.— Запейся ты этой заразой, захлебнись и пропади с ней вместе пропадом. Ты где был в войну?

И Деляров встал и поправил подтяжки.

— Этого питья знаешь сколько в моей жизни было? — сказал Кирпиков.— Было его хоть пей, хоть лей, хоть окачивайся. Подзывают — стакан в зубы. И я радовался. И что? И дошел, что засыпал и просыпаться не хотелось. Теперь ты горюешь, что меня за стакан не унизишь, а хотелось бы, а? Но я по твоему носу вижу, по твоей лысой башке, что ты всю жизнь пил. Но кончик вылез. И ты скажи — пил? Тайком.

— Пил,— сознался Деляров.

— Чем еще занимался? — Сердце Кирпикова застучало, и он стал глубоко дышать и, как уже приучился за эту весну, тереть левый бок левой рукой. Нет, не годился он в обличители.

Когда Деляров остался один, ему показалось, что о нем что-то знают и что Кирпиков приходил намекнуть. Но о чем? Он стал вспо-

минать свою жизнь. Был он в этой жизни исполнителем чужой воли, а если делал подлость, то разрешенную, подлость эта прощалась, а прощение он всегда отрабатывал усердием. Не за что, не за что ему бояться.

Все же он слег.

Огородами Кирпиков прошел к Афанасьевым. Действительно, у Делярова всходы были получше, видно, и вправду поливали. Дело это было невиданное — поливать картошку. До всего дойдем, подумал Кирпиков. На том месте, куда он весной выплеснул водку, был посажен облепиховый куст.

Оксаны не было дома. Афоня ужинал. Не глядя тыкал вилкой и глотал то, что цеплялось. Читал комментарии спортивных обозрений. Он спешил смотреть встречу на Кубок УЕФА.

— Здорово, Сашка, садись.

Позывные донеслись из передней комнаты. Афоня прыгнул туда. Влетел Павел Михайлович Вертипедаль.

— По другой программе сказка,— печально сказала дочь Афони.

— Давай я тебе сказку расскажу,— наслался Кирпиков.— О живой воде.

— Там настоящие артисты,— печально сказала дочь.

Болельщики принялись за свое — переживать, составлять прогнозы, заключать пари, чья возьмет, словом, зажили так полно и счастливо, что Александру Ивановичу тут делать стало нечего. О нем вспомнили, только когда кончился футбол и Афоня выключил телевизор остывать. Ничья. Так что причиталось с обоих. Включать телевизор Афоня не разрешил.

— Твой отец,— сказал он дочери,— лучше тебя понимает. Главное,— обратился он к Павлу Михайловичу,— понимать мотор, и примут в любой организации. Я мотор понимаю. Дай мне самолет, я взлечу.

— А сядешь? — спросил Павел Михайлович.

— Посмотрим... А где Сашка? А чего он приходил?

А Сашка подходил к дому Васи Зюкина. Помня, сколько тут было собак, он взял палку, тишина во дворе смутила его, он подумал — затаились, и ногой пнул калитку. На траве двора лежал Вася. Кирпиков убрал палку за спину.

— Здорово.

Вася встал, поздоровался и снова лег. История Васи была душераздирающа.

— Хуже собаки считала. Ты, говорила, хуже собаки. Я думаю: ладно, до собаки я дотянусь. Получилось. Стал даже лучше. Только это разве по совести — всех распустила, я за всех отдуваюсь. Дом стерегу, на прогулку сопровождаю, выдрессировала дрова колоть и воду носить. Это по совести?

— Надо помогать, Вася,— осторожно сказал Кирпиков,— я тоже никогда в жизни пол не мыл, а тут она прихворнула, я вымыл.

— Ты не путай,— возразил Вася.— Чтоб заставлять воду носить, этого в книге нет. Там перечисляется: бегать за дичью — лад-

но, приносить шлепанцы — туда-сюда, ходить за вечерней газетой — терпимо. Но на задних лапах ходить — это издевательство. Дураков нет. А вообще, знаешь, Саш, мне хорошо,— сказал вдруг Вася.— Наешься, напьешься — и спать! Бывай!

— Бывай,— грустно сказал Кирпиков,— плохо ты, Васька, живешь.

— Тебе бы так,— ответил Вася.

Кирпиков побывал у староверов Алфея Павловича и его тихой жены Агуры. Но толку не взял. Домик стоял близко к полотну, гремели поезда. Зачем приходил, Кирпиков и сам не понял.

Вот и кончилась душеспасительская деятельность Кирпикова. Медленно, миновав стороной пивную, он вернулся домой. В тетради записал: «Люди еще не доросли до моего понимания». Но что они должны были понять? Что пить нехорошо? Это они знали и сами. Курить вредно? Тоже знали. Что еще? Что надо жить хорошо? А кто спорит?

Напоследок Кирпиков взялся за огород. Поливал особенно усердно то, что любила Маша: горох, бобы, черную смородину. Только зря поливал: кусты горели на корню, крохотные ягоды ссохлись, листья свернулись и шуршали под ветром. Не у них одних, у всех против прошлогоднего было плохо. Огурцы еще в зародышах сморщивались, желтели, чернел неотпавший цветок. Капусту жрали тощие живучие гусеницы. Сколь их ни обирали, даже куриц напускали, эти твари множились, подтверждая слова Кирпикова, что зараза заводится в тепле. Толщиной со свинячий хвостик выросла морковь, свекла затвердела, как мочало, репа и редька почему-то не сидели в земле и, как их ни обсыпали, высовывались, побурели, стали жесткими. Лук был мелок, перья вяло стлались по земле. Только семенной, несъедобный, торчал прямыми сизыми прутьями.

Всюду, сказывали, был плох урожай. Но что там ни говори, а картошка-матушка не подвела. И мало ее было, и мелка, и язвиста, а была! Что интересно, на некоторых кустах родилась одна мелочь — белые мягкие завязи, на других же выросло всего по две-три картофелины, но крупные. «Важнее качество, а не количество»,— говорил воспрянувший Кирпиков. На пробу на свежеварку он подкопал два куста. Картофелины-семенники не успели израсти, были тверды, только сверху почернели. Чтоб зря не пропадали, Кирпиков отнес их мерину. Тот не заржал, не упрекнул за долгое отсутствие, похрумкал картошку и снова замер. Только вздрагивал кожей, пугая мух. Он захандрил одновременно с Кирпиковым и сейчас был в том же состоянии одиночества, что и хозяин. Только в отличие от хозяина его состояние его не огорчало. «Мне бы лучше с тобой говорить было»,— сказал Кирпиков. Мерин даже глаз не открыл.

Вечером Кирпиков затопил баню. Не топили ее уже давно, ходили в казенную. И сам же Кирпиков хотел ее раскатать на дрова.

— Что ты, старый,— прибежала в баню испуганная Варвара,— оштрафуют.

— Да я ольхой, от нее искр нет.

— Зачем?

Кирпиков терпеливо объяснил, что будет коптить мясо.

— Зачем? Осени тебе не будет?

— Мне уже ничего не будет.

— Ой, Саня, сковырнешься, недолгое дело. А все тогда, когда икону вынес.

— Принеси. Я тоже скоро поверю.

Слезы от сладкого дыма ольхи заставили их плакать.

Насушив сухарей, накоптив мяса, Кирпиков решил увековечиться. Ни разу не фотографировался он просто так, только на документы, но сегодня, перед «минутой решительной», как сказали бы наши полководцы, было надо. Он решил разослать детям свой снимок и послать отдельно Маше. Надпись будет такая: «Без слов, но от души».

Еле-еле душа в теле поволокся он по улице. Рекламные фотографии на стене мастерской были разноформатны. На самых больших — свадебные: напряженные лица; также много было младенцев: голенькие карапузы поднимали голову; много семейных снимков: женщины с детьми на коленях, мужчины, положив руку женам на плечо. Были и застольные. Фотограф проследил весь человеческий путь — правда, без конечной инстанции. Он, конечно, снимал и ее, но для рекламы не повесил: никак не вписывалось соотношение вертикалей остающихся и горизонтали уходящих.

Все вышло хуже, чем хотелось. Фотограф высунулся:

— Заходи.

Кирпиков постеснялся сказать о большой фотографии. Попросил на паспорт. Он выдержал пытку включенным светом, напрягся, подождал, пока щелкнуло. Он думал, что получится на фотографии злой, но на восьми маленьких квадратиках, полученных вскоре, он выглядел просто уставшим, с темными подглазьями и худой шеей.

Никому он этих снимков не послал.

11

В отрывном календаре Кирпиков прочел, сколько людей на земном шаре рождается и умирает в одну минуту, но цифры ничего не сказали ему и не запомнились. Земля-матушка велика, находились чудаки, что шли вокруг нее пешком, и шли непрерывно по два года. И тут же другая скорость — космонавты за одну ночь обкручивались вокруг планеты раз по шесть, по семь. Земля — песчинка рядом с Солнцем, а Солнце — песчинка рядом с другими звездами. Но все эти сопоставления о разных скоростях, об одновременности рождения и смерти были слабыми подступами к тому, что хотел понять

Кирпиков. А что он хотел понять? Обошелся ли бы без него этот мир? Тут он уже ответил: вполне. А близкие? Варвара? Дети? Но мог быть другой. Так что он был заменим со всех сторон. А Маша? Что Маша? И была бы Маша и была бы так же кому-то дорога. Ну, может, не так же. А может, даже и больше.

Ну ладно, все бы без него обошлись. Но он-то жил. Он-то жив. Он-то топтал землю, земля носила его шестьдесят лет. За что ему была такая радость — жить, чем он отблагодарил? Да ничем.

Последней точкой, поставленной в решении уйти, была беседа доктора биологических наук, переданная по радио в университете миллионов. Даже не вся беседа — один факт. «Человек,— сказал доктор,— начинает умирать со дня своего рождения. Уже первым своим криком, этим своеобразным сигналом-оповещением о себе, младенец убивает определенное количество нервных клеток коры головного мозга».

Самому Кирпикову горевать было нечего — пожил, но как поверить, что Машенька, которой семь лет, уже семь лет умирает? Он во многом запутался и должен был разобраться.

— Не обессудь,— сказал он Варваре,— ухожу.

— Куда? — испугалась она.

Он показал вниз.

— Господи! Не одно, так другое, не другое, так третье.

— Спросят, скажешь: уехал, не доложился.— Он заторопился, чтоб не слышать причитаний и ругани, а они, конечно, начались.

— Это ведь только сообразить — залезать в подполье. Не пущу!

— Пустишь.

— Через мертвую перешагнешь.

Кирпиков, сохраняя нервы, отодвинул Варвару от крышки подполья. Она отодвинула его. Еще пару раз туда и обратно.

— Это же смешно,— сказал Кирпиков.— Раз я решил... Отойди! Меня нет. Я записал, что умер. В тетради.

Варвара открыла подполье и спустилась первая.

— Как в могиле,— комментировал муж, появляясь следом. Он зажег керосиновую лампу.

— Ведь дом спалишь.

— Если спалю, будешь гореть не в простом пожаре, а в геенне огненной. Огонь с того света. Шутки шутками, я остаюсь. Неужели это трудно понять? Еще не так давно я это с тобой репетировал. Неужели повторять? От похорон избавляю. Приказываю долго жить.

Варвара вылезла.

— Закрой крышку.

— Из-за тебя, ирода,— сказала она,— я от бога отшатнулась, ты же уговорил, думала, грешница, будешь жить по-путевому, эх! Людей ты не совестишься, иудушка ты безголовый.

— О мертвых или хорошо, или ничего.

Это было последнее, что сказал Кирпиков. Крышка захлопнулась.

Вначале (часа полтора) заточника одолевали светские заботы — надо было вытерпеть крики Варвары. Она упрекала, что он и умереть-то по-нормальному не может, что бросил, свинья, на нее все хозяйство — и лесобазу стереги, а такая жара, что нужны глаза да глазки, чтоб как бы чего, и конюшню надо чистить, и .еду готовить. И все время ритмически она вставляла вопросы: ты вылезешь? ты перестанешь народ смешить? милицию вызвать?

Кирпиков мог бы возразить Варваре по существу на все наскоки. При чем тут народ и милиция? Он имеет право на отдых? Имеет. Заслужил. Пенсия так и называется: заслуженный отдых. Отдыхаю. Избрал вечный покой. На курорт денег нет; отдыхаю тут. Но любое объяснение спорно, поэтому лучше молчать.

Варвара сменила тактику. Она стала его выкуривать, зажгла тряпку и сунула вниз. Но он пересидел дымовую атаку около отдушины. Тряпка догорела, дым сквозь щели поднялся в избу. Варвара проветрила ее и скромно спросила:

— А вода есть у тебя?

Кирпиков откашлялся и не ответил. Варвара обиделась, что даже на заботу муженек не откликается, и притихла. Так они стерегли друг друга еще полчаса. Потом Варваре понадобилось идти кормить куриц.

— Надоест — скажешь! — заключила она.

Он осмотрел хозяйство: мясо, сухари. Из книг — «Занимательная математика» и «История». Взял «Историю».

Красивые слова обозначают потусторонний мир. Потусторонний. Уж лучше, чем бренный. Загробное царство. Царствие небесное. Перешел в лучший мир. Лучший. На тот свет не просто идут, а возносятся. Нерешенное здесь мы поневоле откладываем на вечную жизнь, идем туда налегке.

Попытки фараонов и печенежских князей утащить с собой побольше барахла были наказаны — могилы их были разграблены лихими ребятами. А кто польстится на бедный холмик под деревянным крестом или металлической пирамидкой?

«Залез в яму,— думал Кирпиков,— а что толку?»

Вот куда загнал его упрямый характер. Но он не жалел. Сам решился, надо терпеть. Он прибавил фитиль. Тепло, светло, и мухи не кусают. Тихо. Ни холодно, ни жарко. Сравнение с тем светом как-то не приходило, скорее его сидение в подполье напоминало гауптвахту. В картофельной яме можно было даже постоять и пошагать туда и сюда два метра. Около лестницы лежали остатки прошлогодней картошки. Они изросли, сморщились, выпустили целые заросли длинных ростков. Кирпиков решил их обобрать и подать наверх, чтоб Варвара не лазила. Раз в неделю он будет также выставлять наверх поллитровую банку варенья. Пусть пьет чай. Все раздумья были житейскими, и незачем было уходить в подполье, чтоб додуматься до таких мелочей. Кирпиков усовестился, но подумал, что не все сразу, время терпит.

В тишине все-таки было слышно железную дорогу. Исчезли ее скрежеты и лязги, она тукалась глухо, как будто трамбовали землю колотушкой. «А если еще глубже? — подумал Кирпиков.— Будет слышно?» Мысли его были дерганые, он вспомнил, как ждали железную дорогу, радовались, было оживление. Стояли и дальние, грузили круглосуточно строевой лес, рудостойку, потом дрова, бумажное сырье и вот сейчас подчищают остатки. И поселок стал не нужен. Еще думалось, что лесничий однажды говорил, что поклонился бы тому в ноги, кто найдет замену дереву. «А разве нет? А пластмасса?» — «Она же не разлагается, а сжигать — выделяет удушающий газ». Сейчас лесничему несладко и Афоне несладко, думалось Кирпикову. Хорошие они люди, может, и на Делярова зря наорал, а Вася-то, неужели так и останется?

Он все ловил себя на том, что мысли его крутятся вокруг оставленного наверху. Он великодушно, как пустынник, жалел всех и прощал.

Страшно было спать Варваре. Если бы ей сказали, что в подполье сбежалось сто чертей и домовых, она бы это легче перенесла. Нечистая сила, что с нее взять. Но под полом муж. Если бы хоть Варвара до этого пожила немного в городе, все было бы легче. Там быстро привыкаешь, что ты над кем-то и над тобой кто-то. Перед сном Варвара крепко поговорила с мужем, крепко его отрапортовала. Это была игра в одни ворота — муж не отвечал. «Подох уже?» — спрашивала Варвара, скрывая испуг. Но муж успокаивал — стукал по доске,— и она ругала его удвоенно. Все больше лешим. Она давно и, видимо, до конца застряла на этом ругательстве. Было оно ему как бессрочный паспорт. А ведь было время других прозвищ... Перенес он их множество: от рыжего черта и оторвибашки его путь лежал через галаха, вражину до слепого черта, бороны и глухой тетери. Сам Кирпиков был менее изобретателен: из души в душу да мать-перемать. А последнее время ругаться перестал. Причем раньше казалось, что отними у мужа нецензурные выражения, и обезъязычит. Нет, не онемел, но жену не осуждал. Ругает лешим, и ладно. Сейчас это очень подходило — сидел он в обители нечистой силы, был после фотографии небрит. И перетерпел: жена отступилась. Напоследок сказала:

— С тобой, лешим, никаких нервов не хватит.

Кирпиков надменно пожал плечами. Он выстоял, не ввязался в ссору и уважал себя. «А будет еще орать,— решил он,— уйду еще дальше».

Настала ночь. Оба не спали. Варваре казалось, что муж спалит дом, а сам пересидит в яме. Или что он будет вылезать и она сойдет с ума. Он-то уже сошел. Это было ясно. Хорошо хоть не буйный. И как она, дура, с ним, паразитом, связалась?

Варваре казалась загубленной своя жизнь. А ведь какие ребята к ней подходили, Витя, Коля, а она, дура, дураку поверила. Да неуже-

ли бы кто-то из них, Витя или Коля, полез в подполье? Варвара даже засмеялась.

Внизу Кирпиков насторожился. Слезы, ругань — все можно вынести, но смех? Сама с собой? Как бы чего не случилось. Нет, замолчала. Не дает ни о чем думать, поспать даже нельзя. Кирпиков слышал, что кто-то шебаршится, полез рукой, притихло. «И без меня так,— думал он,— кто-то здесь живет, а кто, не знаю. А я помешал. Всем мешаю. Нет, шуршит. Наверно, сверчок. Буду терпеть. Говорят, они по сто лет живут. Пусть живет: хлеба не просит. И всегда будет скрестись. Этот дом сгниет — в другой перейдет. Сделает норку, натаскает еды и засвиристит. Вот и смысл».

Ближе к полночи, когда через станцию пролетел скорый номер первый, Варвара решила пойти за помощью. Она крикнула: «Не спишь?.. Считаю до трех, не вылезешь — пойду за народом. Силком выволокут... Раз... два... два... с половиной... три!» Пошла и хлопнула дверью.

«Ружье-то забыл,— подумал Кирпиков,— ну, может, напрямую не пойдут, а осаду выдержу — питание есть. А то подкоп начну рыть. Да она и не ушла, стоит за порогом».

Точно — не ушла. Решила все перепробовать. Вернулась, легла и стала тяжело дышать, потом пристанывать. Она знала, что сердце у мужа не ледышка, вон как он суетился вокруг нее, когда ей стало плохо, когда бутылки чихвостил. Пять минут, не больше, стонала она, и муж подал голос:

— Чего?

— Плохо.

— Мать!

— Чего?

— Нельзя мне вылезать, поклялся.

— Дак и оставайся, меня и без тебя закопают.

— Ведь притворяешься, чтоб вытянуть.

— Вылезь, Саня, не срамись.

— Мать, я не вылезу. Я записал, что я умер, так и считай. Я первый об этом сказал.

— Мне и воды некому подать.

— Ты где лежишь? Около печки?

— Да.

— Так вода-то рядом.

— Ой, леший,— сказала Варвара.— Зачем полез?

Кирпиков стал спокойно объяснять:

— Я вначале хотел лечь на заморозку. Написал бы заявку и лег. Только ты ж знаешь Дуську, тем более она связалась с этим пришлым, погреба у нас нет, у нее. Она ж задавится от жадности. Я бы и свой выстроил, получше, но где летом лед взять? Поэтому я и залез. Дошло? Конечно, здесь хуже, не сразу отойду.

Варвара включила все лампочки в доме. Навалила на крышку подполья много тяжестей. Еле высидела до утра.

Утром она поглядела на счетчик. Первая ночь стоила ей пяти ки-

ловатт электроэнергии и остатков терпения. Нет, всему положен предел. Еще одну попытку, утреннюю, предприняла Варвара.

— Отец!.. Саня!.. Слышь, чего говорю?.. (Молчание.) Слышь? Пойду в милицию звонить.

— За что?

— Там объяснят за что. Вложат ума-то. Я пошла.

Она протопала над его головой.

Нет, не так, далеко не так представлял он уединение. Ну что за народ? Радовалась бы — мужик дома, картошку перебирает, нет, надо ей милицию. Он крикнул:

— Радовалась бы! (Молчание.) Иди, иди! (Молчание.) О тебе же думаю!

— Нечего обо мне думать.

Не ушла.

— Я должен думать над смыслом жизни!

— Да ведь думал уже! Когда весной-то прихватило. Вот досидишься, опять схватит.

— Весной я ни до чего не додумался.

— А чего тебе здесь-то не думалось? В погребе два дня сидел.

— В погребе я хотел на заморозку. Повторяю. Заморозка на сто лет. Чтоб рассказать в точности от очевидца.

— Тьфу!

— Не тьфу! Я должен записать, чтоб стали жить хорошо, не пили бы, не обижали друг друга. Я напишу призыв к мужикам, ночью вылезу, налеплю у пивной. Может, опомнятся. А еще...

— Сказать кому, как с мужиком говорю, не поверят. Ты вылезешь?

— Варя, я должен понять, зачем я жил.

— Живешь — и живи. Я вот живу, и все.

— Женщинам легче. Раз родила, значит, оправдана...

Голос Кирпикова размеренно и глухо доносился из-под земли. Он вещал безадресно, вообще, и Варвара подумала: да есть ли там мужик-то?

— Сань?!

— ...Ты оправдана, дети — твоя заслуга.

Варвара вдруг горестно сказала:

— Спасибо, оправдана. Дети оправдали. А вот хоть осуждай, не осуждай, типун мне на язык, все одно согрешила, одно к одному, думаю иногда, грешница, лучше бы их не было.— Она помолчала.— Нам, Сань, тяжело, а им будет еще тяжелей. И больше, ты меня на куски режь, ничего не скажу. Сгорю, головешкой буду лежать.

— Почему это им тяжелей? Я думаю, обратно.— Кирпиков сказал это торопливо, чтоб отвлечь Варвару.— На-ко! С чего это им тяжелей? Ма-ать?!

И оба долго молчали.

— А болезни? — все-таки откликнулась Варвара.— Нервы, да давление, да сердечные, голова болит, сейчас молодые-то все гнилушки.

— А что, раньше болезней не было? Все заразы побеждены: оспа, малярия, тиф. А нервы, мать, это только у тебя, ты все близко к сердцу принимаешь, а молодым на все наплевать. Попробуй невестку расстроить — она тебе вперед глаза выцарапает, от семи собак отлается. Это мы последние такие жалостливые. Ну, Машка еще. Да и ее,— горько сказал Кирпиков,— могут по-своему поворотить.

Спустя некоторое время Варвара задала все тот же вопрос:

— Ты вылезешь?

Но Кирпиков не стал перекоряться, не стал спрашивать, зачем надо вылезать.

— Мы так душевно разговариваем, так хорошо сидим.

— Это ты, идол, сидишь,— устало сказала Варвара.

— А ты чего всю ночь свет жгла?

— Боялась. А ты что, до зимы будешь сидеть?

— Не трогай, может, пораньше выйду. Я ж не мешаю. Тише таракана... Я только тебе по секрету скажу, никому не говори — я для науки сижу. Проверяю самого себя на совместимость. Космонавты сидели, а мне уж и нельзя? У меня здесь, может, прямой провод койкуда.

И Варвара махнула рукой.

«Интересно устроен человек,— думал через два часа Кирпиков,— то она мешала мне с разговорами, то давно голоса не слышал».

Потом еще прошло время, и полная тишина восхитила вдруг его — и он возликовал.

Глаза его обтерпелись, и он увидел то, чего не замечал раньше,— со всех сторон его обступило тихое свечение, похожее на мерцание свежего снега под луной. Когда он слегка менял положение головы, свечение вздрагивало, и он боялся его спугнуть. Никогда раньше он не видел этого мерцания, залезал под пол по делу, знать не знал, что здесь идет эта тихая пугливая жизнь. Свечение гнилушек для сверчка все равно как лунная ночь для нас. Здесь его территория, его внимательная подруга, их дети и их хоровое пение.

Додумавшись до таких вещей, Кирпиков сравнил себя с Машей, которая во всем, даже в трех камешках, видела семью («Побольше — папа, поменьше — мама, а самый маленький — их дочка»), сравнил и подумал: она бы поняла.

Кирпиков заправил лампу и сел за математику. К вечеру она надоела ему смертельно. Все тот же великан с разинутым ртом, те же тонны и центнеры жратвы, а там, где было сосчитано, сколько человек спит, ест, сколько умывается, работает, читать было неинтересно. А где подсчитано, сколько он сидит в туалете? Стоит в очередях? В среднем за жизнь. Почему скрывают? Неправды Кирпиков не потерпел. Выждав, когда Варвара пойдет за хлебом, он сделал вылазку. И забрал все книги, бывшие в доме,— а это были учебники.

Он начал с зоологии и сам себя не мог оттащить за уши — ничего себе, а он и знать не знал, какие интересные книги учили его

детей. Он смотрел на ящеров и находил в них сходство с кукурузоуборочными комбайнами. Те так же возвышались над полем, так же выгибали спину. Он проскочил зоологию и сел за ботанику. Папоротник был древнейшим, а он у них растет. И из него каменный уголь. А почему у них нет разработок? Лес вырубили, надо добывать уголь. Запомним, отмечал он, садясь за историю.

История потрясла его окончательно. Он нашел лопату и принялся за раскопки. «Неолитическую стоянку найду,— думал он.— Скребковые орудия, наскальные рисунки, а нет, так отпечаток папоротника, ну это-то ладно, а каменный уголь надо найти. Или вообще какое ископаемое. Или брызнет фонтан нефти. А если что,— думал он резервно, по-крестьянски,— так хоть подполье расширю».

Вначале он не копал, а как бы окапывался, потом будто отрывал щель, потом взялся за окоп полного профиля. И только когда подходил к штабной землянке в три наката, опомнился и стал внимателен к срезам.

Лопата стукалась о твердое — он вздрагивал, щупал. Камешки откладывал в сторону, щепочки отбрасывал. Докопался до глины. И тут уж, как выразился бы Афоня, сел на дифер: глина оказалась непроворотной.

Пришлось часто отдыхать, глина сверху была твердой, сухой, подальше — сырой, тугой. Никаких щепочек. «Неужели в этом слое не жили? — думал Кирпиков.— А если откопаю, то как назовем государство? Северное Урарту? Ты откопай вначале»,— упрекнул он себя. Еще полчаса — и он начал сдаваться. «На хрен оно загнулось?» — думал он про Урарту, но вятское твердолобие, которое пора ввести в пословицу, заставляло копать дальше.

12

Изо дня в день Деляров прощался с белым светом. Он завещал Дусе подшивку журнала «Здоровье» и просил не терять. Он все собирался что-то рассказать. Но Дуся, как заинтересованное лицо, не годилась в исповедники. Интерес ее был в одном:

— Леонтий, разве я для себя? Мне надо, чтоб у дочери был отец. Она тоже имеет право сказать слово «папа».

— У меня уже есть дети,— предсмертно хрипел Деляров.

— Дочь тебе в тягость не будет. Скажет «папа» — и я спокойна. А то она упрекала, что у нее не все как у людей. А я на тебя покажу: полюбуйся, дочка. Ты не умирай, я ей телеграмму отбила. Она ничего девка,— продолжала Дуся,— была непочетчица, а теперь пишет: смотри, мама, что из меня вышло — квартира и образование.

— Но я плохой,— хрипел Деляров.

— А кто хороший? — спрашивала Дуся.

— Принеси,— шептал Деляров, и обильные слезы текли из глаз. Он худел. И если бы не добавлял жидкости, то скоро и плакать ему было бы нечем.

В буфете, куда Дуся шла с черного хода, на нее шипела Лариса:

«Опять?» — «Тебе хорошо,— отвечала Дуся,— ты на народе, ты от ухода избавилась, так уж давай откупайся». Лариса наливала ей бидончик. Деляров высасывал его в полчаса, снова принимался плакать и все выплакивал. «Принеси»,— шептал он. И так до трех-четырех раз на дню.

С субботы на воскресенье, была полночь, Дуся запомнила: грохотал дальний скорый номер первый, в полночь Деляров сделал признание:

— Я бежал от жены и детей.

— Правильно,— сказала Дуся,— я ее знать не знаю и знать не хочу, но чувствую: она тебя недооценивала.

Деляров уточнил:

— Вернее, они меня бросили, и заслуженно.

— Ничего,— утешила Дуся,— теперь ты хороший.

Деляров сделал последнее признание:

— Я работал секретным сотрудником.

— Надо же кем-то работать,— ответила на это Дуся.

— Я прощен? — прошептал Деляров.

— Все пьешь, а не ешь,— упрекнула Дуся.

— Я прощен?

— Отвяжись.

— Тогда я умираю.

— Не вздумай!

Деляров красиво откинулся на подушки и замер.

Дуся кинулась за фельдшерицей.

Безотказная Тася не могла прощупать печень и поэтому прописала лечение голодом.

— Принеси,— прошептал Деляров.— Голодом, но не жаждой.

— Брошу я тебя,— сказала Дуся и пошла к Ларисе.

— Скоро умрет,— сказала она Ларисе.

Лариса опечалилась:

— Знаешь, Дуся, брось бидончик, кати целую бочку. Пусть непоследок потешится.

К вечеру Деляров запел строевую походную «Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая дівчіна...».

Потом, плача и рыдая, спросил, пьет ли Кирпиков. Ему сказали, что пока неизвестно.

13

На другом конце поселка тоже копали. Но цель копания была иная. Если Кирпиков раскапывал прошлое, то здесь закапывали настоящее. Копал Вася Зюкин. Вначале он пробовал рыть по-собачьи, руками, но двигалось медленно. А хотелось быстрей. Вася взял лопату и почувствовал, что становится человеком. Около ямы валялись обреченные вечности пустые бутылки. Были тут разные трофеи: и сквермут, по Васиному выражению, и кислинг, и солнцеудар — все они подлежали уничтожению.

Надо было крепко желать избавления от прошлого, чтобы рыть с таким остервенением. «Поглубже их, поглубже»,— думал Вася о бутылках. Из окна за Васей наблюдали через темные очки. Вот он углубился до пояса, вот скрылся по грудь, вот с головой, а под конец только мелькала выбрасываемая земля.

Вдруг вопль услышала жена Зюкина.

— Тону! — орал Вася.— Дай веревку! Вода!

Он вылез теперь не из ямы, а из колодца. Жена велела зачерпнуть жидкость на пробу и отнести Тасе. Тася не взяла на себя ответственность дать заключение, выехала вечерним поездом в райцентр, ночевала у деверя, утром пошла в аптеку.

Анализ показал: вода необычайно богата анионами и катионами, хотя содержание фосфора ниже нормы, но зато калийные и натриевые компоненты превышают допустимые, азотнокислая составляющая колеблется — словом, вода, открытая Васей, была целебной. Пить можно, купаться подождать.

Вася стал было рыть новую яму, чтоб схоронить-таки бутылки. Но его осенило. Он сделал из бутылок оригинальный сруб. Намешал глины и вмазал в нее пустые бутылки. Красота получилась — стекольные стенки играли отблесками воды, ветер залетал в горлышки бутылок и ворковал. И Васе казалось, что это благодарная душа спасенного голубя. Днем источник сверкал на солнце, ночью дробил лунный свет. Вася сидел около источника, всех просил попробовать, но никто не решался. Только Физа Львовна сказала: «Совсем как в нашем колодце, никакой абсолютной разницы».— «Значит, у вас тоже источник»,— ответил добрый Вася.

Он первый из всех вспомнил о Кирпикове. Вот ведь кого надо благодарить, вот ведь кто поставил его на ноги.

Меж тем забытый Кирпиков писал в дневнике: «23 июля. Глина. 24 июля. Глина. 25 июля. Второй звонок. Глина». 26 июля лопата его ударилась о кость. Он отскреб глину — череп. Посветил. Собачий. «Жаль,— подумал он.— И рассказать — засмеют: собачий череп. Если бы череп далекого пращура». Стоп! Под черепом глина кончилась, и начались какие-то странные рвущиеся волокна. Вроде трава. Кирпиков вспомнил: трава поднимается до животных, факт налицо! А животные поднимутся до нас. Кирпиков пощупал лоб. Кожа на нем ерзала. Мягкие ткани, сказано о коже в анатомии. Собачий череп он положил сбоку. Стал ковыряться дальше, но шла сплошная свинцовая глина. «Как это ребята росли,— думал он,— читали такие хорошие книги и ничего не откопали. Да я бы знал, все бы перерыл».

А второй звонок, то есть сердечный приступ, у него был накануне. Видимо, от тяжелой глины и от духоты. Но Кирпиков был уже опытный. Когда перехватило дыхание и отнялись ноги и руки, он не стал дергаться, а как повалило, так и лежал, старался терпеть. И вылежал,

вдохнул. Потом вполз на лежанку. А потом снова потихоньку разработался.

Он стал выходить тайком, когда не было Варвары, и тайком помогал ей. Она нарочно громко удивлялась, какие это тимуровцы ей дров наготовили, воды натаскали, поганое ведро вынесли. Караулила мужа наверху, но он не попадался.

В это утро он сидел, скреб молодую бороду, смекал насчет проводки электричества и услышал:

— Хозяева!

Голос Веры, почтальонки.

— Сейчас! — откликнулась Варвара. Заскрипела кровать. Варвара отдыхала после ночного дежурства.

— А хозяин-то где? Пенсию думает получать? Сейчас тебе спокой. Не пропьет. Все в сохранности.

— Дак ведь уехал он.

— Гли-ко ты, гли-ко,— удивилась Вера.— Тогда ты, матушка, распишись.

Кирпиков заскрипел вставными зубами. Часть пенсии он хотел истратить на лабораторное оборудование. А Варвара разве выделит?

Женщины сели попить чаю, поговорили о зюкинской воде. Доверия к ней не было, всегда кажется, что исцеление ждет нас за тридевять земель, а не лежит под боком. Ну хоть на ноги встал, и то хорошо, сказали они о Васе.

Перед уходом Вера еще раз спросила:

— Уехал, значит?

— Уехал.

— Ладно, пойду. Таскать почти нечего. Три пенсионера на весь поселок: Деляров, Севостьян Ариныч да твой. Скоро Зотовы, Алфей и Агура, пойдут. Да мы.

— Скорей бы.

Вера ушла.

— Дай деньги,— тут же сказал Кирпиков.

— Бери,— ответила Варвара,— вон лежат, вылезай, все твои.

— Деньги семейные, можешь расходовать, но мне нужно лабораторное оборудование для опытов.

Варвара перекрестилась.

— Дальше ехать некуда! — сказала она.— Дымом я тебя не выкурила, я тебя, как крысу, водой залью. Ты чего там копаешь? Я что, глухая?

— Я копаю бомбоубежище.

Варвара чего-то оглянулась и ужаснулась, как от видения. Дверь, которая всегда скрипела, сейчас была нараспашку и в ней стояла бледней привидения, белей коленкору почтальонка Вера. И надо же было Кирпикову утром вылезти и смазать петли. Ему скрип петель мешал читать. Ему требовалась благоговейная тишина. А Вера забыла квитанционную книжку и вернулась. Женщины постояли, в страхе глядя друг на друга. Потом Вера убежала.

— Ну вот,— сказала Варвара и села отдохнуть.— Теперь из-за

тебя, нехристя, и меня ославят. Сидишь там, как дезертир. Уж хоть бы тогда в лес, что ли, ушел.

— А что это за зюкинская вода?

За окном затрещала сорока. Варвара сказала ей старинную присказеньку:

— Сорока, сорока, хорошую весть скажи, плохую дальше неси.

Сорока улетела дальше. Весть и вправду была неважнецкая, несла ее Вера. Она так быстро бежала, махала руками, что два раза просквозила поселок, пока не заскочила с ходу в магазин. Ударилась о прилавок, сбила с точной регулировки весы (с тех пор они недовешивали на каждом килограмме сто граммов) и... убила всех наповал:

— Кирпиков копает укрытие. Бомбоубежище. Сама слышала!

Спички стали хватать мешками, соль мешками.

— На всех делает? — слышались вопросы.— Или только на себя?

— А на мерина?

— Какой теперь мерин?

Дуся волновалась всех сильнее.

— А больных будут вывозить? В каком направлении?

Вслед за Верой ушла и Варвара. Кирпиков, думая, что кончилось уединение, решил собираться. Он не удивился, когда услышал Афоню.

— Ты в подполье? — Афоня поднял крышку и спустился.— Ого! Да ты что, тут жить собрался?

— Живу! — ответил Кирпиков, думая, что Вера уже всем рассказала.

Но Афоня ничего не знал.

— Саш, я что прошу — спрячь деньги,— он протянул холщовый мешок.— Не бойсь, мои. От своей прячу. Спрячь. А потом я в гости с ней приду, ты как вроде подполье дочищаешь и крикнешь: «О! Нашел!» А я крикну: «Чур, пополам!» И ты себе сколь-нибудь отсчитаешь. Вроде клад. Мне на деньги — тьфу. Деньги что навоз: сегодня пусто, завтра воз. Далеко не заделывай. Баба дурная, говорит: куплю еще два телевизора. У меня есть, теперь себе и девке. И по комнатам разбежимся. Денег не жалко, но эта же заразную музыку включит, она ж глухая, я же не услышу комментариев. Эх, жаль, ты не любитель! А может, я победил в телеконкурсе «Предсказатели»? Получу футбольный мяч, и на нем все расписались.

— Давай я распишусь.

Афоня фыркнул и долго смотрел на Кирпикова. Потом постучал себя по лбу и далее постучал по тому, что подвернулось, по собачьему черепу. Отдал деньги и вылез. Даже и не заметил, что Кирпиков бородат, что зачем-то в подполье книги, телогрейка, одеяло.

Кирпиков захоронил собачий череп и стал зарывать яму. Он вспомнил, что уже несколько дней не видел мерцания светляков, по-

тому что забросал нижний венец глиной. Торопливо стал отбрасывать землю. Бревна сруба вновь обнажились. Кирпиков задул лампу и приготовился воспарить в мерцающем окружении. Одиночество казалось неполным без этого мерцания. И оно появилось. Но воспарения, сходства с плаванием в межзвездном пространстве не получилось. Трудно удержаться, чтоб не заметить, что ничего не возвращается.

И еще один посетитель, на сей раз Вася, навестил его.

— Александр Иваныч,— закричал он,— плюнь, не мучайся! Я уже все откопал. Я источник откопал.

— У тебя вначале что шло, какой слой? — спросил Кирпиков.

— Песок.

— И у меня. А дальше?

— Глина.

— И у меня. А дальше.

— А дальше полилось.

— А у меня все глина, глина,— печалился Кирпиков.

— Радуйся,— утешал Вася,— у тебя бы пошла вода, подполье бы испортила, куда картошку ссыпать? — И он снова в который раз говорил, что анализ воды хороший, что он оборудовал источник и «прошу пожаловать».— А вся благодарность — тебе! — захлебывался Вася.— Иваныч! Отец родной! Все отреклись, хуже пропащей собаки считали. Ты сказал: распрямись, Вася! Я распрямился и открыл источник. Пойдем, попьешь. Или сюда принести? Прикажи.

— Если ты распрямился, почему ты ждешь приказа? — заскрипел спаситель.

— Не жду! Я, например, сам, никто не велел, этикетки с бутылок насобирал! Никто не запрещает. Два альбома залепил, вечерами перелистываю...

— Отправляйся,— сухо сказал Кирпиков.

Не обидно ли — один копает сознательно и даже следов костра не отыщет, а другой тяпнулся два раза — и источник. Вот и думай над смыслом жизни. Какой смысл, когда никакой справедливости?

— Тебе чего помочь? — спросил Вася.— А то пойдем, посмотри, как я облицевал. Красота.

— Отправляйся,— повторил Кирпиков. И добавил, как совершенный брюзга: — Развел тут хвал, понимаешь. Вода, вода!

— Александр Иваныч, я к тебе со спасибом.

Топотанье ног раздалось на крыльце. Сегодня к заточнику паломники шли неустанно. Это были женщины и Афоня, остановивший панику в магазине. «Какое бомбоубежище?» — раздались голоса. И женщины потекли к лесобазе.

Из подполья вылезал Вася. Делегация смахнула его обратно и спустилась в яму в полном составе. Когда все убедились, что насчет бомбоубежища враки, тогда уселись в холодке по краям ямы и свесили ноги.

— Ну ладно,— сказал Афоня,— ты расширяй, мы вылезем, не будем мешать, а если что, крикни. Пойдем, бабы, работает человек.

Но Кирпиков остановил:

— Пришли в гости — и заторопились. Варя! Ты чаю нам не можешь сюда спустить?

— Девушки, что вы мою воду не пьете? — спросил Вася.— Я же даром, а вдобавок целебная.

— От чего?

— От этого самого,— игриво сказал Вася.— Ты ж, Дуся, в невестах запохаживала.

Явился кипящий самовар.

— Гостям я радая,— говорила Варвара, разливая чай.— И за вареньем не надо лазить. Угощайтесь. Отец, угощай.

— Вас не беспокоят мыши? — спросила Физа Львовна.

— Ныне все мыши в лес ушли. Жара. Кору гложут, как зайцы.

— Стоп! — сказал вдруг Кирпиков.

— Чур, пополам! — крикнул Афоня.

— Совсем не то, что ты думаешь,— сказал Кирпиков.— Я все думал, и вот сказали: лес и кора. Я прочел в «Ботанике» о кактусах. У них колючки такие, что никто не зарится, даже верблюды. А смотри, какая береза беззащитная, даже мышь подъедает. И вот надо скрестить, получится березовый кактус — и никто не тронет.

— Это у вас от жары,— объяснила Физа Львовна.— Конечно, я развожу кактусы, и они колючие, их поливает Мопсик...

— А разве я его не утаскивал? — спросил Вася Зюкин.

— Я говорю не с вами,— строго оборвала Физа Львовна.— Александр Иваныч, это же надо обдумать, и мы с вами получим патент.

Афоня давно уже ковырял сзади себя и доковырялся до собачьего черепа. Ощупал зубы, испугался и выбросил череп на свет. Женщины стали выметаться наверх. Опрокинули на Васю самовар. Вася завизжал, заскулил и уполз быстрее всех.

И Кирпиков вспомнил, что мешок с деньгами был закопан вместе с черепом. Он сунулся — точно.

— Нашел! — крикнул он.

— У тебя что, кладбище? — спросил сверху Афоня.

— Эх ты,— сказал Кирпиков и выпихнул мешок наверх.— Деньги! — И захлопнул за собой крышку и уже снизу слышал, как Физа Львовна воскликнула:

— Чур, на одну!

— Надо находку сдать государству,— заявила Вера.— Полагается двадцать процентов.

— Это деньги мои,— сказал Афоня.

Когда все убедились, что деньги Афанасьевых, попросили, чтоб сколько-нибудь дал Васе на лечение.

Недолго после гостей высидел Кирпиков — явились наружу книги и лампа, Варвара протянула пару чистого белья.

Кирпиков вышел на крыльцо, и его повело: в голове потемнело, резануло по глазам. Он боялся, что ослеп, нет, только долго казалось ему, что на нем радужные мазутные пятна. Он и мерина увидел разноцветным, как жар-птицу.

— Что, брат? — спросил Кирпиков.

Мерин осторожно переступал и молча тыкался мордой в плечо хозяина. Перед своей баней он устроил баню мерину — продрал скребком, протер мочалом и прямо в конюшне окатил водой из колодца. И все казалось Кирпикову, что он моет мерина бензином.

Вымылся и сам. Бороду решил оставить. Очень она чесалась, но если сбрить сразу, то Варваре будет повод думать, что сам муж признаёт поход в подполье глупостью.

Он посмотрел в зеркало. Полнота лица исчезла, глаза ушли еще глубже, но выражение было то же — ироническое. «Не отпадет голова, так прирастет борода»,— вспомнил он.

С утра он взял топор и полез в подполье. Обстукал бревна — то, заднее, которое светилось, надо было менять. На дворе вымерил новое бревно, выбрал паз. Вдвоем с Варварой они по покатам втянули бревно, теперь оставалось самое трудное. Кирпиков прогнал Варвару, принес оглоблю, кирпичей. Через три кирпича поддел угол и стал выжеравливать, то есть взнимать целые бревна, освобождая просевшее. Подсунул кирпичи под целые бревна. Так же поднял и второй угол. Выбил испорченное бревно. В громадную щель хлынуло теплом, пылью.

Новое бревно пришлось хорошо. Он не надеялся, что сделает один, и радовался, что есть еще силенка, хоть и покашивает на левый бок, хоть и чувствуется, что частит сердечко, но дело сделано.

Это бревно переживет его, это уж точно. И может, вправду смириться с тем, что память в вещах? Мало, конечно. Это же несерьезно, что кто-то непрестанно поминает добрым словом столяра, садясь на табуретку, крестьянина — покупая капусту, фармацевта — принимая анальгин. Уж хотя бы ценить друг друга, и то ладно. Кирпиков подумал вдруг, что, когда специально старался думать о жизни, ничего не выходило, а взялся за работу — и одолевают мысли. Пока тесал бревно, выбирал паз, чего только не вспомнил. И все больше работу. Почему-то фронт реже вспоминался, чем работа. Уж казалось, никогда не забудет проклятой Померании, где ранило, он тогда в санбате всех насмешил переделкой этого слова: «Помиранией назвали, а мы — хрен-то»,— шутил он.

Но он заметил, что опять его заносит, и твердо положил не отвлекаться. Но положить-то положил, а задумываться не перестал. Не от нас зависят наши мысли. Крепко занимало Кирпикова — как понять, что именно он, а никто другой, сидит, например, сейчас с топором и что именно он прожил такую жизнь? Ведь другой мог заменить его в работе. Но вообще-то раз дом его, то ему и полагается. А если бы сил не было, пришлось бы звать. И помогли бы. Но, думал

он дальше, если просить все время, то надо благодарить, отрабатывать, а нет сил — платить. А если нечем платить? Нечего и просить. «Это уж я зря,— подумал он.— Помогут из жалости».

Так в чем же он был незаменим? Ну в самом деле? Может, в том только, что занимал место, а мог бы занять кто и хуже. Но ведь мог кто и лучше!

Измучив себя такими мыслями, он уснул.

Доказано, что сны видят все, только не все их помнят.

Жаль, часто снятся вещи необходимые. Менделееву, например, приснилась периодическая система элементов. С одной стороны, сон дело призрачное, с другой — реальная вещь: система элементов. Кирпикову, конечно, никакая система присниться не могла. Но могло другое...

14

С Васей произошло чудо. Взвизгивая и скуля, он примчался домой. Одежда жгла, он выскочил из нее и сверзился в свой источник. И что же? Выскочил целехоньким, помолодевшим. И пока милосердная Тася бегала за своей сумкой, пока Оксана отсчитывала деньги на помощь, Вася переоделся и успел причесаться. Не понадобилась сумка, и деньги Оксана не отдала.

Но любое чудо требует подкрепления. И оно было. И не одно. Во-первых, Вася отнес водички Делярову. Тот слабеющим жестом отринул приношение. Вася влил в него несколько капель насильно. Деляров открыл глаза. Еще. Сел без посторонней помощи, стал пить целебную воду сам. Щеки порозовели, сахар в крови пришел в норму.

Как раз в эту минуту Дуся, повязанная черным платком, ввела за руку приехавшую дочь.

— Вот твой папа,— рыдая, сказала она.

Дочь, готовая присутствовать при излетании души, увидела цветущего мужчину.

— Дуся,— сказал этот мужчина,— я выплеснул из бидона. Попроси Ларису больше не отравлять меня этим пойлом. Отнеси тару. Больше не катайте ко мне бочки.

Ноги в руки понеслась Дуся вдоль по улице. А Деляров пригласил сесть Дусину дочь, попросил Васю еще принести живой воды. Вася ушел. Деляров думал: «Если жениться, так на молодой».

— Как вас зовут?

— Рая.

— Меня Леонтий Петрович. Можно без отчества. Вы любите поэмы Пушкина?

— Вполне,— отвечала ему Рая,— но у меня другая ориентация, я люблю заниматься досугом, следить за новостями, проводить аналогии между ними и силой любви. Ведь рождаемость не следствие влечения, но повод для анкеты социологов. Не так ли?

Через десять минут Рая пришибла Делярова своим интеллектом. Деляров вновь заумирал, но Вася с водой оживил его.

— Руку! — сказал Деляров.— И сердце! Вам, Рая!

— Ну что ты, папашка,— сказала Рая.— Встряхнуться я не против, но в принципе я замужем.— Она сделала глоток.— О! — сказала она.

Решили испытать на мерине. Мерин выглотал ведро и по-жеребячьи заржал, да так, что везомые на выставку кобылицы степных конных заводов чуть не разнесли в щепки товарный вагон. Хорошо еще, были некованы.

Итак, было установлено: вода омолаживает, отвращает от пьянства до нуля, заживляет любые внешние и внутренние раны. Мужики собрались на совет. От Павла Михайловича Вертипедаля сильно пахло амбулаторией, то есть спиртом. Дали ему воды.

— Как рассол,— обрадовался он.

— Захмелиться, поправиться на другой бок хочешь!

— Ни синь пороху!

— Поклянись!

— Мужики!

— Тогда так,— спокойно продолжал Василий Сергеевич Зюкин, это он созвал данный совет.— Тогда так. Надо воду толкать дальше. Только предлагаю изменить название. Зюкинская не очень. Напоминает слово «назюзюкался».

— Ну и что? — возразили ему.— Тут любое можно применять. Например, наафонился. Верно, Афоня?

— Я еще вашу воду не пил,— ответил Афоня.— И еще подумаю, пить ли. Это, значит, меня отшибет от выпивки, а если я с устатку или с морозу?

— До морозов еще надо дожить, а устатки с нее не будет.

— Вот и доживу, посмотрю,— сказал Афоня.

— Тут супруга, мой серый кардинал, предлагает назвать «Хрустальной». Думаю, не будем слушать женщину и поступать наоборот. Согласимся?

— Зюкинская!

— Я, ребята, не гордый, тут главное — для пользы дела. Голосую. Только, ребята, слово «хрустальная» ставить впереди. Кто за? Кто против? Я. Кто воздержался? Один. Ты почему, Саш, воздержался?

— Она на меня не действует,— ответил Кирпиков.— Вода и вода. На мне не отражается.

— Но в основе ты за?

— Конечно.

— Значит, хрустальная зюкинская. Тогда так...

Для начала мужики отбили от пьянства остальных мужиков. Сделали это хитростью. Взяли бочку с пивом, которая предназначалась Делярову, разбавили пиво хрустальной зюкинской и прикатили в буфет. Лариса в тот же вечер зарядила ее и распродала. Мужики, привыкшие, что пиво разбавляют, не удивились прозрачности напитка.

Но вот что интересно — повторять никто не захотел! Задолго до закрытия буфет был пуст.

Один вечер Лариса отдохнула с удовольствием, на второй встревожилась, на третий пошла к Оксане.

Всё новые факты могучей силы хрустальной зюкинской узнавал изумленный люд. Староверы-стрелочники Зотовы Алфей и Агура объявили, что заранее отказываются от пенсии и что даже хотят взять ребенка из Дома малютки. Злые языки (ах, эти злые языки, на них пока не действовала хрустальная) утверждали, что ребенка Зотовы ждут сами, так как омолодились.

Еще оказалось, что если смачивать водой рельсы, огибающие поселок, то поезда скользят бесшумно.

Потянулись к источнику и разные твари, как-то: птицы и звери. Для них были сделаны специальные поилки. Собаки после воды не просто виляли хвостами, а непрерывно крутили ими по часовой стрелке. Тявканье их стало мелодичным и больше походило на пение птиц. Кошки перестали ловить мышей. Курицы увеличили яйценоскость. Немудрено, что при такой жаре из яиц досрочно вылуплялись цыплята, мгновенно обсыхали и строем маршировали к источнику.

Без дыма и огня горел план товарооборота. Оксана кусала локти. Когда к ней прибежала Лариса, обе поняли, что беда у них одна. Вся надежда оставалась на Афоню. Волей-неволей пришлось Оксане поить супруга. Это дело ему понравилось. Утром он как следует опохмелился у Ларисы и хотел отдохнуть, но Оксана потребовала в магазин — надо было выполнять план.

Афоня сбежал от нее прямиком к источнику.

Ночью Оксана и Лариса сделали вылазку с целью засыпать хрустальную зюкинскую, но мужики, предвидя осложнения, именно с этой ночи выставили охрану.

Лазутчиков подвели габариты. Вылазка обнаружилась.

— Милые девушки,— говорил Кирпиков,— успокойтесь, выпейте воды, что-нибудь придумаем.

Утром было написано и отправлено с курьером письмо. В нем была просьба снизить план. Курьер вернулся к вечеру — план оставлен прежним. Сели думать. Афоня, жалея жену, выставил мешок денег.

— Афоня! — кричали мужики, хватая его за руки.— Родной, не надо!

— Однова живем! — орал Афоня.— Как пришли, так пусть и уходят!

На деньги спиртное закупали ящиками. Выливали на землю. В одну неделю вымахали в рост человека буйные хмельные травы. Коровы первые распочухали их. Жадно щипали, быстро веселели. Не давались доить. Жители даже не заметили отсутствия молока,

пили воду. Ходили подтянутые, поджарые, походка их стала легкая, уверенная.

Вася высказывал тезисы к исполнению: пустить источник в водопровод, чтобы зря не бегать. Далее: выносить воду на платформу. Добиться остановок всех поездов, а так как их идет великое множество, то вскоре по всей стране разъедутся протрезвевшие и здоровые люди. Далее: на базе источника сделать санаторий. Против последнего выступил Кирпиков.

Пришлось созвать совет. Вася при всех орал:

— Номер не пройдет! Ты почему лежишь на пути? Откуда ты взялся? Если на тебя моя вода не действует, значит, ты такой и есть. Поднять руки! Единогласно! Мы тебя изгоняем. Гуляй!

— Мне наплевать,— начал Кирпиков.— Могу и изолировать себя.

— Пусть скажет свои доводы,— потребовал Севостьян Ариныч. Вода вернула ему слух, и он слышал, что сказал Вася, но не слышал возражений.

— Думаешь, твой источник вечный? — спросил Кирпиков Васю.

— Не думаю, а так и есть,— ответил Вася.— Не иссякнет струя. Запишите. Почему никто не ведет протокол? Воду ему не выдавать, все равно бесполезно. Зря не портить.

— Но я прошу оставить меня помогать общему делу,— попросил Кирпиков.— Несмотря на несогласие, я готов работать в любом виде.

Выступил Афоня:

— А вообще, ребята, так хорошо, так хорошо! Состояние удивительное.

— Крылатое состояние! — поддержали его.

— Это такая радость,— ликовал Афоня,— такая радость, что мы не пьем! До того хорошо, что прямо не могу. Кучеряво живем! Надо чем-то отметить. Эх, выпить бы на радостях!

Все, кроме Васи, оценили шутку. Вася сурово заметил:

— Отставить. Вернемся к тезисам. Далее: просить, кроме своих поездов, пустить по линии и зарубежные. Решаем глобальную проблему отрезвления планеты...

Допоздна горел свет в доме Зюкиных.

С заявлением об уходе с работы пришла фельдшерица Тася Вертипедаль. Делать ей стало нечего — все были здоровы и довольны жизнью. И в самом деле: жители поселка стали примерно одного веса (худые пополнели и наоборот), подравнялись в росте, только Вася остался коротеньким. Все стали как будто на одно лицо. И если раньше при описании жителей надо было упоминать, что Афоня — мужик здоровенный, что называется, мордохват, что Оксана ему под пару, что Лариса громогласна, а почтальонка Вера суетлива и худа, что у Варвары печальные глаза, а Севостьян Ариныч глух и ждет слуховой аппарат и тому подобное, то сейчас жители были подбористы,

глядели бодро, слышали прекрасно, и слуховой аппарат, пришедший по разделу «Товары — почтой», был возвращен, но не по причине, что оказался плох, а ввиду заботы Севостьяна Ариныча о более страждущих. Почтовые издержки Севостьян Ариныч отнес на себя.

Вася, взяв заявление, сказал фельдшерице, что пусть с работы не уходит, но переменит профиль — пусть станет санэпидстанцией.

— Но,— сказал Вася, обращаясь ко всем,— почин работницы Вертипедаль заслуживает всяческой поддержки. Ведь смотрите, друзья, кто такая Вертипедаль? Работник средней руки, а какой большой пласт поднимает неиспользованных ресурсов. И действительно,— говорил Вася, встряхивая шевелюрой, и все тоже встряхнули шевелюрами, потому что было чем встряхивать, у всех отросли кудри, кроме Кирпикова,— действительно, стоит подумать, нет ли где лишних инстанций? Например, мне доложили, что одного строителя ударило по голове балкой. Его обмакнули головой в источник. И что? К вечеру он подал два рацпредложения. А посему нужен ли нам инженер по технике безопасности? Нужен ли парикмахер? Он всегда разбавлял одеколон водой, теперь же старается хрустальную моего имени разбавить одеколоном. Между тем мы так помолодели, что безусы и юны, а Кирпиков,— Вася клевал Кирпикова где только мог,— Кирпиков пусть будет экспонатом старой жизни и трясет бородой. Как старый козел.

Вася сделал паузу. Деляров заполнил ее аплодисментами. Делярова под бок толкнула Рая Дусина.

— Будь личностью! — сказала она.

— Таким образом,— продолжал далее Вася,— освобождаются людские ресурсы, которые надо направить растапливать льды Арктики и заодно Антарктиды. Экспедиции снабдить порошком, выпаренным из воды источника.

В заключение Вася добавил:

— А теперь дружно по домам. Ровно в двадцать два делаем глоток воды и гасим свет. Приятных и полезных снов!

В один из дней Вася призвал жителей поселка рано утром. Все явились.

Вася вышел к жителям и негромко обронил:

— Снился мне сон,— он подождал, пока Физа Львовна запишет,— будто я весь в золоте и слезах. К чему это?

— Не имею понятия,— признался Деляров.

— Мало пьете,— пожурил Вася.— Физа Львовна, распорядитесь от меня самого: увеличить ему порцию.

— Вы таки безумно уже щедры,— мягко заметила Физа Львовна.

— Повышение рассудка отдельно взятого члена — польза всему обществу. Но к делу! — Вася полуприлег на скамью.

Окруженный справа, слева, сзади и внизу спереди, он являл трогательное зрелище отца семейства, долгожителя.

— Замрите! — крикнул фотограф.

— Снился мне сон. Будто бы дочь Сергея Афанасьева открыла еще один родник...

— Послать за дочерью! — закричали отовсюду. Кто-то побежал.

— ...и будто бы этот родник в отличие от моего не делает людей счастливыми одинаково, но каждого по-разному. То есть, например, в этом сне Павел Михайлович Вертипедаль музыкант, даже больше, исполнитель. Да, он исполняет чужую музыку, но по-своему, вливая в нее каждый раз дыхание каждой новой эпохи. Конечно, у него есть свои трудности, везде завистники, но он счастлив и не пьет не оттого, что пьет зюкинскую, а оттого, что пить не из-за чего. Нет комплекса неудовлетворенности. Ведь пьянство, друзья мои, от ненайденного призвания.

Далее. Дуся приснилась мне многодетной матерью и вся в заботах. В частности, в моем сне она вытаскивала занозу из пятки одного из тройняшек. Тройняшка плакал, показалась кровь (сон был цветной), но Дуся была счастлива. Даже черная зависть тех, кто размножается через двойняшек, не омрачила ее лица. Кстати, где дочь Афанасьева?

— Еще не привели.

— Сергей Афанасьев — ученый. Он разрабатывает методику преподавания всех литератур. У него есть свои трудности и столкновения с лжеучеными, видящими в науке собственное благополучие, но он не представляет иной жизни. Далее. Кого я упустил?

— Кирпикова,— подсказал Деляров.

— Кирпиков и во сне умудрился идти не в ногу. Он прошел по диагонали сна с непокрытой головой. Если на него не действует зюкинская, то что ждать от афанасьевской. А тебя, Деляров, я видел в числе потребителей всех благ. Ты счастлив, все работают для тебя, все добиваются твоего внимания. Трудность твоя только в том, что тебе не разорваться.

Прибежал гонец, бегавший за дочерью Афанасьева:

— Не идет, говорит: некогда. В куклы играет.

— Простим невинность,— мудро сказал Вася.

— Замрите! — крикнул фотограф.

— Далее,— продолжал Вася.— Лариса пишет картины. Они оригинальны, жанр их трудно определить, однако у них толпа, в ней Деляров, толпа спорит, приобщается. И у тебя, Лариса, не все благополучно, и у тебя недруги, завистники, но вот ты стоишь в джинсах, запачканных грунтовкой, ты счастлива, ты борешься.

— Я покажу им! — сказала Лариса, гордо оглядываясь на Делярова.

— Тебе же сказали, я же в толпе,— испуганно сказал Деляров.

— Далее. Оксана, ты — изобретатель. И у тебя полно недоброжелателей. Но ты борешься, ты доказываешь, что объединение принципов перехода в другое измерение с принципом предварительного исполнения дает очень многое.

Оксана вздохнула:

— Василий Сергеевич, и я видела сон. Будто бы мы все звери, а вы главный зверь, кажется, леопард. А мой Афанасьев — медведь.

— А Кирпиков?

— А он так и есть.

— Вы договорите свой сон про другой источник,— попросила Вера,— а то и мне тоже снилось, будто мы все деревья.

— Собственно, почти никого не осталось,— сказал Вася.— Да! Севостьян Ариныч. Он — дипломат, он пишет объяснительные записки к проектам. Его трактовки оригинальны, смелы, ему предрекают будущее...

— В мои-то годы? — спросил Севостьян Ариныч.

— Дорогой мой, сейчас какие твои годы? Юноша. В том-то и дело, друзья, что источник счастья — это вторичное. Первое — мой источник. Без юности, долголетия и здоровья какое же счастье? У Севостьяна Ариныча тоже есть конкуренты, злопыхатели, но он борется. Далее. Кто еще? Вера и Тася. Тася — профессор. Не помню чего. Ты глядишь в какую-то трубу, кажется, ты физико-математико-астрономом, ты открыла формулу вечного в бесконечном, завистники не дают ей ходу, но ты борешься. А ты, Вера, писатель, ты пишешь нужные всем нам книги.

Почтальонка Вера, отличимая от всех только почтовой сумкой, вздохнула:

— И у меня завистники, Василий Сергеевич?

— И у тебя.

— Но ты борешься,— утешил Деляров.

— Я не пойму одного,— заговорил Кирпиков, и Вася показал жестом, мол, пожалуйста, опять он.— Не пойму я одного, Василий, сон-то, конечно, сном, но чего это ты все добавлял: завистники, недруги, злопыхатели?

— Успокойся, у тебя их нет,— сказал Вася.— Вода второго источника не подействовала на тебя даже в моем сне.

— Мне завидовать, конечно, глупо, мое место такое, что никто не зарится, но ты объясни. Если человек делает хорошо, то почему ему мешать?

— Святая простота,— отвечал Вася.— Это в природе человека. Лариса пишет полотно, оно занимает чье-то место на стене, оно отвлекает людей от других картин. А чем хуже другие?

— И они тоже борются?

— Да.

— И счастливы в борьбе?

— Да.

— То есть если Лариса напишет плохо, то им будет хорошо?

— Да.

— Что же это за счастье — радоваться беде. Нет, Вась, чего-то не то.

— А вот мой сон,— вмешалась Вера.— Будто бы мы все деревья, а вы, Василий Сергеевич, главное.

— То есть?

— Только не подумайте, не дуб.

— А мне снился сон,— сказал Деляров,— будто мы все винтовки, болты и гайки, а вы, Василий Сергеевич, шестерня.

— А мне снился сон,— сказала Физа Львовна,— будто бы мы все минералы, то есть камни. А вы, Василий Сергеевич, хризолит.

— Кирпиков, конечно, булыжник? — спросил Вася, смеясь.— Ну, друзья, потехе час, делу время. Разбирайте кружки, стаканы, идемте пить мою хрустальную. Пока только ее. Будем надеяться, что и второй источник будет открыт. Пора детям перестать играть в куклы. Или кто-то думает иначе? Тогда ваши предложения. Нет? Встали и пошли.

Все встали и все-таки ждали от Васи еще чего-то.

— Вот и сон мой объяснился,— сказал Вася,— слезы — к источнику, а золото — это антураж, это фон для слез. В конце сна я выразился так,— Вася умолк, тем самым увеличив внимание,— я обронил такую фразу: «Деньги в связи со мной теряют цену. Теряет цену также их золотое обеспечение». Я пока не решил, чем его заменить. Физа Львовна, вы записываете?

— Теряют не теряют,— закричала Оксана,— а нас за план шерстят!

Ее можно было понять: сны снами, вода водой, а работа работой. Деньги Афони кончились, ведь ничто не вечно. Оксана и Лариса, теперь и сами поверившие в хрустальную зюкинскую, предложили выход. Алкогольные напитки выливать по-прежнему, стеклотару затаривать целебной водой. А с буфетом Ларисы еще проще — заливать бочки целебной водой, подводить компрессор, нагазовывать и приравнивать к газированной воде с тройным сиропом.

Работа закипела. Шла она под лозунгом «С такой работой запустим всю пьянку!» и напоминала фордовский конвейер двадцатых годов нынешнего столетия: бутылки выливали, ополаскивали внутри (ополаскивали в респираторах, чтоб не слышать запаха этой гадости), отмачивали этикетки, отдавали их Васе, а бутылки заливали хрустальной. На новых этикетках писали «Зюкинская хрустальная», дату и девиз «Пей для здоровья». Этикетки проверяла на грамотность дочь Афони.

Уже в первые два дня бутылок не стало. Пока Вася думал над выходом из положения, Вера принесла открытку — Афанасьев С. победил в телеконкурсе «Предсказатели». Сообщение подкрепила бандероль: футбольный мяч. Афоня без всякого насоса, своими помолодевшими легкими надул его так, что мяч лопнул. Однако можно было видеть на лоскутах автографы знаменитостей.

Афоня был без ума от радости.

— Пошлю нашим ребятам, всей сборной, всей подгруппе «А», всей высшей лиге по грелке с водой! Всех уделаем! Василь Сергеич! Пошлем футболистам воды! Золотая же богиня!

Вася заметил, что порыв Афони патриотический, но не будет ли данная вода квалифицирована как допинговое средство?

— Я узнаю и скажу,— сказал он.— А пока приступайте разрушать сруб. Расцементируйте его.

Расцементировали, бутылки пустили в дело. Новые стены источника выложили цветной плиткой. Стало красивее прежнего. Правда, прекратилось воркование выпущенной на свободу голубиной души, но надо выбирать: или воркование, или польза. Таким образом, в торговую сеть магазина было заброшено энное количество ящиков зюкинской хрустальной.

Когда и эти бутылки кончились, Кирпиков предложил делать свои.

— Найти бы кремнезем,— говорил он.— Финикийцы делали, случайно получилось — везли соду и разожгли костер на кремнеземе.

— Возьми соду и иди жги,— приказал Вася.

Уже стали планировать, какие выпускать бутылки — треугольные (символ: здоровье, долголетие, красота) или четырехугольные (здоровье, долголетие, красота, нравственность), уже стали утверждать первые образцы, как возникло «но»: Оксана не знала, какую сумму писать на ценнике. Сколько то есть брать? Без посуды.

Поехали в райцентр. Оттуда послали в область и дальше. Люди, занимающиеся ценообразованием, просили подождать, потому что резонно сказали: с одной стороны, льется сама, но, с другой стороны, большой эффект. Даром поить запретили. Источник был опечатан. Васе разрешено было набрать воды в запас и пользоваться приватно.

Стало слышно, как по высохшим горячим рельсам загремели поезда.

15

Перед тем как воскликнуть: ах, как много планов разрушил этот запрет,— надо, чтоб не было недоразумений, засвидетельствовать, куда делись уже готовые затаренные бочки и бутылки. Их использовали при тушении пожара. Струя из бочек вырывалась со свистом и не столько гасила пламя, сколько раздувала его. Сказалось то, что бочки успели быть нагазованы Ларисой. Зато бутылки показали себя молодцами. Из них заливали отверстия в горящих торфяниках, как будто выживали сусликов. Смышляев следил, чтобы все бутылки были использованы по назначению. Сам не отпил ни глоточка, все откладывал на потом. И вот — последняя бутылка и последний очажок пожара. Лесничий поколебался и вылил воду на тлеющий торф. Пожар был потушен. Дым разнесло ветром, солнце ослабило свою свирепость, климат улучшился.

Лесник Пашка Одегов отпросился на три дня в счет отгулов в город Слободской. Причина была в заметке в газете: слободскую церковь возили во Францию, в Париж, она стояла там три месяца и вернулась с триумфом — восхищению французов не было предела.

— Николаич,— говорил Пашка,— я ее видел, она стояла за кладбищем, я сам плотник, надо посмотреть.

— Но ты же видел.

— Сейчас она на центральной площади города на специальном фундаменте. Я поеду. Я плотник. Значит, чего-то я не разглядел.

— Поезжай,— сказал Смышляев.— Так мы с тобой водички и не выпили.

— Огонь потушили,— ответил Пашка.

Он подпоясался и поехал смотреть слободскую церковь.

Итак, ах, как много планов разрушил этот запрет!

Деляров, помолодевший, как и все, хотел шестерить на Васю, но не дала Рая. Вспомним, как она сказала:

— Ну, ты видишь?

— Вижу.

— Так вот, если тебе чего от меня и отломится, то только за цистерну этой воды. Сечешь?

— Секу,— ответил мышиный жеребчик и в ту же ночь приступил к работе.

Запасливая Дуся ставила в сумку Делярову бутылочку с соской, точила инструмент, заставляла надеть теплое белье.

— Я же пью воду, мне не страшно.

— Сынок,— отвечала Дуся,— для дочери берегу.

Еще по инерции крутилась беззаботная здоровая жизнь, но инерция затухала. Нет вечного двигателя. Нужно топливо. В данном случае запасы его иссякали. Они были. У кого много, у кого мало. Началась спекуляция.

Все последние дни Кирпиков искал кремнезем и был так захвачен, что не знал о закрытии источника. Кремнезем он представлял в виде кремня. Он бродил по округе и пробовал любой крепкий камень. Раскладывал на железном противне костерок, совал туда камень и добавлял соды. Сам отбегал, так как уже пару раз досталось разорвавшимся камнем. Приседая, он вспомнил, что в детстве они специально жгли костры и бросали туда плитки дикого камня-трескуна. Стекло не являлось.

Кирпиков вышел к небольшой речушке. Вода в ней была красноватая от торфа, в спокойных заводях стояла тихая трава. Не оставляя следов, извивался уж, плыла дикая утка, за ней взрослеющие утята. Было тихо. И только чуточку шумел, выбулькивая из-под сосны, родничок-кипун. Песок на дне его и вправду кипел, вода обжигала. Кирпиков напился, разделся и ухнул в речушку. Но вода оказалась такой холоднющей, что он завыл и выскочил как настеганный. Лязгая вставными зубами и ругая себя: уж немолодой со здоровьем шутить,— он торопливо развел костер. Натянул штаны, достал тетрадку, в которой отмечал пробы камней, и записал: «Не нашел». Потом вытряхнул в огонь остатки соды и лег на спину.

Вот так все и уходит, как уходит плывущая под нами земля, когда мы смотрим на облака. Родная земля моя, как спасает меня воспоминание о тебе! Северные моря мои — лесные озера, сладкий ви-

ноград мой — горькая рябина, сосны мои — корабельные мачты с натянутым парусом неба, стоящие в земле как в палубе корабля. Укачай меня, судьба, я дитя в корабле-колыбели. «...взвейтеся, кони, и несите меня с этого света!.. вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном?..»

Догорел костер. Кирпиков еще долго лежал, смотрел в небо. Успокоение пришло к нему. Давным-давно сказал ему отец: «Ты ничего плохого не делал? Не обманывал? Не воровал? Тогда смотри всем прямо в глаза!»

Он встал загасить остатки костра, пошевелил палкой и уперся в какой-то слиток. Вывернул его. Коричневый, он остывал, меняя цвет к зеленому, и вдруг взорвался, и Кирпиков, которому снова крепко досталось, понял, что это и есть стекло, что таинственный кремнезем — это обычный речной песок. Кирпиков изобрел велосипед. Но попробуйте и вы изобрести велосипед. Тем более сейчас, когда люди задыхаются от выхлопных газов.

Ликующий Кирпиков несся в поселок. Вот его вклад, вот его достижение — он организует производство посуды под целительную зюкинскую, и потечет она во все концы.

Известно, что ждало Кирпикова в поселке. Пломба на источнике. Изобретатель сел и подумал: да ведь и стеклотару можно было завозить.

А мимо него ходили одинаково одетые одинаковые люди. «Сашка!» — говорили они, хлопая его по плечу, но он никого не узнавал. Мужчины ничем не отличались от женщин, только разговорами. По словам-паразитам можно было угадать мужчин. Женщины вздыхали по поводу иссякающей воды и дружно прибеднялись. Назывались драконовские цифры за литр. Вася, одетый отлично от всех, разводил руками: «Всюду бюрократы!»

В полной темноте ударились вначале лопаты, потом лбы. Лбы уперлись друг в друга, и примерно полчаса шла игра в упрямые козлики. Но козлики бодались на свежем воздухе, им было хорошо. А это бодание было под землей. Наконец лбы устали.

— Зажги спичку,— сказал один шепотом.

— А фонарика нет? А то, может быть, газ.

— Газ? Ну тупарь! То-то лоб у тебя как чугунный.

— Мы еще не знакомы, а уже на «ты»,— обиделся первый.

— Перебьешься,— сказал второй и зажег спичку.

В первом с некоторым трудом можно было угадать Делярова, второй представился горным техником Михаилом Зотовым, племянником староверов Алфея Павлиновича и его жены Агуры. Супруги Зотовы выписали его, так как помолодели настолько, что решили усыновить кого-либо. В Доме малютки была очередь на пять лет вперед, и супруги вспомнили о племяннике. Он приехал, насмотрелся на чудеса, творимые водой, а тут как раз запрет. Вспомнив специальность, полученную в техникуме, племянник углубился.

Деляров же копал с другой стороны. Вот они и столкнулись.

— Перед спуском в шахту я намечал направление по звездам,— сказал Деляров.— Но сегодня я спустился до звезд.

— А я шел в порядке бреда,— сказал Михаил.— В техникуме я как раз ориентацию завалил, а по компасу не рисковал, тут я пару раз напарывался на железо, на блок цилиндров, на колесо, на целый трактор. А ты?

— Не говорите мне «ты».

— Ты что, секретарь у большого начальника? Моложе меня небось.

Деляров вспомнил, что он теперь только по паспорту в годах.

— Да, я встречал железо,— ответил он.— Коленчатый вал я узнал, а вот такое, с зубьями...

— Хедер от самоходного комбайна? Цельношнековый? — спросил Михаил.— Он мне тоже попадался. По кругу ходим.

— А где вода?

— Спроси ее,— резонно ответил Михаил.

Решили разойтись каждый влево перпендикулярно тоннелю, потом дважды через двадцать метров, сделав повороты под прямым углом, сойтись и еще подумать.

— Я ищу не для себя,— сказал Деляров.— Это не моя идея.

— Это твое личное дело,— отвечал Михаил.

Разошлись.

Копали сутки.

Снова встретились.

— Ты, брат, полысел,— сказал Михаил, зажигая спичку.— Так чья это идея?

— Моей невесты Раи.

— Сколько ей?

— У нас все равны,— ответил Деляров.

— Ладно. Воды-то нет.

— Нет. Но железа — буквально залежи.

— Знаешь, друг,— сказал Михаил,— давай плюнем на эту воду, будем железо добывать. На одном металлоломе озолотимся.

— Есть и целые части. Даже в масле.

— Отсортируем.

Тетка Михаила Агура и вероятная подруга Делярова Рая тоже столкнулись лбами. Они несли обед и заблудились в катакомбах. Агура села и стала плакать. Рая плакать не стала. Она раскрыла сверток и стала есть.

— Не трать жидкость,— сказала она Агуре.— Кто-то должен выжить, так что спасайся. У тебя кто под землей? Муж?

— Племянник.

— Ну и не реви. Если выбирать из двух зол, то надо нас. Ну, спасутся они, и что толку? А мы спасемся и родим. Ты как настроена?

— Рожать,— прошептала Агура.

— Ну и ешь! Открывай кастрюли! А мужиков хоть всех под корень. Никто и не заметит, что исчезли. Скоро вообще искусственное осеменение начнется.

Деляров и Михаил нашли женщин по запаху пищи. Дусина стряпня понравилась Михаилу больше, чем староверские остывшие щи Агуры. А Деляров с удовольствием похлебал щец. Насытился и сообщил:

— Железо будем добывать. Феррум.

— Юноша,— заметила Рая,— это сон в летнюю ночь.

— С кем сон? — спросил Михаил, придвигаясь.

— Утром разглядим,— ответила Рая, не отодвигаясь.

Деляров обреченно думал: «Агуру надо у Алфея Павлиновича отбивать. Агуру. У староверов порядки строгие, заживем дисциплинарно. И Рая будет все же родня».

— Какие у вас щи питательные,— сказал он Агуре.— Сами готовили?

— Сами,— прошептала Агура.

— Вот и славненько,— похвалил Деляров, облизывая ложку и пряча ее за пазуху.— Давайте обмозгуем вот какой вопрос. Так как вода — голый абсурд, то ввиду наличия железа надо скинуться на большой магнит. Думаю, что-нибудь около сотни на брата.

— Разбирается,— одобрил Михаил.

— Ну так! — ответила Рая.

На обратном пути две черные мыши перебежали им дорогу.

16

В красном углу, где с весны стояла фотография Маши и куда Кирпиков привык поглядывать и желать Маше всего хорошего, вновь стояла икона. Кирпиков вошел, привычно глянул и привычно сказал: «Ну как дела, Мария?» — и обрезался: икона. Кирпиков нашел фотографию Маши на столе. Прислонил ее к слитку нечаянно сделанного стекла. Потом разулся, сгрудил половики, лег. Казалось, будет провальный сон, но когда человек намучился, он не может сразу уснуть. Кирпиков покосился — Маша смотрела на него, и казалось, что она здесь, потому что фотография была сделана в поселке и будто Маша оставила себя здесь, а теперь другая. И прежней Маше, с которой играли в память, хотелось бы рассказать сон, который давно его мучил. Он начал сниться в Померании в санбате, потом в госпитале и после него, да иногда и сейчас. Он думал, что если бы он рассказал его Маше, то она бы быстро забыла, а от него он бы отвязался. Он думал, что это был сон о ранении.

Будто бы есть такое лекарство, которое спасет многих-многих от смерти. Так как Кирпиков знает, где аптека, посылают именно его. Она рядом, и он удивляется, что другие не видят. «Иди,— говорит

главный.— Великая тебе будет награда». Кирпиков бежит. Тяжело бежать. Сбрасывает с себя амуницию, разувается и вот-вот добежит, но земля вдруг поднимается у ног стеной, он карабкается, ползет, но стена все круче и вот вертикально уже, и не за что ухватиться. Он срывается и падает. «Стреляйте,— говорит главный.— И этот обманул».

Этот сон Кирпиков рассказывал Варваре, и она ему свой, о трех женщинах. Но ни от нее, ни от него сны не отступились. Видимо, даже после такой жизни они не научились освобождать друг друга. Сейчас, чтобы заснуть, Кирпиков был бы рад и этому сну, он уже не испугал бы его, но не спалось. Давило сердце, но он свыкся с болью, надо же от чего-то умирать.

Когда пришли сумерки, показалось, что по всем углам, кроме этого, встали темные люди. «Теперь нельзя засыпать,— думал Кирпиков,— ночь-то во что буду спать? Надо свет зажечь. Надо встать и зажечь свет». Но сердце не давало встать, толчками отдавалось в горле, валило обратно. Кирпиков не сердился на него, отнюдь. «Изболелось ты, милое,— думал он,— а я все тебя мучаю. Ноги не держат, руки отнимаются, одна голова жить хочет».

Люди не выходили из углов, но увеличивались, наполнялись темнотой.

— И вот надуваются, надуваются и вот-вот цапнут. Только в светло не лезут. А ведь, думаю, иконы боятся. Но все равно все ближе, ближе. И от них змеи поползли. А одна встала на хвост, как свечка, пасть раскрыла, и язычок горит. Я будто бы в них банками кидаюсь, они кусают за стекло — и будто вода натекает из зубов. Все, все, не иначе карачун.

— А ты не поддавайся. Ты не задумывайся,— говорила Варвара.— Я так чувствовала — бежмя бегу. Помнишь, зимой был крепко выпивши, у крыльца упал, а меня как кто подтолкнул выйти.

— Да, мог тогда замерзнуть.

— Как же!

— И сколько же раз я мог отчалить? Да неисчислимо. Особенно на войне. Может, и лучше бы.

— Типун тебе на язык,— в сердцах сказала Варвара.— Ведь по обрыву ходишь, думай, чего мелешь.

— Я изжился,— тоскливо сказал Кирпиков,— и зачем еще? Я думал жить из интереса, но и это тоже зря. Смотреть, как пихаются свиньи у корыта?

— Ну это уж ты больно,— возразила Варвара.— Воду теперь закрыли. От Василия Сергеевича, пока тебя не было, прибегали.

— От кого?

— От Зюкина. Я ходила, говорит, чтоб ты на него не сердился. Это, говорит, специально так о тебе выражался, чтоб остальных с толку сбить. А так, говорит, он мне первый человек.— Варвара подождала, но муж молчал.— Всех с этой водой переворотило. Ни дела, ни работы. Не знают, чем заняться.

— Читали бы книги,— сказал Кирпиков.— Какая красота! Как

хорошо, что мы детей учили, не отдергивали, это такая, мать, красота — книги...
— У нас дети хорошие,— сказала Варвара.
— Есть даже такие острова, где люди говорят свистом. Как птицы. Причем нормальные люди.
— И вот Зюкин,— продолжала Варвара,— налил себе много воды, едва ли не десять бочек. А у других почти и нет, только на уколы осталось.
— Неужели еще не напились?
— Ты ж знаешь людей: чем больше давай, тем больше надо.
— А сама чего не пила?
— Кто бы за меня лесобазу стерег?
— У тебя вода есть? — спросил муж.
Варвара принесла четвертинку.
— Это, Саня, хоть ты ругайся, хоть нет, это я знаю для чего. Вот хоть ты что, а я на тебя с веничка побрызгаю. Подожду, когда уснешь... Ты видел, снова икона? Не ругаешься?
— Да не ругаюсь, не ругаюсь, я и перекреститься могу,— ответил Кирпиков.— Так? Нет, уж поздно, спросит, где раньше был.
— Этой воды, говорит Зюкин, будет у вас море разливанное, только чтоб ты стал ее продавать.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка,— сказал Кирпиков, садясь.— И много запрашивает?
— Ой, много. Тебе, говорит, только доверие, на тебя не действует, говорит, не покорыстишься.
Одним махом встал Кирпиков на ноги. Другим обулся. И третьим поспешил на улицу. Вслед его крестила Варвара.
У ворот зюкинского дома стоял незнакомый парень. Он спросил фамилию и отошел от ворот.
Вася был в сарае.
— Я сделал стекло,— доложил Кирпиков.
— Естественно,— заявил Вася.— Трудишься практически на одном энтузиазме, а сколько вокруг бюрократов. Как нас подсекли! В эмбрионе. На взлете. Тебе Варвара объяснила? Ты сможешь. Уж если не весь мир, то хоть своих поддержим. Ты же не оставишь без помощи людей, у тебя доброе сердце. А? Знаешь примету: у злых болит желудок, у завистливых печень, у добрых сердце? А эта вода вылечивает печень и желудок. Искореним злых и завистливых. Сердечники нам не в укор.
— Иди, я тут освоюсь,— попросил Кирпиков.
Вася еще поговорил, что трудно пробивает себе дорогу новое, что еще много людей мыслит отжившими категориями, но что идем мы, в общем, куда надо. И ушел.
Первую бочку Кирпиков вылил легко и аккуратно. Подкатил ее к задней стенке сарая и там отвинтил пробку. Со второй он промучился дольше. Вода из первой не успела впитаться, и новая струя растеклась по сараю и вытекла во двор. Ее заметил человек у ворот и

доложил Васе. Никакого труда не составило Васе и его помощнику накостылять Кирпикову и запереть его в чулане.

— Ну, ты попомнишь, ты пожалеешь,— повторял Вася.

Созванным по тревоге людям он орал, что Кирпиков посягнул на их здоровье, на их долголетие.

— Я позвал его, чтобы разделить. Женщинам! И старикам! Вот она теперь, пейте ее!

— Был ты собакой, Васька, стал ты, Васька, свиньей! — Это сказал Афоня.

— Взять его! Увести! Никто не помешает мне заботиться о вас! — так кричал Василий Сергеевич Зюкин.

В чулане было не так уж плохо, только топчан был один и очень узкий.

— Спать по очереди,— сказал Афоня.— Выбирай меня старостой и слушай. Ну, чего ты молчишь? Саш! Ты не сердись, обидел я тебя тогда на вечеринке: не все дома, ох, дурак!

В дверь послышались удары, как будто ее долбили. Точно — скоро выскочила небольшая филенка, и в сделанное отверстие заглянул Деляров.

Афоня вздохнул и спросил Кирпикова:

— Сколько Васька власть продержит?

— Пока вода не кончится. Потом ему каюк.

— Пломбу сорвут?

— Не посмеют.

— До тех пор он нас в милицию сдаст. Меня за хулиганство — суток десять, тебя хуже: подведет под хищение частной собственности. Хрен с ним. Отсидим не хуже людей. Но слушай, чего я первый-то раз срок тянул: ведь из-за девчонки.

Кирпиков слабо улыбнулся.

— Ей-богу. Ой хороша была! Оксане куда! У тебя Варвара красивая была? Конечно! А ведь не понимали, да, Сань? Смотрю на нынешних — такие красивые, увертистые, ноги-игрушечки, все нарядные, и какой-то уже скотина коснется ее? Ведь он, подлый,— застонал Афоня,— будет доблестью считать... нет, сволочи мужики, и еще какие!

Со двора доносилось звяканье кружек и гудение толпы. Афоня зажал уши и, как молитву, стал говорить:

— Только потом мы понимаем, какая красота вырастала рядом с нами. Боже мой, я гляжу на нынешних — красота, а ведь наши девчонки разве были хуже, да они были лучше! Я ее на крыльце целовал, и вот-вот уже прощаться, уж околели оба, уж ноги как деревяшки, нет, давай еще сто раз поцелуемся. Да, еще сто, господи! Мне ли на что-то жаловаться! И я ее обидел. Я выпил...

— Не сидеть! — крикнул Деляров.

— Иди ты, откуда родился. Ну форменный скот. Тьфу, сбил.— Афоня умолк, потом добавил:— В общем, обидел. Эх, дали бы мне,

чтобы показали меня по телевизору, я бы сказал: Валя, немолодая ты уже, а я, Валя, все такой же дурак. И если у тебя, Валя, плохой муж, то я разойдусь со своей и приеду. Са-ань!

— Ничего, ничего,— отозвался Кирпиков. Он пошевелился.— А ничего не вернешь, Сергей.

— Ничего, да. Пока самих не коснется.

— Да, да,— оживился Кирпиков,— верно, пока не коснется. А так одно — надо беречь, надо жалеть.

— Не полагается! — закричал вдруг Деляров.

— Отскочи, вертухай,— сказал Афоня.— Заходи, Варвара Семеновна.

— Не больше минуты,— предупредил Деляров.— Передачи через меня.— Он выхватил у Варвары узелок и стал его проверять.

Варвара села, подперлась рукой.

— И за что тебе такие мучения? — улыбаясь, сказал Кирпиков.— На старости лет такой срам, ой, да если бы дети увидели, леший ты, леший...

— О, о! — одобрительно сказал Афоня.— Ты его, Варвара Семеновна, вымуштровала.

Деляров, перебиравший вещи в узелке, вдруг воскликнул:

— Побег в женском платье?

— Это мои вещи,— сказала Варвара.— Я тут остаюсь.

— Не полагается.

— Уйди, придурок! — сказал Афоня.

— В такой грязи сидите,— упрекнула Варвара.— Сейчас приберу, заживем по-людски. И все-то у тебя, Кирпиков, жена плохая.

— Оксану бы мою сюда! — размечтался Афоня.— Только если и сядет моя Оксана, то не за меня, а за растрату.— Афоня покрутился по чулану, постучал в дверь и крикнул Делярову:— Ты! Смотри — баланду полностью!

Варвара стала подметать. Чтобы не поднималась пыль, Варвара сбрызнула ее из принесенной с собою четвертинки. Таким образом была израсходована последняя порция хрустальной зюкинской.

Но почему последняя? А бочки в сарае? И бочки во дворе, которые были выставлены щедрым Васей?

На них сначала набросились как исшедшие из пустыни. И все-таки был соблюден какой-то порядок, первыми пустили детей. Когда жажда была удалена (или утолена), наступило действие воды-чудеснины. Всем захотелось пи-пи. И только. А уже все нахватали в запас. Рая и Михаил так вообще возили в канистрах на мотоцикле.

Поднялся ропот. Толпа рванулась в сарай, отшибла в сторону Васю Зюкина, освободила узников, раскурочила остальные бочки. Результат тот же самый: пи-пи, и только. Стали замечать, что фигуры возвращаются в исходную полноту, стандартное платье кому стало тесным, а кому просторным. Фотограф уныло щелкал, не заботясь ни о ракурсе, ни о композиции.

Стоящая у окна жена Зюкина поправила очки и произнесла:

— Физа, засветите пленку у этого мальчика.

— Светите сами,— ответила Физа.

Последними кадрами в пленке фотографа были: толстый Деляров и выцарапывающая ему глаза Дуся, Вася Зюкин в луже своей хрустальной, Афоня на крыльце дома в позе оратора. Если бы озвучить пленку, можно б было услышать, как Вася скулит, как Дуся... нет, Дусю не надо озвучивать: таким набором ядреных фраз она отшпандоривала Делярова, что даже Рая, послушав, сказала: «Годится». Досталось и Рае. В переводе с Дусиного языка она примерно так стыдила дочь: «И когда только ты успела, когда только сплелась с этим...» Рая выставилась на нее и ответила: «А ты свечку держала?»

Афоня же говорил вполне литературно нижеследующее:

— Наступил сентябрь. (Аплодисменты.) Так что пора подумать насчет картошки дров поджарить. (Смех в толпе, аплодисменты.) Так что попросим дорогого Александра Ивановича уважить. Александр Иванович! — Афоня обернулся: чего там?

— Он не выйдет,— ответила Варвара,— но передай: всем поможет.

Афоня недовольно сморщился.

— Я напомню вам, что Кирпиков первый начал движение за трезвость. И преуспел. Жалкие продолжатели вроде этого разгребателя грязи (сдержанный смех в толпе) доказали только одно: нам еще надо многое понять. (С неожиданной горечью.) И вовремя.

— Для справки! — крикнул Вася.— Три минуты.

— Дать,— сказали в толпе.

— Вода была настоящая. Могу поклясться на чем угодно.

— На огне,— сказала Рая.— А вообще,— заметила Рая Михаилу,— это мне нравится.

— Вполне,— согласился тот.— Жечь будут?

Пошли за огнем.

Рядом с Афоней появилась дочка его.

— Папа, это я.

— Вижу.

— Это я,— сказала дочь и крикнула:— Не надо огня, это я сделала. Я положила в бочки по куску сахара.

Толпа умолкла. Вася Зюкин вытер пот со лба.

— У тебя что, руки чесались? — спросил Афоня.

— Сам учил,— ответила дочь.— Если, говорил, я, дочка, пьяный, то не давай мне ездить, сунь в бензобак сахару. А они все были как пьяные.

— Выше пояса вся в меня! — гордо объявил Афоня.

Принесли факел и, не зная, что с ним делать, встали у крыльца. И его пламя в наступивших сумерках осветило седого старика — Кирпикова. Он вышел, постоял немного и в полной тишине (только шипел факел) спросил:

— Но если вам так нужна вода, что же вы не сорвете пломбу с источника? Это же просто.

— Какой умный, Александр Иванович,— ответили ему.— Сам срывай.

— Копаем в порядке общей очереди! — крикнул Афоня.— Платим по совести! — И он треснул своим пудовым кулаком по перилам крыльца.

Крыльцо зашаталось, затрещало, покачнулся дом.

— Землетрясение! — завопила Лариса.

— Ты что, больная? — спросила ее Рая.

Но уже все видели, как повалилась труба, посыпался кирпич. Земля под ногами колебалась. Факел уронили. Мигом высадили ворота, сломали забор и отбежали на твердое место. Спаслись все. И уже издали наблюдали, как переламывается в хребте крыша, оседают дворовые постройки, взвивается пыль и слышен подземный гул. В три минуты все было кончено. Афоня с удивлением разглядывал свой кулак.

— Землетрясения доказывают, что земной шар молод,— говорил любопытным Михаил Зотов,— вот если нас перестанет трясти, вот будет страшно.

Рая держала Михаила под руку: «Союз алгебры и гармонии»,— говорила она.

Хватились Делярова — нет. Надо искать — никому неохота. Писать акт — никто не требует. Так и плюнули.

И вдруг.

И вдруг в том месте, где плюнули, зашевелилась земля, раздвинулись покровы, зашипело. И едва успели отбежать, как вначале со звуком отхаркивания, потом с шипением и свистом вырвался из земли и начал расти бесцветный фонтан. Вершиной он успел захватить закатные лучи, и окрашенная ими влага падала обратно. Запах спирта охватил всех. Сверху лилось, лужи росли под ногами.

Фонтан разрастался. И все видели, что это чудо природы, этот грибкообразный ужас есть спирт.

— Лакай! — закричал Вася, кидаясь на четвереньки.

— Поджигай! — заорал Кирпиков.— Марш отсюда! — Он выхватил факел:— Поджигаю!

Никто не отошел. Вася уже по-собачьи лакал. К нему, на четвереньки тоже, кидались другие. Заплакал чей-то ребенок.

— Ну, тогда прости, господи,— сказал Кирпиков.— Этого мы и заслужили.

Размахнулся и бросил факел в фонтан. Но спирт, и по всему было видно, что это чистый спирт, не вспыхнул. Факел погас.

Волшебная вода, видимо, еще действовала, Васю вырвало. Также других.

— Сашка! — кричал Афоня.— Хоть ты попей. Глотни, Сашка!

— Не хочет он! — отчаянно кричал мокрый Вася.— Мы не можем, а он не хочет. Пропадет добро. Бочки, где бочки?

— Посмейте только! — кричала дочь Афони.— Я снова сахара положу.

— Выпью,— громко сказал Кирпиков, и шипение и свист фон-

тана притихли. В руках Кирпикова оказался граненый семикопеечный стакан и сразу стал полным от брызг.

— Саня,— говорила Варвара,— Саня, не надо, не пей. Не пей, Саня.— Но муж отстранил ее, и она взмолилась небесам, закрытым от нее и от всех багровой шапкой спирта:— Господи, за что нам такое? Выпросил дьявол у тебя, господи, светлую Русь и мучает ее...

— Но любо же, братия, и пострадать за нее! — закричал Кирпиков и обратился к стоящим на четвереньках, а их уже накопилось порядочно:— Встаньте! Глядите, ведь вы у пропасти. За трезвость вашу пью, за спасение!

И он поднес к губам стакан и только хотел пить, как в стакане ничего не стало. И все осветилось.

Оказалось, что это солнце, и хотя была ночь, оно вышло в зенит и грело так, что фонтан стал испаряться.

— Не щиплись,— говорила Рая,— я и сама вижу: не сплю.

— А лучше бы нам переспать это дело,— ответил Зотов,— тут недолго и до последнего дня Помпеи.

Тяжелая, неохватная взглядом туча закрыла окрестности, закрыла солнце. Медленно разворачиваясь, шевелясь в оплетке молний, она уходила на восток со средней скоростью среднестатистического человека.

Прошла ночь.

Утром по радио диктор говорил о погоде и в конце сказал: «Влажность воздуха — девяносто шесть градусов». Еще по радио сказали о невиданном в веках случае резкого испарения воды озера Байкал. «Последняя самая светлая, самая чистая на планете вода поднимается в воздух, образует гигантскую грозовую тучу и движется на запад».

«Громам греметь оттудова, кровавым лить дождям...»

Когда через три дня прибыла комиссия за контрольными анализами воды, то узрела на месте зюкинского дома обширный провал, куда рухнул и дом Васи, и собачьи конуры, и запломбированный источник. Над провалом лениво извивался дымок. Комиссия установила, что вся площадь под домом, в несколько горизонтов, была изрыта во всех направлениях, что и послужило, как написано было в акте, причиной оного случая. Провалом, который был уже назван Васькиным оврагом, было разрешено пользоваться как свалкой.

В порядке личной инициативы техник Зотов выговорил себе право искать воду, и это было разрешено, но без оплаты, хотя было обещано: если вода вернется, то Зотова не забудут.

Жена Зюкина уехала, Вася вселился в деляровский дом, и вскоре все привыкли, что вечерами Вася сидит на краю своего оврага, болтает ногами и лепит из глины свистульки. Собаки тоже любили этот овраг, они грызли тут кости, дрались, но ровно в семь сорок какая-нибудь из них, чаще рыжая с черными глазами, замирала на месте, поднимала очи горе и завывала. Ей подвывали. В семь сорок. Ни

раньше, ни позже. Жители привыкли к этому и стали проверять в семь сорок свои часы.

Вася таких концертов не терпел и прекращал их свистом.

Пришла к оврагу и Рая Дусина. Она посидела с Михаилом, послушала собак, посмотрела на Васю и решила, что во всем этом есть какая-то сермяга, даже посконность и в чем-то даже ранние Васнецовы, особенно в этих, ну как их, свистуньях. Где-то от Виктора, но и Аполлинарием круто замешено.

— Сечешь! — одобрял Михаил.

Рая сказала ему, что, в общем-то, где-то пора и расползаться.

— Без кайфу нет лайфу. А я в принципе замужем, так что пора ехать. Так что, больше не кадрясь, уезжаю восвояси. Буду помнить тебя со страшной силой.

— В общем-то, где-то и меня ждут,— соглашался Михаил.— Но, по идее, я еще покопаю. А тебя что, заменить некем?

В продолжение этой беседы Вася грустно свистел. Над оврагом носились одичавшие голуби.

А что Кирпиков, как Афоня, как остальные? Афоня крутит баранку. За него серьезно взялась дочь. Агура, чуть не изменившая старой вере (и, добавим, мужу), объявила, что ребенка не будет, что это все злые языки. Супруг ее, стрелочник Алфей Павлинович, оформляет пенсию. Почтальонке Вере прибавится работы. Севостьян Ариныч вновь выписал слуховой аппарат. Он не жалеет, что вернул прежний: техника движется вперед, и появились новые марки. Супруги Вертипедаль по-прежнему. Тася все такая же хлопотунья и так же ночует у деверя, когда бывает в райцентре. Павел Михайлович уже не ходит на футбол к Афанасьевым, завел свой телевизор и участвует в каждой викторине. В календарные игры он надевает чистую рубашку, в полуфинальные — костюм, а к финальным чистит ботинки. Афоня же, напротив, про викторины забыл, купил новую дорогую мебель, а старую отдал Васе в пустой деляровский дом. Дочку Афони за уши не оттащишь от телевизора. «Скоро ослепнешь! — кричит на нее Оксана. Дочь уже заучила и поет популярные песни — победительницы фестиваля «Песня сезона»: «Если долго мучиться, что-нибудь получится» и «На суше и море, зимою и летом мечтается людям о том и об этом».

Те, кого мы не упоминали, но имели в виду, тоже чувствуют себя хорошо. Работают и отдыхают, занимаются спортом. Или не занимаются. Ничто не мешает им проявлять свои склонности. Два раза в неделю привозят кино, с такой же разовостью топится общественная баня.

Лариса вновь действует. Первым заманила она фотографа. Он запил с горя. Во время землетрясения потерялась отснятая кассета. Лариса налила ему, сказав загадочно: «В счет расчетов». Фотограф накушался и запел с таким надрывом, что его кинулись спасать сердобольные мужики. В одиночку ему было много, а всем

как раз. За это время у Ларисы скопилось много привозных вин ближнего разлива. Мужики морщились, но понимали необходимость помогать слаборазвитым странам. Вскоре Лариса уже привычно орала: «Не курить! Не сорить!» — хотя эти же самые слова были на табличке.

Уговор дороже денег — мы говорили: Кирпикова можно бросить на полдороге. Сейчас самое время: его зовут по имени-отчеству, он еще бодрится, по-прежнему не пьет и не курит. А ведь это идеально. Например, когда объясняют, что у такой-то замечательный, прекрасный муж, говорят: не пьет, не курит, баб не любит. Но таких, как сказал Афоня, надо брать на учет.

Проснулся Кирпиков, подошел к окну — осень.

17

Помочь выкопать картошку приехала невестка. На этот раз с Николаем. Одни, без Маши. Привезли обратно игрушки, которые Кирпиков посылал весной. Это было обидно.

— Она все равно их сломает, у нее их вагон и маленькая тележка. Вы, папаша, деньги больше не тратьте. А эти могут здесь пригодиться. И даже очень.

Варвара вздохнула, ушла на кухню.

— Мамаша,— пошла за ней невестка,— вы не беспокойтесь, мы сытые, давайте только чаю.

Варвара, обычно тихая, а в этот раз, как и муж, обиженная, что подарки вернули, возразила:

— Хозяина-то надо кормить.

— Бросили бы вы, папаша, людей обрабатывать,— вернулась невестка в комнату.— Все от вас да от вас, а вам что?

Тем временем Кирпиков завел робота и пустил. Робот замигал лампочками и пошагал.

— Небось при ней не заводили? — спросил Кирпиков.— Уже увидала, так уцепилась бы.

Сын промолчал, а невестка высказалась:

— Ребенка нельзя давить обилием игрушек. Я понимаю, они дают кругозор, но в меру. Мне не верите — книжку о воспитании покажу.

Робот дошагал до препятствия — кадки с цветком,— уперся в нее и вхолостую терся ногами по полу.

Невестка схватила его. Робот жужжал и сучил ногами в воздухе.

— Вы, папаша, напрасно думаете, что любовь выражается в подарках. Вот вы же сами и мамаша выросли без игрушек.

— Без них,— подтвердил Кирпиков.— Зато, обрати внимание, какие недоразвитые.— Он взял умолкшего робота у невестки, поставил на подоконник.— Хоть теперь кругозора наберемся. Мать!

Иди понянчись.— Он взял коробку и покачал ее. Кукла внутри запищала: «Мам-ма, мам-ма».— Мать, слышь, тебя зовет. Нажуй мякиша в тряпочку.

Невестка посмотрела на мужа.

— Конечно,— сказала она,— мать строгая — значит, мать плохая, дед добрый — дед хороший.

— Пап,— сказал Николай,— много у нее игрушек, все равно в сад таскала.

— В любимого дедушку,— уколола невестка.— Растащидомка, бессребреница.

— Пойду,— решил Кирпиков.— Мерина кормить да ехать.

— Прямо без вас, папаша, и земля не вертится.

— Точно,— подтвердил Кирпиков.— Пойду.

— С гостечком, Александр Иванович! — закричала Дуся. Она караулила Кирпикова у крыльца.— Пошабашили на сегодня?

— Здравствуйте, теть Дусь.

— Здравствуй, Коленька. Помочь тяте-маме приехал? Не забываешь стариков.

— Да надо.

— Как не надо, как не надо. Так, Александр Иванович, себе начнете копать? Или со встречи-то в первый день вроде неудобно гостей запрягать? А я думаю, дай ветвины обстригу, разъезжать Александру Ивановичу будет легче. И ветвин-то всего ничего, ссохлые.

— Сейчас раздернем.

Дуся, подавляя радость, шла рядом и спрашивала:

— Вот вы в городе живете, ближе к ученым, скажите, ведь это от космоса такая жара? От спутников?

С удовольствием ожидая завтрашнюю физическую нагрузку, сын оглядывал огород, поглядывал, к чему бы приложить руки и сегодня. Вопрос Дуси насмешил его.

— Мы теперь переживаем период общего понижения. Но бывают и аномалии, как, например, нынче. Жарко. Значит, потом холод.

— И долго этот период протянется?

— Лет сто. Геологическую секунду.

— Сто лет — секунда! — ахнула Дуся.— Мы и по секунде не проживем? Ой! — Она вскинулась, так как Кирпиков появился и уже наставлял плуг.

Мерин выскался за дни уборки и понуро ждал команды.

— Дай, пап, пройдусь,— попросил Николай.

— Попаши-ко, батюшко, попаши,— обрадовался Кирпиков.

Приятно было смотреть на сына. Он шел за плугом прямо, не сгибался, а это признак умелого пахаря. Не давил на ручки, не дергал вожжи, доверялся коню. Пласт выворачивался ровно, ни одной перерезанной картошки не забелело.

— Коля-я! — позвала невестка с крыльца.

Кирпиков подосадовал: только парень вошел во вкус, она уже

тут. «Подмяла Кольку,— сердито подумал он,— загнала под каблук».

— Ну, зар-раза! — гаркнул Кирпиков, сменяя сына.

Методично шагавший мерин справедливо обиделся. Вообще ломовая лошадь не сердится на возчика: тот тоже подневольный, но зачем зря-то кричать?

Дуся подскочила и шлепнула мерина по спине, показала Кирпикову готовность помочь.

«Посоветовать Кольке поучить жену? А не хуже ли обернется? Уйдет и дочь заберет. Если б оставила. Эх, это б был выход!» Кирпиков даже вздохнул: мечтательная мысль, бывшая и прежде, снова мелькнула — уйди невестка от Николая, оставь Машу, тогда Маша, конечно, досталась бы старикам.

Мерин шагал быстро, давая понять хозяину, что и без крика можно найти общий язык, и они скоро закончили Дусину одворицу.

— Айда, пап, в баню,— позвал Николай.— Супруги нас бросили, в магазин пошли. А завтра уедем, не успеем.

— Мерина поставлю и идем. Веник пополнее достань.

На чердаке на прежнем месте висели веники. Против прежнего они были малы, листья высохли до пепельной ломкости. Николай осторожно отвязал один, хотел слезать, но какое-то воспоминание остановило его.

Около этого окна он готовился к экзаменам в седьмом классе. Разный мальчишеский хлам: проволока, гвозди, шалнеры, всякие железки вызвали улыбку. Зачем-то все надо было, натаскивал. Мечтал что-то построить, да так и промечтал. Четырьмя днями промелькнуло детство: зимним — белым, осенним — золотым, весенним — дождливым и летним — зеленым.

«Так что же вспоминалось-то?» — мучился он. А, вот что. Обида на отца. Он не дал учиться после семилетки. Как ни просился Николай дальше, отец заставил его пойти в колхоз. Десять классов Николай закончил уже в армии, а после службы — вечерний институт.

Сейчас Николай прощал отца. Волей-неволей поймешь его: легче заставить работать остальных людей, когда не жалеешь родных. «Бей своих, чтоб чужие боялись,— усмехнулся Николай.— Ну как было, так и было. Теперь не воротишь. А отец уж старик».

Стоял еще день, в бане было свободно. Выбрали скамью возле окна. Оконные стекла, до половины замазанные белилами, еще не запотели, и виднелась лампочка на столбе. Она горела, но тускло.

Отец ошпарил веник. Вода в тазу потемнела, запахло, как лесной прелью после дождя. Николай рывком отодрал разбухшую дверь в парилку. Охнул и, жмурясь, аккуратно пошагал вверх по ступенькам на полок. Там, трудно различимый в пару, лежал человек.

— С успехом трудиться,— пошутил Николай и крякнул, чувст-

вуя, как зябнет от жары, как истомно вживается тело в высокую температуру.

— Дверь-то че нараспашку? На тройке заезжаешь? А-а,— узнал лежащий Кирпикова. Это был Афоня.— Здорово, Сашка. Не выстужай, не выстужай да покрути колесо. Дай газу до отказу и скорости все сразу.

Зашипело — Кирпиков открывал паропровод. С хриплым свистом пошел в щели полка серый пар. Николай заплясал и свирепо стал бить себя. На коже проступили красные полосы.

— На-ко моим,— сказал Николаю Афоня.

— Давай-ка, давай, батюшко,— весело сказал отец, приседая и прижимая к голове горячие уши.— Ну па-ар, самый жаровой пар.

Николай посмотрел на веник Афони и засмеялся:

— Силен, бродяга!

— А твоим только комаров отгонять.

Обычно парятся березовым веником. Кожа от него становится упругой и скрипит под пальцами. Но какой же был у Афони, если он так презрительно отозвался о березовом?

Дубовый? Есть любители и на дубовый. Хлестаться дубовым чувствительно, присадисто, но зато уж и жить после него хочется. Но и не дубовый был у Афони.

Может быть, пихтовый? Этот сортом повыше, встречается в банях редко. Пихтовый пахнет смолой, он тяжел, сбивает с ног. От него глохнешь и хочется убежать невымытым. Нет, и не пихтовый был у Афони.

Какой же тогда? Знатный был парильщик Афоня, явился к первому пару, лежал-подремывал в этом раскаленном воздухе, в котором колыхнуться без ожога трудно, и веник у него был соответственный. Можжевеловый был веник. Это зеленый пучок колючей проволоки, это куст азиатских роз без самих роз, с одними шипами. Но всякое сравнение вылетит из головы, когда тебя стегают таким веником. Самому париться можжевельником невозможно — жалко молодой цветущей жизни. Новобранца-парильщика двое держат, один парит, или, вернее, порет. Бедняге кажется, что кожа на нем рвется в лохмотья, ребра исцарапаны, что конец света для него наступил намного раньше, чем назначено судьбой, а всего-то-навсего исполняется выдуманный закон — добро насильственно. Выйдет парильщик с померкшим светом в очках, добредет до крана, сунется под холодную струю, сядет на пол, впадет в небытие, потом потихоньку оклемается, и потихоньку забрезжит ему новый свет, свет того солнца, когда был он молодым, когда будущее было безбрежно, безгрешно и стремительно летело к нему, а не улетало. И вот он окончательно очнулся, и вот он видит...

Не зря, наверное, можжевельником на севере выпаривали всю

заразу, а из южного брата его, кипариса, резали кресты — и нательные и могильные...

— Дай-кося,— сказал Кирпиков. Взял, хлестнул.— Нет, Афоня, вышел я из возраста. Ну, Николай! Воскресни!

— Нет, не осилю,— ответил сын.

Допаривались внизу. Афоня все подбавлял пару и все истязал себя, рассуждая, что народ нынче пошел хуже прошлогоднего, вот раньше были парильщики, теперь что! Теперь — тьфу! Да и сам он, Афоня, со всеми своими соплями до прежних не достигнет.

Еще ноги попарил Кирпиков, весь взмок, ослабел. Николай похлестал его по спине.

— В стекляшку-то заходи, к Лариске-то! — орал с полка Афоня.— Кольку веди. Колька, слышь, встретимся в пивной. От рубля и выше! Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? — И он поддавал пару и хлестался.— Уходите? — кричал он.— Так придете или нет?

В мыльной уже копился народ. Кирпикова окликали, здоровались, и ему было приятно, что он с сыном. Говорили, что наконец-то собрался первый за все лето дождь, маленький, но все же. Сын сделал еще заход в парилку, отец остался. Налил горячей воды в старый таз, грел ноги. Видимо, ноги первыми откажут ему. Хоть сердце и дало весной и летом знать, но с той поры не тревожило. Ногам больше всего досталось в жизни. Сколько матушки-землицы перемерено ими. Но и спасибо им — не давали стареть организму. Ноги городских жителей жалеют автобусы и трамваи, зато первыми отказывают у горожан пищеварение и нервы.

Сын грузнел, это Кирпиков замечал от приезда к приезду. Сейчас его не сравнить с тем, когда он вернулся со службы. Работа у него сидячая — инженер-технолог. Часто засиживается. Это Кирпиков узнал от невестки, когда она при нем упрекала Николая в неумении жить. «За переработку тебе не платят, рабочие получают больше тебя; и зачем тогда было учиться?»

«Эх,— подумал Кирпиков,— как вывела: парень виноват, что учился. Да что я снова о ней?»

Ноги притерпелись к воде, и Кирпиков решил подгорячить ее. Пошел к крану у окна, ладонью протер стекло. На улице уже стемнело, дождь сбрызнул листву — и она радостно горела в свете лампочки.

Сын вернулся из парной. Посмеиваясь, сказал, что Афоня выходить и не думает, что можжевельником попариться он, Николай, натуры так и не набрался.

Из парилки доносился перестук веников, будто там молотили.

В углу, как снятые с вооружения, копились выпаренные веники.

— С легким паром,— говорили им в раздевалке.

— А вас с будущим,— отвечал Кирпиков.

— Мы в детстве шутили, отвечали: «С тяжелым угаром». Помнишь, ты мне поддал? — спросил Николай.

— Дак зачем дуром-то шутить?

— А мама маленьких окачивала и приговаривала: «С гуся-лебедя вся вода, с нашего Коленьки вся худоба».— Он хлопнул себя по животу.

После бани дышалось легко, да и воздух после дождя помягчел. Узкие матовые листья акаций перевешивались через палисадник. Деревянные тротуары качались под ногами. Сумерки были прозрачными.

Николай нес сумку с бельем, Кирпиков веник.

— Пускай на квартиру,— пошутил Кирпиков и засунул веник в сумку.

И эта давняя шутка, и эта просторная даль вверху напомнили Кирпикову те времена, когда дети уже выросли, но еще не разъехались.

Почему-то вспомнилось, как взяли они двенадцать инкубаторских цыплят. Два назавтра окоченели. Младшенькая завернула их в лопухи и похоронила. Поставила на холмик крестики из лучинок. И — додумалась же! — наготовила еще десять крестиков и выкопала десять ямок. И точно: все крестики пригодились.

— Ну Афоня и исколот,— удивился Николай.— На груди крест и написано: «Отец, ты спишь, а я страдаю».

18

За ужином Николай нажимал на материнскую стряпню, невестка ела только зелень.

— Пополнеть боюсь,— наперед объявила она.— Коля разлюбит, к молоденьким свистушкам побежит.

— Из-за пополнения,— подметил Кирпиков.— Теперь уж нет того, чтоб рады любой еде. Уж не думаешь, что на завтра.

— Как это не думаешь? — возразила невестка.— Конечно, купить стало доступнее, но денежки вынь да положь. Сходила в магазин — пятерка выскочила, съездила на рынок — десятки нет. А что купила?

Не хотелось Кирпикову плохо заканчивать день. Все-таки сын приехал, попахал маленько, дождик пробрызнул, в баньку сходили.

— Вот я вам про сушки расскажу.

— Ой,— подскочила невестка,— а ведь сижу, растопша, мужички-то наши, мамаша, всухую молотят.

— А вот он, ваш дорогой! — объявил Кирпиков.— Жив.— Он достал из шкафа коньяк.

Невестка снялась с места и убежала в переднюю.

— Коля! — позвала она оттуда.

— На фронте в сапоге Колькину фотографию носил,— сказал внезапно Кирпиков.

— Ты чего это про сушки-то? Ты плохо не рассказывай,— предупредила Варвара.— Было и было.

Невестка вошла, развернула и встряхнула коричневую кофту.

— Носите, мамаша, на здоровье.

Кофта явно была с плеча, иначе зачем бы Николай стал говорить:

— Не сочти за подарок, носи, и все.

— А много ли я ее носила,— вмешалась невестка,— да она ненадеванная.

— Спасибо, спасибо,— отблагодарила Варвара.

— Прежние назначаю в утиль,— сказал Кирпиков, глядя, как полнит рюмку скользящая струйка.

— Не нравится — сдайте,— обиделась невестка.— Игрушки приняли и слова не сказали.

— Я к примеру,— объяснил Кирпиков.— Это тоже наболевший вопрос — куда девать тряпки? Раньше подбирали нищие. А не нищим, так на половики. Сидим маленькими, на полоски рвем.

Кирпиков действительно вспомнил половики, эти разноцветные дорожки, по которым он мог бы убежать к началу своей жизни и дальше.

— Мать ткет, цвет подбирает: красное, черное, желтое, перебивки белым. Потом ползаем на коленках, узнаём: это штаны мои, это тятькина рубаха, это дедова еще гимнастерка.

— Что вы, папаша, все про раньше да про раньше? Вы б еще царя Гороха вспомнили.

— Верно,— поддержала Варвара.— Моя бы воля, запретила бы вспоминать.

— Как будто сейчас проблем нет,— добавила невестка.

— Пап, ты чего хотел про сушки-то рассказать? — вмешался сын.

Кирпиков сердито отодвинул рюмку. Рассказать про сушки хотелось. Это бы косвенно извинило его перед Николаем и немного бы дало понять невестке, как тяжело доставалось.

— История дает крепость и святость,— сказал он упрямо.— Вспоминать надо. За два метра ситца год, бывало, настоишься перед матерью.

— Вы говорите не по сезону, папаша. Если есть возможность, почему я должна себе отказывать? Другой жизни не будет. Вы рассчитываете на вторую?

— Наука уверена в обратном,— вступил сын.

Кирпиков вспомнил про тетрадку.

— Расскажи про сушки,— чуть ли не взмолилась Варвара.

— Сатинетовые штаны мать сошьет, катком выгладит, идешь по деревне, гордишься, а босиком. А про сушки — вот. Было четырнадцать мне, и ушел я тогда за деньгами. С парнем одним, ровня по годам. Возили в Омутной на завод паленьгу...

— Поленья такие огромные,— объяснил Николай жене.

— У хозяина жили. Полтинник в день и кормежка его. Кормил хорошо: вечером пельмени с капустой или грибами, утром оладьи. А домой ни писем, ни висем — и считали уж неживым. А кончался период нэпа — деньги были твердые, полтинник много

значил. Через какое-то время рассчитал он нас. В обед. Под вечер пошли. Я набрал ситцу на рубаху, фунт сушек маме, двадвать пять рублей за пазухой. Дал хозяину по ржаному ярушнику, нажился же он на нас: возы с дровами, ровно с сеном, высокие, цепями затягивал — заводской человек. «Ночуйте».— «Нет, домой надо». Шестьдесят верст. Вышагали двадцать...

Варвара тихонько собирала посуду. Уж и тем была она довольна, что невестка не встревает.

— ...Двадцать верст вышагали. Ярушники съели. Уж поздно. Батюшка милый, лес кругом, ночка темная, по четырнадцать лет. Пилы на плечах, фунт сушек маме несу. Еще десять верст. Сил идти нет, а ночевать страшно. Сторожка. Теплая еще, но хозяина нет. Постеснялись посидеть — дальше идем. Деревня. И вот не забыть: сидит мужик, лапти плетет, рядом сынок года в четыре, нога на ногу, сидит с самокруткой.

— Дикость какая,— вставила невестка, показывая, что слушает.

— Бедность у них, один чугунок с картошкой, а угостили. А сушки я не показал, берегу. Был кусочек сахару, опилышек, дал ребенку. Не берет, не понимает, ни разу не видел. Посидели. Утро уже. Дружок взял пилы, а я пять изб обошел с молитвой. Не помолись, так не подадут. Бога-то помнить и голод-батюшка заставлял. Дали два ломтя да три шаньги. Вышел к другу за полевые ворота, поели и пошли. Вышагали к ночи. А меня ведь уж, говорю, не ждали. Сгинул и сгинул, когда жалеть. Достал четвертную. Лошадь стоила двадцать рублей, корова четырнадцать. Отец не берет, не верит: «Где взял? Забирай деньги, уходи, не надо бесчестных». Тятя, говорю, тятя, дак ведь вот и вот что. Работал по полтиннику в день, кормежка хозяйская, маме сушек принес. Она ревет-уливается... Вот ведь как денежки-то доставались. В той же деревне — крынка молока семь копеек, а поскупились выпить: семь копеек надо сберечь.

— Вот именно,— сказала невестка.— Сейчас гляжу на этих оболтусов: кино, вино и домино. Дочь одну и погулять опасно выпустить. Правда, если что, и из окна крикну.— Заметив, что сбилась, невестка вернула разговор к деньгам: — Правильно, ценились деньги, это сейчас как был стакан семечек десять копеек, так и остался. В десять раз дороже.

Выдумав заделье попросить закатку для консервов, пришла Дуся. Ее оставили пить чай. И она поддержала невестку, когда та сказала:

— Вы переживаете, что мало учились? А зачем? Не надо учиться, надо уметь жить. Сейчас как раз неученые лучше живут.

— Легкие деньги всегда не в пользу,— сказал Кирпиков,— к хорошему не приведут.

— Что-то я не видела, чтоб умным людям деньги вредили. Конечно, дай пьянчуге хоть тысячу, он и ее просадит.

— Да, да,— поддакивала Дуся.— А официанты?

— О! Это безработь, я их так называю,— сказала невестка.— А перед ними все добрыми хотят показаться. Доброта под градусом. Да если даже они чаевых брать не будут, а по копейке всего с человека, да у них их сто в день — сто копеек. Кто нам дает по рублю просто так? Кто? — Невестка разошлась.— Люди рвут и мечут. Умеют жить. Да даже в театре. У нас у одной сестра в театральной кассе, так там так: наденешь свой перстень, тебе платят, вот играйте вы в этой телогрейке комсомолку тридцатых годов, вам за нее заплатят.

Дуся недоверчиво засмеялась, но и сама вставила пример:

— А могилу копать, так слупят.

— Да! На смерти наживаются. А мясники! Сплошная пересортица, как там угадать, до какого ребра какой сорт? Где зарез, где рулька? — Невестка говорила отработанно.— А в Кисловодске я была по путевке, да поди еще достань эту путевочку, так там нарзанные ванны по четыре-пять рублей. Это уж дальше ехать некуда. Везде, везде так! — заключила она.— А вы говорите.

Получалось, что и Николай думал так же, как и жена, он сидел молча.

— Эти и подобные люди,— терпеливо сказал Кирпиков,— заметь на полях, последними войдут в коммунизм.

— А они уже вошли: живут по потребности.

— Вы тут спорьте,— встал Николай,— я пойду сюрприз приготовлю.

— Хватит уж,— сказала Варвара, неизвестно что имея в виду: то ли хватит спорить, то ли хватит сюрпризов.

Дусе хотелось побольше услышать новостей, и она напомнила:

— Да неужели выкупаться пять рублей?

— Это значит,— сказал Кирпиков,— жизнь такая хорошая, что ничего не жалко, чтоб ее растянуть.

— Живут — будьте уверены,— продолжала невестка.— Меня на курорте один мужчина с Кавказа несколько раз на «Волге» подвозил... Коля, я тебе рассказывала,— повысила она голос,— так вот он говорил, что пока у него был «Запорожец», с ним соседи не здоровались. Так что, папаша, умеют жить, умеют. И без образования. Это не мы. Мы с Колей, если б не собрали на кооператив, так бы и жили в конуре.

— Четыре метра на человека — это еще не конура,— сказал из комнаты Николай.

— Ну и оставался бы,— отрезала невестка.— Кто как воспитан.

Дуся засобиралась, обещая на завтра помощь, отработку за сегодняшнее, и ушла, вздыхая, как тяжело жить. И Николай сразу же крикнул:

— Попрошу в кино!

— Ой, и точно! — вскочила невестка.— Ведь Коля проектор привез. Вы разве не помните, он снимал в прошлом году.

Пошли в комнату.

Николай направил луч на русскую беленую печь, получился хороший экран. Вначале пошли незнакомые места. Невестка стала объяснять:

— Это мы в Ялте. Пристань, это «Шота Руставели», делает круизы, плавает.

— Ходит! — поправил Николай.

— Ладно, моряк. А это подвесная дорога. Коля едет в следующей корзине. Это шашлычная, называется «Грот». Ты засветил? А, нет, там темно. Это еще одна пара, мы вместе отпуск гуляли. Море, ну это не видно, я... памятник в виде кольца погибшим, опять подвесная, вниз...

— Я тут прогоню,— сказал Николай.

— Да, тут вам неинтересно. Тут я на «Метеоре». Говорила тебе, Коль, давай тебя поснимаю.

Экран запестрел, запестрел, вдруг остановился. Зима. Городской двор. Маша!

— Сверху снимали. Кричит: иди сюда. Мама с ней. Варежку ей надевает. Мама из магазина идет, закрывается. Машка опять. Я с ней. Коля говорит: сядь на санки, скатись для кадра. Я и села. Коль, скоро?

— Сейчас.

— Отец! — вскрикнула Варвара.

Их дом был на экране. Их дом. Самый настоящий их дом. Из калитки вышла Варвара и остановилась. Получилось как будто не кино, а фотография. Неподвижно. Потом появился Кирпиков в выпущенной рубахе.

— Папаша гуляет!

— Это ты мне сказал: снимай, Колька, я тебе все крестьянские работы перечислю.

— Выпивши был,— заметила Варвара.

На экране Кирпиков схватил топор и тяпнул по бревну. Потом схватил соху, подержал за ручки и бросил.

Потом сбегал к конюшне и там стал показывать руками. Камера придвинулась. Кирпиков хватал поочередно вилы, грабли, литовку, лопату и делал ими характерные движения.

— Чарли Чаплин,— сказала невестка.— Помнишь, Коля, ты пускал побыстрее? Мы лежали! Машка прямо укатывалась.

После черно-белой пленки Николай показал цветную — «Пес Барбос и необычный кросс». Словом, вечер получился удачным.

А Кирпиков ночью глаз не сомкнул. Ничего, что наприсбирывала невестка, не было обидно. Она так жила, но кино его пришибло. Он там дерганый, выпивший, клоун, петрушка, дурак дураком. Надо эту пленку сжечь, думал он, непременно. Да неужели останется от него только это, то, что он бестолково и глупо тычется по двору? Стыдища! Позорище! Но Николай-то, эх! Ни раньше ни позже спаузило его снимать. А он-то, он-то сунулся, выхвалился, ах, нехорошо. «Неужели я такой, вот этот чужой, неопрятный, лысый поддергай?»

Кирпиков застонал даже. Ну вот снимай бы он сейчас его, трезвого. И главное жгло — они там смеялись! Они пускали побыстрей, он дергался еще бестолковей, как на ниточках. И смотрела Маша. И смеялась? А что? Она могла из него веревки вить, может, думает, что он шутит и ее смешит? Надо так и сказать: специально.

Спал честной мир, когда Кирпиков встал, подошел к окну. Воздух уже не отдавал дымом, пожары кончились, редкие огни на столбах помаргивали, стоял туман.

За иконой на божнице лежали куриные косточки. Кирпиков положил их в карман, тихо-тихо вышел на крыльцо. Сильно хотелось курить, но крепился. В темноте не нашел секретиков. Выкопал щепочкой новую ямку, положил туда свои фотографии, зарыл. Сел на бревна и замер. И как будто теплый последний дождь ждал его, висел на паутинках, сразу стал шелестеть, принизил туман. Легче вздохнулось и легче стало думаться, что сейчас все лучше в лесу, все тише, скоро не будет птиц, осядут к подножию листья, и каждая береза будет стоять над ними, как бы отражаясь в них, скоро пойдут снега, растают, снова пойдут. Сиротливо и бесхозно будет в лесу, а наутро по снегу будет видно, как много в лесу живья.

Утро долго потягивалось, как ленивый, но сильный работник. Наконец разошлось, нéто-нéто разгулялось. Обдуло, обветрило пашню, посыпались иголки с лиственниц, запоздало разорались петухи, будто им платили за силу крика, а не за точность его по времени. Петухи шаркали ногами возле каждой пустячной находки. Курочки бормотали благодарность, чинно кушали, но посяганий избегали. Другие курочки с утра пораньше неслись и отмечали это событие парадным кудахтаньем. Каждой из них подкудахтывал петух, напоминая миру и о своей кое-какой заслуге в рождении яйца.

Но раньше солнца, раньше петушиных криков были на ногах в доме Кирпиковых.

— У нас с Варварой,— весело говорил Кирпиков,— сорок лет борьбы за первое место, кто раньше встанет.

— И как? — спрашивала невестка.

— С переменным успехом.

— А ты, Коля?

— Я просыпался, они уже на ногах.

Невестка работала лихо: трясла мешки, готовила ведра, обстригала ветвины. И кричала:

— Спать долго — вставать с долгом!

— Ишь чего знаешь,— похвалил Кирпиков.

— То ли еще!

Оба соблюдали правило — не перекоряться перед работой. В начале первого пласта Кирпиков подозвал сына, достал из кармана

куриные косточки, отдал одну целую, вторую разломил и большую часть тоже отдал.

— Передай Маше. Она поймет.

Славный был день. Варвара только и просила Николая поменьше сыпать в мешки, чтоб не надорваться, но тот, довольный случаем показать здоровье, ворочал за троих. Невестка так ухватисто собирала обсушенные клубни, так шустро сортировала их на мелочь и крупные, что залюбоваться можно было.

Все мог простить Кирпиков за сноровистую работу. Когда он даже со стороны видел слаженные действия, он оживал, он видел, как хорошеют работающие артельно, как внутренне горды собой. И как плохо, что машины, заменяющие людей, разобщают их.

Не вытерпело и Дусино сердце. И хотя хотела она подтакать к окончанию, взяла и вышла. Даже перекура, который делается в бригаде с приходом нового человека, не устроили. И — смахнули одворицу.

— Как украли день, как украли,— говорила довольная Варвара.

Курицы свободно ходили по пашне, рылись в земле. Рано слепнущие, они клевали впустую. «Кормить да загонять»,— сказала о них Варвара и тяжело пошла к дому, стараясь незаметно разломать уставшую поясницу.

— Чего это людей смешить? — спросила она.

Она увидела, что Николай укладывает только хозяйственную сумку. Обычно они увозили по три-четыре мешка, договаривались с проводником, а от вокзала брали такси. Невестка подскочила.

— Вам, вам, все вам. Еще не знаем, еще не решено, но, может, подкинем на зиму Машку. Может быть такой вариант, что Колю пошлют за границу. И я с ним оформлюсь. Если что, вы тут с ней построже. Если что, можно и ремешком. Разрешаю. А то нынешние много воли чувствуют. Деньги на содержание будем посылать. Поэтому и игрушки вернули.

Вот она как повернула. Заграница — это ладно, раз надо, хоть на Луну полетайте, но так преподнести, как будто они заранее отработали за дочь, снабдили ее картошкой, будто бы не нашлось чем кормить,— это было обидно. Больше о Маше не сказали ни слова. Игрушек Кирпиков покупать, конечно, не стал. Сели на дорогу. Невестка налила Кирпикову побольше, а мужу сказала:

— Коля, тебе в дорогу.

Николай отставил стакан.

— Допьете,— заметила невестка.

Она накрасила губы. И на станции, когда прощались, поцеловала Кирпикова и вытерла рукой след поцелуя.

— Да,— спросила она,— что это у вас с водой было? На один колодец ходили?

Как раз на этом поезде приехал Пашка Одегов. Но толком не

поговорили, неудобно было отходить от сына и невестки, а он спешил. Сказал только, что церковь, бывшую в Париже, видел, что лесничий крепко переживает.

Вернулись домой. Смеркалось.

— Допей, отец,— сказала Варвара.

Кирпиков взял стакан Николая.

— Мать, что ты думаешь, неужели я дойду до допивок! — И выплеснул под порог.

Свой стакан слил обратно. В бутылке еще было.

— Мать,— сказал он через полчаса.

Она молчала.

19

У Васи не было денег, и за это все его поили.

— Милая, не доливай,— просил он Ларису,— все равно расплещут.

— Выкрою,— отвечала она.— Собирай кружки.

Вася слонялся по пивной и кричал:

— Теперь об этом можно рассказать!

Но всем уже надоело слушать, как жена издевалась над ним («хазйла», говорил Вася), как она получала за дом, попавший в землетрясение, страховку, а Вася остался без денег. «Зато я с вами!» — говорил он. «Тяни»,— предлагали ему. Он «тянул» и объяснял, что слово «бар» произошло вовсе не оттого, что они сидят-посиживают, как баре, не оттого, что здесь можно разводить тары-бары, хотя и можно, а всего-навсего слово «бар» означает сокращенное слово «бардак». Он, рыдая, убеждал, что пора кончать, что дальше ехать некуда. «Пора! Некуда!» — поддерживали его. «Бар! — кричал Вася.— А переверните — получается раб. Мы — рабы».

Михаил Зотов сидел в компании с парнем, бывшим зюкинским сторожем. Возле стола вертелись собаки.

— Как хотишь, а порядок нужон! — кричал Зюкин.

— Нужон!

— Александр Иванович! — закричали враз и Вася, и Афоня, и остальные.

Пододвинули стул, притащили пива, он не хотел, но все так любовно упрашивали. Он отпил глоток, отступились.

— Ничего, Афоня, не осталось,— сказал Кирпиков,— ничего. Родных надо любить, а получается, чужие люди дороже. А? Свой своему поневоле друг. Поневоле!

— Вчера после бани,— говорил, в свою очередь, Афоня,— вы-то ушли, я одеваюсь, хватился — нет. А тут фотограф мыться пришел. Говорю: давай. Дали. Он в баню не попал, а я до укола напился. Мотор заглох. Тасю вызывали. Она говорит: больше ни грамма, а то лапки отброшу. Я слышу и думаю: после бани Суворов велел украсть, но выпить. Суворов зря не скажет.

Вряд ли генералиссимус мог предвидеть, что ему припишут столь энергичное высказывание о послебанной чарке, вряд ли поощрял пьянство, иначе как бы выиграл столько сражений, но велика ссылка на авторитеты. Вообще производство афоризмов — дело гениев. Изречения простых смертных или недолговечны, или приписываются тем же гениям. В этой же пивной Кирпиков изрек о красоте — природе жизни. И что? И кто помнит?

Собаки, одуревшие от дыма и шума, совались на улицу, но каждый раз отскакивали. Уже начинались объяснения в любви и ненависти; уже Вася сказал Кирпикову: «Как хотишь, а порядок нужон»; уже буфетчица устала кричать: «Певцы! Курцы! А ну марш!» — а все не было легче.

— Нищее сердце, не бейся: все мы обмануты счастьем! — кричал Вася и пускал слезу.— Александр Иваныч, маленькая собачка до старости щенок!

— Закури,— предложил Афоня.— Термоядерные,— сказал он о сигаретах.— Живем и умирать не думаем. Ты смотри, ведь нигде, кроме как у нас, нельзя стрельнуть закурить. В любое время дня и ночи. У незнакомых. Но,— сказал Афоня, резко выдыхая дым и снова затягиваясь,— сделай пачку по рублю и иди стрельни — я погляжу.

— Живем плохо, умирать не хотим. А ведь никуда не денемся, умрем.

— Не, не сразу,— утешал Афоня.— У меня отец стал помирать, причем окончательно, восемь десятков яиц на поминки купили. «Отнеси в баню!» Отнесли. «Пропарьте». Кровь пошла горлом. Ожил. Утром дрова рубил.

К ним подсаживались.

— Одна из гипотез,— говорил техник Михаил Зотов, энергично отбивая такт пальцем,— такова. Техника не нужна, достаточно взгляда. Магнитные силовые линии Земли, наложенные на наши, создают амплитуду. Сто человек взглядом смогут погрузить трактор. Каменные изваяния острова Пасхи...

— Но где же, где? — все спрашивал его друг.— Где исходный икс отношений?

— Наука идет по экспоненте,— говорил Зотов,— взрыв технократии, высвобождение рук при незанятом разуме...

И еще качались и плыли знакомые лица. Кирпиков чувствовал подпирающую тоску. Нехорошо было вокруг. Взвизгнула собачонка, прижатая дверью, отскочила.

— Тут вам не псарня! — кричала Лариса.

Люди окружали Кирпикова, подсаживались, заговаривали, поздравляли с возвращением, а он не отвечал, вздрагивал от хлопков по спине и только раз спросил:

— Помните Делярова?

— Нет,— ответили ему.

— Зря.

Память отшибло.

Сквозь дым пробирался от прилавка Афоня:

— Саш, а чего мы связались с этим пивом? Нальешься — и водит из стороны в сторону. Сплошной люфт. А водки не купишь — закон. Утром мужики сидят, трясутся с похмелья, ждут одиннадцати. Похмелятся, тогда только работать. Тут обед. Для аппетиту надо? Надо: голодные не работники, потом как бы до закрытия успеть. Саш! Ты теперь вольный казак — картошка к концу. Погода шепчет: бери расчет!

В Кирпикове все больше оживлялось мучительное чувство тоски, голова туманилась. Верно, от дыма, ведь почти ничего не пил. Скверно было на душе.

Кирпиков резко отодвинул кружки, вытер мокрую руку. Он хотел уходить, но Михаил Зотов во всеуслышание объявил:

— Концерт!

— По заявкам! — крикнул Зюкин.

— Мелкие люди,— сказал Кирпиков.— Я вас всех по колено вброд перейду.

Он пошел к выходу, открыл дверь, выпустил собак и услышал, как язвительно крикнули:

— Сам-то глубокий!

Он сдержался и спокойно ответил:

— Нет.

— Ну так чего? — Он узнал Зотова.

— За всех вас столько горя приняли.

— Я не просил,— ответил Зотов.

— Такую чашу выпили.

— Мы, может, побольше выпьем, откуда ты знаешь? — ответил Зотов.

— Ты побольше и пьешь! — одернул Зотова Афоня, указывая на стадо пустых кружек на столе у молодых.

Кирпиков снова открыл дверь, и та же самая собака, которая только что рвалась на улицу и которую он только что выпустил, вбежала обратно.

— Не сдаемся,— кричал ему в спину Зюкин,— хоть мы и мелкие, а не сдаемся! Возили на лошадях, потом на машинах, уничтожали! Сейчас вагонами возят — не страшно!

Новолуние стояло над поселком. Но полной темноты не было. Обозначались крыши, деревья, столбы. Даже провода угадывались. Стоял какой-то моросящий свет. Если бы Кирпиков знал его название, он бы сказал: астральный.

20

Началась и медленно шла вторая бессонная ночь. Кирпиков вывел мерина. Взнуздал. Подвел к штабелю дров, завалился мерину на спину. Неизвестно только, что тот подумал, уже лет пятнадцать на него не садились. Сразу за поселком Кирпиков стал понужать, и мерин не вдруг, не сразу разошелся и побежал. Не галопом,

уж куда, даже не собачьей рысью, а тем нестандартным бегом, который именуется треньком. Кирпиков хлестал по бокам, шее, потом бросил поводья, а мерин все бежал, все потряхивался, боясь остановиться, чтоб не упасть. Только в лесу Кирпиков услышал перехватистое дыхание мерина и перевел на шаг. Мерин споткнулся о корни, потом еще, и Кирпиков повел его в поводу.

Лес был беспорядочен и жесто́к в этом месте. Никто не озаботился вырубить какие-то деревья, чтоб за их счет дать волю остальным, и росли все, выживая друг друга, и если бы сейчас решить их проредить, то было уже поздно — и корни и стволы переплелись и зависели друг от друга. Но, может быть, это было лучше: внизу было болото — и какой-никакой лес, а это болото держал.

Они шли долго, и оба устали. Остановились. Кирпиков захлестнул повод уздечки за дерево, сам привалился к другому и закрыл глаза. Мерин вначале громко дышал, потом затих, будто его и не было. И слышался только шум вверху, как будто что-то все время приближалось. Спиной Кирпиков чувствовал, как ветер сгибает дерево, дерево сопротивляется, но ветер снова сгибает его. И снова что-то приближается, будто без конца подъезжает большая машина. И вдруг — откуда взялась — крикнула птица. Испуганный хриплый звук. Кирпиков вздрогнул и встал. И, уже отвязав повод и пошагав, усмехнулся: «Страшно? Значит, жить хочешь? Что ж ты раззванивал, что изжился?»

У дерева, которое качалось и покачивало его, ему показалось, что он давно сидит тут и знает течение времен года и их вечность, что он чувствует погоду, не угадывает по приметам, а чувствует, то есть все ближе подходит к природе, перед тем как перейти в нее. Например, завтра будет последний в эту осень солнечный день. Если бы он знал, что человек — часть природы, он бы не согласился, хотя прожил именно по законам природы — от рождения, через расцвет, к старению.

Он подумал еще, что что-то исчезло, и понял: не слышно поездов. И если сейчас все идти на север, то их не будет слышно до самого океана. Какая-то мысль, важная для него, все ускользала, ему все хотелось связать концы, но все ползло под руками и некуда было ткнуть иголкой. «Да, да,— подумал он,— вот это — я бил мерина, я торопился. Мне надо было торопиться, но свое надо всегда кому-то во вред. Но нельзя же жить, чтоб ничего не надо...»

Явилась в поселок Маша такой невестой, такой разодетой, что собаки только молча переглядывались. Она прошагала вдоль новеньких коттеджей, влетела в особняк Кирпиковых, схватила их в охапку и закружила.

— Прошу хвалить! — кричала Маша.— Первое место!

Родители ее как уехали за границу, так и работали там по

договору, а вот и она съездила, да не так просто, а на всемирный конкурс ума и красоты, и заняла первое место.

Когда она досыта набегалась по саду, когда переоделась и пошвыряла в передний угол под иконы привезенные наряды и сели пить чай, стала рассказывать...

— Вручение наград вы видели по телевизору?

— Да,— ответили старики.

— Я чувствовала. И косточку куриную в кармане пощупала. Но вам же не показывали этапы борьбы. Я же чуть не вылетела. Там стали измерять размеры — плеч, груди, бедер, ну и для этого надо раздеться совсем. Другие хоть бы что, а я думаю: на фиг такой график. Мне говорят: иначе нельзя, надо, ну, говорю, нет, посылайте других. И — не стала. Думаю, да чтоб ко мне с рулеткой полезли!

— Правильно,— сказали старики.

— И отодвинули на последнее место. Так и объявили: Мария такая-то, оттуда-то, не поддавшаяся общему измерению. А вырвалась вперед на конкурсе предполагаемого ублажения мужа, в скобках любовника.

— Господи,— сказала Варвара.

— Вот тебе и господи,— засмеялась Маша.— Тебя, бабушка, вспомнила, ты-то, думаю, как-то сумела. Начали, гляжу. Думала, срежусь: другие и кофе в постель, и газету, и освежающие ванны, ой, думаю, да когда простой русской женщине этим заниматься? Вызывают. Спрашивают: предполагаемые ублажения мужа. Про скобки не сказали. Ладно. Говорю: а лишь бы был жив-здоров. Долго совещались, дополнительный вопрос: «Что такое: лишь бы?» Ну, отвечаю, если я полюблю, так остальное и так ясно. Ну, а совсем заняла первое место,— повернулась Маша, обнимая Кирпикова за худые плечи,— на конкурсе ума. То есть, значит, вопрос такой: что самое главное в нашей жизни? Чего только они не присобирывали, в основном нажимали на условия, чтоб и обеспеченность, и безопасность, и свобода, и то и се, а я достала, дедушка, твою фотографию, вспомнила твои слова и вышла вперед.

— Слушай его, научит,— иронически заметила Варвара.

— Научил! Вот вам, говорю, и выложила как выпечатала, все тут вам главное: и свобода, и обеспеченность, и безопасность...

— Что ты сказала-то? Что главное-то? — спросила Варвара.

— Разве тебе дедушка не говорил? — удивилась Маша.— Что же ты, дедушка, секретничаешь? Да! — спохватилась вдруг Маша, даже подпрыгнула.— А награда-то!

Наградой был чайный сервиз удивительной красоты. Легкие расписные чашки осветили изнутри сервант. А одну чашку, самую красивую, Маша взяла и бесшабашно хлопнула об пол.

Собрала осколки и позвала дедушку делать новые секретики.

— Дедушка,— спросила она по дороге,— а помнишь, ты мне про тучи рассказывал? Как они схлестнулись не на жизнь, а на смерть, помнишь? Я думала, сказка.

Кирпиков стал улаживать коня. Лесник Одегов вышел на крыльцо.

— Кто?

— На постой-то пустишь ли?

— За постой деньги платят.

— А у меня натурой.

— Я как знал,— обрадовался Одегов,— ужинать не садился.

Лесничий щурился на этикетку, надел очки.

— Французский коньяк! — сказал он.— Здесь? Оригинально.

Кирпиков тянул к огню вовсе не замерзшие руки, совался помочь. Сели. Одегов все говорил:

— Думали, поедим да спать, а тут на-ка. Еще и выпьем. И не грех. Верно, Николаич? Такое лето скачали.

— Не грех, не грех.

Выпили за прошедшее лето, за потушенные пожары. Сколько подросту погибло, сколько гектаров уже проделанных рубок ухода и санитарных смахнуло. Лет на пять... Какой! Считать с посадкой, на десять отдернуло.

— Главное, конец моим питомникам,— уже с привычной грустью сказал лесничий.— Уж так жалко — снизу подъело, думал, ничего; хожу, нет, желтеют. Вот тебе, Пашка, и резонансная ель. Вот тебе, Александр Иваныч, и карандашный кедр, и карельская береза. А ведь такие породы на такой широте.— Он улыбнулся вдруг.— Это природа сердится. Легко ли — всем нам. А ей?

— Это безобразие и невнимательность,— сказал Кирпиков.

— Вредительство,— заключил Одегов. Он разочарованно крутил в руках бутылку.— Саш, ты ее оставь или заберешь? А то масло в ней буду держать.— Он полез на печь и стал укладываться.— Попили, поели,— бормотал он,— пойти бы кого найти. Сейчас бы бабу — и полный порядок. Чего еще надо крещеному человеку?

— Чего ж от тебя жена ушла? — спросил лесничий.

— Не хочу, говорит, дичать. Хочу, говорит, к народу. А я, говорю, в лесу сижу для кого? Ну, говорит, и сиди. Может, чего высидишь. Встречаемся. Даже лучше. Захочет попилить, а я не ее, я бы тоже где и сорвался, а тоже нельзя. Будь твое питье, Саш, покрепче, ей-богу бы, к ней побежал.

— А чай? — спросил лесничий.

Одегов свесил голову.

— А не будет ли ваша такая милость, чтоб подать мне его на печку?

— Будет, будет! — весело сказал лесничий.

— А кто будит, всех раньше встает. Ну так, господа хорошие, слушайте мой отчет. Как я съездил в Слободской. Этому монаху, ребята, было легче. Кто его гнал? Кто над душой стоял: скорей, скорей? Сам подрядился и тюкал потихоньку. А там эта бабочка объясняет — и вот, главное, все на то прет, что без единого гвоздя. Так это же разве достижение? Это он специально. У гвоздей тоже дерево гниет. А вот днем выдьте, гляньте, какая у меня ошалевка, обшивка, гляньте! Не было в хозмаге трехдюймовки, я делал в паз,

бока в зарез, тоже без гвоздя. Вы там не больно топайте, мою избу тоже в Париж повезут.

— Через триста лет?

— Хотя бы. Слышь — три альбома тетрадей отзывов. Но вообще, ребята,— сказал Пашка энергично,— если французов такой пустяк восхищает, то я даже не знаю. Там дуракам только не видно, переводы уже сбили скобками и под коньком и у стропил. Теперь ей недолго осталось. Интересно, сколько бы он заработал? Даже по шестому разряду. За три года... На хлеб бы не заработал. Очень медленно.

— Значит, сделал бы? — спросил лесничий.

— А почему бы нет? Это ж красота — три года тюкайся, в душу не лезут, еду приносят. Ну, ребята, зря монаха хвалят. Французы кой-чего недопоняли.— Видно, лавры монаха возмущали Пашку.— Эка невидаль: без гвоздя! Он же нарочно, чтоб подольше стояла. Зато долго и делал. Никто же не гнал. Так и я могу. Да и вы сможете, нет, Николаич, ты вряд ли, ты отбился от топора, а Сашка хоть бы хрен.

— Не больно-то,— сказал Кирпиков,— я тут сруб поднимал, с бревном сколь возился.

— Так ты из-за бревна лазил? Нам говорят — Сашка в подполье сидит, с ума сошел. А меня чего не позвал?

Одегов первый уснул, а Кирпиков все ворочался и все не мог понять, зачем его сюда потянуло. «Ребята,— сказал бы он детям,— я пришел и ушел, а вам жить».

— Не спишь ведь,— сказал в темноте лесничий.

— Не сплю. Мы с тобой летом говорили, я думал и ни до чего не додумался. И в подполье был не из-за бревна. Я переживал, что малограмотный, а оказывается, ничего и не надо, надо только уметь жить.

— Всего-навсего,— сказал лесничий.— Тогда уж закурим.—Он сел, закурил.

Одегов почуял запах дыма и проснулся.

— А вот нынешняя пацанва,— сказал он, будто и не спал,— уже все, уже без мотора никуда. Товарищ Смышляев, отпустишь меня на три года? Через три года всех удивлю. Отпусти.

— На пенсию уйдешь — хоть на десять уходи.

— Тогда поздно, тогда сил не будет, нет, сейчас отпусти.

— Точно! — обрадовался Кирпиков.— Надо раньше. А то я соображать стал, а поздно.

— Я еще подумаю-подумаю и уйду,— сказал Одегов.

— И никто не скажет, что зря жил,— подхватил Кирпиков,— а я признаю — зря! Меня ведь можно было заменить, и даже лучше.

— Не ври,— оборвал лесничий,— не наговаривай. То, что ты жил и живешь, это большой плюс для всего человечества.

— Но меня ж можно было заменить!

— Кем?

— Да хоть Пашкой.

— А его кем?

— Да хоть кем,— сказал Пашка.— Ой, ребята, давайте спать.

Они умолкли. Кирпиков не рассказал что хотел: как было плохо в пивной, как обидели его сын и невестка этим дурацким кино. «А так мне, лешему, и надо,— подумал он.— Чему я их научил? Какой пример дал? Вот мне и вымстилось. Ладно,— вздохнул он,— лишь бы они не нажглись. А Машку пусть везут. Хоть увидит, как сохой пашут. Но разве без этого не проживет? Спокойно проживет». И это он собирался сохранить, ложиться на заморозку?

— Вот уж действительно поверишь,— заговорил лесничий, снова садясь и закуривая,— поверишь, что человек распространяет вокруг себя магнитное поле. Ты ведь не спишь?

— Нет.

— И тем более сильное, чем напряженнее он думает. А вообще хорошо, Александр Иванович, что ты приехал,— сказал лесничий.— Именно ты. Я очень тебе благодарен. Вот, пожалуйста, тебе ответ, в данном случае тебя никто не мог заменить.

— Николаич,— сказал Кирпиков после молчания,— а ведь я хреновиной занимался — надо было мне здесь быть, пожар тушить, может быть, и спасли бы чего.

— Может быть.

21

Светало. Роса, похожая на иней, захолодила ноги.

Изгородь, поленница, баня, копешки сена барахтались в тумане. По пояс в тумане стоял лес. Лес был неподвижен, тяжел, но что-то дрогнуло вдруг в его вершине. Кирпиков вернулся в избу, присел на лавку, потом тихо лег, и сразу и неприятно вспомнилось, как он издевался над Варварой, спрашивая, как ему лежать в гробу. Он знал, что, несмотря на его плохое отношение, Варваре будет горе, и ему захотелось на будущее, чтобы предчувствие конца не обошло его и чтоб он, как кошка, заранее ушел. Он сел на лавке. Было душно, может, оттого, что хватил свежего воздуха. «Это плохо, что из-за меня будут переживать. Я не заслужил». Вдруг как будто кто окликнул его. Он надернул сапоги и вышел.

За минуту ухода и возвращения многое переменилось. Туман стал рваться, вершины леса высветились.

И как кто поддразнил, подтолкнул Кирпикова, он полез по лестнице на крышу. Он подсмеивался над собой: старый дурак, куда тебя понесло,— а сам лез все быстрее и чуть не задохнулся, когда достиг верха. Из трубы тянуло горьким запахом сгоревшей осины.

Кирпиков укрепился и посмотрел на лес.

Он успел.

Ах, с какой скоростью вылетело и стало расти солнце! Здоровенный красный зверь выгибал хребтину. Но это было первое впечатление. Не солнце выскочило, увидел Кирпиков, а вся Земля впереди

обваливается, уходит вбок, чтобы скорей подставить, согреть все, что намерзлось ночью.

Земля упадала влево и вниз, а неподвижное солнце, к которому наконец-то она прилетела, росло и росло. Пока на него было не больно смотреть. Кирпиков оглянулся назад: сумрачно, холодно, но все уже ободрялось, готовилось к рассвету — и там начинали мелькать разводы, и в плывущем тумане обозначались лиловые пятна. Пришел со спины ветер, будто и он помогал пододвигаться к теплу, деревья дрожали, будто боялись не успеть. Земля все неслась к солнцу, подлезая под него снизу, как виноватый ребенок подлезает под руку матери и заглядывает в лицо. Земля торопилась так ощутимо, что вздрагивала от скорости.

Наконец Земля поднырнула под солнце и быстро поскользила, стараясь побольше своего места подставить под тепло, раз уж нельзя земному шару расстелиться, чтоб согреться враз. Туман разлетался, открывалась глубокая зелень хвойного леса, пестрели березы, роса на поле блестела. И все то, что передумалось Кирпиковым в это лето, все то, что было в давней и случайной его фразе: красота есть природа жизни,— было в одном начале дня. И таких начал у всех бывает не десять, не сто, а тысячи.

Солнце вознеслось и замерло, сияние его, приглушенное восходящим и бледнеющим туманом, перешло в тепло, и Кирпиков стал согреваться. Холодило спину, и он привалился к печной трубе и подумал, что вот уже своя кровушка и не греет и надо ей помогать. И вот, согреваемый с двух сторон — солнцем и кирпичами,— он понял вдруг, что наступило самое счастливое время в его жизни — старость. Ведь ему ничего больше не нужно, он никому не в тягость, а сам он знает, что нужно другим, и будет стараться помочь. И пока не было третьего звонка, он успеет еще многое. Он переберет, не откладывая на последнее озарение, свою жизнь, он постарается понять, почему у него была такая жизнь, а не другая. Он был благодарен памяти, что она жалеет его и вспоминает ему хорошее. Может быть, эта его память не только его, а всех родных и близких, и Варвара, и дети, и особенно Машенька не вспомнят его плохим, и этим он спасется.

Приедет Машенька, и он еще многое успеет ей рассказать. Где и приврет, не без этого.

Но ведь помнит же он, как сидели мужики на бревнах, на солнышке и они, ребятишки, тут же, как кто-то из мужиков говорил о живой воде, как другой не согласился и проспорил и как подозвали Саню и сказали: «Ну чего, Санька, пахать ты мал, боронить велик, а за вином бегать в самый раз». И как он, Санька, лётом летел в деревню. Маша сама скоро прочтет, как убитых русских богатырей исцеляли живой водой. Приносили эту воду спасенные ими птицы.

Тут вдруг действительно откуда-то сверху принеслась птица и села на крышу.

— Поздненько встаешь, голубка,— сказал ей Кирпиков.— Солнце-то уж вон где.

Но птица, налетавшись досыта, спрятала голову под крыло.

А день уже вовсю разошелся, будто и не было ночи. Никакая тучка не мешала солнцу греть землю и все, что есть на ней. Но такие дни посылаются не только для радости, они и для работы. Надо обязательно делать что-то хорошее и нужное, чтобы делом своим, пусть маленьким, отблагодарить за такой день.

Но самое смешное, что делать в такие дни ничего не хочется. Так бы сидел да грелся на солнышке. А к ногам бы потихоньку падали листья, и земля бы потихоньку становилась золотой.

Некоторым из листьев повезет упасть в воду, и они будут плавать по ней. Становишься на колени перед родником и видишь такой кораблик, а в нем уже маленький паучок — и ползает там, и боится, чтоб его не тронули. Когда вырастают дети и внуки, надо приводить их к таким родникам.

И было бы тихо.

И никто бы не ссорился.

И было бы спокойно думать, что те, кто был до тебя, видели такие дни, и хорошо бы, чтобы те, кто будет после, увидели бы их тоже.

ЮРИЙ СБИТНЕВ

ЛОВЦЫ

В Юку прилетел следователь.

Самолет встречали председатель Совета Миша Харюзов, он нынче исполнял и обязанности заведующего отделением промхоза, Ленка-почтальон — лица официальные. Ленка к каждому рейсу обязана выходить: получать и отправлять почту, а Миша только тогда, когда приезжает начальство, или по случаю, как сейчас, чрезвычайного происшествия. Неофициальные лица — жители Юки, которые пришли проводить отъезжающих и поглядеть, кто прилетел. Это так уж водится в селе. Нынче неофициальных лиц в порту было много. Знали: летит следователь. Даже колченогий Вовочка приковылял и старался изо всех сил сохранить себя в порядке.

Ленка, жена Вовочки, незло обругала его и велела отойти, чтобы «зря не мозолил глаза человеку» (имея в виду следователя). И он послушно отковылял в сторонку, но стал еще заметнее.

— Уйди ты совсем...— ругалась Ленка.— Уйди, говорю...

Кеша Рукосуев, по прозвищу Бывший, поскольку побывал уже на многих должностях, а теперь ловец — разнорабочий отделения промхоза,— вступился за Вовочку:

— Ты че мужика-то травишь! Те че, жалко...— Он не договорил, потому что Ленка замахнулась, и Кеша, зная, что она и ударить не задержится, отпрянул.

— Ты че, бешаная!..

Самолет приземлялся. Он заходил от села по-над рекою, низко протянул над тайгой и, резко клюнув, пошел на крохотную, в уклон к береговому свалку, площадку.

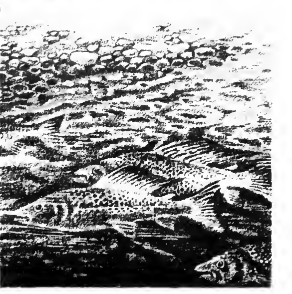
— Ну что? — спросил следователь Мишу Харюзова, выйдя из самолета.

— Навроде убийство,— сокрушенно ответил тот и как бы даже виновато шмыгнул носом.

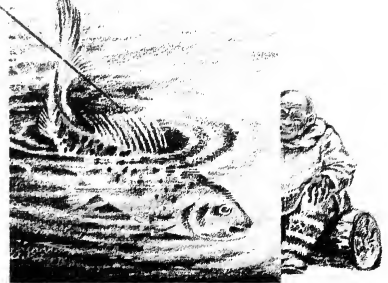
— И что это за Юка́ такая,— делая ударение не на «ю», как это было положено, сказал следователь.— С вами не соскучишься. ЧП за ЧП!

Харюзов промолчал. Следователь знаемо зашагал к реке. Аэропорт в Юке был на берегу, противоположном селу, и сюда приплавлялись на лодках, огибая длинный песчаный остров по мелкой, тихой курье-старице, пересекая быстрое течение в основном русле.

ОН ЖАЛЕЛ ЗВЕРЯ, ОЧЕЛО



ВЕЧИВАЯ ЕГО ЖАЛОСТЬЮ



Следователь удобно и прочно уселся на банку, глядел, как по соседству колченогий Вовочка никак не может попасть в свою лодку, то и дело оступаясь в воду.

— Ну, вот еще один кандидат в утопленники. Он что, пьяный?

— Нет,— поспешно ответил Харюзов, торопясь отчалиться.— Убогий он...

Следователь покачал головой. Течение подхватило их и, пока Харюзов перебирался на корму и ладился с мотором, далеко снесло вниз по реке.

Вовочка все-таки попал в лодку, тыкая шестом, снялся с отмели.

Пришлепал он в порт совсем не ради интереса, а с надеждой увидеть своего дружка Васю-пилота. Но прилетел Гриша, а с ним у Вовочки не было дружбы. Вася обещал поговорить на центральной метеостанции, чтобы Вовочку взяли на работу водомерщиком. Его бы, конечно, взяли (среднее образование все-таки), если бы не инвалидность. Вася обещал обойти это препятствие (есть у него влиятельные друзья) и привезти назначение на должность.

Работа было проще простого: в трех точках по реке производить замеры, отмечать падение и подъем воды, записывая наблюдения в толстую прошнурованную книгу. Книга эта и хранилась у Вовочки, поскольку бывший водомерщик Кеша Рукосуев трижды терял ее и наконец отдал на хранение.

— Ну ее на хрен! — сказал Кеша.— На ней печати сургучовые... За них обязательно потянут! Ну ее! Храни, Вовочка...

И Вовочка спрятал прошнурованную книгу с нашлепками сургучных печатей до поры до времени, как и свое жгучее желание стать водомерщиком.

А Кешу уволили. Его всю жизнь откуда-нибудь увольняли. Учился в школе — исключили. Поступил в техникум связи — с третьего курса попросили вон. После армии работал в Юке начальником узла связи, был тогда еще в селе узел; уволили с редкой формулировкой: «за злостное радиохулиганство». Накоротке побывал Кеша в библиотекарях — тот же результат. Тем не менее Кеша жил вполне беззаботно: женился, нажил двух детей, пользовался славой отчаянного забулдыги и, не работая, исповедовал одно: «В наше время от голода не помирают». Он и вовсе бы перестал добывать материальные блага для своей семьи, если бы не желание доказать, «на что способен».

В начальниках Юкского аэропорта Кеша пробыл дольше всего, поскольку в ту пору временно были отменены рейсы. Недостроенное бревенчатое здание порта интересовало Кешу как место постоянного сборища вольных ловцов, их гулянок и суесловия с утра до вечера. Билеты на рейсы продавала старуха Жданова, «на ключе», когда надо было, сидела Ленка. И все было бы хорошо, не купи Кеша летную фуражку.

— Кто это? — поинтересовался как-то инспектирующий трассу.

— Местный начальник порта.

— Он что, в отпуске?
— Нет.
— А почему пьяный?
— Не знаю.
— Отберите фуражку! — приказал инспектор.

Фуражку Кеша не отдал, неистово защищая право собственности и на чем свет понося инспектора. Это и решило его судьбу: Кешу снова уволили.

Тут бы и уйти ему в безвестность. Но как раз в это время центральная метеостанция организовала в Юке водомерный пост, и он опять обрел должность. И шумный юкский «ловчий сход», попеременно табунившийся то в узле связи, то в библиотеке, то в аэропорту, теперь перекочевал на реку...

Но кто-то сообщил об этом на метеостанцию, и Рукосуева снова уволили.

О работе водомерщика мечтал Вовочка. Ради нее приплелся в порт пьяненьким и теперь безрезультатно тыкался в берег, стараясь столкнуть лодку. Он несколько раз упал и больно зашибся, но, продолжая совать шестом в берег, все-таки столкнул. Течение потащило лодку, медленно разворачивая носом навстречу стрежню, но потом подхватило и понесло. Уже за островом мимо Вовочки проскочил на «Вихре» Харюзов, и следователь осуждающе долго поглядел Вовочке в лицо. Лодку покидало на встречном валу, а потом снова взяло течением и погнало все дальше и дальше, за село, за курью — низкие покосные луга, за излучку... А Вовочка все сидел и сидел на ребристом дне своего суденышка, куда, последний раз толкнувшись шестом, рухнул, и изуродованные полиомиелитом ноги, сухие и скрюченные, лежали будто сами по себе, лишенные движения.

Берега медленно кружились, подставляясь то лысой низинкой, то глухим таежным горбом над голым известняковым паберегом. Лодку примыкало к берегу, подолгу кружило в уловах, скребло на мелях, а Вовочка все сидел и сидел, угрюмо сосредоточенный в своей нетрезвости.

А потом, когда солнце уже слизывало самые сладкие, самые прозрачные смолки на молодой поросли сосновых вершинок, Вовочка увидел вдруг впереди, на песчаной отмели, лодку Пасечника, которую так и не нашли, выловив Колю в реке. И подумал, что тут вот его тоже убьют и никогда не быть ему водомерщиком.

Ноги наконец-то подчинились. Он сладко вытянул их, ощущая в бедрах томительное покалывание, лег на спину и, не в силах больше бороться с хмелем, заснул.

— Где вы его нашли? — разглядывая труп, спросил следователь.
— За курьей...
— Опять за курьей?

— Ага...— Харюзов пошмыгал носом.— А ну, идите отсюда! — притопнул на мальчишню, скрадом пробирающуюся к воротам пожарного сарая. Мальчишки молча, и тут не выдавая себя, кинулись прочь...

— На месте не могли его оставить? — опускаясь коленом на брезент, в который было завернуто тело, и разглядывая рану (от височной кости к затылку), спросил следователь.

— Дак где его оставишь? — вопросом на вопрос ответил Харюзов.— Его на выскорье надело и водило вырью.

— Вырью!..— передразнил следователь, но Харюзов не обратил на это внимания.

— Полошшет на плаву и полошшет, ни утонуть, ни дальше плыть... Как живой...

Подошли к сараю, встали у ворот: Кеша Рукосуев, Саня Ланцов, Жора Абрек, тоже ловец, приехал из Дагестана на БАМ, но что-то ему там не понравилось, залетел в Юку — прижился.

— Не засьте! — сказал Харюзов.

— Пусть стоят. Нужны будут...— разрешил, как пригрозил, следователь.

— Убыли эво! — выкрикнул Жорик.— Эх, сукы! Звэры! Гад буду! Кровь за кровь! — загорелся, даже затрясся в негодовании.— Бычы, рвань!

— Потише, Жорик...— одернул Кеша, кивнув на следователя.

— Думаешь, убили? — тот поднялся с колен, выпрямился. Был следователь среднего роста, плотный, широкий в плечах. На смуглом лице с крохотными оспинками теплились маленькие голубые глаза.— Кто убили?

— Экспэдыцыя! Точно! У них база по Ючкэ! Нэдалэко! Оны! Точно!

— Точно они,— подтвердил Кеша и на всякий случай отошел за воротину.

— Точно? — Следователь вышел в проем, смотрел то на одного, то на другого серьезно и задумчиво.

— Надо быть, так...— замялся Кеша.

Ланцов молчал, глядел на труп Пасечника. Он так и не видел его мертвым с того самого мгновения на реке. Все глядел мимо, когда грузили в лодку, когда везли, несли сюда на брезенте. Мимо смотрел Саня Ланцов: не то что боялся мертвеца, а замирал сердцем над этой тайной: «Был-был человек — и нет...» Казалось, что притворяется Пасечник,— глянешь на него и поймешь: притворяется.

— Точно убылы! Бычы! Рвань! Поэхали, арэстуем, нада! Проводым!..

— А где его лодка? — кивнув на труп, спросил следователь у Харюзова.— Он на лодке был?

— Точно так... На лодке.

— Я так думаю: он их повез... По Ючке сейчас не пройдешь лодкой: воробью по колено. Он их вниз, до Красок... Там лесом

с Кривуля полтора километра до базы...— выпалил Кеша и тяжело задышал, задохнувшись от собственной смелости.

— А где лодка? — следователь снова обращался только к Харюзову.

— Мы ее не искали. Ланцов плыл утром, нашел его... Вернулся назад в деревню... Сюда и привезли.

— А лодка? — Следователь долго глядел в лицо Ланцову. Тот не торопился с ответом, Харюзов тоже молчал — спрашивали не у него.

— Лодку не искали...

— А куда ты утром плыл?

Ланцов ожидал этого вопроса, знал, что спросят, и все-таки смутился, на скулах заходили желваки.

— По делам...— отвернулся, не выдержав прозрачно-голубых глаз следователя. Тот усмехнулся, будто уже и знал, зачем оказался на реке Ланцов.

— По делам... Ладно, потом расскажешь. Сарай на замок. Ключи мне. Ставим охрану...— Следователь оглядел каждого.— Вот ты! — сунул пальцем в живот Кеше Рукосуеву.— И смотри, ты в пузо все растешь! В лодку взять — затопишь...

— А он не тонет,— засмеялся Ланцов.— Пробовал...

— Не тонет? А этот? — следователь кивнул на ворота, которые уже закрыл Харюзов.— Николай Пасечник? Так?

— Так,— подтвердил Ланцов и нагло улыбнулся.

— А Николай Пасечник утонул, да?

— Убылы эго! Бычы убылы! — упрямо настаивал на своем Жорик.

— Ладно, убили...— согласился следователь.— Поехали лодку искать. Покажете, где нашли его, где убили... Ты же его нашел? — следователь снова долго глядел в лицо Ланцову. Были они знакомы, встречались, когда работал тот заведующим отделением.— Вот и покажешь где...

— Ленк! Ленк-а-а-а! Гляко, твой-то уплыл,— кричала с острова доярка Нюра, высокая худая баба с длинным плоским лицом.

Ленка глянула по реке, увидела Вовочку, беспомощно сидящего в лодке, и только махнула рукой:

— А ну его! — бросила в почтовую «казанку» два тощих опечатанных мешка, один с газетами, другой с письмами, сказала никому: — Опостылел, смердящий.— И громко Нюре: — А, пускай продуется... Глядишь, и прохмелит его...

— Дак как же? — не унималась Нюра.— Как же он, сердешненький, противу течения притюкается? Силы надо!

— Притюкается,— крикнула Ленка, широко шагнула в лодку, упружисто уперлась шестом в берег. Тело ее, крепкое, сбитое, определилось под легким ситцевым платьем, и напряглись, достойно

обозначились крупные груди.— А то сбегай за ним,— хохотнула, и здоровый хохот этот звонко поплыл над водою.— Я не против!

Нюра сплюнула со смаком, по-мужичьи, и что-то ответила, но слышно не было. Ленка рывком завела мотор, вышла на стрежень и погнала лодку вверх по течению.

— Дура, его жалеть надо! Эх, дуры бабы, дуры!..

Нюра покачала головой, глянула вниз, где уже не было видно Вовочки, и пошла по острову странной походкой, словно несла на голове ношу, подобрав зад и выпятив живот.

Юка еще помнила Нюру ядреной бабой. Краснощекой красавицей. Она и была первой красавицей.

...Когда закружились, позаросли кустарником юкские некогда плодородные пашни, туда стали гонять скотину. Травы вымахивали тучные, богатые, однако их не косили, поскольку были живы побережные покосы и чистые пали — заливные луга, которые исстари для густоты палили под зиму. Летом, когда пропадал паут, в пашни ходили бабы на полдни. Раз пришли, а пастух Куколка сообщил:

— Чтой-та я вам скажу, бабы! В борку-та за ночь грыба населось, да такой-та ядреный, как... и все прочее.— Любил Куколка соленое словцо, так любил, что и не замечал его, изъясняясь.

А борок под самыми пашнями. Отдоили бабы — и туда. И впрямь высыпало гриба видимо-невидимо. Да все чистый, крупный, земля его в радости рожала. Берут грибы бабы, перекликаются, бога славят.

Нюра проворнее других грибы брала, ей все поглубже хотелось зайти, казалось, что там еще краше гриб и больше его. Она и зашла. Да вдруг кто-то как крикнет: «Медведь!» Посыпались бабы по лесу, только треск пошел. Нюра со всех ног. Бежит, а грибы не бросает, держит их в подоле передника. Жалко такую красоту бросить. И слышит, что вроде бы кто по следу за ней спешит и даже вроде бы дышит в запале. «Ктой-то это за мной?.. Я же одна дальше всех...» — думает. И вдруг поняла: «Медведь!..» А как поняла, так и подломились ноги, она уже на опушку выбежала, а тут и упала. Замерла, не движется. Медведь вывалился следом. Окоротился. Встал над Нюрой, любуется богатым ее телом. Радуется. Нюра лежит, медведь смотрит. Потоптался хозяин вокруг, присел да вдруг как лапищей жахнет по роскошному Нюриному заду. Девка и тут ни звука. Медведь голову наклонил, наладил ухо, как доктор, прослушивает. Послушал-послушал, да и опять как жахнет! Не рвет, а как парни, всей пятерней, играючи. Только где уж парням!.. До трех раз «огладил», послушал, посопел и ушел. Нюра не сразу поднялась, но встала, собрала в подол грибы и пошла к стаду, как не своя. Бабы к ней.

— Жива, Нюра!

— Жива...

— Не порвал? Не тронул? — плачут бабы, Куколка мечется, не добром бога поминает. А Нюра вроде спокойная:

— Не тронул... Не порвал...

Не своя совсем девка.

Больше двух месяцев не могла Нюра сидеть, присесть и то не под силу было. А там вдруг худеть начала. Тает на глазах. Не больная, за трех мужиков ворочает, а тела бабьего нету.

— Это она по своему Мише сохнет! — шутила Юка.

А Нинка-библиотекарша и того хуже удумала:

— Нюрка с медведем живет... Сама видела, как она с фермы за яры в медвежий ложок бегает. А зимой за Змеиную гору в берлогу лазила...

Ленка ловко выкинула лодку на отмель против почты. Все еще крепкое, в прочернь сухое здание стояло крыльцом на реку. Длинный шест антенны торчал высоко, и на нем — выгоревший добела лоскут флага.

«Надо бы сменить»,— подумала, поднимаясь по взвозу.

Сверху на Ленку шел Славик Тарасов, летчик-отпускник. Летная фуражка все еще по-курсантски сидела на затылке; поверх майки-сеточки — форменный кителек, накинутый на плечи, под мышкой у Славика махровое полотенце.

— Здорово,— сказал Славик, и большие кошачьи глаза его занялись желтыми язычками.

— Здорово...

Славик, прикусив губу, облизнул тоненькую ниточку усов, улыбнулся нагло, но тут же смутился и оглянулся воровато.

— Чего шаришься? Украл, что ли? — Ленка засмеялась и нарочно наклонилась так, что в прорези платья шелохнулись одна к другой и глянули вмиг на Славика груди с голубыми жилочками, с коричневыми длинными сосками. Он задохнулся.

— Куда идешь? — выпрямляясь и кончиком языка облизывая губы, спросила Ленка, кося мимо взглядом.

Славик не мог справиться с подкатившим волнением, тоже косил мимо, но уже и слышал в себе мужчину, которому все нипочем.

Они одновременно поглядели друг на друга, стараясь вернуть непринужденность разговора.

— И ты туда же...

Славик в первые дни отпуска так впечатался в компанию ловцов, что и не отличишь. Гулял напропалую, но бахвалился в меру, зная, что лучше себя не досказать.

— Ты, Славик, тры раза самалотом падал! Так? — говорил ему благодушно Жорик.— Тэпэрь на Нинку тэбэ надо упасты!..

Нинка поначалу и вправду стерегла Славика, однако потом махнула рукой:

— Кадр пропащий! Не бабник, но...

Ошибалась Нинка.

Славик от ловцов скоро отпал, задружился с Вовочкой, сам пил мало, но дружку подливал. А Вовочка и не протестовал. Ленка тоже участвовала в их застольях. Таясь, встречалась она взглядом

со Славиком, замирали оба. Вовочка не замечал. Ему Ленка сама подливала. Он пьянел, начинал фантазировать, пер околесицу и наконец засыпал за столом, поборматывая что-то, а они сидели и разговаривали.

Вчера, еще днем, старуха Жданова вдруг спросила:

— Ленк, а Ленк! Ты зачем Вовочку спаиваешь? Он ведь муж тебе...

— А я его не спаиваю! Он сам пьет,— засмеялась. А вечером, водрузив пьяного на кровать, закинула дверь на цепочку, подумав, замкнула ее и, замирая сердцем, торопясь и оглядываясь, побежала на дальний край села. Там ее ждал Славик...

— Пойдем купаться,— он снова слизывал что-то с усиков, и глаза смотрели с мольбою.

— А ты Вовочку пригласи,— сказала и опять наклонилась так, что душно стало Славику.

— А он где?..

— За курью поплыл... Ты зачем его спаиваешь?

И тогда Славик, совсем как она старухе Ждановой, ответил:

— Я его не спаиваю. Он сам пьет! — и засмеялся.

В кошачьих его глазах заплясал, заметался огонек, и Ленка почувствовала, как томит ее, как отчаянно колотится в груди и как снова хочется по-вчерашнему завиться без огляду.

— Я на Песках за поскотиной буду,— сказал Славик, дернул плечом, поправляя китель, и легко пошел вниз.

Следователь сидел на носовой банке. Большая его спина, согнутая колесом, застила фарватер, и Харюзов чуть склонялся влево, выглядывая путь.

Позади, на малом удалении, шла лодка Ланцова, в которой сидел Жорик. Ребята о чем-то разговаривали, и Жорик, жестикулируя, повышал голос до крика.

Следователь думал о том, что неладно что-то в их дальнем северном районе. Люди при вольной, сытой жизни, о которой мечтали долгие-долгие годы, стали какими-то ко всему равнодушными, беспечными, завистливыми, а порой просто злыми. Чего-то не разглядели, что-то прозевали, пустили на самотек, в чем-то ошиблись...

Все чаще и чаще приходится выезжать на расследования по смертям. И зачастую все эти нелепые, подчас глупые, но все равно недопустимые случаи связаны с пьянкой. Как вот этот...

В прошлый приезд в Юку Миша Харюзов объяснил это очень просто:

— Избаловался народ. Очень хорошо живет.

Следователь уже не раз слышал такие объяснения и грустно улыбнулся:

— Что же, выходит, чем лучше живет человек, чем легче ему достаются жизненные блага, тем он хуже сам по себе?

А Харюзов продолжал:

— Вот поглядите. Доход нашей семьи в семь душ раньше

составлял четыре, ну, пять тысяч на год. На год! Ясно? Это старыми деньгами. А нынче мы с женою, не считая охоты, имеем четыреста-пятьсот новыми в месяц. В месяц! А семья у меня лично — сам четвертый. Чего мне с жиру-то не беситься? Да ведь, коли честно, на работе-то мы не уламываемся. И сил и времени достает...

— Но ты же не бесишься?

— Вот погодите,— засмеялся Харюзов,— обкуплюсь телевизором, проигрывателем стереофоническим, стиральной машиною, мотоциклом, еще мотор лодочный подкуплю и завьюся...— Миша развеселился, и следователю показалось, что он, трезвый, степенный мужик, и впрямь загуляет, проматывая все, что попадет под руку, свое и чужое...

Что же не доглядели они, районное начальство, руководители (следователь пятнадцать лет был членом бюро райкома)? Как же так получилось, что их старательный жилистый, упорный таежный человек превратился в потребителя, в пожирателя благ и иждивенца? По весенней путине — и круглый год самолетами — завозит потребкооперация в район тысячи тонн груза. И в первую очередь продукты. В район, в котором все еще полным-полно зверья, оленьих стад, птицы, рыбы в озерах и реках, везут мороженого морского окуня, хек, бельдюгу, гонят консервы, молоко, масло, хлеб (в селении поближе к магистралям завозят, кроме муки, готовый — батонами и буханками). И это не для того, чтобы разнообразить таежный стол, а чтобы накормить таежника.

Раньше Юка имела триста гектаров пашенных земель. И каких! Пшеничку тут, на Севере, брали в иной год по 28 центнеров с гектара. Ячмень — в колосе до ста пятидесяти зерен. А мясо?! Юкские тайгою — была сеченая таежная дорога через гибельники — вывозили в Ниренск, за четыреста верст, телятину, говядину и свинину. Приедут на рынок — они главные в мясных рядах, покупатель валом только к ним и валит. А потому что вкуснее, наваристее да нежнее нет по всему Северу мяса, чем у юкских. Такие у них земли, пастбища, такие и сенокосы. И колхозы тут были сильные не только в Юке, но и по другим селам.

«Что-то мы в районе не то делаем...» — думал следователь, разглядывая широкую гладь реки, сытые выплески рыбы, тяжелый полет крохалей над самой водою и слыша запах прогретой солнцем июльской тайги...

— ...Вот тут он и мотался,— сказал Харюзов, глуша мотор и подплавляясь к малому омутку за песчаной гривкой отмели. Лодка Ланцова осела рядом, и Жорик, уцепившись за борт, свел обе «казанки».

Следователь внимательно оглядел все вокруг, побубнил что-то себе под нос, посвистел в раздумчивости и, обернувшись вспять, туда, откуда они приплыли, долго глядел вдаль. Все молчали. Ланцов курил, часто сплевывая в воду, и эти плевки раздражали следователя, но он не показывал вида.

Харюзов ждал вопросов, готовый объяснить все, как было, когда они на четырех лодках подплыли сюда, чтобы поднять труп Пасечника. Жорик пугливо озирался вокруг, поскрипывая зубами, будто ждал, что кто-то пальнет из кустов. Пасечник был его земляк и друг; Жорик считал необходимым показывать, как он переживает.

— А как же ты его заметил? — Следователь как бы с издевкой спросил это у Ланцова.— Тут место бойкое, успевай только за фарватером следить. Да и гривка высока,— он показал на отмель.

Ланцов не ожидал вопроса, он как раз удачно и далеко плюнул, попав в тонкую камышинку, в нее и метился. Облизывая губы, не сразу ответил.

— А я, когда плыву, по берегам шарюсь... Привычка такая.— Замолчал, ожидая нового вопроса. Не дождался, пауза получилась томительная. Продолжил: — Я гляжу, а вдруг зверь выйдет. Тут я его и жахну.

— Жахнешь? — следователь смотрел мимо Ланцова, что-то соображая.

— Жахну! — Ланцов засмеялся громко и грубо. И снова затянулась пауза.

— Жахнешь? — повторил следователь.

— Да нет... Это я так,— Ланцов потянулся, далеко и опять метко плюнул.— Надоело мне убивать. Надоело...

— Убивать надоело,— безотносительно, только для себя сказал следователь.— А его ведь повыше, вот за тем уловом, убили.

— Тут он был,— твердо сказал Ланцов.— Тут вот,— и показал рукой.

— Тут был, а там убили. На реке убили. Река-то бежит. В лодке убили, в реку выкинули.

— Я говорыл...— вскинулся Жорик и осекся.

— Помолчи,— сказал Харюзов.

— А коли так,— рассуждал следователь,— лодку искать надо. В ней и улики.

— Какые? — не вытерпел Жорик. Харюзов посмотрел на него осуждающе, Ланцов отвернулся, шея его напряглась и покраснела. Следователь заметил это.

— Кровь должна быть. Он в лодке один был? — следователь спрашивал Ланцова.

— А я откуда знаю?

— А может быть, кто-то с ним вместе плыл? — Не понять было, то ли знает уже что-то следователь, то ли игру ведет.— А?

Ланцов молчал.

— С вэчэра мы всэ вмэстэ гулялы.— Жорик, как и там, у пожарного сарая, попробовал заслонить плечом Ланцова, он даже привстал в лодке.

— Где гуляли?

— У него, у Саны на квартиры... И Коля тожэ...

— Ладно, потом расскажешь,— оборвал следователь.— Я о ва-

шей гулянке больше, чем вы, знаю. И о вечерней и о дневной...— сделал паузу.— О дневной тоже известно.

Жорик потупился и покраснел.

— Когда лодку взял? — спросил следователь.— Ланцов, я у тебя спрашиваю?

— Какую лодку?

— Свою. Не мою же...

— Когда на реку, что ли, пришел? — Ланцов вроде бы о чем-то уже и догадывался.

— Вот-вот!

— В четыре. Точно. Еще на часы посмотрел,— и показал для верности японскую «Сейку» на широком металлическом браслете.

— А в Юку когда приехал? Отсюда...— Следователь кивнул на омуток.

— В шесть он приплыл,— сказал Харюзов.— Я как раз на луга собрался, шел на реку. А он подкатывает: «Миша! — кричит.— Миша! Пасечника убили!»

— Так и кричал: «Убили!»?

— Так и кричал,— подтвердил Ланцов и странно как-то дернулся, будто икнул, скрывая икоту.

— Так. В шесть.— Следователь считал: — Вниз сюда — полчаса... Нет, двадцать минут. Вверх — тридцать... Пускай — сорок. Выходит, туда и обратно — час. А куда ты другой дел? Выехал-то в четыре?

— Я вверх ходил... До Чистых палей...

— До них сколько?

— В час, однако, уложишься,— сказал Харюзов.

— Ага. Хорошо, значит, и еще один час нашли. А туда тоже «по делам»? — следователь выделил голосом последние слова.

Ланцов заметно волновался, испарина выступила на его круглом желтом лбу.

— По делам тоже...— буркнул.

— Ладно, мужики! С этим разобрались. Будем искать лодку. Поехали,— и сел спиной к Харюзову на переднюю банку.

Заработал мотор, и лодка, по-щучьи гульнув, вылетела на чистую воду.

Ланцов задержался: он прикуривал, и руки его тряслись.

— Юра, иди к нам! — кричал Ланцов.

Он стоял на крыльце своего полудома, высвеченный закатным солнцем. Закат был громадный и алый — к ветру. Ланцов, и без того рыжий, казался с головы до пяток рудым. Лицо, руки, белая рубашка и даже темные штаны, заправленные в кожаные чулки, мутно-красного цвета, а крохотная челочка над большим лбом червленая.

Ланцов сух, невысок ростом, но в плечах широк и ухватист в кости. Он нравился Юре естественностью, ровностью характера, подвижностью и еще тем, что мог навскидку поразить любую цель. Стрелял Саня без промаха. Но нынче был он несколько возбужден и расстроен, это сразу заметил Юра. И понял: не от вина. Во хмелю

Ланцов тоже был ровен, как и в обычности, никогда не изображая из себя что-то, как это делали ловцы.

Саня теперь тоже был ловцом, но Юра хорошо помнил то время, когда он приехал в Юку и стал управляющим отделением. И тогда он был прост и естествен, хотя вся Юка от мала до велика величала его именем и отчеством, не давала прозвища и затаенно ждала, когда «откроется» новый начальник. Скоро к нему приехала жена с сыном, и Ланцов переселился в эти вот полдома недавно выстроенной стандартки.

Пять таких домов, на два крыльца, добротных, крытых шифером, стояли в один ряд на юру, над старой, вольно раскидавшейся Юкой. Зажил Ланцов семейно, а Юка к тому времени уже и разобралась в нем. Оказался управляющий человеком легким, сговорчивым, которому все под силу, все под руку. Есть у нас в России такие широкие натуры, которые не станут по любому делу ломать мозгов, прикидывать да отмерять, которые под свою ответственность попрут на лихое — абы вперед.

Ланцову говорили:

— Сань, Юка-то без мяса...

— Ну и что?

— Надо б так добыть...

— Добывайте.

— Дак лицензии-то мы — того... Съели!

— Бери так! Не помирать же без мяса...

Демократичен был Ланцов, отпускал вожжи: «Вот он я — широкая душа!» Всем и для всех хорошо. Работников приглашал в Юку, случалось, сам привозил из города. Заселил новые дома и даже старые, брошенные, кое-как обладив. Стало в Юке народу, как в городе, да все молодой, здоровый народ. Только не работники — ловцы. В тайге, на охоте еще кое-как популяют, чего-то и обловят, а по сельскому хозяйству, по страдной поре ни один не ломится. По целому лету на реке да у магазина торчат. Гуляют, зубоскалят, мало когда и подерутся. Одно слово — ловцы. Двадцать парней и ни одной девки.

Два года назад приехала в Юку Нинка-библиотекарша.

Библиотека в селе большая. В клубе целая зала от потолка до пола уставлена книжками. Собирала библиотеку Клавдия Филатовна. Ее по сей день помнила Юка и говорила о ней с благоговейным уважением. Двадцать лет прожила тут, до пятьдесят седьмого. Сначала работала счетоводом в колхозе, но тогдашний председатель Глеб Вонифатович Жданов определил ее в библиотекари. Клавдия Филатовна приучила колхозную бухгалтерию каждый год денежки на книги давать и с сельсовета тоже получала на книги. Вот и собралась приличная библиотека.

После отъезда Клавдии Филатовны библиотекари менялись часто, потому и относиться к ним стали несерьезно. Вечно на побегушках библиотекарь, им дырки везде затыкают. И потеряла Юка то, что так долго и медленно копила,— ту незаметную вроде бы осо-

бенность, которая возникает там, где читают. Потеряла — и не заметила.

Бывало, по вечерам допоздна поскрипывает дверь в библиотеке:

— Матушка, Клавдия Филатовна, как страшно-то, на стул этот электрический сажали-то его! — о Драйзере это.

— Мне бы про любовь что-нибудь... Вот, говорят, «Тихий Дон»...

— Смотри-ка, до чего свелися-то! Все нам позволено! Карамазовы мы! — это уже о Достоевском.

Колхоз влили в коопзверопромхоз, многие должности сократили, но библиотекаря оставили, поскольку библиотека в Юке большая.

Нинка-библиотекарша — девчонка современная, лихая. Коротко стриженная, глаза навыкате, орехового цвета — растеклась радужка кедровой смолкой по яблочку. От этого глаза жадные, бесстыжие, с полоуминкой. Губы крупные, чуть вывернутые. Платья и юбки Нинка носит, какие и не видела Юка (в селе пока нет телевидения),— под самый голышок, груди лифчиком к самому носу вздернет, а то распустит и кофточку сквозную наденет.

Бабы поначалу воевали с Нинкой, а потом отступились.

В библиотеке она открыла вольный доступ к полкам. «Теперь у нас книжное самообслуживание,— сказала,— прогрессивный метод».

Книгочей старик Жданов новшество это принял. Первым растерянно стал копаться в книгах, потом взял наудачу, какая попалась.

— Гляди, тебе виднее,— сказал Миша Харюзов, вступая в должность председателя (библиотека числилась на Совете).— Только чтоб не искурили. Покрадут и искурят. А они,— он с уважением глянул на полки,— денег стоят! — Книг Харюзов не читал со школы.

Не прошло и месяца с появления Нинки, а она уже обратала управляющего. Ланцов ее по реке туда-сюда катает на промхозовском моторе, на коне верхом учит ездить, на Чистые пали берет, в тайгу, во всяком деле слушает, и все с улыбочкой до ушей и под хмельком все.

— Чего ты, Нинка, в библиотеке не сидишь? — наставляли бабы.— У тебя там рабочее место...

— А чего мне там сидеть? Книг-то вы все равно не читаете.

— Зато записаны! Выпишемся вот — тебя за это по головке-то не погладят.— Знали бабы, что по советовским отчетам есть графа и читательская.

— Вам Харюзов выпишется! — смеялась Нинка.

— Мы не читаем, а старик Жданов? — защищались бабы.

— Старика Жданова я сама обслужу,— гоготала бесстыжая, а собеседницы только отплевывались.

— Вот холера! Ну, сама бы в библиотеке читала, потом нам рассказывала...

— Больно надо. Я тринадцать лет в десятилетке да в техникуме только и делала, что читала...

— Оно и видно — грамотная!

Такая она, Нинка, живая, кого хочешь под себя подомнет.

Саню Ланцова подмяла. Нынешней весной жена его, собрав вещички и сына, улетела, не попрощавшись даже — муженек в тайге был. А еще прошлой осенью Ланцова сняли с управляющих. Недостача казенных денег оказалась. Кому-то выдавал без росписи, когда-то брал на дело, а там и в город с Нинкой летал... В общем, собралась крупная сумма, но до суда не дошло. Ловцы собрали нужные деньги и внесли в кассу. Ланцов с тех пор в душе считал себя им до гроба обязанным. А Нинка к тому времени совсем окорот потеряла. На двадцать молодых парней — одна девка. Сама себе кавалеров выбирает на недельку, на две, на день, на вечерок... Всех перебрала, один Юра Жданов остался.

— Юра, иди к нам! — звал Ланцов.

Юре девятнадцать. Год назад кончил школу. Хорошо кончил — три четверки в аттестате. Но учиться дальше не захотел, стал работать в промхозе. Все юкские, и ловцы тоже, принялись оплакивать и жалеть Юру. Как же, такой парень, умница, красавец, и в тайге остался.

— Ты чего нас срамишь? — серьезно спросил отец, узнав о решении сына.— Что ты, неспособный какой?

— Меня десять лет учили, хватит,— сказал Юра.— Поработаю вот... Там видно будет.

— Осподи, де ты работать собираешься?! Тутака? — всплакивала мать.— Тутака только че водку пить научишься.

— Папа не научились...

«Его тайга взяла... Забрала его тайга. Окрутила»,— решили в Юке. И теперь в любой компании, при любом застолье считалось первым делом пожалеть Юру Жданова, поплакаться над его судьбой и помянуть в жалости стариков Ждановых. Юра-то последний у них — скворец, самый любимый...

— А что у вас? — спросил Юра.

— А у нас Нинка день рождения справляет.

— Так у нее в прошлую среду был.

— А нынче сестрин.— Ланцов криво улыбнулся (неизвестно, есть ли вообще сестра у Нинки). И Юра заметил, что Саня как-то на особинку возбужден. Застолье ютилось в маленькой кухоньке. Пахло несвежей закуской, задохлой рыбой и человеческим потом. На окнах черным-черно роились мухи, густо гудели, как встревоженный пчелиный улей, за тонкой дверцей чуланчика. Оттуда резко шибало вонью: Ланцов протушил там рыбу для собак — некогда было сварить...

— А, Юрочка! Кадрик ты мой ненаглядный, сладенький ты мой! — запела Нинка, приподнимаясь и протягивая к Юре голые руки. Она была в коротенькой, без рукавов, кофточке.— Иди ко мне! Иди!

Нинка сидела в центре застолья, рядом, тесно притиснувшись. Коля Пасечник, с другой стороны Жора Абрек. Они глядели на Юру, улыбались.

Юра нашел краешек свободной скамейки и сел напротив, на углу.

— Семь лет без взаимности! Куда на угол садишься?— закричала Нинка.

— Невеста рябая будет! — басом сказала Нюра.

Она нелепо выделялась трезвым лицом. Рядом с ней было свободное место, там сидел Ланцов, а сейчас он стоял в дверях, прислонившись к притолоке, и глядел на Нинку, все так же криво улыбаясь.

— Выпей! — предложил Кеша Рукосуев и налил в стакан. Водки Юра не пил и потому удивленно поглядел на Кешу. Тот знал об этом, но нынче был не в меру добр.

— Ты погляди, какой парень! Погляди, Колюня! — Нинка толкала Пасечника в бок, а тот тянулся к ней красным лицом, вытянув трубочкой губы, тыкался в ее шею и что-то шептал.

— Отстань! — смеялась, ей было щекотно от шепота.— Отстань, говорю! Погляди, ка-а-а-кой парень!..

Нинка была почти трезвой, но дурачилась, делала вид, что пьяна, громко и как-то липко смеялась. Завклубом Галя похихикала в кулачок рядом с Жориком, тот плутовато водил глазами и шарился рукою по Галиной спине.

Тут был и Зюкин, парень неопределенного возраста, маленький и худенький, как подросток, сказавшийся нынче больным: они работали вместе с Юрой на городьбе. И еще Славик-пилот с Ленкой.

Нюра сразу начала жалеть Юру, но ее никто не поддержал, и она так и выкрикивала вороной:

— Что ж ты, Юра, дак! Что ж!..

— Иди ко мне, мальчик! — кричала Нинка и лезла к Юре через стол.— Дай я тебя поцелую!

А ему показалось, что на лице и руках Нинки, как это бывает, когда свежуешь тушу, нечисто лоснится утробный жир, и Юра, едва поборов в себе брезгливость, беззащитно улыбнулся.

Нинка, марая кофточку и юбку закуской, наверное бы, и дотянулась до Юры, если бы не Пасечник, который то ли осаживал ее, то ли гладил, лапая за бедра, потом обхватил за талию, усадил, запрокинул и хотел поцеловать. Нинка, напрягшись грудью, отчего кофточка задралась и мелькнуло ее смугловатое тело, выскользнула из объятий, в самые зрачки Пасечника уставилась гневными, жарко размытыми глазами, сказала трезво:

— Будешь силой, уйду! Вот возьму и уйду! К Сане!

— Правильно! Брось его...— пересиливая себя шуточкой, сказал Ланцов.— Иди ко мне! — Сел рядом с Нюрой, чуть сдвинув ее плечом, и посмотрел на Пасечника, не мигая и жестко.

— Не дури...— попросил Нинку Пасечник и обмяк.— Не дури.— Встретившись со взглядом Ланцова, слегка отрезвел, отвел глаза, зашептал Нинке: — Нин, пойдем на реку... Душно тут. Пойдем... Санька-то злится... Бешаный.— И уже просил, выговаривая ясно:— В избушку поедем... По реке...

Юре стало стыдно, он начал хлебать вареху. Нюра подсунула ему миску бульона с белыми застывшими закраинками жира, с крупными кусками мяса.

«Изюбрятина» — определил Юра. Бульон был крепкий и вкусный, но в нем попадались обрывки газеты. Однако и тут Юра поборол себя, прощая эту неопрятность людям, которые были старше его. Юра уважал старших.

Притюкался Вовочка, долго возился в сенях, попадая в чуланную дверь, наконец сориентировался. Лохматый, мятый со сна, с трудом выговаривая, попросил:

— Да-а-а... Дай-те-е Во-вочке выпить!

«Выпить» — сказал, как выстрельнул. Ему дали штрафного. И Вовочке после выпитого вдруг показалось, что он совершенно трезв, что все вокруг любят его и он любит всех.

— Поплыл...— сказала Ленка, когда он бесцельно поднялся и, перебирая руками стену, пошел к выходу. Долго, как казалось ему, шел по бесконечно длинному коридору, вышел на крыльцо. Распрямился и шагнул, как шагают парашютисты, сжимая у груди руки и собираясь всем телом.

— Ой! Что это? — взвизгнула Галя, услышав грохот падения и стук, но сам Вовочка не проронил ни звука, хотя полет нынче причинил ему боль.

— Вовочка...— сказала Ленка, поднимаясь.— Сань, помоги его...— Она не договорила, потому что Ланцов понял просьбу, поднялся и, слегка качнувшись, пошел к выходу.

Вместе со Славиком и Юрой Ланцов отнес Вовочку на другую половину. Ленка разула мужа, накрыла одеялом и предложила:

— Посидим?

Славик с Ланцовым сели на кухне за стол, который поспешно накрыла Ленка: маринованные огурцы, малосольные ельчики, лук и бутылка шампанского. А Юра, поблагодарив, ушел.

Когда Ланцов вернулся домой, застолье уже рассыпалось. Громыхая раскиданными табуретками, наткнувшись на стол и пихнув его так, что посыпались на пол пустые бутылки, закуска и тарелки, он прошел в камору и рухнул на кровать.

«А Нинку Пасечник увел»,— мелькнуло в мозгу, но он уже не мог пересилить усталость и провалился в забытье.

Проснулся в три. Все с той же мыслью: «А Нинку Пасечник увел». Бледным, грязным полусветом сочилась ночь. Было душно. Он встал, нашарил кружку, зачерпнул из ведра воды. И стал пить до липкости теплую воду, отдающую сивухой: Нинка незаметно сливала туда из своего стакана спирт, желая казаться пьяной, но быть трезвой. Он услышал, как на реке где-то уже далеко, густо заговорил мотор, затих и снова подал голос.

— Сука! Сука... Сука... Сука!!! — застонал Ланцов, обхватив ладонями голову и раскачиваясь словно бы в беспамятстве.— Сука! Самая настоящая сука! Ну, погоди!..

Семь его собак сидели на коротких привязях вдоль забора. Чистокровные промысловые лайки, они походили сейчас на шелудивых дворняг. Уже который день Ланцов не удосуживался покормить их. «Все некогда! Все некогда...» Собаки встали на задние лапы, показы-

вая впалые животы, вопрошающе радостно лаяли. А рыжая сучка Немка, соболятница, падала на грудь, терлась мордой о землю, призывая к себе хозяина, и повизгивала страстно и преданно. У Ланцова на мгновение сжалось сердце, когда он, пробегая к уборной, вдруг увидел глаза старого Бурана. Добытчик этот и бесстрашный медвежатник, раздираясь в хриплом лае, плакал. Крупные слезы текли по морде, а глаза были такими, как бывали у маленького Саньки, когда он, разобидевшись на весь мир, собирался расплакаться. Сука Ветка до того отощала, что шерсть на ней встала дыбом и посеклась.

Любимый вольный пес Тарбаган (Ланцов никогда его не привязывал, и тот всегда торчал у крыльца), привыкнув кусочничать, бросился к хозяину, для острастки рявкнув на расшумевшуюся свору, но Саня слегка пнул его сапогом...

— А где Вовочка?

— А ты Вовочки испугался! Эх ты, пилотик...

— Да погоди ты, Ленк... День же вокруг...

— Пилотик ты мой! Пилотик! День? Да?! День! Чего глядишь-то?! Чего? Ну, гляди! Вот...

Она встала перед ним нагая, вся позолоченная закатным неярким светом. Бесстыжая и прекрасная, потому что была первой, которую видел он так вот свободно, так вот близко и долго... Вечность прошла.

— Лен, день ведь... День...— «День-день-день» — звенело в ушах.

— Ой, миленький!.. Ой, пилотик!.. Ой! Ой! Сла... Сла.. Сла-вушка мой, соловушка мой! Натерпелась я, натер-пе-ла-ся...

Тихо на реке. Тут и шепот — крик. Тихо... Расплескалась река, рудово разбрызгала закатное тепло; зашелестела песчаным обмежком, перекатила через него малую волну, и нет ее, волнушки,— в песок ушла.

— Бесстыжая ты...

— Ага... Бес-сты-жа-я.

Глаза слипаются, а на них солнышко липкое, живое, теплое... Закатное солнышко...

Следователь, по-прежнему горбясь, разглядывал реку, перебирая мысленно все, что успели ему рассказать в Юке о Пасечнике, о ловцах и Ланцове. Недлинными были эти рассказы, неважными, но кое-что из них он отметил для себя.

Вчера днем Пасечник схватился с экспедицией. Трое пришли в село за продуктами. Среди них был местный из Мокмы — Жилин. С него и началось. Жорик, о чем-то разговаривая с Жилиным, вдруг психанул, выкрикнув:

— Кто жэ тэбя обырал, гныда?

Мужик был пожилым, и Жорик годился ему во внуки.

— Я тебе в отцы гожусь, обирала! — закричал он и пнул Жорика плечом.— Волки вы!

— Кто волки? Кто обиралы? — подошел к Жилину Пасечник. Лицо его побледнело, и крупные веснушки на щеках и носу стали заметнее.

— Ладно вам, мужики,— попробовал успокоить Пасечника жилинский спутник Вася Расписной. Парень бывалый, с головы до ног украшенный наколками, потому и Расписной.

Но Пасечника останавливать бесполезно. Его словно бы подстегнули слова Расписного.

— Уйди, Вася! — сказал.— Греха бы не наделать...

— Так я волк, говоришь? — Пасечник строил из себя что-то, подергивался и психовал.

Жорик подогревал рядом:

— Обыралы, говорыт... Ловцы... кусошныкы...

— Кусошники и есть,— смело пер Жилин, чувствуя защиту Расписного. И второй спутник — мужик бывалый, служил когда-то в милиции. Они не выдадут.

— Ладно, Епифаныч, пойдем,— сказал Расписной и Пасечнику: — Не дури, Коля, мужик выпил маленько. У тебя своя дорога, у него своя. Обижать не надо.

— Кого? — Пасечник играл желваками.— Его, что ли? Его обидишь! Он кого хочешь сам обидит!

Все бы, наверное, и обошлось миром, если бы бывший милицейский не всунулся в разговор.

— Парни, кончайте святых ломать. Известно про ваши штучки... Знаем,— и кивнул на Епифаныча,— мужик правду сказал.

Что сказал Жилин Жорику в том тихом разговоре, не ясно, но ясно — не надо было говорить.

— Значит, волк я и обирала? — снова вскинулся Пасечник.— А договорчик забыл?

— Ты мне...— Жилин не договорил. Пасечник снизу, присев, всем телом выбросил кулак. Раз, другой... Жилин подломился, упал на колени.

Жилинские приятели бросились на выручку, но поздно — умылся мужик кровью, а ловцы, уже похватав что под руки попало, поперли на них.

— Слиняйте, парни! До греха не доводите — слиняйте! — рычал Пасечник, оставив Жилина.— Чтобы ни ногой в село!

Вот тут Вася Расписной, уводя Жилина — тот плакал и отхаркивался кровью,— пригрозил Пасечнику:

— Отца тронул! За отца ответишь! Срок схвачу, пулю схлопочу — вышку, но с тобой посчитаюсь!.. На старика руку поднял... На отца...

— Отец! Отец! ...От него дети в помойках копаются...

Жилин плакал и говорил, что дела так не оставит...

— К берегу давай! К берегу! — махал рукой следователь, но Харюзов, тоже увидев лодку Пасечника, уже шел на причал.— Вот

туда, туда! Левее. Близко не подходи.— Следователь легко выпрыгнул на носовой багажник и, едва лодка коснулась песка, был уже на берегу.

Ланцов налетел на окосок, и Жорик тащил «казанку», бредя по колено в воде.

Лодка Пасечника лежала на песке.

— Подождите тут,— сказал следователь, останавливая всех, и, проходя к лодке Пасечника у самой воды, внимательно огляделся.

На бортах крупными каплями запеклась кровь. За день ее высушило солнце, и следы эти легко отставали тоненькой коричневой пленочкой. Кровь была только на одном борту, с внешней стороны, внутри лодки — всего несколько капель.

Следователь разрешил подойти.

— Улыкы, да? — спросил Жорик, разглядывая пятна.

— Крови-то мало...— сказал Харюзов.

— Смыло.— Следователь о чем-то думал, разглядывая реку и глубокий выпаханный крыльчаткой след в песке. Винт был погнут на шкиву и поломан.

Ланцов тоже разглядывал борозду, запекшиеся лепешечки крови по левому борту, песок внутри лодки, несколько соломинок, занесенных обувью, и вдруг, натолкнувшись на что-то, помучнел лицом.

— Что, следы? — перехватил взгляд следователь.

— Следы...

Они были хорошо видны на песке и дальше на пойменной луговине, торопливо убегавшие к тайге.

— Чьи? — следователь как бы случайно посмотрел на ноги своих спутников. Двое были в сапогах, Ланцов в легоньких полукедах.

— Людские... Человек бежал.

— Точно, человек,— следователь низко наклонился над следом, стараясь определить отпечаток, а Ланцов, еще больше побледнев, стиснул зубы.

— Черт,— ругнулся следователь.— Не разберешь...

— Сыпучий,— сказал Харюзов.

— Сапоги? Нет?

— Вроде нет,— они уже провожали след по лугу,— вроде не сапоги... Навроде как рубчик есть...

— Нет, сапоги,— выпрямившись, сказал следователь.— Ланцов, как думаешь, чей след?

— Разве разберешь... До росы шел. Сапоги вроде...

— А мне кажется, кеды,— сказал Харюзов.

— Не топчись тут...

— Лодка! Лодка! Гладытэ! Лодка! — кричал Жорик, показывая рукой за кусты.— Ых, лодка!

— Не ори,— Ланцов поглядел туда, где за ивняком в улове, запутавшись в кувшинках, одиноко стояла лодка.— Это Кешки Рукосуева. В ней Вовочка уплыл.

— Жив? — спросил следователь.

Харюзов подошел и заглянул в лодку.

— Жив. Чего ему сделается... Спит...

Вовочка сопел и сладко похрапывал, удобно умостившись на дне.

— Пусть спит пока...

Снова разглядывали следы и лодку со всех сторон. Следователь собрал в пакетик сухие капли крови, песок и соломинки со дна, спрятал в лодку Харюзов тяжелый шкворень — нашел его в багажнике.

— Лодки в Юке все на месте были, когда ты приплыл? — спросил у Ланцова.

— Все,— ответил Харюзов.— Никто не выезжал. У нас с утра должно быть собрание. С полночи только Пасечник и хороводился по реке. Я его мотор по гуку знаю. Хороводился-хороводился, а потом утих. Я уже засыпал, а он снова загугнил. За излуками на курье.

— Почему на курье?

— А я слышал, как он туда сошел. Там такое место есть — на курье мотор работает, а наверх отдает. Коли не знаешь, что туда лодка прошла, обязательно подумаешь, что сверху идет.

— Ты на стук и поехал? — прямо спросил следователь у Ланцова. Тот кивнул.

— Пасечника искал?

— Да...

— Вы что, поссорились?

— Нэт, друза мы! — Жорик не понимал, что происходит. Он знал одно: Пасечника убил Расписной... Следователь ничего не сказал, повернулся и пошел по следу через луг.

— Вы его, Вовочку, на буксир берите и поезжайте,— сказал следователь, вернувшись. След увел к редкоборнику, потерялся там и снова возник у самой Ючки, напротив лагеря геологов. Тот, кто бежал от лодки, иногда останавливаясь, топтался на месте, сразу в лагерь не пошел, а побрел руслом речки. Где он вышел, следователь не обнаружил, но, вернувшись, сказал, что след точно ушел на базу, к геологам.

— Я говорыл! — торжествуя, заорал Жорик.

Когда уже лодки скрылись за излукой, следователь, продолжая думать о своем, спросил Харюзова:

— А на курье зимовейка есть?

— Балаган там для покосчиков из корья...

— Поехали туда.

— А эти? — Харюзов кивнул в сторону геологической базы.

— Не спеши, Миша,— и мощно сдвинул лодку в воду. «На реке Пасечник был не один» — вот что следователь знал точно...

«Конечно... Вот они и следы. Два рядом...» В балагане на топчане — свежие пролежни. Порожняя бутылка портвейна на столе, еще четвертинка из-под водки, под нарами бумажки от конфет, пустая консервная банка («Салака в томате», немного даже осталось)... и вот оно, главное,— заколка-невидимка.

— Он с Нинкой тут был...— Харюзов зевнул, сообщив это так, словно бы сам тут был.

— Кто?

— Да пасечник!.. Вишь, хороводились. Он все вокруг нее вился.

— А она?

— Да что — она! — махнул рукою.— Нынче с одним. Завтра с другим, потом с третьим... Да и то, две девки на двадцать парней. Галька-то, завклубша, тихая-тихая, а туда же... В компанию... Вот и холостуют. А Нинка Саню Ланцова с круга сбила. Она, точно. Он мужик слабохарактерный. Разве устоишь против... Не устоял! Я так думаю, он их двоих укокошил. С ревности. А что, случись со мной, я бы не задумываясь...

Не ожидал следователь такого от обстоятельного Харюзова. Отелло.

...Уже была ночь, но Юка не спала. Рукосуев, который с наступлением сутеми боялся быть подле пожарного сарая, охранял его с берегового свалка. Он первый и подбежал к следователю.

— Нинка пропала! Она с Пасечником в лодке была! Ее возил...

— А где Ланцов?

— Дома, наверное. Ишь, собаки брешут...

Собаки надрывно кричали на юру.

— Он их который день не кормит! — поябедничал Рукосуев и с готовностью глянул в лицо следователю.

За Ланцовым послали мальчишек. Его нигде не было. Стали искать. Нет... Как сквозь землю провалился.

Вся Юка была возбуждена, и только Юра Жданов ничего не знал о случившемся.

В тот вечер, придя от Ланцова, он застал у себя дома Харюзова. Предсовета сидел на приступочках крыльца, дымя махоркой, разговаривал с отцом. В сереньком полусвете наступающей белой ночи дым от самокрутки (курил Харюзов только моршанскую махорку) был хорошо виден и стоял над головами слоисто и густо.

— Косить пора, а где трава-то? — говорил Харюзов.— Что-то в мире повыключалось. Па́лит и па́лит жарюка...

— С маю,— откликнулся старик Жданов.— С космосом, надо полагать, осложнения.

— А трава на паберегах так и не поднялась.

— Где ж ей подняться, Аравия...

— Шмыгаешь покосом — носки на броднях видать. Чего косить-то? Нету. Бескормица, выходит...

— Не позволят. Корма завезут...

— Самим надо,— вздохнул Харюзов.— Раньше-то нынче все бы в тайге были. Каждый бы кусок окосили, каждую лужайку. Тра́вы в тайге есть... Только попотеть надо. Добыть.

— Кто будет? — тоже вздохнул старик.

— Не будут. Точно. Не заставишь. Ее любить надо...

— А вот и сынок... Где был, Юра?

— К Ланцовым ходил,— ответил.— Здравствуйте, Михал Иваныч.

— Здравствуй! Опять гуляют?

Юра помолчал, разуваясь,— за день нажарил в брезентовых бродних ноги.

— А что делать им! — ответил за сына старик.— До тебя, сынок, Михаил-от...

— До тебя, Юрик. Пришел...— Харюзов заторопился, зашмыгал носом. Совестно было говорить, за чем пришел.

Юра разулся, стоял босыми ногами на шершавых, в зауснях и порубах, плахах крыльца, ощущая солнечное тепло, которое за долгий день вобрало в себя старое сухое дерево.

— За шиверами на закосах табун ходи...— Харюзов неопределенно выговорил последнее слово. Не понять было, то ли ходит табун, то ли ходил.

— Ну? — Юра потянулся. Молодо хрустнули косточки. Был он от затылка до пят строен и ладен. Красивая голова с кудрявой, коротко постриженной челочкой, стройная бойцовская шея, широкие плечи с крутым выкатом мышц, пропорциональная грудь и все еще по-мальчишески убористая, тонкая талия и ноги с едва заметной кривинкой — сухие, прогонистые ноги хорошего промысловика.

За прошлый сезон Юра добыл пятьдесят шесть соболей, девятьсот белок, достаточно отловил и ондатр. Зверек этот недавно, но густо расселился по озерам. Вывез Юра по заготовке из тайги три сохатиные туши. Добыть лося по их угодьям несложно. Вывезти — вот задача. А он вывез все три один. Когда подвели итог по Юкскому отделению промхоза, оказался Юра лучшим охотником. Занял первое место в соревновании.

Бывалые зверовики хоть и поворчали немного, досадуя и не веря такому фарту, но потом обуважали Юру, признали.

Ловцы голос открыто не подняли, но про себя судачили, что «нечисто тут...», пока Ланцов не прекратил эти пересуды: «Ладно бабиться-то! Язык, конечно, без костей! Работать надо». Был Ланцов вторым по итогам сезона.

— Нет, однако, в Закосках табуна,— сказал, вздохнув, Харюзов.— Я туда лодкой бегал. Думаю, пугнул зверь...

— Следов не видел? — спросил старик Жданов.

— Нету. Да я и не бегал вокруг...

— По реке они не пойдут. От шивер по елани двинут, а там в гольцы. Куда и гнать...— соображал старик.— Он и раньше, зверьто, любил так гонять...

— Так и погонит,— согласился Юра.— Мне что, бежать, что ли?

— Бежать, Юрик. Куда деться? Табун-то жалко. А тут вот он, покос.— Харюзов виноватился и голосом и глазами. Заплевал окурок, положил его аккуратно на землю и придавил каблуком.

— Хлеб есть, папа? — спросил Юра.

— Есть. Мать пекла нынче...

— Верхами надо. За Змеиную выйду, а там на гольцы, глядишь, и подсеку след...

— Точно так и давай,— обрадовался Харюзов.— Так оно без проигрыша. Я бы с тобой сбегал, так ведь утром собрание. Побригадно делиться будем на покосы.

— Меня в какую бригаду? — Юра встал, попробовал на ладонь только что развешанные портянки. Чистое новое сукно уже пообвеяло. Ночь не принесла свежести, было по-дневному палко.

— В третью тебя, к Ланцову. В молодежную...

— Ага.— Юра присел обуваться.

— Сейчас и поедешь?

— А то.

— Отдохнул бы,— сказал отец, и в голосе его послышалась неутайная нежность.— Ты где нынче робил?

— Городили по Старым пашням. От межка до курьи прошли.

— Хорошо,— похвалил Харюзов.— А кто с тобой?

— Сирпинкин да Зюкин Павлик...

— Зюкин? — схватился Харюзов, хотел что-то в сердцах сказать, но сдержался.

— Он с полдня ушел. Животом заболел.

— Поди, у Ланцова лечится?..

Юра не ответил. Зюкин был там, сидел пьяненький, но, когда вошел Юра, схватился руками за живот, морщился, воровато глядел мимо, страдал лицом, показывая, что не оклемался еще, что тут он случайно...

— Работнички...— выругался Харюзов сильно, но не зло.— Капиталисты, в душу мать...

— Почему,— удивился Юра,— капиталисты?

— Пенсию по безработице получают! — объяснил Харюзов.— Ну, посуди сам...— уже обращаясь к старику Жданову, начал Харюзов.

Юра ушел в избу. Собирался. Покидал в котомку сменку: чистую рубаху, портянки; завернул в полотенце две булки хлеба, в мешочках кинул соль, сахар, чайную заварку, перец, лаврушку; подумал и положил крупу. Могло случиться, что табун ушел далеко, и тогда придется долго шариться тайгою — день, может быть, два, а то и дольше.

Одевшись уже по-таежному и переобувшись, пошел за село к бывшим пашням и вернулся оттуда спустя время, ведя под уздцы заседланную соловой масти кобылку — Солову́шку. Взял ее не случайно, бойкая и выносливая кобылка мягким своим ржанием могла успокоить любого верховода в табуне.

Отец с Харюзовым все еще сидели на крыльце, к ним вышла и мать.

— Поехал? — спросила обыденно, вроде бы и безразлично.

Это старик с годами обнежился, порою глядит на сына, а у самого от любви к нему губы трясутся и глаза влажнеют, а она к детям всегда ровна, даже с этим, который всех дороже и жальче. Да

как и не жалеть, коли ушла с ним вся ее бабья сладость, вся любовь.

Уже садясь в седло, Юра подумал, что, вернее всего, отпугнул табун тот обездоленный гулящий зверь, который следит вокруг, не находя себе покоя.

Медвежьи свадьбы давно кончились, но в их тайге все еще хороводилась ненасыть. Второй месяц таскает за собой гулящая медведица самца. Она су́чит, а он ходит за ней, потеряв покой, изодравшись вконец, ревмя ревет, не ест ничего — любит. А она, подлая, так и оставшись яловой, улучит как-нибудь время и скроется от него. Ей это просто, она ни вес, ни силы не теряет, а он и потом долго будет ошалело бродить тайгою, изнывая в тоске. И коли найдет ее, затаившуюся, то задушит и выест петлю, а не найдет — будет на весь мир зол и уйдет в зиму шатуном. Если не срежет его пуля охотника, то с первыми морозами заморит голод. Но, пока жив, бед натворит много.

— Папаня, дайте мне карабин,— попросил Юра, уже сидя в седле и придерживая бойко заходившую Соловушку.

— Сиди,— сказала мать, предупредив отца, встала. Вынесла с поветей старый, вытертый до белизны по ложе карабин, подала сыну.— С богом, сынок...— Юра закинул карабин за спину, внахлест, и тронул кобылку. Был он необъяснимо хорош, прямо и влито сидя верхом. На фоне все еще белого неба они с лошадью стали как бы единым целым в том плавном покачивающемся движенье, в той ночи, в том просторе раскинувшихся лесов, который уводил их все дальше и дальше — в бесконечность.

— Хорош! — сказал Харюзов, провожая щурким взглядом Юру.— Хорош! И вот как жалко парня, как жалко. Как же так недоглядели-то, Вонифатыч?..

— Хоть бы ты не корил! — вздохнул старик и вдруг рассердился: — Он у тебя в любом деле затычка, и туда и сюда гоняешь...

— Потому и жалею — совестливый он...— вздохнул Харюзов.— Другой раз бы и не послал куда! А кого пошлешь? Их, что ли?! — махнул рукой. У дома Ланцова смеялись и кричали что-то. Совсем некстати начиналась и гасла любимая в Юке песня:

Споемте, братцы, удалую на радость нам, на зло врагу...

На голос откликались ланцовские собаки, и Кешка матерился на них. Слышно было далеко.

Юра ехал вдоль реки песчаными косами, пересекал каменные россыпи, пускал Соловушку бродом через ви́ски и старицы. От воды потянуло огуречной свежестью, и крошечный серпик луны, едва вытаяв в небе, искрился на перекатах. Было тихо, но Юра не слышал этой тишины, поскольку стук копыт и дыхание Соловушки до краев наполняли тайгу, выпугивая то заполошный выкрик малой птахи, то мягкий топоток лисьих лапок, то звонкий — копыт вышедших на водопой оленей.

Юра был молод, радостен и счастлив, потому что еще не знал

страха ни перед этой тайной великого скопища деревьев, ни перед людьми и жизнью, которая, как ему казалось, только по-настоящему и начинается с него. Все, что было до, казалось очень далеким, старым и уже отжившим свое. Он был последним сыном в семье, поскребышем-скворцом. Родители действительно старые: отцу шел семьдесят пятый, матери семьдесят второй год, и он жалел их и почитал так, как только внуки жалеют и почитают добрых своих дедушек и бабушек, принимая в них трогательное и снисходительное участие.

Глеб Вонифатович стыдился перед людьми такой поздней и случайной беременности жены, и эта стыдливость каким-то тайным образом передалась Юре.

Когда в школе-интернате ребята кричали: «Юрка Жданов, к тебе дедушка приехал!» — он не поправлял товарищей и спешил увести отца с их глаз, боясь, что тот услышит это «дедушка» и обидится. Эта неосознанная стыдливость за поздний родительский «грех» воспитала в нем сторожкую заботу и раннее покровительство. В любом деле, еще совсем мальчишкой, был он отцу в помощь, а подрос — незаметно переложил на свои плечи основные мужичьи заботы по дому, не отказываясь помочь и матери в ее делах. Они уже, с первой его осознанностью мира, были стариками. Он перенял их повадки, умение, душевный склад, их доброту, но то, что совсем недавно было их жизнью, казалось Юре необозримо далеким, лежащим за непреодолимой чертой. Та жизнь была только их жизнью и равно далекой, как жизнь Ивана Грозного, Петра или Пушкина, она лежала за той межой, за которой, как бы ни были они реальны, начинаются сказки. Ведь не случайно в нас, в русских, привычка отсылать даже недавнее прошлое во владения некоего царя Гороха.

Никто, даже самые близкие, не могли предположить, что желание Юры остаться в родной тайге было продиктовано этой вот покровительственной любовью к старикам, жалостью к ним, таким беспомощным сейчас на родной земле. Он и сам не знал об этом, но чувствовал, что, уйди отсюда он, Юра Жданов, и что-то произойдет непоправимое, и что-то навсегда исчезнет с земли, и она станет от этого беднее. Корень старого таежного рода все еще держал его крепко, все еще питал трудными соками любви и почитания всего, что составляет смысл жизни: «Младший почитает старшего, отвечая на любовь и заботу заботой и любовью...»

Юра считал, что рано или поздно он все равно выучится «высшему» (сейчас столько заочных институтов), а пока должен обживать свое, кровное, родное, заслужить уважение старших, а потом придумать что-то такое, что поставит Юрку в один ряд с теми, о ком говорят по радио, пишут в газетах и снимают кино. Он и сейчас думал об этом.

...Их было пятеро, школьных друзей, которые ради этого (у каждого из них была своя Юка) поклялись никогда не пить водки, не курить и не увлекаться женщинами. У каждого была своя, до поры тайная, любовь до гроба — друг и спутница в нелегкой жизни промысловика-охотника.

Но избранницы об этом пока ничего не знали, мечтая побыстрее вырваться из тайги в институт, на стройку, на завод, где ждут их культурные и обходительные (так казалось девчонкам) молодые люди. Женщины в наше время более склонны к изменчивости привычек, укладов и мод...

Короткая белая ночь истаяла быстро. Юра уже поднимался тайгою к гольцам, когда встало солнце. Ночью, сворачивая в тайгу, он услышал на реке гул мотора, не рабочий, натужный и монотонный, но веселый, с завываниями и выкриками. Кто-то кидал лодку на полной скорости от одного берега к другому, лихо заваливая на вираж, и, совершив разворот, снова и снова повторял его, будто кружил в танце. «Ланцов Нинку катает»,— подумал Юра и улыбнулся, вспомнив, как однажды уже слышал эти лихие повороты и видел напрягшегося на руле Саню и смеющуюся всем лицом Нинку, что-то счастливо кричащую.

Солнце громадным черным горбом вывалилось из-за увалов, и Юра «хватил зайчика». Золотые червячки, черные точечки, пузырьки, белые и лишенные цвета, игриво замельтешили под веками.

— Почему это так? — спросил когда-то, очень давно, Юра у отца. Было ему тогда очень мало лет, но он до сих пор помнил встречу с солнцем.

— Это ты кровь свою видишь,— объяснил отец.— Свое начало. Оттуда мы все и пошли. Оно и сейчас в нас — начало...

И Юра поверил и до сих пор знал: это правда. Это замкнутый мир кроветворения, который видишь, едва закрыв глаза, тот бесконечный, а потому и темный океан есть его начало, все в крохотных пузырьках, точечках, белых пятнышках, живчиках и жгутиках, в червячках и тонких нитях...

Соловушка легонько заржала. Это была тревога. Юра спешился, коротко взял лошадь под уздцы и послушал. Тайга звенела. Широко и густо накатывался этот звон, как накатываются на берег тихие волны теплого моря. Юра не видел моря, но знал: так оно и есть, так дышит все живое, и тайга, и море, и океан, и сама Земля, когда на ней все хорошо и спокойно.

И только тревожный голос Соловушки сбивал это дыхание.

— Что, Соловушка? — спросил Юра, приглядываясь к земле и уже замечая на камешнике едва уловимые следы зверя, а чуть поодаль и широкий пролом табуна. Зверь хотел загнать коней в гольцы, в каменную ловушку, но кони не пошли туда. Серко — вожак, самый строптивый, самый вольный, его уже лет пять не занимали работой, повел табун напролом по тайге старой сеченой тропою, снова к реке на Широкие Елани.

Уже на спуске, в малой луговинке, Юра увидел ясный след медведя. Прикинул размер лапы на вершок. Зверь оказался матерым и крупным. Шел он за табуном охотничьим махом, не жалея сил. Нет, не играл, как часто бывает летом с медведями, а шел в ярости, единственно ради того, чтобы убить...

— Лен, а, Ленк, ты где была? — спрашивал Вовочка.

Ленка стояла спиной к двери, у зеркала. Причесывала длинные, в пояс, волосы. Они были чуть влажными и золотились.

— Любилась!..— Ленка видела в зеркале лобастое, растерянное лицо мужа, виноватость, которая приходила с похмельем; в такие минуты он был тих и учтив. «С кошкой поздоровается!» — говорили о нем. Но сейчас Ленка ничего, кроме брезгливой жалости, не чувствовала к Вовочке. Этот выпуклый лобик, чуть навыкате большие кроличьи глаза, беспомощный рот избалованного ребенка, безвольный подбородок и беззащитный взгляд. Весь его облик настолько был несовместим с ней, здоровой, красивой, иногда грубой и резкой, что было поистине неисповедимо, как эти люди могли объединиться.

Вовочка был сыном бывшего председателя райсовета, уважаемого, чтимого на Севере. Комсомолец двадцатых годов, чекист, первый депутат Нацсовета, он был под стать матери Вовочки — партизанке, организатору женсовета, первой заведующей красным чумом... Родители все умели, все могли. Организаторы, агитаторы, воспитатели масс, они как-то совершенно необъяснимо проглядели своего сына. Перенесенный полиомиелит сделал его инвалидом, ему все было дозволено, с него ничего не спрашивалось. Сыграла свою роль и их всегдашняя занятость, жизнь для других, постоянный накал, горение. Во многих семьях тогдашних активистов были трудные дети; Вовочка не был ни трудным, ни легким — он был никакой. Выросший, казалось бы, в некоем подобии дисциплины: надо было вовремя обедать, мыть руки, менять после школы одежду, чистить зубы, жить по распорядку дня — и в то же время в вечных поблажках, баловстве и уступках. Он легко и даже с отличием кончил школу, поступил в университет, но бросил его. Жил в городе у бабушки, ничего не делая. Потом отец настоял, чтобы сын поступил в техникум. Вовочка вернулся на Север дипломированным «пушником», и тут оказалось, что все то малое, что имел он в жизни,— школа с отличием, техникум, отношение земляков — не его, Вовочкино, а родительское, приобретенное их влиянием и авторитетом. Он это почувствовал сразу же, вернувшись уже взрослым человеком на родину, а почувствовав, стал тяготиться этим.

Он «зарабатывал» свой авторитет, легко сходясь с людьми в застолье, в случайных выпивках и компаниях, красноречием и необузданной фантазией, выдавая придуманные истории за реальные, некогда происходившие с ним. Пристрастие к выпивке быстро дало результаты. Вовочка стремительно опускался. Родители приняли крайние меры: воззвав к сыновней совести, они на всякий случай припугнули его принудительным лечением. Вовочка обиделся, к тому же отец в пылу полемики назвал его сначала мягко и по-давнему: «рабоче-крестьянский недоросль». А потом по-современному: «подонок».

Он ушел от родителей. Поступил на работу в коопзверопромхоз приемщиком пушнины и женился. Ленкой тогда владела великая жалость к необыкновенному и такому одинокому Вовочке. А он дей-

ствительно среди сельских людей — занятых, грубоватых, а порою суровых — был выделяем и своей необычной наружностью, и рассказами, которым Ленка верила. Приемщиком он был добрым. Охотники, поднеся Вовочке, сами определяли сортность пушнины, и он не перечил им. Они же и взъелись на Вовочку, когда с центрального приемочного пункта стала приходить то и дело пересортица, ущемляя зверовиков в заработке. Но это не мешало выпивкам, поскольку он был на должности, а должность привыкли уважать. «Что же я делаю?» — иногда думал Вовочка. И начинал услаждать себя мечтами совершенно необыкновенными. Так он объявил, что пишет книгу о суровых буднях Севера, что уже получил на нее заказ от одного московского издательства и его приглашают в столицу. Сначала в это верили. В нашем народе до сих пор крепка вера в то, что любой, если очень захочет, может написать книгу «про жизнь». Но потом стали сомневаться, а со временем и шутить:

— Гляди, парень, а то тебя Вовочка опишет!

А он, подхлестываемый этими шутками, принялся и вправду писать. Прочитал написанное Ленке.

— Здорово,— сказала она.— Только все брехня.— И предложила: — Давай уедем, Вовочка...

Самое сильное чувство в женщине — жалость. Сильное, но недолговечное, к тому же легко переходящее в противное ему. Но тогда Ленка сильно жалела «своего непутевого».

В Юке Вовочка мечтал сделать геологическое открытие. Он собирал по окрестностям камни, ходил к гольцам и за Змеиную гору. По ключам и речушкам действительно встречались редкие камни и породы: голубенькая спекшаяся земля хранила в себе кимберлит, вода отмывала на песках пиропы — черные гранаты, встречались тут россыпи агатов, сердоликов и яшм, но ничего об этом не знал Вовочка. Мечтая сделать открытие, он искал кварцевые жилы с золотыми дайками.

Занимался он и селекцией — хотел вывести озимый картофель.

Был у него завидный талант — рассказывать о своих мечтах настолько реально и доказательно, что даже самые отчаянные «неверы» увлекались.

Поверила ему и Ленка. Она продолжала верить этим мечтам до последнего дня, потому что не могла предположить, что так красиво, так вдохновенно и реально можно врать. А он и не врал. Мечтал...

— Меня водомерщиком берут,— сказал Вовочка, чувствуя, что надо сказать что-то. Он давно уже нигде не работал и не говорил ей о последней своей мечте.

— Да?..— Она всплеснула руками, и волосы ее рассыпались по плечам.— Не может быть! — и повернулась к нему, чужая, впервые не отвечающая на его мечту.— Все-то ты врешь, Вовочка!

И мечта его была хилая — водомерщик. Им и Кеша Рукосуев работал.

Вовочка чувствовал, как все вокруг делается пустым и сердце

обрастает страхом. Но пуще всего он напугался слез, подступивших к глазам.

— Я книгу напишу... про водомеров...

— Писатель! — отвернулась Ленка.— Сортирных стен маратель!..— сказала, чувствуя, что брезгливая жалость к нему рождает в ней ненависть.

— Правда, Лен! — Он стоял за спиной, боясь коснуться ее, но она слышала его дыхание на своем затылке и едва сдержалась.— Правда...— Все, что было у него светлого и хорошего в жизни, связано с ней, с Ленкой. И теперь это единственное уходило навсегда, он цеплялся за него безнадежно и обреченно, зная, что не удержит.

— Правда... Гришка-командир сказал. Вася договор привезет. Знаешь, как мы будем...— его уже подняла и несла мечта.

— Ты к командиру и не подходил! — жестко прервала Ленка последний его полет.— Врешь ты все! — И, собравшись рассказать ему все и поставить раз и навсегда точку, она выдохнула: — А я, Вовочка...

Он понял все и выкрикнул:

— Ланцов Нинку убил!..

Следователь сидел в избе у Ждановых, в красном углу под портретом Суворова — старой, еще дореволюционной, литографией. Несколько одутловатое лицо его с мешочками под глазами, обычно смуглое, теперь было выголублено сумеречным светом из окна.

— Гуляли-гуляли и нагулялись,— сказал старик Жданов.

У новых домов наверху закричали собаки, им откликнулись юкские. Брех прошел по всему селу и замолк, но те, «наверху», все не унимались, перебивая друг друга, подвывали.

— К Ланцову кто-то пришел,— сказал Глеб Вонифатович.

— Не сам ли?

— Нет. Собак бы не так орал. Мало ли кто. Они там все хозяева...

— Кто?

— Да ловцы же.

После ужина вышли на крыльцо покурить.

— Юра-то где? — спросил следователь.

— Дак в тайге. За конями ушел. Упустили табун-то. Ишшет.

— Один?

— Дак один. С кем же?

Чуть повыше избы Ждановых, где начиналась новая стандартная улица, кто-то в белой майке мощно копал яму. Удары заступа были гулки и расчетливы. Рядом светлела еще фигура. Следователь, приглядевшись, увидел женщину, граблями сгребавшую сор в одну большую кучу, чуть уже дымившуюся. Там убирали двор. И следователь вспомнил дом Ланцова, грязную посуду на крыльце, в кухне, в сенцах; серые, в каких-то пятнах простыни на неубранной постели; пыльные тюлевые занавески, прожженные во многих местах сигаретами; грязный полог над пустой двуспальной кроватью. Он тогда

подумал, что все в этом доме и вокруг него отмечено печатью обреченности.

— Ты вчера тут был? — спросил следователь Рукосуева. Он, Жорик и Зюкин с Харюзовым и Ждановым стояли около дома во время обыска.

Кеша замялся, Зюкин заметно струсил, а Жорик сделал вид, что не слышал вопроса.

— Понятно. Значит, все тут были?

— Ага,— легко согласился Рукосуев и улыбнулся.

— Уберите тут и вымойте. Вы же люди! — И пообещал: — Кажется, я вами всеми займусь.

— А мы что?..

— Ладно! — оборвал следователь и вышел, брезгливо ступая по грязным, липким половицам...

— Кто это? — кивнув на работающего и женщину с граблями, спросил следователь.— Не призна́ю что-то.

— Новые. Серпинкин с женою. Работать приехали. С высшим образованием оба. Обстоятельные. Вишь, землю вкруг дома поднял. Огород делает. Хозяин.

— По направлению?

— Нет, сами по себе. Рабочими в промхоз. С моим Юркой ото дня поскотину городил...

Следователь покачал головою.

— Опять ловцы.

— Нету! Он мужик самостоятельный. Обстоятельно берется. Дети у них. Двое. Один махонький, эвон,— кивнул на детскую коляску, покрытую марлей. Стояла она чуть поодаль дома на продувке.— Думаю, ловцам с ним не сладиться. Семья у него.

— Роет себе землю и ни до кого дела! Единоличник,— осуждающе сказал следователь.

Жданов защитил Серпинкина:

— Не так думаю! Не так! Приглядывается он. Обживается, а потом и даст знать! Это точно! Опять же, семья. На семью время надо. У нас как получается? Все по общественным, все по общественным, по работе, а семью проглядел. Нету семьи — нету государства. Все врастык. Это точно...

И замолчал надолго. Следователь тоже молчал. Думал, что в тайгу все чаще и чаще, в самые глухие места ее, приезжают люди из города. Имея высшее образование, поселяются в деревнях, на заимках, работают в промысловых хозяйствах, в колхозах — на земле. Бегут из города от своих профессий. В их районе есть несколько таких семей и человек сорок одиночек. Что это? Какой-то начавшийся процесс или просто случайность? А может быть, в стране переизбыток людей, получивших высшее образование? Кто он, этот Серпинкин? Инженер, историк, философ, агроном, преподаватель, юрист?.. Городит поскотину, косит траву, вскапывает под огород землю у дома, осенью уйдет в тайгу на охоту. Зачем он принял на себя эти обязанности человека, живущего лицом к лицу с природой,

отринув то, чему учили его в школе, в институте, а потом на производстве? А может быть, проснулась в нем жажда к земле, к осмыслению ее, захотелось вдумчивой близости к ней, поруганной когда-то общим невниманием и единственным стремлением — покорить?

Может быть, и он, как Юра Жданов, тянулся к ней в юности, полный дерзких и добрых желаний, но только не выдержал презрения сверстников, требовательности родителей и общего мнения, что ты только тогда и человек, когда кончишь институт. Какой — не важно! Лишь бы высшее... Может быть, это и так, а может быть, и нет. Время скажет. Все и вся можно обмануть, но не время.

— Ведь что-то такое было? — улыбнулся своим мыслям старик Жданов и начал рассказывать: — Жил у нас тут старик шаман. Чиликаном звали. Давно было. Собирался Иннокентий Львович, сосед мой, на охоту. Говорит старику шаману Чиликану: «Поворожи, дядя!» Чиликан полстакана водки налил: «Дай-ка серебрушку!» — двадцать копеек, значит. Бросил в стакан: «Э, дядя! Один бунта, два бунта, три бунта...» — считает Чиликан по бунтам. В бунте — двадцать белок. «Однако, тришта белок убьёшь. Сохатого добудешь. Много мимо стрелять будешь... Однако, домой придешь. Гли-ко, глико, сохатый лежит, эвон сохатый!» — показывает в стакан. Львович заглянул. Двадцать копеек там. Чиликан серебрушку достал, водку выпил. Гулять стали. Погуляли. Львович на охоту ушел. Все при мне это было. Весь соседа завод оказался в триста белок, в одного сохатого. А потом сбился Львович и давай мимо пулить. Собрался и домой. Прав Чиликан оказался. Ведь что-то такое было?.. Угли каленые, как есть с жару, в рот закладывали. А на другой день, как пошаманят, спят, не добудишься...

Снова помолчали. Серпинкин по-прежнему копался, будто и не двигалось время. Только фигура его стала еще неясней в сутеми, но три столба светлели, прочно вкопанные на место. Серпинкин укрепил четвертый столб. Распрямился, отерся рукавом майки и тяжело пошел в дом.

— Устал,— сказал старик Жданов.

Он тоже следил за Серпинкиным. В небе надсадно и нудно затянул свое далекий самолет. Глеб Вонифатович прислушался:

— Во, «японец» пошел. Токио — Москва. А этот якутский...— Сшиб ладонью невесть откуда налетевшего крупного паута.— Че ему не спалось! — покрутил в крупных пальцах полосатого с зелеными фонарями глаз, надорвав крылышки. Паут занялся тоскливой нудой.

— Почему якутский? — спросил следователь.

— Порода такая. Вишь, как бык, огромадный...

Вышла на двор старуха. Сняла ведра с городьбы.

— Ты че, старуха?

— Не шпится. Вот ешли лыва не обшохла, так оттуда воды на огород наношат,— ответила и ушла, позванивая дужками ведер.

Старик снова вспоминал:

— В ноябре, надо быть, как-то вышел шатун из тайги. Пошел на аэропорт. Выдавил окошко, залез в помещение, трубы на печке смял. Вылез, пошел на деревню, да на реку след охотника подсек. А мой, другой сосед, носил эти дни продукты на заимку. Медведь и пошел тропою-то. А сосед вышел из дому, собрался уже на промысел идти, глядь, по его следу в зимовье идет медведь. Лапишша огромадные и кровят. Знать, на аэропорте поранил. Сосед за мной:

— Шошед! А шошед! Дядя пришел! Добывать давай!

Я ружо схватил, пальмичку наточил и, как был в фетровых валенках, побежал в тайгу. Километра не доходя до зимовья, пустили собак. А сами бегом, бегом... А мои собаки пулей назад промелькнули. Ушей нету, хвостов нету — попрятали со страху. А Дядя с его собаками занимается. Мы бегим! А вот и он — Дядя. Огромадный. Собак бросил и на нас. Пасть открыта. Я прицелил. Спустил... Осечка! Сосед ахнул прямо в рот, за ухом вышла. А на нем собака висела. И ее в рот, и за ухом вышла. Дядя от нас ходом. А собак тот на снегу крутится, крутится... Кончается... Мы бегом за Дядей. Он угодил под колодину, там и кончился. Мои собаки мертвого-то тоже прибежали трепать.

Снова помолчали, и следователь спросил:

— Глеб Вонифатович, а как с колхозом справлялись? Трудно? — Следователя все не оставляла мысль о неблагополучии в районе.

— Трудно от слова «труд» исходит. Труд, по-марксову, создáл человека! — покашлял довольный своим высказыванием.

Следователь хотел поправить, что Маркс так не говорил, но не стал.

— Трудились. А то как же? Своим колхозом в гору шли. Не шибко, конечно, но в гору. В тайге как испокон было? Каждый своим домом живет, а коснись забота — все вместе. Миром. Мир дела решал. И зверовать, и косить, грибы, ягоду брать (это уж завсегда бабы да дети — кумпанией), лес валить — все вместе. Пришло время сселиться в колхоз — сселилися. Хотя и обвыкнуться надо в новом-то положении.

— Обвыкались-то тяжело?

— У нас? Нету. Тяжело, когда за нас, будто своего разума не имеем, думать начали. Волевые решения... Но и с этим обвыклись. Колхоз — он свой, село свое — Юка... Хуже стало, как укрупнили. Совсем худо. А потом и кончилося все. Ни колхоза, ни села, одно коопзверо-промысловое хозяйство на тайгу. Мы — отделение. Отделение...— Глеб Вонифатович вдруг задержался на этом слове, повторил его. Послушал.— Выходит, отделили нас. Отделили? От чего?

— Так что, плохо сейчас?

— Отчего плохо? Хорошо. И сыты, и пьяны! Довольны? Нет. «Городьбу делать — не буду! Коней пасти — не хочу! Землю пахать — сама родит!» — передразнивал кого-то старик.— Хорошо! Сыто. Государство голодать не позволит. Позаботится. Оно богатое...

Шарилась где-то с ведрами старуха.

— Пойти помочь...— сказал старик. Было уже поднялся, но снова сел, решил досказать, о чем думал: — Что правда, то правда — хлебушек нам раньше с трудом доставался. Но и радость была. Чего там было? — Глеб Вонифатович будто оглянулся в прошлое, колхоз увидел.— Одна молотилка, две конные косилки, грабли пароконные. Пашень триста гектаров. Покосы. Все было, со всем управлялися. Трудились — ясно. А как же? Да еще и сбоку прибыток ухватывали. Отрядимся артелью лес сплавлять. В июле большой водой погнали, в сентябре домой воротились. До Туруханска гоним, там пароходом на Красноярск, поездом — на Иркутск. С Иркутского, шитик купили, до Качуга доплыли. Там Севморпуть лошадей перегонял. Нанялись гнать — опять копейка в прибыль. А там уже и рукой до дому подать. Большая река наша встала, сперва по льду пешочком шли. Осенний лед страшит: трещит громко, но против весеннего — крепкий. Купили в складчину за сто рублей лошадку — и домой на санках...

Старик снова послушал, как позвякивает ведерными дужками его старуха.

— Деньги. Большие деньги людей избаловали. Делай, не делай, стой-перестой, а государство тариф твой рабочий оплатит. Точка! Попробуй не заплати! Машина до снега косит и не успевает. Ни пашень у нас сейчас, ни покоса... В поле, в лес то же — в полдень идем, в шесть возвращаемся... Дело разе?..

Глеб Вонифатович словно и забыл о собеседнике. Говорил безотносительно, ровно как сам с собой.

— Помозы варили — смолу на сливках. Ими и мазались от комара. А чтоб лошадок не мучило, на дышло повесишь дымокур и косишь... А то и ночью, чтобы паут не маил...

Зверь выдохся. Стремительный бег в ночи, крутой подъем в гольцы, а потом спуск к еланям измотали. Там, где тайга, обмелев, густела и переходила в поречные наволоки, он умерил бег, перешел на трусцу, потом и вовсе остановился. По-мужичьи тряхнул головой, отхаркался и лег, умяв громадную морду в вытянутые когтистые лапы. Тощие, так и не опушившиеся вылинявшие бока его тяжело ходили, как старые кузнечные мехи, и хлюпали.

Любовные муки истерзали громадное тело, лишили красоты и мощи. Был он похож на бесформенную груду, прикрытую изношенной, рваной шкурой. Ненасыть, измотав, умаяв, исчезла однажды, обрекла на неизбежную тоску, и он, отчаявшись найти ее, истратил последние силы в погоне за табуном. Лежа на сырой земле, он понимал, что немощность принесла ему ненасыть, но, понимая это, все-таки желал ее, готовый ползти к ней на брюхе. И он пополз, уловив ноздрями близкий запах добычи. Табун ускакал далеко, но совсем рядом, в сырых куговицах, вспугнутые шумом погони, прятались олени. И, подхлестнутый запахом, медведь, не поднимаясь, бесшумно двигался вперед, примыкаясь всем телом к земле.

Он полз очень долго, часто замирая, и тогда изношенная шкура остро топорщилась на холке, будто бы он прислушивался ею. Олени, утробно переговариваясь, были уже на шагу, но шли осторожно, останавливаясь и напрягаясь. В тайге они начали пастись, медленно поднимаясь к гольцам. Зверь сопутствовал им, иногда приближаясь настолько, что слышал мягкое похрустывание мха, сухой шелест и полные выдохи вожака перед тем, как тот вынюхивал, нет ли опасности. Медведь ощущал запах перетертой сухой пищи, смоченной обильной слюной. Этот запах, ложась в ноздри, пьянил, наставляя на безрассудство, и зверь, сдерживая себя, начинал дрожать вожделенной дрожью. Но страсть не могла победить расчетливость охотника, и он смирял себя, надеясь выбрать точный момент для прыжка. Промахнуться не имел права. Чуть опередив стадо, медведь затаился меж двух оскалков, определив, что стадо пройдет тут. Зыбкая дрожь била его тело, и это был уже не азарт, а слабость. Выведенный из привычного необъяснимым поведением медведицы, он не мог вернуться к обычному образу жизни. Прежняя жизнь, когда он, покойно урча, выкапывал и поедал слабые корни, когда собирал прошлогоднюю ягоду, зорил бурундучьи норы и раскапывал муравейники, была ему противна, и он искал утоление голода в убийстве.

Олени не пошли по предполагаемому им пути, и медведь, определив, что стадо удаляется, снова пошел за ним. Медведь опережал оленей, ложился в скрад, ждал, но животные опять меняли направление, и он опять начинал слежку, и опять без результата. Взошло солнце, запахи умножились, в тайге стало шумно, и двигаться можно было куда проще. Но и олени чаще стали вынюхивать воздух, прислушиваться и настораживаться. Уже не один вожак, а каждый в стаде заботился о безопасности. Охота усложнилась.

И снова медведь затаился в камнях над едва заметной оленьей тропою. Она, петляя меж обомшелых глыб, опадала в низинку, которая вся пенилась густым и высоким ягелем. Запах мха был остр и першаще сух.

Олени разбрелись. Они хватали ягель, высоко поднимали головы и прислушивались. Что-то томило и беспокоило их. Вожак прошел близко от медвежьего скрада, но зверь пропустил его. Мудрый, ловкий учаг мог увернуться и увести все стадо. Медведь выбрал себе жертву — беспечную тонконогую важенку, которая меньше других поднимала голову от земли, жадно поедая мох, но не весь подряд, а выбирая повкуснее. Лакомка будто вылизывала ягель, утопая в нем черной нюхалкой. Важенка, не сторожась камней и густых зарослей, где мог скрыться враг, шла по прямой к медведю, и он, уже сев, ждал только мига, только сигнала, который подаст его сердце, налившееся до предела тяжелой кровью. Важенка была рядом. Ее красота, плавные переливы линий тела, гибкая длинная шея, маленькая головка, влажные глаза, белая манишка на груди, тонкие ноги — ее совершенства определили беспечность характера. Рожденная для того, чтобы ею любовались, она была обречена.

...Юра нашел табун в пойменных лугах. Кони, плотно сбившись,

ходили по кругу, уминая траву, и под копытами оголилась земля. Этот живой водоворот лоснящихся испариной конских тел как бы свивал и напрягал невидимую мощную пружину, которая в минуту опасности, распрямившись, или уничтожит врага, или даст силы стремительному бегу во спасение.

Кони все еще дичились, и Юра не стал беспокоить их. Он расседлал Соловушку и пустил в табун. Кобылка запрядала ушами, вытянула шею, становясь выше ростом, мягко заржала и, подкидывая задок, заспешила к сородичам.

Но те, прекратив движение, напряженно застыли, повернув все до одного к ней головы. Они не принимали ее. И тогда Соловушка, остановившись, тоже внимательно поглядела на табун — не обозналась ли — и снова повторила ржание, только теперь длиннее и понятнее: «Что же это вы? Я же — Соловушка! Соловушка я!»

И жеребец Серко, узнав ее, ответил в полный голос: «Да! Да! Да! Это ты! Ты-ы-ы!» и отбежал, и снова вернулся к табуну, возвращая ему движение и приглашая к себе Соловушку.

Юра глядел на лошадей и улыбался. Тут, в тайге, в безлюдье, были они куда понятнее, ближе и даже роднее, чем в обычности. Ему казалось, что кони тут не стесняются говорить друг с другом, совсем как люди, собравшись после долгой разлуки, когда они бывают на коротенькое мгновение сами собою, какими их задумала и создала природа. Юре казалось, что он понимает язык животных.

Ему было хорошо сейчас, потому что легко нашел табун; все лошади были целы (он, только увидев табун, понял это вмиг; так видит всех оленей в стаде оленевод-эвенк, не утруждая себя в счете), потому что светило вовсю солнце, разговаривали, остывая от бега, кони, славили свет птицы и росла, благоухала вокруг тайга.

И еще было хорошо Юре, что распутал, обнаружив, след зверя.

Разведя костер на каменной россыпи и заладив на песчаной косе дымокуры для табуна, Юра вырубил в тальнике удилище, привязал к нему леску и пошел постеречь хариуса. Мушки на крючки он делал сам из шерстяных цветных ниток, и в этом искусстве был непревзойденным мастером еще с мальчишеских лет. На любую погоду, на любое время дня и года были у него свои мушки.

За россыпью, где река, зажатая каменными столбами, спружалась, километра на полтора шла быстрая шивера, уставленная крупными глыбами. Глыбы эти, как громадные блоки разрушенного замка, лежали и по берегам, и дальше в тайге. Мальчонками, забираясь сюда, они пугали друг друга страшными рассказами об этом месте. Даже взрослые сторонились его, стараясь не бывать тут поодиночке. В семье Ждановых тоже не доверяли этому месту, но по случаю постреливали и соболя, и белку, полавливали тут хариуса и ленка. Юра, уняв холодок отрешенности и страха, наведывался сюда один. Чудное это было место — словно кто-то стоит рядом, следит за тобой и усмехается.

Юра взобрался на камень и пустил наплавом мушку. Хариус не

заставил ждать — ударил срыву. Юра вмельк подсек, поймал в ладонь, ловко, одной рукой снял с крючка и далеко выкинул на берег добычу. На третьем забросе зацепил еще одного, затем еще и еще. Хариус был крупный, сочно окрашенный, а мелкая чешуя на брюшке светилась голубоватым, полным лунным светом. Юра вспомнил, как в детстве рыбачил с отцом, как радовался тот, когда сын начинал таскать одну за другой рыбин, и огорчался, определив, что отстал в улове. Делал он это, чтобы доставить Юре побольше радости.

Неожиданно взял крупный ленок. Леска натянулась до звона, удилище выгнулось, выжимая по изгибу сок и почти касаясь концом напряженной руки Юры. Но он не отдавал леску, знал, что, отпусти чуть, и рыбина сойдет с маленького, не рассчитанного на такую добычу крючка. Спустившись с камня, брел по воде, выводя ленка на плес, к мели. Вода подрезала и валила, рыба ходила, но он, угадывая ее движения, вел леску внатяг. И все-таки не уловил того момента, когда уже наполовину вышедший из воды ленок, уткнувшись в камень, сошел с крючка. Он на мгновение замер, не веря свободе; Юра, отбросив бесполезное теперь удилище, прыжком кинулся вперед, но рыба вертко ушла на глубину, а рыболов шлепнулся на камни. Вставая и конфузясь, Юра оглянулся вокруг. Старый ворон, подбираясь к его улову, сидел на раскидистой свидине.

У костра Юра насадил крупных хариусов на рожни и, по мере того как опадал жар, наклонял их над углями. Рыба быстро румянилась. По надрезам выступал сладко пахнущий сок.

Печенная на рожнях рыба была вкусна и духовита. Обирая губами нежное мясо, Юра услышал за спиной смех. Оглянулся. У самой воды на камушке сидел старичок.

— Что, не поймал ленка? — спросил громко. И лошади, прядая ушами, с тревогой глядели на него.

— Дедушка Чиликан! — узнал Юра.

— Дедушка, дедушка. Не поймал ленка? — опять спросил и рассмеялся.— У-у, хитрый рыба! — Старик был желт лицом, а кисти высохших рук были черны и в пальцах прокурены.

— Что, не поймал ленка? — спросил в третий раз, жадно поглядывая на еду.

— Не поймал,— вздохнул Юра и пригласил, показывая рядом с собой: — Садитесь, дедушка.

— И сяду, и сяду.— Он быстро засеменил к костру и присел мягко, подобрав под себя ноги.

Они сидели рядом, разговаривая, и Юре было приятно, что старик много и вкусно ест. Он обрядил костер новыми рожнями, и Чиликан, не давая как следует пропечься мясу, выхватывал рыбу с пыла, почти сырой.

— Дедушка! А, дедушка? — Юру вдруг неприятно поразила одна мысль: — Дедушка, а вы ведь умерли! Как же так... Дедушка! А, дедушка?!

Старика нигде не было. Смирно стояли лошади, близко обступив

дымокуры. Некоторые пощипывали траву, а Соловушка паслась подле самого наволока, беспрестанно крутя хвостом.

«Что я, заснул, что ли?» — подумал Юра, поглядывая на пустые рожни, недоеденную булку хлеба и ощущая голод. На реке, в плетеном садке, куда он сложил улов, рыбы было мало.

«Вот сблазнится, так сблазнится!» — ухмыльнулся про себя, решив никому не рассказывать о случившемся.

Солнце все еще томилось в небе, и гнать табун в село было рано. Лошади, успокоившись, должны покормиться, они уже и паслись, разбредясь поймой. Юра решил последить зверя, вернувшись к тем круговинкам, где подсек его.

...Медведь все еще был у добычи, когда Юра, распутывая хитросплетения следа, вышел на Хозяина. Зверь не услышал человека.

Убив важенку, медведь напился крови, высосал сердце и выел требуху. Он быстро насытился и, устав от пищи, полежал, довольно урча и постанывая. И, только отдохнув, принялся за дело: он отволок все еще кровоточащую тушу с поляны поглубже в тайгу, положил ее так, чтобы мясо быстрее проквасилось. Потом выискал и притащил тяжелую колодину и следом еще одну. Покрыл добычу и, убедившись, что они крепко «держат», стал стаскивать в кучу мох, хворост, мелкий колодник и живой багульник, выдергивая его с корнем. За этой работой и застал его Юра. Медведь был громадный. Время линьки давно прошло, но шерсть на нем висела лохмотьями, обнаруживая голое синеватое тело. При всей величине, матерости, при могутности лап — коротеньких передних с крупными окатышами плечевых мускулов, с длинными задними, удивительно приспособленными для вертикального движения,— он был все-таки жалок.

Эта его забота о пище, мужичье старание в работе, когда он, кряхтя, таскал колодины и, отдуваясь, пер охапки мха и хвороста, когда садился на зад и сидел так, уронив передние лапы вдоль тела и свесив живот — отдыхал от трудов, вызвали у Юры участие и сострадание.

Он не знал, что этот медведь, прежде чем прийти в их тайгу и встретить ненасыть, долго и счастливо жил у себя на родине. Угодья его рода лежали далеко отсюда, по малым притокам Илима, в богатой и сытой тайге. Пищи и воли хватало всем. Они жили в глубоких и теплых берлогах, производили себе подобных и блюли законы Великого Равенства Природы.

Их мало побеспокоили люди, которые пришли на Ангару, заселили приречную тайгу и пробили в ней широкие просеки. Самые любознательные из зверей подолгу слушали шум и гром, приближаясь порой очень близко к людским поселениям. Они и платили за эту любознательность: или вовсе не возвращались к своим угодьям, или приходили страдать и умирать от страшных ран. Благоразумные их рода держались подальше от тех мест, где поселился человек. Воли и пищи хватало. Но пришел паводок, вода залила сначала пастбища и ягодники, потом поднялась в боры и урманы, затопив берлоги. До

прихода воды их теснили пожары и вырубки, они отступали, но держались за родные места. Медведи ждали год, два, паводок не проходил, вода продолжала прибывать, а вокруг гудели машины и буйствовал огонь.

И тогда они, оставив свои привычки и обязанности, нарушая закон Великого Равновесия, зоря живое, двинулись на север в поисках покоя и воли.

Великое это переселение шло уже несколько лет, принося непоправимый урон медвежьему роду.

Больной и слабый погибает. Таков Закон Природы, закон тайги. Выжить и дать потомство может только сильный и здоровый — лучший. В отборе суть всего живущего. Слабый и больной должен погибнуть.

«Природа, наверное, сама разберется с ним. Зачем мне убивать его?» — думал Юра, ощущая тяжесть карабина в своей руке. Как странно, там, на россыпях, в этом таинственном месте, при той встрече Чиликан сказал ему: «Медведя встретишь — не убьешь. Пожалеешь».— «А он меня пожалеет?» — рассмеявшись, спросил Юра. Что ответил Чиликан, он не помнил. Да и можно ли серьезно вспоминать то, что приблазнится? Тайга на такие шутки мастерица. И все-таки вспомнил и другое: «Ленка не поймал? А это я был, и ворон-тура́ки я, и камушек, и сосновый корень...»

Медведь все отдыхал, посапывая, как старичок, дремал, и даже слюнка бежала с распущенных губ.

«Мне не нужна его рваная шкура,— думал Юра, разглядывая медведя.— Ни шерсти на ней, ни сала. Он худ и костляв. Зачем мне убивать его? Не надо...»

Он жалел зверя, очеловечивая его жалостью. Но очеловечить животное, равно что погубить его. Об этом хорошо знали все в ждановском роде. И ни один из них не сохранил жизни больному и слабому зверю, разве только детенышу и тяжелой матери. Но и от той все-таки существующей жалости не было много проку.

Больной и слабый должен погибнуть — таков закон природы. Но человек волен не исполнять этого закона. Юра не исполнил...

Ланцов незаметно отошел в сторону и задами, хоронясь за банями и завознями, ушел за яр. В мелкой заводи, под яром, как и предполагал, нашел легкую лодчонку-погонку. Обваливаясь в текучий песок, вывел ее на глыбь, ловко сел и, отмахиваясь весельком, погнал к противоположному берегу.

Ниже по реке затарахтел мотор Харюзова, но Ланцова это не напугало. Он знал, что успеет переплыть реку, спрятать лодку и скрыться в тайге, прежде чем придет в Юку следователь.

В тайге он не пошел напролом, а, заложив паберегом кривулину, вышел на хорошо набитую тропу. Еще недолго слышал за собой шум села, людские голоса, брехню собак, особенно усердствовала его свора, улавливал запахи дыма и пищи (он целый день не ел ничего),

но потом все это словно бы смыло и покрыло стоячей водою. Ланцов погрузился в тишину.

Он никогда открыто не боялся тайги, но она томила его сердце подложным чувством безысходности и обреченности. Ланцов презирал в себе это чувство и шел наперекор ему, забираясь в самые черные урманы и гибельники. Отчаянное противоборство безысходности рождало открытую злобу ко всему, что окружало. В такие минуты он мог бесцельно убить бурундука, ронжу, любую птаху — все, что шевелилось и попадало на мушку. Безотчетность такого состояния приводила к поступкам, от которых он потом страдал и мучился.

За свою короткую жизнь в тайге, а было ему от роду тридцать два года, он уложил семнадцать медведей, никак не меньше стада оленей, бил сохатых. «Надоело убивать...» — сказал он следователю, и это была правда.

После института — Ланцов кончил пушно-меховой — его направили на Север в национальный округ. Немногословный, не умеющий изображать из себя что-то, подкупающий естественной искренностью, он сразу же показался начальству, и его назначили главным заготовителем округа.

Ланцов не удивился такому высокому назначению, поскольку всегда предполагал в себе избранность. Он никогда не удивлялся благам жизни, не считая их за блага.

Родившись в сорок четвертом году, он не знал войны. Страшный послевоенный голод не коснулся их семьи, а значит, не отразился на нем. В школе он был подвижным, ловким мальчишкой и верховодил в классе. Малые по рождаемости сороковые года позволили ему и его сверстникам легко поступить в институт. В вузах тогда повсеместно были недоборы.

Ланцов избрал пушно-меховой потому, что уже тогда тяготился городом. В их семье, потомственно заводской, только и говорили, что о выполнении плана, о новых станках, прогрессивках, программных управлениях и канадском хоккее, который начинал входить в моду, умеряя футбольные страсти. Ни завода, ни хоккея, ни даже футбола Ланцов не любил. Хотя отчаянно стоял «на воротах» за дворовую сборную.

В «гайках и шайбах» был весь смысл жизни отца, братьев и даже матери. Ланцов был самым младшим в семье, нежданно-негаданно рожденным чуть ли не в цехе у станка. Отец — слесарь-наладчик высшей квалификации — работал на военном заводе и на фронт не был призван, мать в том же цехе — токарь-универсал.

Уже в пятидесятых, катаясь по дороге на коньках — у мальчишек тогда была такая игра: цепляться крючками за машины,— Саня сбил Сеню-морячка.

Морячок, заводской пьяница, ездил на роликовой тележке (у Сени были ампутированы ноги), отталкиваясь тяжелыми, подбитыми резиной чурбачками. Эти чурбачки Сеня часто пускал в ход, влезая в любую толчею, поспевая к любым дракам. Многие испытали на себе силу удара могучих Сениных рук. Но ударить Морячка или от-

ветить на его злобствования считалось недопустимым. Человек пострадал на фронте.

Ему уступали путь даже автомобили (он любил кататься по самой середине дороги), каждый стремился помочь, ему щедро подавали. Морячок никогда не просил, он требовал: «Эй, иди сюда!» И когда подзываемый подходил: «Давай двадцать копеек!», «Гони рубль!», «Эй, с тебя полтинник!» Незнакомые люди подбирали его пьяного и отвозили домой.

Морячка и сбил Саня, отцепившись от машины, тот по своему обыкновению катил навстречу движению. Удар был сильным. Сеню перекинуло вместе с коляской. Ланцов бросился поднимать инвалида, поспешили на помощь и другие ребята.

Сеня, зло матерясь, вдруг закричал, белея глазами:

— Ух ты!.. Люди гибли, а твои матерь с отцом...

Именно тогда возненавидел Саня завод, укрывший отца от обязательного фронта, свою мать и даже братьев, которые по возрасту не могли еще воевать. Физическая боль, которую причиняли ему наказаниями за нелепые поступки (он изводил отца и все делал назло матери), не могла заглушить боли душевной. Тогда Ланцов научился терпеть и быть безучастным к боли.

Мальчишкой с охотой убегал он из дома в деревню к бабушке. Там впервые поборол страх перед тишиной и глубиной тайги, там родилось чувство безысходности, с которым боролся он всю жизнь и которое сделало из него охотоведа. В деревне открылся в нем талант: Саня стрелял без промаха. Мальчишки выстругивали из еловых досок ружья, снабжали их стволами из медных трубок, затейливым ударно-спусковым механизмом и стреляли пульками, гнутыми из алюминиевой проволоки. Сначала соревнования по стрельбе происходили по мишеням, а потом и по живым целям. Били лягушек. Вот тут-то и определилось недосягаемое ланцовское первенство. Он не просто поражал цель, он бил прицельно: под квакалку, в белый лягушачий зобик.

В четырнадцать лет отец (он по-мужски чувствовал отчужденность сына и старался во всем ему угодить) купил маленькую, тридцать второго калибра, берданку, и Саня в зимние каникулы впервые уехал на настоящий промысел. С тех пор не было года, чтобы он пропустил сезонную охоту. Его брали в любую взрослую команду, зная феноменальную меткость в стрельбе.

Студенческие годы были легкими и напрочь связанными с тайгою. Уже тогда признанный медвежатник, был он окружен ореолом почитания. Девочки наперебой льнули к нему, и он бездумно пользовался их расположением. Легко знакомился и легко оставлял избранницу, не предполагая ни в себе, ни в ней какого-либо серьезного чувства. «Часто убивающему не дано глубоко любить»,— говорил тогда Саня.

С будущей женой, Зиной, Ланцов «сошелся» (так он определял свои интимные отношения с девушками) на третьем курсе. На четвертом они «не встречались» (словечко тоже из его лексикона), а на

пятом «снова сошлись». Но на работу в национальный округ он уехал один.

Заполняя первую рабочую анкету, Ланцов с удовольствием писал в графах: не был, не состоял, не находился, не имею... Сплошные «не», словно и не жил он до этого, словно бы и родился только в одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году.

Жизнь в национальном округе понравилась. Все было вновину, все необыкновенным и все легким. Его величали полным именем, с обязательным по этим местам отчеством, у него был штат подчиненных тут, в центре, и на местах — в районах; государственная печать и чековая книжка с образцом его подписи для банковских операций распорядителя кредитов. У него была собственная трехкомнатная квартира на третьем этаже управленческого дома, двери которой он широко распахнул для всякого-каждого. Кто только не перебывал в гостях: командированные из края и районов, охотники и заготовители, геологи и топографы, случайные люди, занесенные сюда ветром странствий, бичи... С кем только не пил, кого только не угощал, предоставляя приют. Неразборчивый в людях, Ланцов не мог предположить, что и тут, на краю света, существует некий протокол общений.

Об этом ему весьма определенно выговорил Первый и обстоятельно объяснил председатель исполкома, как должен себя вести на службе и в быту руководящий работник. Ланцов понял.

Северный их окружной центр был маленьким поселком, в котором люди друг о друге знали все и даже немного больше.

Ко времени серьезного того разговора Ланцова уже приняла в круг одна компания. Новые его друзья — влиятельные люди в округе — придали главному заготовителю особый вес в обществе, сделали его солиднее и важнее. Что ни говори, а от него, от его должностной расторопности во многом зависели успехи округа, сплошь промыслового и охотничьего. Не пристало такому лицу и холостовать, пользуясь тайными связями, которые тут же становятся явными. Ланцов вспомнил о Зине. С последней встречи он не вспоминал о ней, но однажды, вспомнив в шумном застолье, решил вызвать.

Зина приехала. Они сыграли свадьбу. Присутствовало все местное начальство и много гостей — званых и незваных. Ланцов не скупился ни на угощения, ни на выпивку. Торжество получилось широким.

Год их семейной жизни пролетел стремительно и счастливо. Зина родила мальчишку, которого в честь отца назвали Саней.

Частые полеты по округу, долгие дни в кочевьях, на заимках и факториях не давали привыкнуть к дому и укрепили в Ланцове страсть к перемене мест.

...Жили тогда здорово. Спелись в одной компании: один за всех, а все за одного. Но и тогда начали завидовать им.

В семье у Ланцова было все в ажуре. Зина оказалась покладистой и терпеливой. Нянчилась с сыном, работала в школе. Он легко привык к ней и мало задумывался об их отношениях и о жизни вообще.

В частых разъездах по округу, а иногда по краю Ланцов встречал женщин. К ним, случайным, всегда был предупредителен и внимателен, интимно нежен. Изменяя жене, никогда не чувствовал даже малого угрызения совести, считая, что время супружеской верности, девической и женской чести давно и навсегда кануло в вечность. В человеческих отношениях он исповедовал простоту. Но не ту, которая ценится среди людей занятых и облеченных властью, и не ту, что хуже воровства, и даже не ту, в которую играют очень демократичные руководители, но простоту, доведенную до совершенства в своей естественности — без каких-либо придумок, приличий и предрассудков.

Ланцов не задумывался над тем, что Зина прилетела сюда и живет с ним, зная о многом, о чем он не хотел бы, чтобы она знала, терпи́т его холодность и редкую рассеянную ласку, ждет его из поездок и заботится о нем только потому, что любит.

Он не мог понять этого потому, что сам никого и никогда не любил.

И вот теперь, застигнутый и растоптанный этим, не всегда радостным и прекрасным чувством, как принято его считать, а неистовым, безжалостным и мучительным, бежал он прочь от Юки. Чувство это гнало его через тайгу, не давая трезво и расчетливо, как это было всегда с ним, оценить совершившееся.

Он, не жалея ни себя, ни времени, работал. Будучи человеком неукротимым, он давал свободу действий не только себе, но и своим подчиненным. Инициатива его деятельного размаха почти всегда была стихийна и мало обдумана, но всегда поражала самыми эффектными результатами, а потому и вызывала одобрение.

Результат необдуманной деятельности человека в природе всегда на первый взгляд впечатляющ, последствия вскрываются не сразу, но как часто произносим мы теперь горькие слова сожаления о сделанном: «Не надо бы вырубать, осушать, затоплять, уничтожать... Не надо бы... Не надо бы...»

«Не надо бы!..» — еще не пришло к Ланцову, но кое-кто уже начал задумываться над деятельностью главного заготовителя, и даже не столько над деятельностью, как над последствиями ее. Пока еще Ланцов не был досягаем. Округ за все три года его работы постоянно наращивал перевыполнение плана и давал никогда раньше не достигаемые прибыли.

Однако золотое ланцовское время катилось к закату. Переизбрали и отправили на учебу зампреда, произошли серьезные изменения в окружкоме. Да и к Ланцову уже относились без той восторженности старшего перед удачливым, сильным и ловким младшим.

— Уезжай, Саня! Тебе тут больше не климáт,— сказал на прощание один товарищ.— Съедят тебя, Саня!

Его не удерживали, и он уехал. Подходящих мест в крае для него не оказалось. И он, отвалявшись все летние месяцы на южных пляжах, использовав отпуск, махнул наудачу снова на Север...

— Ты скажы, змэй какой! Как он хытрыл! Слэдоватэль спрашываэт: «Как выдать мог с рэкы Пасычныка?» А он: «Я по сторонам привык смотрэть. Звэря караулю!» У, звэрь! «Убывать,— говорыт,— надоэло».

Ловцы сидели на старых лодках у пристаней. Жорик обличал Ланцова:

— Повэсыть мало! Звэрь! Своимы рукамы б! Подлая кровь!

— А может, не он это...— сказал кто-то. Но ему не ответили, промолчали. Только Жорик залился еще пуще. Вспомнили последний вечер и как Ланцов глядел на Пасечника. Оказывается, все видели этот взгляд. Жалели Колю: «Хороший парень был Колюня!» Нинку старались в разговоре не вспоминать, а если и вспоминали, то без имени. Говорили: «Она, с ней, ее...»

Кто-то припомнил ссору с экспедиционниками и то, как бил Пасечник Жилина.

— А ведь это ты, Жорик, натырился,— сказал Зюкин. Он всегда искал виновных, поскольку слышал вину в себе. Зюкин по нарядам должен был пасти табун, но упустил его в тайгу. Решив, что как-нибудь открутится, сделал вид, что его это не касается, прилип к Серпинкину и Юре. Прогородил с ними полдня поскотину, а там, сказавшись больным, сбежал к пристаням. Под яром выпил с Рукосуевым, потом еще с кем-то и, наконец, запив вольную, попал на «день рождения». И теперь вот страдал, понимая, что, если пропадет хоть одна лошадь, до него доберутся и придется отвечать. А Зюкин в своей жизни ни за что не отвечал.

— Это почэму я натырылся? — Жорик впялился черными, круглыми, чуть навыкате глазами в лицо Зюкину. Заморозил взгляд, поигрывая желваками под пышными бакенбардами и вытянув губы в ниточку.— Почэму?! Ты откуда знаэшь! Тэба там нэ было! — и презрительно кинул как о чем-то унизительном: — Ты конэй пас!..

— Он их не пас... Он их в тайгу на вольную пустил,— сказал Рукосуев.— Медведя́м на кормежку,— и расхохотался.

— Я на другом наряде был,— Зюкин засуетился, зашнырял глазами, будто ища подтверждения своим словам.

— Со мной портвейн под яром пил! Ага! — не унимался Рукосуев.— Тут вот, под бережком...

— А Жылыну надо было отвэсыть,— сказал Жорик, уже и не обращая внимания ни на Зюкина, ни на Рукосуева.— Он жулык, а других жулыт! Братана эво с Колунэй выручалы. А оны...— и Жорик в который раз начал рассказывать историю, происшедшую в позапрошлом сезоне. Он рассказывал это при любой оказии, а крепко выпив, не мог обойтись без того, чтобы не ругать Жилиных, их «подлую кровь». Бил себя в грудь кулаком, по-страшному таращил глаза и схватывался, будто сейчас, немедленно должен рассчитаться с обидчиками. «Жорик, уймись!» — говорил в таких случаях Пасечник и замораживал на нем взгляд. Жорик выдавал еще несколько «вскидок», а потом покорно замолкал, но продолжал делать вид, что внутри негодует.

Его поначалу слушали, даже хвалили, возмущались Жилиными, но потом стали сомневаться в верности рассказа и даже в том, что, бесспорно, совершил Жорик. Слишком много говорил он об этом. А многажды повторенные клятвы всегда вызывают сомнения.

...В позапрошлом сезоне Пасечник и Жорик охотились на границе с мокминскими угодьями, в ста километрах от Юки. Зашли туда с лошадьми, завезя продукты и обиходь на весь сезон. Коней назад отогнал Юра Жданов, он еще тогда учился в школе и на промысел остаться не мог.

Охота у них началась удачно. В ближних от зимовья лесах побили они белку, добыли шесть соболей, но потом фарт изменил. И не столько фарт, сколько то, что настрелялись ребята вволю. Прошла охотка, а дальше начиналась уже охота. Иди промышляй: поднимайся с рассветом и по хребтикам да крутинкам бегай за добычей. Такая работенка с любого горячку собьет. До больших снегов они кое-как еще таскались по тайге, даже постреливали, но пришел снегопад — и залегли без выхода в зимовейке. До одури, за день по четыреста партий, играли в подкидного дурака, рассказывали друг другу были и небылицы (жалели, что не взяли с собой книг: можно было бы для сна и почитать маленько), мечтали о выпивках, о женщинах, строили иллюзии, дичали. И в конце концов дошли в безделье до того, что стали подозревать друг друга в покушении на жизнь. Стоило одному как-то не так повернуться, сказать что-то, как другой уже зыркал глазом, ища оружие и напрягаясь, готовый первым совершить нападение.

Пасечник, как более опытный — он зверовал уже четвертый год — понял, что их безделье к добру не приведет, а поэтому предложил продолжить промысел. Они, изнемогая от усталости, лазили по тайге, ставя на звериных сбежках капканы, налаживали петли и самоловы, стерегли и били белых куропаток.

Бродя так, они вышли однажды на след человека. Лыжня была несвежей, но они все-таки пошли по ней. Велико было желание встретить в безлюдье человека. Шли долго. И вдруг что-то затемнело впереди. Подошли. Валяется на снегу поняжка, тряпки, измазанные кровью. Дальше — рассыпанная махорка, снова кровавые тряпки, стеженка с распоротым рукавом (вата наружу и тоже в крови). В поняжке оказалось две шкурки соболей. Шкурки взяли, поняжку бросили и пошли дальше. Плохо шел человек, часто останавливался. Пасечник читал по следу, рассказывал Жорику: «Может быть, кто и стрельнул в него, а может, еще чего...»

Дошли до зимовья, в котором и застали хозяев — пожилых мужиков Жилиных из села Мокмы. Старший Епифаныч и братан его Гурка — он по нечаянности прострелил себе руку. Рука вспухла, посинела и была обмотана тряпьем. В зимовье стоял хорошо ощутимый сладковатый запах гниющей плоти.

— Червит рука-то,— шептал Епифаныч.— Червит... Гангрена, надо быть... А? И, слышь, парни, сердцем братан умаялся. Все валидол сосет...

Надо было вывозить Гурку из тайги. А как? Сам он не дойдет, да и уработались мужички допрежь случившегося — кожа и кости. Вызвать вертолет? Но ни они, ни парни не взяли с собой раций. Не верили им, да и слышимость тут аховая — радионепроходимость.

Пасечник сказал, что выход один: надо бежать в Юку и вызвать вертолет.

— Как у вас завод-то? — спросил.

Епифаныч замялся, не по обычаю на промысле о добыче спрашивать.

— Че завод? Завод как завод... Ниче. Есть, конечно, маненько... маненько взяли, конечно.

Был Пасечник парнем лихим, потому и отрезал мужикам, что весь жилинский завод следует поделить равно между ними. Поскольку промысел и у тех и у других сорвется. Не ближний крюк топать в Юку. Мужики отдавать добытое не хотели, уперлись. «Где такой закон, чтобы человек человеку в тайге за помощь платил? Не было этого!»

«Не было — будет! — сказал Пасечник.— Хотите тут гнить — гнийте. А мы при чем? Раньше и вертолетов не было, и раций, и скорострелок... Вот так! Опять же у вас все нарушения налицо. И промысла, и техники безопасности...»

Об этом Пасечник много знал. И враз расписал такое Жилиным, что те и призадумались.

«А эщо в наших угодьях звэря бралы!» — добавил от себя Жорик. След Гурки действительно был в юкских угодьях. Там он и стрельнулся.

Все-таки сговорились. Сговор в тайге — это и по-прошлому и потеперешнему — закон. Вызвался срыву бежать в Юку Жорик. Пасечник не возражал. Проводил до затесей, а там пустил от одной метки к другой. «Не теряй только!» Жорик бежал весь день и всю ночь. Опекся морозом, почернело лицо и руки, ноги осушил, как деревянные стали, но до Юки добежал.

Не только за ту жилинскую пушнину бежал, но за то, чтобы потом сказать любому: «Попробуй-ка ты сто кыломэтров по тайгэ зымою пробэжать, попробуй чэловэка выручыть!» Другому горы золотые давай — не побежит! А Жорик побежал. И вертолет вызвал. Гурку вовремя вывезли, день бы еще провалялся в зимовье — и потерял бы руку. А так обошлось все.

Об этом и рассказывал Жорик, опуская только в истории их договор с Жилиными. Было условлено о нем молчать. А Жилины про условие это забыли. Шел слушок, что ободрали их юкские ловцы. За то, что не выполнили договора, и бил тогда Пасечник Епифаныча.

«Пропадет табун, за него и посадить могут»,— думал Зюкин.— не слушая Жорика, да и другие не слушали, только вид делали, а кое-кто промеж себя разговаривал.

«Может, побежать в тайгу? Поискать лошадей...— думал Зюкин.— Попросить кого-нибудь вместе пойти...» Тайги Зюкин не знал и боялся. Задул его сюда ветер странствий, как шишку под чужие

корни. Романтику искал и вот закатился. Хорошо было: и работа не работа, и деньги не деньги, но все-таки исправно платят, и ребята — ловцы лихие, и жратва добрая... Чистый воздух (слишком часто о нем стали думать романтики), тайга, реки — живи... Он и жил. Хорошо, пока не надоест. Пока не надоедало... Но вышла оплошность: согласился Зюкин пасти табун. Думал, чего там трудного, лошади смирные, сами ходят, собаки с ними крутятся, а ты лежи в балагане да поплевывай. Собаки почему-то сразу же убежали, в балаган набилось видимо-невидимо гнуса, и тайга вдруг зашумела, нависла над Зюкиным, пугнула его, он и оробел.

Ни смерть Пасечника, который с проломленным черепом лежал сейчас в пожарном сарае, ни исчезновение Нинки, которая однажды выбрала его в кавалеры «на ночку», а он, оробев, чуть было не упал в обморок и потом, осмеянный ею за «неспособность», божился перед ребятами, что «не таких видел, а на эту...», ни бегство Ланцова — ничто не могло отвлечь его и рассеять страх, который копился и рос в душе.

Зюкин опять, как тогда перед Нинкой, готов был упасть в обморок и уже почувствовал легкость в ногах и тяжесть в голове, когда к их компании подошел Харюзов. «Пропал! Пропал я!» — подумал, услышав слабость в животе, и юркнул в бурьян.

— Что, ловцы-молодцы, горько похмелье? — мирно спросил Харюзов.— Натворили делов...— присел рядом с Жориком в общий круг.

— А при чем мы-то тут? Мы ни при чем! — ответил за всех Кеша Рукосуев.

Сверху к пристаням спешил, заплетаясь ногами, Вовочка. Он не мог предположить, что ловцы нынче собрались на сухую, и очень спешил. Не на дармовщинку спешил нынче, были у него свои заначенные три рубля. В мае еще с оказией прислала мать «на гостинцы» десять рублей. Он их и тратил тайком от Ленки...

Возвращаясь к табуну, Юра думал, что поступил глупо, не убив медведя. Разве его отец после того, как зверь угнал табун, скрал олениху, напился ее крови и высосал сердце, разве бы отец не лишил его жизни? Конечно бы, лишил. Так поступил бы каждый в их роду.

Медведь — мясник, а значит, опасен для человека. Почему же Юра не убил его? Молодой, ловкий, посвятивший себя профессии охотника, знающий о вреде, который приносит больной и лютый зверь в тайге, все-таки нарушил Закон Природы и не поднял карабин. Почему?

Может быть, потому, что молод? Но двадцать лет не считались здесь такой уж ранней молодостью. Юка мужала рано. А может быть, от сознания, что в тайге поредел не только их охотничий род, но и род медвежий? Пусть выживет и этот обреченный, их так мало осталось на земле. А может быть, оттого, что добрее стал Чело-

век? И Юра — тот самый, с которого и начинаются поколения Добрых и Справедливых на Земле... Может быть, это так?..

Соловушка побежала навстречу. Ткнулась мягкими губами в плечо, обдавая щеку горячим дыханием и горьким запахом перетертых трав. Он погладил ее по морде, мягко охлопал шею, круп. И кобылка, довольная, заржала, откликнувшись на эту человеческую нежность. Уже заседлывая Соловушку, Юра сунул ей хлебную корку, и лошадь снова с благодарностью ткнулась большими губами в плечо, оставляя на рубахе крупные капли слюны.

Табун пошел легко. Но Юра подумал о том, что медведь, заслышав лошадей, может оставить добычу и выйти им наперерез.

«Выйдет — убью!» — решил, понукая Соловушку и близко держась к табуну.

Истек вечер, и наступила ночь. Та самая, в которую потайно ушел Ланцов.

Она уже текла, серая, сумеречная июльская ночь, и все еще текли разговоры в Юке у пристаней, в которых каждый участвующий волей или неволей стремился отдалить себя от страшного преступления и человека, совершившего его...

— Нинка с Пасечником в балагане были. Он свою лодку схоронил, а их в лодке Николая дожидался. Ага,— рассказывал Славик-пилот, будто бы присутствовал там, на реке, когда совершилось убийство.— Он, значит, дожидается, а они, выходят, тепленькие.— Славик хохотнул похотливо, но никто не поддержал. Слушали, потому что предупредил: «Разговаривал со следователем, все знаю». Славик единственный в компании был навеселе, подошел он уже после Вовочки и теперь, перевирая услышанное от Харюзова, ничуть не смущался его присутствием.— Подошли, голубчики. Ланцов сидит на моторе, улыбается. «Поехали, что ли?» — говорит. Нинка убежать хотела, понятное дело — шилась с Саней. Пасечник ее удержал. Поехали. А потом потолковали. Ланцов, спокойный-спокойный, но скрытный, психанул. Охнул Николая по голове чалкой. Ломик в багажнике нашли. Санька сухой, а силищи у него будь-будь. У Николая калган слабый...

— Ты-то откуда все знаешь? С неба, что ль, глядел? — перебил Кеша Рукосуев.

— Не мешай, Кешк,— Зюкин одернул Рукосуева. Он незаметно выбрался из бурьяна и присел поближе к Харюзову.

— Проспись, Кеша,— нагло усмехнулся Славик и продолжал:— Нинка со страху в воду сиганула. А лодка-то неуправляемая. Так и шнырит по реке. Ахнула Нинку тоже по калгану. Она и вынырнуть не смогла. Санька — к Кольке. А тот сполз и не дышит. Готов. Ланцов: «Колюня! Колюня!» А Колюня уже и синий. Выбросил он его улов, а сам сюда. На своей лодочке приехал. Ловко сработал! Чисто! Вот так...

Славик замолчал, стал прикуривать.

Было тихо, только собаки брехали да очесывался, щелкал зуба-

ми, вылавливая блох, ланцовский кобель. Он пристал к компании и не отходил от нее — ожидал хозяина.

Ловцы молчали, не зная, верить или не верить Славику. И все-таки верили. Кобель, яростно завозившись в шерсти, раз-другой щелкнул зубами, вскочил, отбежал в сторону и, вскинув морду, вдруг завыл, выводя тонкую длинную ноту.

— Пшол! Своличь! — закричал Жорик, делая вид, что подхватывает камень.

Кобель нетрусливо отбежал, обиженно поглядел вокруг и снова, теперь уже отчаянно и басовито, завыл, вскидывая лобастой головою.

— Пошел! Пошел, гад! — закричал теперь уже Харюзов, и Зюкин угодливо завторил:

— Пошел, гад! Пошел! — швырнул в кобеля камнем, подобрал еще и погнал собаку прочь. Кобель скрылся за пожарным сараем и затаился там, но, как только Зюкин вернулся в компанию, снова завелся долгим февральским воем, тончась голосом и призывая участвовать в собачьей тоске.

— Покойника слышит,— сказал Харюзов.

— Кабы одного...— вздохнул Славик.

— Утром внерейсовый придет.— Харюзов будто и не слышал Славика.— Эксперт летит,— особенно ясно произнес «эксперт», вспомнив, как к нему прибежала одна побитая мужем бабенка: «К экспорту мене назначай! — кричала.— К экспорту! Пусть посидит вот... Давай меня на экспорт!..»

Кобель выл, и ему откликались собаки на селе.

— Домой Пасечнику сообщили? — спросил Славик. Он взял на себя право говорить обо всем причастно и с некоторым превосходством. Происходило это оттого, что очень стеснялся Вовочки.

— Я тэлэграмму эшо утром послал,— сказал Жорик.

— Семья-то большая? — спросил Славик и небрежно поправил на плечах форменку.

— Папа, мама, сэстры и братык...

Выбежал на открытый взлобок кобель и отчаянно взвыл, тычась мордой уже не в зенит, а за реку.

— Гляди, на реку воет... Вот сволочь! — теперь уже и Рукосуев погнал его прочь.

— А Саня хороший был,— вдруг сказал Вовочка. И почувствовал, как потеют ладони и как мякнет зажатая в кулаке трешка. Никто и не замечал Вовочку, потому что не пили.

— Ты чэго, Вовочка, нэ похмэлялся?! — выкрикнул Жорик.— Похмэлыть тэбя?! Да?!

Вовочка шмыгнул носом и поправил ноги. Но сидел на краешке старой лодки и не чувствовал их с той самой минуты, когда беспечной походкой подошел Славик и начал свой рассказ. Вовочке все время хотелось перебить нагловатую скороговорку пилота, сказать ему, что он трепач, что ни в каких летных авариях не был, что вообще

Славик — пижон и настоящий летчик никогда не будет толочься в запьянцовской компании.

Все это хотелось высказать, но Вовочка до сих пор не научился обижать людей. Сказать так, значит, обидеть. И он молчал.

Он не ожидал от себя, что вот так скажет о Ланцове, и был смущен общим вниманием. Сказал так, потому что вспомнил все доброе и хорошее, что делал Ланцов людям. Каким он был простым и естественным. А все вокруг — и толстяк Рукосуев, и романтик Зюкин, и Жорик, и мертвый теперь Пасечник, и сам Вовочка — были людьми как бы выдуманными. А он, Саня Ланцов,— настоящий.

И Вовочка, осознав это, решил защитить Саню, но не смог. Внутри, под самой ложечкой, засосало, запекло, и ему захотелось залить это ощущение. Не погасить, а, наоборот, разжечь так, чтобы и самому сгореть.

— Почему «был»? — спросил Харюзов.— Ты сказал, что Ланцов «был»?

— Он был хорошим...— промямлил Вовочка,— до тех пор, как сделал это...

Но его уже никто не слушал, поскольку кобель, скрытно обежав компанию, выл снова за пожарным сараем.

«И все-таки он добрый»,— думал Вовочка, не в силах доказать это и полагаясь только на то, что невысказанным лежало в сердце.

Ему вспомнилось, как Ланцов подарил им с Ленкой медвежью шкуру. Все говорили, что он убил медведя, чтобы сделать подарок начальнику треста. Тот просил об этом, и многие хотели выполнить просьбу. Но зверя не было. А Ланцов нашел, убил и, обсняв, высушил и выделал шкуру. И вот принес им. «Возьмите, ребята, дарю. Если надо...» И еще поставил бутылку на стол.

Так же легко отдавал любую добычу. Надо — бери. У него никогда не было запасов мяса, хотя был хороший охотник.

Ланцов делился с каждым, зато и ему не отказывала Юка, когда оставался без мяса.

Вовочка знал, что Ланцов многое делал бескорыстно. Ланцов охотно, с какой-то необузданной щедростью роздал бы всю тайгу. От той безалаберной широты душевной, которая до сих пор выделяет русского человека среди других людей и которая, уж если вошел в раж, не знает окороту. «Лес надо? Бери лес! Зверя? Бери зверя! Пушнину? Не жалко! У нас много! Всем хватит!» Так он и жил, не зная недостатка в жизни и в друзьях, которые вечно толпились вокруг, многие подолгу жили в его доме, с ними он пил и ел, на них тратил сердце, а вот случилось такое — и каждый теперь стремится скорее выгородить себя.

Все это мог сказать Вовочка собравшимся тут людям, но он не умел обижать их. Но разве сказать правду — значит обидеть? Но и правды не мог сказать Вовочка, поскольку Правда всегда подразумевает рядом с собой Честь человеческую. А ее не воспитал в себе Вовочка, не воспитали ее в нем и другие...

— Вот ты сказал, Вовочка, что он был хорошим.— Славик при-

сел рядом. Он не мог не замечать Вовочку, как другие. Боялся Славик, что кто-нибудь неосторожно намекнет на то, о чем не хотелось сейчас думать, или кто-то догадается об их сложных отношениях. Славик решил, что лучше всего по-прежнему быть с Вовочкой рядом — они друзья.— Понимаешь,— обнимая его за острые плечи, продолжал Славик,— тут есть одна сложность. Знаешь, как в нашем летном деле...

Вовочка, совсем как ланцовский кобель, вскинул лобастую голову, бледнея лицом, глянул в самые зрачки Славика, и тому на миг показалось, что Вовочка вот-вот завоет, скривил губы, дернулся всем телом и выдохнул в лицо, как спасение:

— Славик, пойдем выпьем...

Ночи в июле на Севере белые. В Юке они серенькие. В полночь уже набьется сумрак в улицы, ляжет покруче в избах, поднимется на реке туманом, загустеет в тайге, полезет вверх по стволам, но до вершинок не дотянется — тут и снова утро. Всего часа два и продержится ночная глушь. В короткое это время звонче шорохи и поступи, а шаг человеческий слышен далеко. В такую чуткую пору и вошел Ланцов в лагерь геологов. Три линялые маршрутки стояли на взлобке, подле мелкой, воробью по колено, Ючки — одна большая экспедиционная палатка, навес, покрытый кустарником и травою, вот и весь базовый лагерь отряда.

Шкодливая собачонка, спавшая у входа в большую палатку, лениво открыла глаз и мирно ударила хвостом, приветствуя пришедшего. Ланцов стоял, соображая, что ему предпринять, как вдруг услышал легонький смешок и тут же узнал: нагловато-обещающий, с издевочкой, а вместе с тем и ласковый, зовущий и тайный — он принадлежал Нинке. И тут же в ответ на него забубнил что-то мужской голос. Говорил Алеша Картузов — начальник отряда. И снова раздался смех, но теперь смеялось сразу несколько человек, и Ланцов понял, что Нинка там не одна с Картузовым. Накоротке отлегло от души, а мгновение назад сковало ее обидой, негодованием и даже омерзением. Теперь отошло, и он шагнул в палатку.

За столом, сооруженным из приборных ящиков, сидел весь отряд. На застланной калькой столешнице — чертежной доске — стояли бутылки, закуска, мясо. Подле геолога Мишина, сидевшего ближе к выходу, на земле лежала гитара. Ланцов питал к этому ловкому гитаристу, хохотуну и рубахе-парню болезненную ревность. Он чувствовал в нем опасность для себя и теперь с удовлетворением заметил, что Мишин сидит далеко от Нинки. Она, по своему обыкновению, в центре стола. По одну руку — вялый, неопределенных лет, всегда бледный, с бабьим лицом географ Сима, по другую — добрейший курносый и губастый Картузов. Нинка была румяненькой, свежей, с тонко подведенными бровками и подкрашенными веками. Она не любила краситься, и эти рисованные бровки и синие веки сразу заметил Ланцов, и еще губы — припухшие, яркие и порочные.

— Здрасте,— сказал Ланцов чужим голосом, глядя только на Нинку.

— Здорово, Саня! — Картузов поднялся, улыбнулся по-доброму.— Садись, Саня! Ребята, дайте-ка место следопыту!..

— Давай, Сань, сюда! — ударил ладонью рядом с собой Мишин, бесцеремонно сдвигая сидящих рядом.— Сидаум плисс!

Ланцов смотрел только на Нинку, и это заметили. Но он не мог отвести взгляда, ощущая, как деревенеют, берутся морозцем губы, как стынет лицо и в уши наливается тоненький колючий звон.

— А мы тут вот день рождения Нины справляем! — говорил Картузов, продолжая улыбаться.

— Алеш, мне бы Нину,— сказал Ланцов и не узнал своего голоса, прозвучавшего издалека.— Нужно очень! Нин! Выйди на минуту. Простите, братцы,— говорил, невидяще шарясь по лицам и даже вроде кланяясь.— Простите. Нин, выйди,— попросил.

Она, улыбаясь, глядела на Ланцова, не удивляясь его появлению.

— Погоди, Сань... Что с тобой! — Картузов пытался выбраться из-за стола и не мог, поднимая и опуская ногу и придерживая руками бутылки.

А Нинка все еще молчала и улыбалась, соображая что-то про себя.

— Я тебя прошу, Нин! Прошу!..— выкрикнул Ланцов, не зная, что он сделает, если не выйдет сейчас Нинка.

Горло перехватила спазма, и он с отчаянной ясностью увидел вдруг, как вниз лицом, зацепившись рубахой за корягу, плавал Коля Пасечник, как вода легко поднимала и опускала выбеленные лоскутки кожи на затылке и на них живо шевелились прядки рыжих волос — Коля носил модную длинную прическу. Так же явно выплыло лицо Пасечника, обметанное посмертной щетиной, мутные стеклянные глаза, в зрачках которых углядел Ланцов хищно изогнувшуюся фигурку Нинки. Еще с детства запомнил он, что зрачки убитого запечатлеют навсегда убийцу. А потом увиделась выброшенная на песок лодка и строчка следов. Ее следов. Он не мог ошибиться. Они и сейчас были на ней, сапожки, которые Ланцов привез Нинке из Иркутска...

— Слушай, идем... идем быстрей! — твердил Ланцов и, как сумасшедший, тащил ее в тайгу.— Быстрей!.. Быстрей!..

— Ты чего, Саня? Я думала, ты хмельной! Отпусти, говорю! Руку сломаешь! Не тащи ты меня!..

— Бежим, Нин! Бежим!..— Ланцов тянул ее.

— Кончай, говорю! — сказала и остановилась, вырвав руку.— Как клещ! — И уже капризно: — Кость повредил. Чего ты ко мне привязался?! Сказала тебе — точка! Возьму вот и к Мишину уйду...

— К Мишину! Ах ты!.. К Мишину! Кольку Пасечника убила, сука! Теперь к Мишину! И его убьешь?! На вот! На!.. На!.. На!..— совал, выхватив из ножен, широкий по лезвию, острый, как бритва, охотничий нож.— На вот. И меня, сука...— и вдруг зарыдал.

— Саня, ты что? Саня! Саня! — теперь уже она тащила Ланцова,

чувствуя, как тяжелеет он, оседая и по-мальчишески пряча голову в плечи.— Что ты говоришь, Саня?! — страх охватил ее, и она, словно бы припоминая что-то, чего с ней не могло быть, искала лицо Ланцова своим лицом и просила: — Ну, Санечка! Ну, миленький! Не надо! Не надо! Са-а-а-не-чччка...

...Истаял сумрак. И поднялся, тяжело поплыл черными клубами туман. Солнце не взошло, и на востоке заговорил гром. Натруженно, трудно волочил он за собой тучу. Туман, поднимаясь, становился мороком, и под морок набилась мошка. Было холодно...

— ...Вот и все... Проснулась я — лодка на берегу. Коли нет. Ну, думаю, сволочь, бросил. Ушел. Замерзла я. Выпили мы много. Трясло меня. Побежала к геологам... Пьяный он был. Не помню, как из балагана в лодку-то шли. Не помню...

Ланцов молчал, слушал, прижимая к себе Нинку и согревая ее своим теплом. Девчонка в одной кофточке: ночи-то были душные, эта первая холодная.

Нинка прижималась к Ланцову совсем так же, как тогда.

После отъезда Зины она пришла вечером, убрала со стола.

— Пойдем, Саня, погуляем...

И они ушли на реку. И долго-долго, всю ночь, брели берегом, каменными россыпями, песчаными косами, сырою землей, которая пьяно пахла весною. А потом, так же тесно прижавшись друг к другу, сидели в нетопленой зимовейке, и он, согревая Нину, слышал, как пугливо и ожидаемо бьется ее сердце.

— Ты меня любишь? — спросил тогда. И она ответила:

— Мне тебя жалко...

И после, лаская его лицо сухой холодной ладошкой, пообещала:

— Может быть, полюблю...

— Сань, ты меня любишь? — спросила теперь она.

Ланцов не ответил. Не знал, любит ли. Он готов был принять на себя ее страшный грех, пойти в тюрьму, на расстрел, обманув следствие, был готов на все! Был...

— Сань, а я думала, нет любви. Влечение только. Замуж выходила, думала есть. А потом... игра.

— Ты замужем?

— Ага. Я сюда от него убежала. Но и тут нашел. Телеграмму прислал — летит. Может быть, и прилетел уже.

— Не прилетел... Мы рейсовый встречали. Следователь прилетел. И все ты врешь, Нинка...

Он выпустил ее из объятий, и она охотно отодвинулась. Потянулась, сладко выпячивая полную грудь и выгибаясь.

— Сань, а мне что-нибудь будет?

— За что?

— А что Коля утонул?

— А при чем тут ты? Он сам пил. Надо было думать... При чем тут мы-то?

— Ни при чем...— Она снова потянулась.— А жалко...

Ланцов задумался: жалко ли ему Пасечника? И вдруг ясно понял,

что ничего не знает об этом парне и о других ничего не знает, кто постоянно окружал его, кто жил рядом, и тех, из национального округа, и этих, из Юки. Он не знал Пасечника и теперь уже никогда не узнает. А потому и не слышит в себе жалости... А кто такой Жорик? Кеша Рукосуев? Вовочка? Зюкин? Кто они, и почему они рядом с ним, с Саней Ланцовым? А кто те другие, что живут, радуются, мучаются, веселятся и плачут? Ни один из них не был созвучен сердцу, ни одного из них не знал он, и если бы спросили: «Кто они?» — ответил бы с усмешкой, по-ланцовски: «Люди. Ничего... Живут.— И добавил бы с улыбкой:— А жить-то надо! А жить-то хочется!...»

— Ты пойдешь? — спросила Нинка.

— Куда?

— На танцы!.. Ты, Сань, и впрямь ополоумел. Домой, в Юку! Пойдешь?

— Нет... Ты иди...

— Я боюсь, Сань... А вдруг схватит...

Ланцов понял, что Нинка говорит о Пасечнике. Поднялся, проводил ее до реки. Вытолкал из ивняков лодку, помог сесть, отпихнул от себя и долго глядел, как уплывает она в туман. За стрежнем он потерял из виду темную Нинкину фигурку, что, словно бы посуху, плыла над водой, но долго слышал еще удары весла. А потом и они стихли, и в утренний полусон дико и нудно упал тоскливый звук. Ланцов понял: это воет его кобель Тарбаган.

«Нинка не убила Пасечника потому, что никогда не любила меня! — думал Ланцов, шагая прочь от реки в тайгу, которая больше чем когда-нибудь давила его ощущением безысходности.— А я бы убил его! За нее убил! Ведь он же знал, что я люблю Нинку... Эх, Коля, Коля! Поторопился ты... Ланцов измены не прощает...»

— Ну, вот и все,— сказал эксперт, кончая писать,— тривиальный случай! Сколько уж таких было в нашей практике?! Напился пьяный. Полез в лодку. Завел на скорости. Бултых в воду, под винт, и готов — утопленник. А тут все явно. Шпонку крепкую поставил. Не любил мужик возиться. Сам под свою лень и попал. Эх, пьянка-пьяночка! Что ты, пьянка, делаешь!..— пропел поднимаясь.

— Я в этом был уверен. Без свидетелей ясно,— сказал следователь.

— А как, с позволения сказать, девочка себя чувствует? — спросил эксперт.

— Она в порядке,— грустно улыбнулся следователь.— Ее, видишь ли, Ланцов выгородить хотел. А она в порядке. Ни при чем девочка. К ней муж приехал.

— Муж?

— Ну да. С Диксона летел.

— А, этот, что со мной?

— Да.

— Так это она его встречала?

— Она...

— Ничего,— со знанием сказал эксперт.— Аппетитная...

— Николай Всеволодович!..— развел руками следователь.

— Шучу, старина, шучу. Жаль бабенку. Выдадут ее мужу. Жаль... Парень с Диксона за таким добром прилетел.

Следователь промолчал. Подумал только, что вместе, наверное, придется лететь с Нинкой и с тем счастливым, обретшим радость...

Не выдала Юка Нинку. Проводила их с мужем молча. Юка тайну хранить может.

Миша Харюзов по редкому такому случаю подписал заявление об увольнении, принял библиотеку — ключи Нинка передала ему. Спросила только: «Все ли цело? Не растащили?» — «Кому таскать-то? Зачем?» — вопросом ответил на вопрос.

В аэропорту, прощаясь с Ленкой, всплакнула.

— Раз нашел, значит, любит,— прошептала Ленка и тоже заплакала.— Счастливая ты... Не вспоминай нас лихом!

— И вы меня...

Пришел старик Жданов, познакомился с мужем и тут же попрощался:

— Добра вам! Пути счастливого. Она, Нинка-то, девка хорошая,— сказал зачем-то и сам смутился.— Так что, Нина Иванна, «Айвенго» я Харюзову сдам.

— Хорошо! Хорошо, дедушка!

С тем и улетели. А час спустя на почту пришла телеграмма: «Похороны сына приехать не можем». Чего уж там стряслось — неизвестно, но телеграмме подивились. Хоронила Пасечника Юка. Хорошо хоронили, с прощальными словами, с поминками...

Не было и нет на земле покоя. По осени снова летел в Юку следователь...

В этом году стоял пронзительно солнечный сентябрь. За весь месяц не выпало и дня ненастья. Солнце вставало и садилось в чистом небе, а по ночам тайга выстывала так, что за полдень в густых пустошах держались зазимки.

Весь сентябрь ревели изюбры. Самцы-ревуны сбивали гаремы и бились друг с другом отчаянно. Гирько́ — холостяки, пользуясь распрями, легко умыкали самок, а то и угоняли весь гарем, пока бойцы доказывали друг другу свою силу и ловкость.

Юра на рев тоже ходил. В ждановском роду любили послушать изюбриный гон.

Звери эти в любви не потайны. Каждый ревун сбивает себе гарем. Любит его, пасет и охраняет. До любовных утех изюбры жадны, и во время всего гона каждый из ревунов умножает свой гарем. По этой причине молодые и неловкие изюбры остаются в холостяках. Люди зовут их «гирько». Бегают они неприкаянно от гарема к гарему, потайно подкрадываются к маткам и ждут, когда отвлечется в любви или зазевается хозяин. Воруют они мимолетное счастье.

Такой гирько́ — молодой длинноногий молчун (холостяки голоса во время гона не подают) — вдруг запетлял у ждановской заимки.

— Ага, где-то гарем тутока ходит,— сказал старик Жданов.

И ревун, не заставив ждать, определил себя.

Утром, на восходе солнца, Юра услышал, как, словно бы отрываясь от земли, медленно восстал густой звук и, тончась, но не настолько, чтобы стать звонким, взмыл в небо и поплыл окрест чисто и окатисто. Сентябрьское солнце озолачивало этот звук, и он, почти видимый, несся над землей, утверждая право жить.

И Юра с отцом, повинуясь этому не праздному, но праздничному утверждению бытия, как тот гирько, тайно пошли к стаду, чтобы хоть краешком глаза увидеть это ликование.

У тихой, уже взявшейся хрустким ледком поточины они разошлись. Юра ушел в гольцы. Перевалил их, по ручью спустился к луговинам и на них с полгора увидел мирно пасущееся стадо из двенадцати маток. В редком тумане очертания их тел были несколько расплывчаты, но это придавало маткам какую-то неизъяснимую женственность и тайну. Сам ревун, раздувая шею (в обычности высокую и стройную), медленно поднимал маленькую точеную головку с прекрасными сойковыми рогами, издавая звук, который колебал воздух. Это упругое, вязкое колебание Юра ощущал на своем лице, когда зверь, закинув рога на спину, заканчивал рев, замирал на мгновение, будто наслаждаясь произведенным, и потом снова низко упирал голову, вбирая трепещущими ноздрями запах осенней земли.

Так повторялось бесконечно, но Юра не уставал слушать.

Иногда ревун обегал стадо, сбивал поплотнее своих возлюбленных, которые беспечно разбредались по луговине. И тогда какая-нибудь из них поднимала голову, да так и оставалась стоять, кокетливо навострив ушки, едва заметно дрожа и переступая в стыдливости тонкими ногами. Он замечал это, напрягал шею, дыбил шерсть; глуше, чем обычно, только для нее, выводил требовательно-ласковую ноту и, белея зеркалом — светлым пятном вокруг коротенького хвоста,— отделял ее от стада.

И в это время вороватый гирько́, тихонечко подымая копыта, как это делают тренированные лошади на спортивных выездах или маршах в цирке, появлялся с противоположной от любовников стороны и, жадно наблюдая их игры, крался к ближней матке, уже навострив кисточку.

Но в это мгновение снова, но уже не от земли, а над нею, густо и полно плыл рев, и гирько́, так пусто потративший время на осторожную трусость, мигом скрывался в тайге...

День изо дня проводил Юра в тайге, доглядывая скрытую жизнь соболя, ладя для него срубики-кормушки, подвешивая, чтобы не поточили мыши, убитую дичь (пусть полакомится зверек) и тропя его на мохристых зазимках.

Он предполагал нынешний сезон, вплоть до высокого мартовского солнца, провести в тайге, охотясь по трем ключам: Быстрому, Холодному и Хлопуше.

...Однажды Юра опять подстерег знакомый гарем. Ревун водил с собой уже девятнадцать маток. И снова мелькал рядом гирько́. Вероятно, ему что-то и перепадало от княжьих утех — иначе к чему же безотвязно холостовать рядом?

Ревун показался Юре несколько похудевшим, поистаскавшимся, но безмерно важным, полным собственного достоинства и слепой страсти — нравиться самому себе. Он по-прежнему плавно и красиво поднимал в реве голову, но рев этот был несколько самовлюбленный и беспечный. Эту вот беспечность и услышал другой ревун.

Юра увидел пришлого, когда тот, словно бы приседая, с низко наклоненной головой выбежал на луговину.

Знакомец за своим ревом не слышал голоса врага, но собрался мигом и, устрашающе крутя головой, кинулся навстречу.

Ажурные, легкие рога их сшиблись с громом и треском, Юре показалось, что посыпались искры. Противник отпрянул и сделал вид, что собирается бежать, но, когда самовлюбленный ревун беспечно откинул голову, ударил его стремительным выбросом в бок.

«Ох-х-х, ох-х-х!» — тяжело охнул Знакомец и ударил противника снизу вверх, норовя пропороть живот и подбросить того на рога...

Ревуны бились отчаянно, взревывая и отплевываясь, тесня друг друга, медленно отходя за оскалки, и вдруг замолчали, сопя и осклизываясь копытами на гладком камне.

Юре они больше не были видны. Но хорошо был виден гарем и счастливый гирько́, в томлении мечущийся от одной самки к другой.

Изюбрих не испугал ни трубный крик противника, ни крик их ревуна, ни сшибка, ни клочья летящей шерсти, ни капли крови и рыхлые лоскуты пены. Они по-прежнему паслись, несколько отойдя от схватки и поглядывая туда с интересом. Не обеспокоил их и гирько́ своей суетливой и страстной торопливостью, когда он, мечась от одной самки к другой, хотел овладеть сразу всеми.

Сопение и хрип по-прежнему неслись из-за оскалка, и это пугало гирько́ до тех пор, пока он не решился украсть весь гарем. И, решившись на это, он чуть было не ревнул, напрягая свою юношески тонкую шею, но вовремя спохватился и молча погнал прочь самок, торжествуя и радуясь своей хитрости и решительности.

Подумав о том, что сейчас какой-нибудь гирько́ или летучее братство холостяков угоняет другое стадо, Юра осторожно стал подбираться к схватке.

Бойцы стояли на коленях друг перед другом, смертно сцепившись рогами. Каждый из них все еще напрягался, стараясь перекинуть другого через себя, но задние ноги их, готовые подломиться, скользили по камням, выбрасывая из-под копыт, точно буксующая машина, ошметки земли и мха.

Розовая пена сбегала с оскаленных ртов, набивалась в ноздри, рыхло копилась в пахах, и мокрые, вздымающиеся бока их кровили открытыми ранами.

И вот они рухнули одновременно. Может быть, только на малую долю секунды устоял дольше пришлый, это не дало ему преиму-

щества, но причинило боль. Он тоненько вскрикнул, валясь на землю, и замер, напрочно прикованный к врагу. Бойцы пока лежали смирно, и только глаза их, налившиеся кровью, все еще искали друг друга, все еще источали непростывший жар.

Когда Юра вернулся к ним с отцом, изюбры обессилели. Они, ослабнув мышцами, безвольно лежали, скованные друг с другом, и плакали, обреченные на медленную и мучительную смерть. По мордам текли слезы, и глаза уже не источали жар, а потухли, покрывшись мутной стынью. Приход людей не напугал их, но Юра заметил едва различимую дрожь, пробежавшую по телам.

— Ох-хо-хо! — сказал отец.— Повенчалися! Тут им и помереть!

— Папа, может, распутаем? — сказал Юра.

— Где тут... Только что на подкорм соболю...

— Давайте отпилим, папа? — попросил Юра.

И Глеб Вонифатович, слыша, как полнится его сердце слабой стариковской нежностью к сыну, сказал совсем как несмышленышу:

— Отпилим... Где тут... Эх ты, охотничек...

А гирько́ гнал стадо все дальше и дальше, предчувствуя в себе рождение ревуна.

Три дня назад Ланцов отчаянно поспорил с Рукосуевым, что заловит изюбра петлей. В спор включились другие ловцы и впервые выступили на стороне Кешки. Ланцов был один против всех. Он ничего не знал и не слышал о ловле изюбра петлей, но был уверен, что сладит снасть, хитро поставит ее и зацепит зверя. Ему была известна одна «солянка», куда водил свой гарем ревун во время гона. Петлю Ланцов поставил у ручья, где хорошо набитая тропа сужалась. Чуть пониже ловушки — изюбр никогда не пойдет падью, тропя след по вершинкам, гривкам и покатям,— Ланцов прилег отдохнуть. Он привалился спиною к ели, забросив ноги на колодину, и лежал так, выглядывая до черноты чистое небо.

За два с небольшим месяца, прошедших с той июльской истории, Ланцов сильно изменился. Обрюзг, кожа у висков пожелтела, определив крохотные коричневые пятнышки, под глазами набрякли нездоровые мякиши, а маленький хищный нос еще резче определился, по-ястребиному нависнув над тонкими презрительными губами. Большой, круто вылепленный лоб стал еще крупнее, оттиснув к затылку русый чубчик, а в межбровье легла безвольная глубокая складка. Он отпустил небольшую, коротко постриженную щеточку усов, которая придала его облику некоторую интеллигентность.

Многое изменилось в Юке. Улетел на строительство БАМа Жорик. Серпинкина назначили заведующим Юкским отделением промхоза. И он, пока еще исподволь, пока еще не выявляя себя, начал «завертывать гайки». «Смотри, мужик, резьбу не сорви»,— сказал ему Ланцов. «Думаешь, проржавела? — спросил Серпинкин и добавил: — А мы ее маслицем!» — «Юка маслице любит. Смотри, нашу бригаду не обдели. Тут тайга...» — и улыбнулся Ланцов одними зубами.

Зина ни разу с самого отъезда не подала о себе вестей, не написала. Но он знал: живет в Иркутске, работает в детском садике, растит Саньку. Он подумывал ей написать, позвать в Юку, но все не мог собраться, считал, что, отловив сезон, может быть, сам поедет в Иркутск. О сезоне он думал с неохотой, не готовился к нему, как-то по пьянке продал Тарбагана заезжим охотоведам и раздарил, тоже по хмельному делу, всю свору. Осталось всего две тощенькие глупые сучки. Нинка прислала открытку с Диксона в одну фразу и без обратного адреса: «Саня, забудь все, что было».

А он и не помнил ничего. Только саднило порою нехорошей сосущей болью под сердцем, когда проезжал то зимовье, обносило слабостью, запахом весенней прели и талой воды.

Ленка взяла отпуск и уехала далеко. Вовочка с ее отъездом сначала запил, но потом закрепился, пропадая с утра до поздней ночи на водомерных постах.

— Вот присох-то, вот присох! — говорила о нем Юка.— Возьмет, однако, его река.

Назначение Вовочки водомерщиком совпало с невиданным летним паводком. В сухое лето река поднялась так, как и в половодье не поднималась. Разрушила несколько бань, унесла завозню, поснимала городьбу и уволокла четыре зарода сена, убранного в пойме.

На почте работала приезжая девчонка, злая и страшная как смертный грех.

Зюкин пролез в библиотекари, у него оказалось «среднекультурное» образование — кончил когда-то техникум культуры.

Ловцы долго потешались над этим перерождением и определили Зюкину прозвище: Кюльтурный Человек.

...Ланцов не услышал приближения изюбриного стада, которое гнал зверь. И медведь не услышал присутствия в тайге человека.

Зверь промахнул над Ланцовым, походя ударив его задней лапой. Ланцов, услышав резкую боль внизу живота, вскинулся и вскрикнул. Зверь тоже вскрикнул, срыву затормозил движение, повернулся, рыкнул и ощетинился.

Ланцов, ощущая, как теплая кровь, становясь нестерпимо горячей, жжет тело, тоже ощетинился, встав на четвереньки, и тоже рыкнул на зверя. А в следующее мгновение, ослепленный ударом, все-таки выхватил нож и в сплошном густо-кровавом мраке ударил им в раскрытую медвежью пасть, повернул его там, утопая кистью в чем-то вязком и склизком, и, захлебываясь и клокоча, ясно услышал хруст собственных костей...

... А уже через день в Юку прилетел следователь и родители Ланцова. Они забрали останки своего непутевого сына и увезли в город.

Юка искренне жалела лихого ловца, не зная за ним греха, который мог бы отвернуть добрые сердца сельчан. Родителей Ланцова жалели и того пуще. Ловцы собрали по селу деньги на похороны и отдали их матери вместе с государственным заработком и тем малым, что осталось после сына.

Следователь провел дознание по несчастному случаю, происшедшему 28 сентября 1976 года в урочище Сырой лог.

А еще через день в Юку привезли медведя. Хозяин лежал на сооруженном помосте из жердей меж двух лодок. Этот странный катамаран медленно сплавляли по реке, минуя шивера и мели.

На пристанях медведя погрузили в телегу. Туша была неподъемной, поэтому еще в тайге по хребтине, оттянув, прорезали шкуру и прогнали в прорези ваги. На них и выносили из тайги, грузили на катамаран и тут опустили в телегу. Теперь их вынули и положили в телегу рядом с тушей.

По древнему обычаю, медведя, убившего человека, дóлжно было провезти по всему селу, показав народу, потом сжечь за околицей.

Юра узнал зверя, подивившись тому, что он успел с июля так оправиться и нагулять тело, но никому не сказал об этом. При хорошей добыче мясники быстро матереют и залечивают хворь.

Соловушка, озираясь и чуть похрапывая, круто взяла с места и тяжело пошла в гору, напрягаясь, скрипя упряжью и рассохшейся телегой.

На улицу высыпало все село. Люди ждали напряженно и тихо, каждый у своего заплота. Слышно было, как шумит на юру тайга и полощется вылинявший флаг над почтой. Но как только телега въехала в первый порядок, разом закричали люди, забрехали спущенные собаки, накатились на телегу, захлебываясь и дыбя шерсть. Отчаянно и высоко завыла Зубариха, одинокая старуха, у которой мужа и сына отобрала тайга. Только и нашли ноги, на каждого по одной.

Она, растрепанная, чуть даже полоумная, выбежала на дорогу, хватая пыль и посыпая себя, потом кинулась к телеге, сжав худенькие кулачонки на сухих ощепьях рук, колотила ими дремучую медвежью голову.

— А где-та-а-а-а маи миленьки-я-а-а! Где-та-а-а ых-х-х костачки-ии, где-та-а жилочки-и-и-и,— причитала...

Мальчишки кидались в медведя камнями, взрослые плевались, били палками. Особенно неистовствовали над тушей женщины, припомнив тоску и заботу о мужьях, тоскливый страх среди ночи, останавливающийся стук сердца от мысли: «Что-то там на промысле с родимым?»

По всем улицам ждали бездыханную тушу торчки, удары палок и камней, позор и срам.

Хозяин не мог ответить и лежал, уткнув громадную голову в грязные доски телеги, уронив лапу, которую рвали, обдавая слюной и пеной, собаки, и в глубине его утробы что-то гулко екало и переливалось.

Толпа, разрастаясь, спешила за телегой, а впереди с каменно сжатым ртом, с бледными скулами, строгий не по летам, шел Юра Жданов, ощущая на руке своей горячее дыхание Соловушки и тряскую мягкость ее губ.

Следователь тоже шел в процессии и, глотая подступившие к гор-

лу неожиданные слезы, чувствовал неотъемлемую причастность к этим людям, к их обычаям, к их жизни, в которую все чаще и чаще приходится вмешиваться ему, деля с ними превратности судьбы, карая и защищая их именем Закона, который приняли они сами.

За околицей, обложив тушу сушьем, люди тесно сбились в толпу. Старик Жданов — бывший крестьянин, бывший председатель колхоза, Совета, профсоюза, бывший агитатор и парторг,— сняв шапку под поздним сентябрьским солнцем, сказал:

— Люди! Вы все видели зверя-людоеда. Вы покарали и прокляли его, а теперь мы предадим его огню, потому что прокляты не только мясо и кости, но и душа его, которой гореть пламенем...

Кеша Рукосуев плеснул на сушняк бензином, а Юра, запалив паклю, кинул огонь.

Пламя высоко взметнулось к небу, пыхнуло черным дымом, окрасив лица людей цветом живой охры, потом упало и принялось за сушняк, играя и похрустывая.

Люди молча стояли подле этого костра, затвердев лицами. И только Нюра горько и безутешно плакала. И не понять было, кого жалеет Нюра, кого оплакивает — то ли Ланцова, то ли медведя.

И кто-то ответил на этот плач в толпе, и кто-то вздохнул тяжело. И горько шумела тайга, ближе подойдя к людям, к жаркому пламени, к чадному дыму...

Но уже таяла толпа. Первыми молча, как с похорон, стали уходить женщины, неся перед глазами кончики черных платков.

ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

НЕ СОВСЕМ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА...

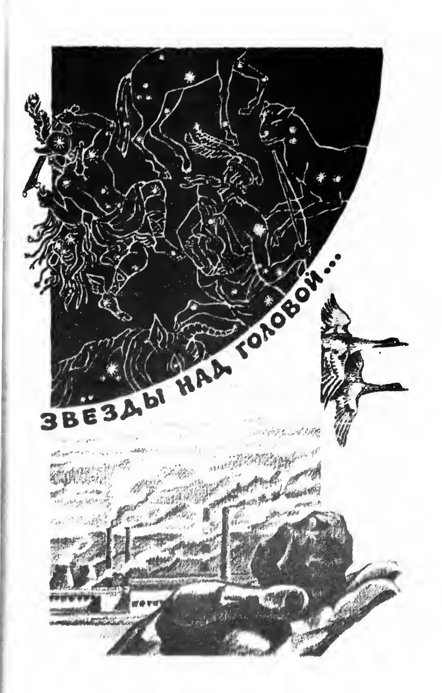
— А ты меня не подзаводи, брат, не надо. В свое время пришлось мне над этим крепко поломать голову, и я теперь такое о ней знаю, о нашей душе, о чем другие и не догадываются... Рассказать, говоришь? Ну, если только хорошенько попросишь.

Это было, когда уже заканчивали второй конвертерный. Работал тогда у меня в бригаде монтажник Чернопазов — Приблудный Ваня. Кличка была такая потому, что он к нам как бы и вправду приблудился. Давно еще. Один раз глядим, стоит парнишка, голову задрал, на нас смотрит. Другой раз. Как-то и сам подставил внизу плечо, потом в инструменталку за шлангом сбегал, а там в перекур сидит уже в будке среди ребят, сало с хлебом рубает и всю свою жизнь с самого начала засвечивает... Поняли тогда так, что отец его с матерью, еще когда он был пацаненком, разошлись, в разные стороны разъехались, а его у бабки в таежной деревеньке оставили — там и вырос. Последнее время в интернате жил, закончил восьмой, год в леспромхозе протолкался и вот приехал к нам на Антоновку. Понравилось моим хлопцам, что начал парень не с отдела кадров, как все, хочет не абы куда, а сперва присматривается — значит, самостоятельный и с характером. Взяли учеником и не ошиблись: что руки, что голова у парня — золото. И чутье. Как будто на отметке сто родился и вырос. Где лаской, а где и таской, как водится, вынянчили его, выкохали, монтажник стал — сам черт ему не брат. Мы его и в армию проводили, отслужил — встретили, в общем, чего там долго разводить — свой. В последнее время, правда, разбаловался, довольно сильно за воротник стал закладывать, ну да холостяцкое дело известное, пока терпит, вот мы, как теперь понимаю, и терпели — до тех пор, выходит, пока не приехала из тайги проведать внука бабушка его Анфиса Мефодьевна.

Дело было в начале осени. Собираемся это раненько возле тепляка и вдруг видим: идет наш Приблудный и за спиной у него самый настоящий лыковый пестерь, к тому же не такой легкий — судя по тому, как одно плечо у Вани совсем обвисло. Посдвигали мои хлопцы кепки на лоб, ждут руки в боки: что-то новенькое; поставил он пестерь у меня под ногами, буркнул небрежно: всей, мол, братве — от бабки. И отошел в сторонку, отвернулся, начал портянку перематывать — решил, что самое время.

Наши переглянулись, поближе подошли, открыл я пестерь, а там... Отчего это, скажи, получается? Грохочет кругом железо, дым

...совесть в душе и


ЗВЕЗДЫ НАД ГОЛОВОЙ...

над головою пластается, от коксового газком тянет, а ты увидал все эти лукошки да туески, такие вроде нездешние, как будто с другой планеты, и душа твоя вдруг зашлась от тихонькой светлой радости... Видать, всей деревней собирали Иванову бабку — чего только не было в ее пестерьке! Рассыпчатый домашний творог и белый липовый мед. Малиновое варенье и пирожки с грибами, соленые груздочки один к одному и малосольный харюзок, переложенный листьями крапивы. У хлопцев у моих слюнки потекли, когда увидали это богатство. Один кричит, что бабка у Приблудного — человек, и предлагает тут же послать гонца, чтобы к обеду непременно вернулся; другой с ним спорит, доказывает, надо срочно, пока все свеженькое, идти к инструментальщику дяде Грише в его «офицерское собрание» и пусть достает где хочет, а работа, она, все знают, не медведь, в лес не убежит — и так с запасцем идем, а завтра после такого дела поднажмем еще ой как... Слушал я, слушал, поднимаю руку: хорош. Все наверх, а Иван обратно в поселок, к директору «Ветерка». Пусть-ка тот определит пока пестерек в холодильник, а вечером для знаменитой — ну а как же иначе? — бригады монтажников Вэ Эм Бастрыгина оставит на летней веранде четыре столика. Для бабушки Анфисы Мефодьевны днем устроить экскурсию по поселку с показом исторических мест, в том числе того самого, где должен был стоять у нас памятник первым Добровольцам и где теперь сидит с книжкой на коленях присланный по разнарядке бронзовый пролетарский писатель товарищ Максим Горький, который сам бы наверняка такой факт строго осудил. Потом бабушка должна хорошенько отдохнуть, а около восьми вечера пусть ждет представителей трудящихся, которые пригласят ее на торжественный вечер, ей же, Анфисе Мефодьевне, персонально и посвященный... Вопросов нет? Нет.

Закинул Иван свой пестерь за спину, потопал к электричке.

Остальные ребята до конца смены как на крыльях летали, глянуть со стороны — не монтажная бригада, а прямо тебе кордебалет. И вечер потом был такой, что и все наши до сих пор его вспоминают, да и бабушка, Анфиса Мефодьевна, дай бог ей здоровья, наверняка надолго запомнила. Тут ведь дело какое: почти все мои первопроходцы давно уже от корня от своего оторвались, швыряло их по жизни туда-сюда словно перекати-поле под злыми ветрами, и другой раз, случалось, в такие дали забрасывало, что и на похороны родной матери при всем желанье не выбраться.

Когда моя бабушка померла, которая меня, считай, и выкормила, и в детстве от неминучей смерти спасла, мы как раз были в командировке за Полярным кругом, работали в семь потов — месяц оставался до пуска одной хитрой фабрики, которую надо было сдавать кровь из носу. Несмотря ни на что, решил я все бросить, лететь, но уже на первом отрезке догнала «Антона» метель, хорошеньким зарядом чуть не сбила, кое-как сел, и десять дней потом промаялся в набитом до отказа аэропорту, ждал погоды, а когда ее дали наконец, попросил буфетчицу налить стакан пополней, утер слезы да и поле-

тел обратио — доводить до ума устаиовку для скоростного дробле-ньял твердых пород: милая бабушка, прости!..

А только ли со миою так было?

Потому-то, иавериое, и вышел праздиик, какого ни до, ии после у ребят моих ие случалось...

Эх ты, бродежня, бродежия, великовозрастиые мои беспризориики! Смотрели все иа Аифису Мефодьевиу, словио каждому оиа родня была — общая наша бабушка. Ловили и каждое слово, и каждое движеиье угадывали — посмотрел бы ты, как эти отчаюги, эти ухорезы мои разом притихли да подобрели!..

И оиа это поияла, лучилась, как солиышко, приятио ей было, что людей отогрела.

Мы ей, коиечно, про виука докладываем, про его, зиачит, трудовые достижеиия, мы тосты в честь иее произиосим, благодарим, что вырастила такого орла, а жеиы, боевые наши подруги и тоже, поиятное дело, потому беспризориицы, в перерывах ее расспрашивают, как что солить да как мариновать — открыли кулииарные курсы.

Сам Иваи сидит, естествеиио, король королем, от гордости вроде бы даже пошире в плечах сделался...

Потом-то уж я сколько раз думал: надо мие было, коиечио, с ним перед этим иидивидуальиую работу провести... Да только кто ж зиал?

Сидел как человек, разговор поддерживал, вроде все у иего шло чии чииом, и иа́ тебе вдруг — сломался, уроиил голову в тарелку с бабушкииыми груздочками... Наши тут, конечио, забегали, здесь же, иа веранде, уложили Ивана иа скамейку, что-то ему под голову, чем-то иакрыли, ио праздиик, ясиое дело, уже испортился: теперь чем дольше сидеть, тем больше, выходит, подчеркивать, что за мальчишкою мы недоглядели...

Послал я потихоиьку ребятишек за такси, а когда машииа подъехала, хотели мы было Иваиа в иее переиести, ио тут Анфиса Мефодьевиа иас остаиовила. Буквально бросилась к виуку, закрыла собой. Да что вы, говорит, ребятки, да как же можно? Перевозить соииого. Душа, мол, Иванова где-то сейчас летает, а вериется — мальчишки иет. Где его искать?.. Не приведи господь, ие иайдет, да так, мол, и остается виучек без души, так и будет жить, ничего ие ведая про страшиую утерю...

Сказала оиа так, а меня вдруг ровио ударило: мы-то ведь Приблудиого, было дело, в таком виде сколько раз уже каитовали!

Хлопцы мои, гляжу, разулыбались, видио, подумали о том же, и кто-то уже раскрыл было рот, чтобы сказать, но я успел-таки ладошку приподнять: стоп!

А бабушка иам свое: ии о чем, мол, таком ие хлопочите, идите себе спокойиеиько по домам, а я тут возле внучка посижу, подожду, пока ои глазки раскроет — а там как-иибудь и доберемся...

И столько у иее в голосе было убеждеииости, что имеиио так ей и иадо поступить, иикак ие ииаче, столько в ием было и любви и терпения, что у меия, признаться, щипиуло в глазах, чего со миою уже очеиь и очеиь давио, брат, ие бывало...

Я ей тогда и говорю: если такое дело, Анфиса Мефодьевна, будем возле Ивана вдвоем — как же, мол, можно действительно допустить, чтобы остался человек без души?

Показываю хлопцам глазами, чтобы все свои соображенья на этот счет они опять при себе оставили, а Надюшу свою прошу добежать до дома, хорошо, что живем недалеко от «Ветерка», и принести Анфисе Мефодьевне какую-нибудь тещину душегрейку, а мне — мою меховую курточку. Надюше длинно объяснять ничего не надо, двинулась первая, а остальные за ней, и остались мы сидеть на скамейке около Ивана с бабушкою вдвоем.

Был у тебя в жизни, скажи, момент, после которого что-то в тебе перевернулось?

Ну, был, конечно, понятно. У каждого, брат, свое. Но что в этом деле удивительно: ведь сколько со мною всего, если хорошенько вспомнить, до этого приключалось? В армии я в десантниках служил, и так вышло, что домой вернулся с Красной Звездою. С орденом. Поставим точку. Потом на гражданке порченая лайка была у моего знакомого лесника такая, он ее после пристрелил, нет, ухватить мишку за «штаны» — со страху бросилась ко мне в ноги, в снег повалила, и мишка сверху насел, чуть не заломал. Тоже, скажу тебе, впечатляет. И есть у меня, ты знаешь, ордена, какие нашему брату работяге за красивые глаза не дают. И по России-матушке я вволю поездил, всего насмотрелся, всего наслушался. И четыре года в Индии бригадирил, металлургический завод в Бакара строил, дома у меня лежит дудка и диплом на стене висит: я там одного заклинателя змей, душевный парень, всем тонкостям сварного дела обучил, ну и он тоже в долгу, вишь, не остался — жаль, что у нас в России змеюк подходящих нету, а то уже да-а-авно бы плюнул я, будь она неладна, на эту Антоновскую площадку, на эту Сибирь и в более подходящем месте сидел бы себе посреди коврика и на этой дудке наигрывал... Как — перспектива?

И падал я с отметки «шестьдесят», хорошо, что около самой земли висел толстый шланг, и я на него спиною угодил — цирковой номер еще тот был! И случалось, брат, со мною еще много всякого, о чем и вспоминать не хочется, не то что рассказывать... И много такого, от чего и через долгие годы в пасмурный день на душе светлеет. Все было. Но вот ведь какая штука: ничто на меня до этого так не действовало, как этот ночной разговор с Ивановой бабушкой.

Теперь-то я так соображаю, что очень он пришелся ко времени. Бывает же: ты над чем-то годами ломаешь голову, зреет это в тебе и зреет, да только никак не прорастет, а потом в дороге случайный попутчик обронит слово, может, и не бог весть какое мудрое, а тебе вдруг что-то как бы наконец и откроется: да вот оно, вот же — и как это раньше не докумекал?! А раньше, выходит, и нельзя было. Вроде того что не дозрел.

И здесь так.

Надюша бабушке душегрейку принесла и теплый полушалок,

мне — курточку, и сидим рядышком, она говорит, а я все больше помалкиваю, только слушаю да смекаю.

Шум в поселке уже поутих, окна в домах почти погасли, ночь гуще и гуще, и только сполохи над заводом вдалеке ярче сделались. То вдруг моргнет и приподнимется чернота над шлаковым отвалом, а то над первым конвертерным неслышно темь дрогнет. Где-то сварка ударит яркой синью, где-то вдруг багровый дым лизнет небо...

Поглядывал я молча на все эти бесшумные огни, а бабушка рядом тихоньким голосом вела: мол, раньше как было?.. И народу гораздо меньше, и по белу свету люди так далеко да с такой быстротой не разлетались. Где родился, мол, там себе и живет. Оттого-то доброму ангелу легче было охранить всяк живущего, а как же! Мол, дело это вполне понятное, что персональных ангелов теперь нету, на такую прорву господь давно уже не настачится. Потому у каждого хранителя под опекой не один человек, а сразу несколько — у кого пять, а у кого, может, три или четыре десятка. Потому-то раньше, когда родня в кучке, ангелам гораздо проще было за всеми доглядывать. Неслышно беседует, мол, с одним, добро внушает, а на всех остальных при этом посматривает. Только что где заметил не так, только увидал, что сатана к человеку слева, на своем обычном месте пристроился, искушать начинает, ангел сразу тут как тут: тихонечко стал справа и наговаривает свое до тех пор, пока человек через левое плечо — это в черную харю-то сатане — трижды не плюнет...

А попробуй-ка нынче оборонить каждого! Пока, мол, ангел-хранитель за тобой на Камчатку да потом с Камчатки обратно — к остальным своим, значит, подопечным — сатана тут уже и разгулялся. Известная, мол, штука, бесовское дело, оно нехитрое: шепнул — и дальше. А добрый ангел пока отыщет слова, пока уговорит, пока достучится до души твоей! Тем более что душа теперь не у всякого — это ж сколько людей в бесплодной беготне с места на место да в торопливости жизни души свои порастеряли. Мчатся, спящие, в самолетах да в поездах, и души тревожатся, нудятся сутками, томятся без воли и без дела, а какая на минутку решится оставить сонного, какая воспарит — глядишь, та уже и отстала, уже и потерялась. Носится потом над миром как сирота!

И пока печальная бабушка Анфиса Мефодьевна тихоньким голосом рисовала эту не совсем научную фантастику, представилась мне другая картина — совсем, так сказать, реалистическая. Как прилетаем мы всей бригадой всего-навсего в Джезказган. Поселяемся в общежитии. Выходим на разведку в город, и Петя наш Мажуков тут же, еще около подъезда, останавливает первого встречного: «Не скажешь, друг, где у вас магазинчик «Папин мир»?» И дальше он с нами не идет, все, что надо, уже узнал. Вернется из гастронома, сядет на кровать, а на табуретке напротив разложит на газетке нехитрую закуску. Поворчит сперва, что нынче стали выпускать одни «бескозырки», потом скажет радостно: «Здравствуй, стаканчик, прощай, водочка!.. Посторонись, душа,— оболью!»

И когда все из города вернутся, Петя давно уже будет «в отрубях».

Неужели, я тогда подумал, и нашего Ивана то же самое ждет?

Год или два, от силы — десять, станет и он в командировке первым делом про «Папин мир» спрашивать. Дойдет потом до того, что и на работу с собой станет прихватывать. И будут его в конце смены спускать на землю с колошника в железной клетке для кислородных баллонов. И после того, как отгремит оркестр на митинге по случаю спуска, в автобус вместе с тройкою-пятеркой точно таких же гавриков погрузят штабелем, и в аэропорту потом станут спорить до хрипоты, доказывать контролерше, что товарищ — больной, шницелем отравился в буфете...

А потом еще год-два, и на очередном большом сборе где-либо в Череповце знакомая друг с другом алкашня станет проверять свои ряды: «Как Веня там Пупкин?» — «В порядке Веня: работа — сучок — сон».— «А Федя, мол, какой-нибудь Крупкин,— где?» — «Федю баба не отпустила. Завязал Федя: работа — сон, работа — сон».— «А чего это Ивана Приблудного не видать?» — «А нету Ивана, все. Кончился Иван: сучок — сон. Сучок — сон».

А как же с предназначеньем человека?.. Со всеобщим добром? Со звездами в ясную ночь над головой? С людской совестью? Со всем-всем, до чего додумались те, кто в отличие от многих других думал всегда, и думал, думал, думал?!.

Или ты считаешь, что это в порядке вещей, как говорится? Что люди — как зерна?

Одному повезло, хорошо на пашню легло, а другое на обмежек, а то и вообще на обочину попало. Может, вообще не прорастет. А прорастет — затопчут... Ты как считаешь? А может, и процент потерь назовешь? И утешишь меня тем, что сам я в него, в процент этот, предположим, не вошел, и слава богу, а кто вошел, туда ему вроде того что и дорога, и тут уж ничего не попишешь... Не так? Нет?!

Сидел я тогда рядом с Анфисой Мефодьевной, посматривал на сполохи над нашим заводом, и под ее доверчивый разговор так мне ясно о многом думалось!..

Ну, трогательной этой минуты, когда внучек Ваня глазки откроет, мы с ней, конечно, дождались. Но к тому моменту, я думаю, душа к нему еще не вернулась, нет. Вернулась она к нему чуть позже, а при каких это случилось обстоятельствах, я тебе дальше и расскажу.

Отчитывать Ивана сразу на следующее утро я не стал, решил перед тем, как это сделать, еще раз хорошенько подумать, и, знаешь, до чего я в конце концов додумался?.. Хочешь — верь, а хочешь — нет, дело, как говорится, хозяйское, но наметил я провести в бригаде собрание примерно с такой повесточкой: «О потере души Иваном Приблудным».

Ясно, что подготовиться к нему надо было не абы как, и вот тут, скажу тебе, столкнулся я, брат, прямо с превеликими трудностями... Почему так выходит?

Чего только в нашей новостроечной библиотеке нету, если речь

о металле, о всяких машинах и механизмах!.. Тут тебе и правила эксплуатации, это само собой, тут и профилактика, и ремонт, тут тебе и работа на сжатие, и на растяжение, и на излом, тут тебе и запас прочности, и норма износа, и векторные силы, и много-много всего такого еще... А душа наша вроде бы ничего такого и не испытывает, ни растяжения тебе, ни сжатия, и вроде не касается ее правило вектора: когда тебе и одного хочется, и совсем, брат, другого, но в силу самых разных причин ты выбираешь третье, и тут уж ничего не попишешь.

Обивал я пороги библиотеки, обивал, рылся в каталоге, библиотекарш наших молоденьких расспрашивал, и они меня в конце концов и к полкам, и в хранилище допустили, да только что толку, так почти ни с чем я оттуда и ушел.

Мне случайно повезло. Разговорился я в электричке с одним добрейшим человеком, есть у нас на стройке такой старик Травушкин, самый вредный, а вернее сказать, самый въедливый и дотошный куратор. Уж как только наш брат строитель да монтажник его не кроет, как только не обзывает, даже повторять, хоть не из самых стыдливых, не хочу. У нас с ним в конце концов отношения стали самые человеческие — с тех пор, как перестали мои ребятишки темнить и при сдаче какого-нибудь узелка пытаться выдавать черное за белое. Теперь мы пыль в глаза бедному дедку не пускаем, в том, чего в природе не существует, убедить не пытаемся, на глотку взять и не пробуем, я сам ему показываю, что у нас вышло хорошо, а что вроде и не очень, а старик теперь не то чтобы лишний раз придраться,— и посочувствует, и совет даст, и, что главное, верит мне теперь на слово: да — да, нет — нет.

Так вот, разговорились мы в электричке, я возьми ему и скажи: решил со своими хлопцами одно такое непростое собрание провести, а с теоретической частью слабовато, и подходящих книжек нигде не могу достать. Спросил он, что за собрание, а услышал о душе человеческой, как взял меня цепкой своей рукою повыше локтя, так часов пять не отпускал — по-моему, мы даже чай заваривать по этой причине ходили с ним на его кухоньку только вместе.

Дал он мне три книжки: философа Монтеня, дал, не пожалел, хоть руки у него при этом, признаться, легонько тряслись, томик из полного собрания Льва Николаевича Толстого, которое он, видно, берег пуще глаза и дал одну английскую книжку — «Психология и солдат».

Потом мы с ним еще вечерочек провели, поговорили о том, что я из книжек из этих вычитал, и он стал просить меня взять его с собою на наше собрание, но тут я впервые за много лет с ним схитрил — каюсь, брат, было такое дело... Да только очень уж я боялся, что может тогда наше мероприятие превратиться в теоретический семинар, а нам ведь надо было еще и суровые оргвыводы сделать — они-то меня, скажу тебе сразу, и смущали...

И остались мы однажды после работы только всей своей бригадой, а больше, брат, никого.

Ну, сделал я, как полагается, небольшой доклад о душе, больше, конечно, популярный, чем, прямо сказать, научный, и все ближе подводил к тому, что душа наша требует не только хотя бы элементарных знаний о себе, но и бережного отношения, и самого пристального внимания, и каждодневной большой заботы. Только тогда она будет и спокойной, и вместе отзывчивой, только тогда и не даст тебе сбиться с дороги, какою бы трудною эта дорога ни была... А если ты забудешь о ней, если перестанешь к себе прислушиваться, тут душу недолго и сильно ранить, а то и насовсем потерять.

Пора было к примерам переходить, и я привел, конечно, последний: о том, с какими подарками и с какою надеждой ехала на стройку бабушка Анфиса Мефодьевна и как тут родной и единственный внук ее утешил.

Мог ли позволить себе такое человек, если было бы с душою у него все в порядке?.. Бабушка ночь возле него просидела, ждала, пока душа его на место вернется, но мы-то, говорю, товарищи по работе, знаем Ивана уже вон сколько — разве случай этот был первый? Бабушке мы об этом не стали ничего говорить, но сами-то должны взглянуть правде в глаза: значит, Иванова душа давно уже где-то сама по себе скитается, а он тут среди нас — сам по себе, только без нее, значит... Может, он сам припомнит, где с ним впервой такое приключилось, после чего душа-то его и не нашла?

Иван, конечно, набычился: «Чёй-то я буду припоминать?.. Чёйто я буду?» Но мне-то только того и надо.

Что ж, говорю, оно и вполне понятно, что сам ты давно забыл, поскольку, Иван, души-то у тебя сейчас нет. Но, может, говорю, тогда припомнят товарищи?

А кое с кем из ребят я, конечно, работу уже провел, чтобы осечек, значит, никаких, и теперь они один за другим стали Ивану выдавать: а случай еще на первом конвертерном не припомнишь?.. Вдруг, мол, с этого и пошло? Второй перебивает: мол, нет-ка! Это уже потом, а перед этим, вспомните-ка, что было?.. Перед этим Приблудного Ивана уже увозили на коленках в «коробочке» с третьей домны, ведь так?..

А следующий оратор и того и другого оспаривает.

География получилась, скажу я тебе, прямо-таки печальная, мне аж нехорошо стало, когда ребят слушал.

Иван то храбрится, то старается все в шутку перевести, но какие уж тут шутки, если все теперь поняли, как, оказывается, давно уже мы паренька упустили!

Ну и обычное дело: какие, мол, будут предложения?

Помалкивали все, чесали в затылках, думали, потом пожилой сварщик Егоров, Владислав Викторович наш, и говорит: конечно, мол, Иван тут может на нас обидеться и из бригады уйти, хоть мы и выучили его, и сердца сколько потратили. Но я бы ему другое предложил: не лучше ли и в самом деле припомнить, откуда у него все пошло, а потом побыть на том месте денечек-два-три, посидеть тихонечко, о душе своей подумать, а может, и повиниться перед ней,

и лаской да умными какими словами к себе обратно позвать: глядишь, и вернется!

А тут вдруг незапланированное выступление — раз, и нá тебе!

Встает еще один сварной, Игорь Проничкин, и со своей обычной улыбочкой, и снисходительной такой, и презрительной в меру, вдруг заявляет: чепуха, мол! И не подумает вернуться душа. Ведь был же известный всем случай, который это доказывает — помните?.. Когда Сознательного Петю в тепляке прибили к полу гвоздями.

Тут придется об этом случае, но сперва скажу, за что назвали Петю Сознательным, ведь фамилия у него тебе уже известная: Мажуков.

Работник он золотой, за что его все и терпят, но если уж шлея под хвост попадет!.. Поэтому был у нас с ним твердый мужской договор: если выйдет с похмелья, то чтобы в тот день на высоте без всяких моих напоминаний непременно пристегивался.

И вот однажды он вышел и пристегнулся, а тут как раз инженер по технике безопасности. Видит, что остальные ребята, хоть и с поясками, но как будто бы их и нет, и только от одного к балке цепь тянется, видит и кричит: «Ну, хоть один сознательный есть!.. И на том, братцы-разбойнички, спасибо!» Ну тут действительно мог произойти какой-нибудь трагический случай — ребята мои со смеха чуть с отметки «пятьдесят» не попадали. Потом, конечно, и пошло: Петя Сознательный.

А тут не так давно нашел себе наш Петя во время смены компанию да и уснул потом в теплячке, прямо на полу. Ребята из молодых пошучивали над ним: как-то, когда он так же устроился отдыхать, на брезентовых штанах красной краской ему лампасы нарисовали, и на него потом в столовой половина стройки пальцем показывала; в другой раз будильник, заведенный на всю катушку, в карман засунули, и он зазвонил посреди собрания, когда Петя спокойно себе подремывал... А теперь взяли молоток, гвозди и приколотили к полу и брезентовые его штаны, и рукава телогрейки, и полы. Петя проснулся, хотел встать, да только куда — и повернуться не может. Ну, тут он и заорал, да так, что из соседних тепляков поприбегали.

Проничкин теперь и спрашивает: мол, помните?.. Сознательного Петю чуть-чуть душа не покинула, когда поняла, что может с ним на веки-вечные остаться в тепляке.

Ах ты ж, думаю, Проничкин, Проничкин! И надо тебе?

А у нас с ним как-то так получилось, что недолюбливаем друг друга. Я его за эту улыбочку презрительную. За жесткость. Есть она в Проничкине, есть. Он же меня, может быть, за то, что привык считать: я его не люблю за прямоту, за то, что на любом собрании правду режет в глаза. Я-то его как раз за это и уважаю, но не станешь же объясняться за кружкой пива: я, мол, тебя — да; ну а ты меня? Оба с ним к этому не приучены. Да и в том ли дело? Сварной он классный, а мне только этого и надо: чтобы конструкция, которую он варит, хотя бы тридцать-сорок лет простояла. Положенный по своей норме срок. Как монтажник парень надежный, законов това-

рищества никогда не нарушит, руку в нужный момент протянет. Хотя и с этой самой улыбочкой... Ну, тут уж имеет ли какое значенье?.. А то, что я его по головке не глажу, что он — нет чтобы лизнуть, а еще и другой раз укусит, это уж к делу не относится. Так считаю.

Но тут мне, признаться, стало слегка обидно: одна штука — наши, как говорится, личные симпатии, а другое — судьба третьего решается! Неужель непонятно?

И смотрит на меня теперь Проничкин. И ждет.

И я говорю: тут другой случай. Вполне понятно, что Петина душа тогда вздрогнула и от ужаса зашлась, когда решила, что так и останется Петя на всю жизнь на этом грязном полу в неприбранном тепляке лежать. Такая перспектива любую душу потрясет... А тут человек специально для того и уединится, чтобы дождаться своей души и зажить потом совсем другой жизнью. Разве душа на это не отзовется?

И вдруг мне Проничкин лепит: тот случай, когда я с тобой согласен, бригадир. Возражения свои, как не совсем обоснованные, снимаю.

И еле заметно подмигнул. Только улыбка осталась та же.

Подыграл Проничкин, спасибо, и тем самым тоже Ивана как бы и осудил, и от него отмежевался.

Когда дали Ивану заключительное слово, в котором он должен был о своем выборе сказать, у него на глазах слезы выступили. Уткнулся и только тихонько вымолвил: «В бригаде останусь...»

И стали Ивана собирать.

Взяли в тепляке два матраса, которые почти всегда у нас лежали, если время на стройке наступало горячее. Взяли чайник с водой. Пару телогреек. Собрали все, у кого какое было, курево, рассовали мальчишке по карманам.

И пошли все к трубе газоочистки, есть такая рядом с корпусом конвертерного цеха, который мы в ту пору вытаскивали. Решили, что дожидаться Ивану своей души где-либо на первом конвертерном или на той же третьей домне резона нет, потому что там сейчас все гудит, все полыхает, и от дыма ничего не видать — какая же еще живая душа в этот кромешный ад добровольно спустится?.. Потому и выбрали мы эту трубу — она слегка на отлете, и там внутри хоть какая-то тишина, а что для такого дела тишина нужна, это, конечно, и ежику ясно.

Что такое труба? Чтобы ты представление имел. Около трех метров в основании, а кверху сужается. Внизу, пока ее до ума не довели, площадка из огнеупорного кирпича, еще без фильтров. А на боку лючок. Над этой самой площадкой.

Открыли мы, значит, этот лючок, и полез Иван. Первым делом вручили ему фонарик, чтобы мог внутри для начала осмотреться, а потом стали пожитки передавать.

Передали Ивану все, какие были, вещички. Спрашиваем потом:

ну, все, мол, Ваня?.. А он так тоскливо отвечает: мол, все. Заваривай!..

Объясняю, что заваривать лючок мы не станем, а только так, для порядка, проволочку в проушины вденем, но рядом в тепляке кто-нибудь на ночь останется дежурить. Если уж станет совсем тоскливо — зови!

Нет уж, говорит он. Уж будьте покойнички. Не позову.

Ночевать в тепляке остался, конечно, я. Массовик и затейник. Ничего не поделаешь — бригадир. Доля такая!

Несколько раз поднимался ночью, подходил тихонько к трубе, стоял слушал.

Когда на корпусе рядом переставало шипеть да громыхать, ловил я другой раз шорох. А то и как будто вздох... Ничего, думал. Ничего! Пусть поворочается. Пусть-ка и повздыхает.

Правда, больше меня в ту ночь он навряд ли ворочался. И больше меня вздыхал...

Утром хлопцы отнесли ему завтрак, доложили, что вид у Ивана вполне подходящий, и даже стали пошучивать: а чего? Санаторий, мол! Себе бы так хоть пару деньков.

Вдруг пронесся среди монтажников слух, что бригада на главном корпусе отложила сложный один подъем: ребята, которые его ночью на отметке «восемьдесят» готовили, слышали, мол, отчетливо и стоны, и чей-то плач.

Может, какой-нибудь слуховой эффект? Или и в самом деле рыдал Иван, было дело?..

Мое положение представляешь?

Одно, из-за мальчишки сердце болит. Как он там?.. Хоть вроде и крепкий паренек, и с характером, а испытание мы ему выбрали — не всякий спасибо скажет. Ну и другая сторона: что, если бы про этот самый индивидуальный подход, который мы применили к нашему Ивану, узнали хотя бы, предположим, в месткоме?.. Не говоря уже о других организациях. Которые, конечно, построже.

Единственное, что меня тогда грело, так это мысль: а неужели лучше, если бы наш Иван потом десять, а то и пятнадцать дней на виду у всех в поселке улицы подметал?.. Это монтажник-то! Голубая кровь, как говорится. Или, может быть, лучше, если через какое-то время стали бы в управление приходить бумаги из того самого учреждения, куда доставляет черная машина с красным крестом, а то и милицейский «воронок»?.. Или лучше, если через несколько лет его, уже «старичка» на нашей стройке, эти молокососы, что без году неделя тут трудятся, тоже стали бы таким же образом чествовать: то лампасы тебе на брезентовых штанах краской выведем, а то и гвоздями к полу прибьем...

Остался я, конечно, в тепляке и на вторую ночь. Опять подходил к трубе. Опять слушал.

Днем ребята сказали, что Иван зовет меня срочно. Бросил все. Побежал. Если бы кто погнался за мною, не догнал бы наверня-

ка — по-моему, вслед за мной сварные эти лестнички-времянки с крюков срывались.

Уже внизу отдышался, прочистил голос и даже на строгость его попробовал: мало ли какой разговор? Вдруг начнет мальчишка права качать?.. И меня обвинит, и всю бригаду. Тем более, как ты понимаешь, есть за что.

Поднялся я не торопясь по железной лесенке, спрашиваю как можно спокойней: в чем дело?

А он с той стороны к лючку бросился, о дверь ударился, словно птица. «Михалыч! — кричит.— Михалыч!.. А я звезды вижу!»

Я сперва от лючка так и отшатнулся: «Какие звезды?!»

А он говорит: «Обыкновенные! Какие ночью на небе светят! Хочешь посмотреть?»

И голос такой звонкий да радостный, что я вдруг заспешил, начал проволочку с проушин снимать, открыл дверцу и полез.

Иван мне руку подал, помог на площадку спрыгнуть, потом захлопнул лючок и в полутьме на середину площадки тащит: «Гляди вверх!»

Я голову задрал, смотрю на голубой кружок в суженье трубы.

«Видишь?!» — торопит Иван. «Нет,— жму плечом,— не вижу!» — «Это из-за щелей!..»

Бросился к лючку, прикрыл поплотней, потом подобрал что-то под ногами, стал щель самую большую затыкать, и в голосе у него досада послышалась: «Не держится! Вот если б с той стороны — опять кто проволочкой!»

Этого еще, думаю, не хватало мне для полного счастья! Чтобы вместе с Иваном остался бы тут и я... Хотя и надо бы, может? Чтобы спохватывался вовремя...

Иван командует: «А ну-ка, держи дверцу! Держи, держи!..»

А ручки изнутри, естественно, нет, за что ты будешь держать?.. Кое-как мизинцем захватил край, притянул дверцу, а он все щели каким-то тряпьем закладывает. Тут-то я уже пригляделся и теперь понял: оказывается, он ватник изорвал на эти свои затычки!

Когда слегка потемнело внутри, он меня сменил, сам стал дверцу держать.

«Ты — наказывает,— долго-долго смотри, только тогда увидишь!»

Пригляделся я опять к этому кружку неба, и вдруг там словно слабая, уже почти погасшая искорка мелькнула. Такая, как высоко над костром: раз — и нет ее.

Но я почему-то закричал: «Вижу!..»

«А сколько?» — радуется Иван. «Одну!» — «Эх ты! — смеется.— Глаз у тебя не тот, не таежный! Я — так три вижу. Две рядышком, и одна сбоку. Но зато она покрупней. Вот ее ты, значит, и увидал!»

А я тут вспомнил последний свой разговор с Травушкиным. Как тянет он вверх длинный и худой палец, задирает клинышек жиденькой бородки: «Один философ сказал, что самой большою загадкой являются для него две вещи: совесть в душе и звезды над головой...

Он, понимаете, не мог эти загадки объяснить, но наверняка одно с другим связывал!»

И захотелось мне почему-то обнять мальчишку и что-то такое ему сказать — на всю остальную жизнь! — и вытолкать через лючок его первого...

Он не отстает: «А ну-ка, смотри еще, постарайся!.. Ну, еще две!»

«Да я ведь только что варил наверху,— говорю.— Какие у меня сейчас глаза?»

Смолк он, потом уже глухо так: «Ну, иди. Извини, что оторвал... Ну, пока!»

Поймал я его плечо, сжал тихонько. «У тебя,— говорю,— по-моему, все путем, если звезды рассмотрел... Это я тебе точно!»

«Пока!» — он говорит.

И вздохнул.

А ночью я стоял посреди нашего монтажного городка и смотрел, брат, на звезды. Часто ли на них смотрим?.. Нам некогда!

Ночь хорошая была, ясная, и шума на главном корпусе, где третья смена, особо не слыхать.

Отыскивал я глазами и знакомые еще со школы созвездья, и всматривался в крохотные звездочки, каких почти не видать, и что-то во мне все копилось и копилось, вроде главная какая-то мысль складывалась, а потом у меня над головой что-то вдруг тихонечко дунуло, застригло, чиркнуло, и увидал, как птицы пронеслись черными тенями — несколько уток низко пошли то ли к болотам на окраине стройки, а то ли к камышам на гидроотвале... И это птичье движенье посреди ночи под звездами чем-то таким вдруг во мне отозвалось — я, старый дурак, чуть не заплакал в голос...

Старый почему?.. А как иначе? Уже за сорок.

Хоть одногодки, ты — молодой?.. Во-он оно, вы все еще молодые!.. Видно, писатели плохо зреют. Или солнышка мало? Тогда могу предложить. Дело у нас в Сибири известное: валенок. Это как с помидорами. Так и срываешь зеленые посреди сентября и туда их — в пимы!.. И под кровать. А потом уже самое время обувку на зимнюю сменить, эту зелень оттуда выкатываешь, а она тебе — красней красного!

Тут, правда, другой метод придется. Просто наденешь мои пимы. И проходишь полгодика. Рядом. И я тебя уверяю... Или дело не в этом? А в чем?.. Жаль, брат, помочь тебе ничем не могу. У меня и своих забот. О том и толкую.

Постоял я тогда, постоял и пошел потихоньку к этой самой трубе. Поднимался по лесенке, чтобы не скрипнуть. Ухо к лючку приложил.

Захотелось послушать, как спит. Как он дышит.

Вроде не было ни единого звука, а он вдруг так заговорил, словно знает наверняка: стою слушаю. На этот раз жестко говорит, зло: «А я отсюда не выйду, бригадир! Вот как хочешь!..»

«Это почему еще?» — спрашиваю.

«Потому что Приблудным зовете!»

«Принимается,— говорю.— Завтра с ребятами потолкую».

Он помолчал, потом: «Ну, пока».

Спустился я уже вниз, вдруг барабанит вслед.

«Что еще?» — спрашиваю.

А он уже куда мягче: «Ты почему не спишь?»

«Так,— говорю.— Не спится, вот и не сплю».

«Ну иди,— говорит.— Спи. Спокойной ночи!»

Начала смены я еле дождался. И на себя был злой. И на ребят.

Потому и разговор был короткий. И прямо тебе доложу, не особо интеллигентный.

Ну и решили: все, точка. Завязали с Приблудным.

Тут под сурдинку Петя наш попробовал выступить.

Верно, кричит, давно пора кончать и с «кликухами», и со всяким неуваженьем вообще!.. Ведь до чего другой раз доходит, мол!

И тут опять Проничкин. «Петь? — говорит.— А, Петь? А в чем дело-то? Что неясного?.. И какие проблемы? Как только помещенье после Ивана освободится, так и давай!»

Только за тобой, говорит, дверцу и впрямь придется заваривать, и никаких свиданок, потому, мол, ясное дело, какую корешки твои сообразят тебе передачу!

И вот интересное, скажу тебе, дело: впервые мне улыбка у Игоря понравилась...

Пошел я к Ивану. Сказал, что был разговор. Потом спрашиваю: а может, и хватит, мол?.. А может, она к тебе уже и вернулась? Как чувствуешь?

Отвечает: «Пожалуй, да».

Снимаю я проволочку.

«Ну, выходи,— зову.— Выходи, если так».

Помолчал он там, слышу — ходит. Походил так, походил, потом просит: «Побуду еще часок, а?..»

А голос был! Ты бы слышал.

И тут я наконец свободно вздохнул. Потому что ясно стало по голосу: совестно ему выходить. Совестно за все остальное...

Вернулась-таки она к нему, а?!

Ну а дальше что?..

Жив-здоров. Годика полтора назад женили мы его. Жена попалась хорошая. Все понимает. Квартиру дали. Бабушка Анфиса Мефодьевна у них сейчас живет. Временно. Помогает правнука нянчить. Хотели его в мою честь Володей назвать, но я не сторонник культа личности, хоть тебе тут кое-что и могло показаться... Настоял, чтобы лучше нарекли его в честь мужа Анфисы Мефодьевны. В честь прадеда. И назвали его Трофим. Троха. Тронечка, Трошка. Трофим Иванович Чернопазов. А что?.. Лучше, если бы Эдик? А может, Робик? Хотя Эдуард Иваныч тоже неплохо. И Роберт Иваныч тоже. Был бы, как говорится, человек...

Так что с Иваном Чернопазовым теперь порядок. Ходит со мной в гости к Травушкину чаи гонять. Книжки тоже берет.

И любит на звезды посмотреть...

Я теперь тоже стараюсь смотреть почаще.

Помогает.

И когда стою под ними где-либо посреди нашей стройки, чудится мне, бывает, легонький шум над головой и почти неслышное хлопанье крыльев...

Какие утки! Нет, брат. Нет. Утки тут ни при чем.

Слышу я легонький шум и трепет, и живое движение чего-то незримого — так? И, чудится, слышу робкие, похожие на детский всхлип, пока неутешенные вздохи...

Смекаешь, что это? Такие дела.

А. КИМ

ВКУС ТЕРНА НА РАССВЕТЕ

1

Несколько лет назад я купил в деревне избу и в конце сентября поехал ее обживать. Она была заколочена и стояла под железной дырявой крышей; труба на ней обвалилась, ступеньки крыльца прогнили. Открыть избу помогал мне деревенский житель Егор Тимофеевич, у которого я и остановился поначалу. Влезли мы через окно, отодрав криво прибитые к наличникам доски и вынув раму. Вошли и увидели, что посреди избы лежит груда кирпичного мусора, пахнет холодной копотью, а в углу сидит, обхватив руками лохматые колени, испуганный домовой и таращит на нас глаза. Егор Тимофеевич выругался крепким матюгом — и нечистого как не бывало, а только мотались всюду пыльные пряди паутины да провисали с потолка отодранные электрические провода.

В той поездке был вместе со мной приятель Гена — человек чувствительный и кроткий, с фотоаппаратом. Он снял сей важный для истории момент: как Егор Тимофеевич лезет в окно избы, выставив на публику зад, с которого вольными складками свисают широченные комбинезонные штаны. И я стою рядом, домовладелец, значит, и держу в руке топор...

Мы с Геной подняли вагами завалившееся крыльцо, подперли его чураками, кое-как смастерили ступеньки, вынесли из дома закопченные кирпичи и глиняный мусор. Кроме русской печи, в избе была и другая печь, поменьше, с плитой, которую здесь называют «грубка»,— она-то и развалилась.

Когда мы пристраивали ступеньки взамен отсутствующих, я заметил, как мимо проходил один мужичок и приостановился, скривив шею, и осмотрел издали работу; а затем и другой, проходя, так же приостановился и посмотрел скособочившись. У второго мужика я и спросил, чего это он так смотрит, словно бабе под юбку заглядывает. Семен Киреевич, как звали наблюдателя, мне и объяснил, что он смотрел, на какой шаг мы делаем ступени — на «мужской» или на «дамский». Значит, мужской — повыше, на девятнадцать сантиметров, а дамский — на семнадцать. Это чтобы дама, когда она шагает по ступеням, не поднимала бы слишком высоко ногу, потому что даме это как-то неприлично. Мы же с Геной делали ступеньки неизвестно какого калибра. Так объяснил мне Семен Киреевич, и я сразу понял, что попал в места, где каждый мастер, раз может на глазок мимоходом различить подобные тонкости.

Через несколько дней мой кроткий приятель Гена запросился домой, ибо ему стало невмоготу. Мы с ним жили пока у Егора Тимофеевича, который водил нас по грибы в лес. Погода была ясная, места славные, живописной натуры для съемок Гене хватало, но он захандрил. Во-первых, из-за того, что мы ели много грибов и молока, а это было не совсем благоприятно для его желудка; во-вторых, мой приятель душевно занемог от картин жизни, которую наблюдал, пребывая в доме нашего доброго хозяина. Дело в том, что и он, и его жена, рыжая Маня, оказались запойными пьяницами.

Однажды хозяин решил побаловать нас банькой, мы пошли мыться, три мужика, а когда вернулись с легким паром в избу, нас встретила веселенькая, красная Маня, пытаясь улыбнуться нам и что-то такое молвить. Егор Тимофеевич кинулся к шкафчику, где была припасена бутылка водки, открыл дверку и тут же захлопнул ее с громкой руганью. Пришлось для утешения съездить ему на велосипеде в магазин... Наутро увидели мы тетю Маню с виноватым лицом, припухшими кислыми глазами, которая крутилась возле печки с ухватом, стараясь не поворачиваться к нам, но мы все же заметили, что поперек ее неширокого сморщенного лба пролегает кровавый рубец. Заметив наши с Геной взгляды, Маня со смущенным видом стала объяснять нам, что поросенок вырвался из стайки и сшиб ее с ног; но по тому виду, с каким выслушал это сообщение хозяин, я понял, что дело, пожалуй, не в поросенке, а в хорошем полене, вероятно даже березовом.

Словом, покинул меня Гена, отпуск которого еще не кончился, и я проводил его до соседней деревни, далее он пошел один до Малахова, куда приходил автобус,— зашагал Геннадий по дороге с рюкзачком за спиной, потопал бодро и, показалось мне, с чувством великого облегчения на душе...

А я возвращался в деревню, в с в о ю деревню, и мне подумалось, что лучше было бы, если б я уехал вместе с товарищем. Чего же я здесь ищу и что надеюсь найти?

У хозяев в этот день получка была или как-то по-другому явились деньги — оба оказались хороши. Мужик хрипел, словно в агонии, лежа в одних кальсонах поперек кровати, одеяло на полу, в ногах; жена возлежала на печке, на голых кирпичах, и блаженными глазками смотрела на меня сквозь нависшие пряди волос.

Я ушел за ситцевую занавеску, где было определено мне место, разделся и лег. Но сна долго не было. Неужели все это происходит въявь и за этими тонкими линялыми занавесками, совсем рядом, бессмысленно и страшно гибнут люди? А ведь мой хозяин прошел всю войну, был оперативником СМЕРШа в осажденном Ленинграде; после войны вернулся, работал председателем родного колхоза и потом председателем укрупненного колхоза... И постепенно «спился», как говорил Семен Киреевич, тот самый человек, который просветил меня насчет «дамского шага». «И я работал начальником милиции, посля работал в Совете,— рассказывал он.— А посля тоже

списли. Теперь оба ходим в бригаде с топором — топор, он из рук не вырвется...»

Незаметно я уснул и пробудился от оживленного шума: хозяева разговаривали, в переднем прирубе горел свет. Брякали стаканы, выразительный булькающий звук оповещал, что начинается пир. Но когда? Я посмотрел на часы — тикал третий час ночи.

Это было ужасно. Нет, здесь мне оставаться нельзя, завтра же перейду в свою избушку, решил я. Ночное пьянство супругов — такого я еще не наблюдал за свою богатую все же событиями жизнь. Голос Манин звенел по-молодому, почти счастливо; хозяйские шаги бодро шлепали по крашеному полу; позвякивало стекло о стекло. Я отвернулся к стене и накрылся с головою одеялом. Мне стало по-настоящему страшно.

Утром солнышко выкрасило нежную, малиновую полосу на бревенчатой стене над моей головою,— я поднялся с рассветом. Тихонько оделся, собрал свои вещи. В малом прирубе у полыхающей печки сидела Маня, роняя на грудь и тут же с усилием подымая голову. Увидев меня, зашевелилась: едва молвила: «Я щас... картошки тебе наварю». Встала с табуретки, взяла ухват в руки и нацелилась на чугунок, стоявший перед печным пламенем на поду. Дважды, трижды атаковала Маня чугунок, но так и не смогла попасть в него и подхватить на рогач. Я тихо поплелся из избы.

Солнце только что поднялось над дальним лесом и, смытое сизыми дымчатыми облаками, пылало, как чье-то неутоленное сердце — казалось, что мое. Мне было уже тридцать шесть лет, а у меня вышла всего лишь первая книга; наконец я совершил то, о чем всегда мечтал,— купил в деревне дом, но что это за дом... Я все последние годы, задыхаясь в городе, рвался на свежий воздух, в деревню, в лес, где много грибов. И вот я здесь, в деревне. О, как не похожа на терем моей мечты эта смешная избушка и как здорово не сходится с действительностью моя прежняя идиллия, выношенная сердцем! Я подходил к темной бревенчатой хижине, с болью глядя на нее, и она со своим горбатым крылечком и сильно покосившимися, почти упавшими на землю воротними столбами казалась воплощением всех моих жизненных неудач.

За избою была зеленая луговина, трава под ногами сочилась влагой, дальше на более высоком месте стояли четыре яблони и темнели кущи каких-то зарослей. На яблонях не было ни яблочка, все посбивали, видимо, зато на кустах кое-где висели темно-синие с дымчатым налетом крупные ягоды. Это было полукустарниковое растение с колючими цепкими ветками, которого мне раньше не приходилось видеть. Я сорвал влажную ягоду, попробовал — и ощутил вкус неизведанный, кисловато-сладкий, вяжущий. Как-то необычайно хорошо это было и к месту: на прохладном востоке дня, когда яркие цветные лучи солнца только еще возносились по небосклону вверх, прорываясь сквозь окровавленные облака, стоя на сырой траве у темных кустов, срывать и есть терпкие холодные ягоды.

Кусты эти, род диких слив, назывались тёрн или «теренок» по-

местному. Их никто не сажал — они сами разрастались густыми непроходимыми кущами, и в нашей деревне их было особенно много. Пробовать плоды с незнакомого дерева вроде бы и неосторожно, но порою соблазн совершенно становится неодолимым и желанным — особенно в минуту грусти, глубочайшей и головокружительной, как пропасть. И ты, как бы пошатываясь на краю этой пропасти, тянешься, срываешь и съедаешь запретный плод. Однако вкус его, неожиданный и сильный, вдруг сам собою откроет тебе подлинную суть, а она в том, что ты будешь жив, что не терпкую кислинку малой ягоды ощутил ты, а вкус еще одной причуды жизни... «Теренок» местными жителями замачивается колодезной водою — и получается настой, вишневый по цвету квас, кислый, скулы сворачивает, когда пьешь; зрелые ягоды вялят в русской печи на противнях и собирают в полотняные мешочки — жевать, коли есть зубы, или добавлять для цвету и кислоты в компоты.

2

По-настоящему освоение моей деревенской избы началось со следующего лета, а в ту первую осень, исход сентября и октябрь, я прожил во влажной и холодной избе один, кое-как, при сквозняках, раскачивающих лохмотья надорванных обоев, с дымящей нечищеной печью, в трубе которой птица свила гнездо, и в компании с ревматическим домовым, который чихал и кашлял по углам, ворочался в темном чулане, куда я и заглядывать боялся. Но в ту осень своего водворения мне удалось, несмотря ни на что, очень хорошо поработать, и я испытал подлинное удовлетворение. Хижину новообретенную полюбил. И, уезжая из деревни по первому снежку, я с горьковатой, но чистой радостью ощутил, что приобрел нечто гораздо большее, чем просто смешную избушку с горбатым крыльцом.

Был перед отъездом невеселый разговор с Егором Тимофеевичем у него в доме. Я спросил без обиняков, каким он представляет свое будущее:

— Что тебя ожидает, дядя Егор, тебя и Маню, думал ли ты про это?

— А как же,— был ответ.— Что ожидает... Больница ожидает. Ежели сами здесь не подохнем.

На этом мы и расстались с ним. Нечего мне было сказать и что-либо возразить против той суровой и грубой правды, на которую вышел мужик. Подлинная трагичность заставляет уста смолкнуть, потому что мелочной предстает перед нею всякая суета слов. Мы обнялись с ним, и я направился из избы вон, унося в своей душе — боже мой, что за несуразность?! — кипящую радость человеческого братства. Мои руки запомнили костлявую твердость его спины и плеч, теплый дух мой еще был смешан с кисловатым жаром винного перегара, коим неизменно отдавало его дыхание...

И вот весною, уже готовясь к поездке в деревню всей семьей, я как-то встретился с человеком, который, собственно, и открыл для меня край этот мещерский, и впервые произнес при мне название

деревни — человек родом оттуда и приходился племянником Егору Тимофеевичу. Новость, которую поведал сей племянник, поразила меня: «Дядька бросил пить».— «Как так?!» — «Завязал. И Маньке не дает». — «И давно?» — «Да уже больше полугода».— «И что же, совсем не пьет?» — «Ни грамма,— последовал твердый ответ.— Вино, правда, держит в доме, но только для других, когда надобность».

Что-то не очень верилось. Такое бывает в придуманной литературе. Я слишком живо еще помнил все виденное в деревне, и наш последний разговор, и звериную тоску в глазах мужика... Что ж, увидим все на месте...

Наконец в июне мы совершили трудный переезд нанятой машиной, дети в дороге страдали морской болезнью, хозяин автомобиля обиделся, что километров оказалось больше, чем я назвал при сговоре, и пришлось изрядно доплатить. Но вошли мы уже под вечер в избу — и у жены челюсть отвисла... Полы некрашеные, серые, потолок темный, немытый, с балки свисает паутина. Стоит одинешенька древняя самодельная кровать старой хозяйки, деревянный коротенький одр со следами когда-то пышно процветавшей клопиной цивилизации. Из-под кровати тянется то ли клок пакли, то ли пыльный хвост подохшего с тоски домового... Мне стало стыдно, что я столь безудержно расхваливал в Москве эту деревенскую хибару. Спрятавшиеся от июньского зноя в прохладной избе миллионы комаров затрубили свои боевые песни, готовясь к великому пиршеству.

Ничего не оставалось делать, как раскрыть пошире окна, бросить на пол привезенные с собою матрасы, а кровать со страшными черными точками выкинуть по приказу жены в крапиву — и вместе с кроватью уныло поволоклась по полу хвостатая пакля, зацепившаяся за какую-то отщепину на ножке одра...

Наутро, проснувшись, я не узнал своих несчастных детей. Обе девочки были опухшие и кривые от комариных укусов. Младшая, шести лет от роду, очень серьезно и убедительно — как могла только она — попросилась тотчас же ехать домой. Жить здесь, по ее представлению, было совершенно невозможно. Жена, побледневшая, с трагическим лицом молча взялась за мокрую тряпку, я же пошел копать яму на луговине за избою.

Прошедшей осенью я как-то не наладил этого и смиренно убирался в кущах терновника, которые, когда и осыпалась вся листва, были все же густы и с деревенской улицы непроглядны. Но при семье да при супруге о необходимом сооружении пришлось думать в первую очередь, и я решил по совету соседа, местного учителя, кликнуть «помочь», то есть созвать на эту работу добровольцев с деревни. Однако землю копать я взялся сам и впервые в жизни вырыл лопатою столь большую яму, чем и загордился втайне,— и все же оказалось, что не так вырыл, как надо,— слишком размахнулся вширь. Об этом высказал критику насупленный черный мужик Степаныч, бровастый, сутулый, шепелявый.

— Ишь размахнул как гармонию... Тебе, такой-то такойтович,

десять лет сюда стараться надо со всем семейством. По энтой яме павильон строить — материалу не хватит. А материал — один мусор, шобола.

У меня было в наличии что-то случайное, бросовые столбушки и гвоздястые тесины от разваленного сарая. Пришлось испытать неизвестное мне доселе унижение несостоятельного хозяина: уговаривать мастеров, чтобы они постарались и выстроили из того, что есть. Вдруг почувствовал я, что первое и столь неожиданное испытание я провалил,— в глазах у мужиков, притопавших на мой двор с топорами и ножовками, появилась натянутость и легкое презрение, так же и у Егора Тимофеевича, который вперед всех явился на «помочь». Мастеровые, что часто работают по чужим людям, сразу определяют, чего стоит хозяин, лишь глянув на заготовленный им материал строительства. Основательный человек достанет все свежее, новенькое, кондиционное, с чем и работать приятно,— я же, увы, смог в спешке набрать только «шоболу».

И все же топоры застучали, ножовки заширкали — и вскоре павильон необходимости воздвигся на зеленой лужайке, радуя глаз, как и всякое новое строение. В чувствах я и скажи с неосторожной хвастливостью:

— Замечательно! Теперь, если приедут ко мне в гости какие-нибудь писатели, я могу и показать: вот, мол, что построили мне здешние мастера.

Мужики растерянно запереглядывались: Семен Киреевич, как говорится, вылупил глаза на меня. И лишь Степаныч, свирепо зыркнув в мою сторону и скособочив рот, прохрипел строптиво:

— А ты им шкажи, не жабудь, пожалуйста, что материал был дерьмо.

На этом зашабашили и пошли в дом для достойного завершения «помочи». У меня было привезено в проволочной кефирной таре свежее московское пиво, что, я знал, порадует деревенских жителей. Пиво явилось, и вино тоже, и московская гастрономия, редиска и свежие огурцы на закуску, и минеральная вода для меня, непьющего. Настала минута решительного испытания. Егор Тимофеевич осторожно, с улыбочкой на загорелом лице отодвинул от себя стакашек:

— Нет, такой-то такойтович, не употребляю.

— Ну одну-то можно, Егор Тимофеевич, ради встречи,— стал я уговаривать, правда, не очень настойчиво.

— И одной не буду, уж вы извините меня,— отказался он, и удивительно яркие на этом сморщенном смуглом лице голубые глаза его засияли.

Взволнованный, я понял, что для него наступившая минута была жданной, особенной — так же, как и для меня.

— Так пива, может быть? — предлагал я между тем, следуя обычаям застольного гостеприимства.

— И пива не буду!

— Значит, совершенно бросили? — спрашивал я, испытывая

большую неловкость: вопрос этот, казалось бы, вполне был уместен в данной обстановке, и не задать его было бы неестественно и криводушно с моей стороны,— и все же что-то смущало меня, да и не только меня — всех за столом.

Но тут сам Егор Тимофеевич развеял облако, весело произнес:

— Понять не могу, как только эту заразу пьют?

Семен Киреевич кивнул одобрительно, сверкнул глазенками и затем молвил:

— Ну, ты ня пей, а я буду. А ты будешь, Стяпаныч? — обратился он к соседу.

— Наливай, увидишь,— проворчал тот.

— А налито, мужики. Выходит, надо пить,— с обреченным видом продолжал в своем стиле Семен Киреевич.

— Мне зельтерскую, вот ее-то я выпью,— обратился ко мне Егор Тимофеевич, разумея минеральную воду, которую я налил для себя.

— Чего, чего? — выкатил черный страшный глаз Степаныч, задрав к самым волосам громадную бровь.

— Зельтерскую воду, не слыхал про такую? — насмешливо проговорил Егор Тимофеевич, поглядев на мужика.

— А нам один х-хрен,— неопределенно, но энергично ответствовал Степаныч...

Вот при каких обстоятельствах я смог воочию убедиться, что верны были слухи насчет решительной перемены в жизни Егора Тимофеевича. Его случай взволновал не только меня одного — вся округа обсуждала это редкое и крупное в нравственном отношении событие. Мнения людей насчет причины для подобного шага удивительно однообразно сводились к тому, что мужик бросил пить из-за «приступа» — сердце, мол, прихватило, и он чуть не помер, вот и опомнился вовремя. То есть народная молва спешила объяснить происшедшее на уровне бытовой причины, и меня это возмущало. Я даже полагал, что именно те, которым не дано совершить подобного рода подвиги, и высказывают поскорее свое мнение, чтобы принизить факт духовной победы и удовлетворительно для своей убогости дать объяснение незаурядному. Однако и сам Егор Тимофеевич никак не желал вразумительно объяснить глубинных причин и ходов своего возрождения, сколь ни приступал я к нему с самыми серьезными вопросами. Он даже склонен был с некоторой долей лукавства вообще свести все к простейшему, никаким обсуждениям не подлежащему: «Да что тут такого? Ну взял да и бросил». И хотя говорил он это со скучающим видом, несколько даже с досадой — я-то хорошо помнил наш последний осенний разговор и все то, что было связано с ним...

Меня же все это задело неспроста. Я был уверен, что не один лишь страх гибели, присущий всему копошащемуся на земле, явился причиной пробуждения столь решительной воли в этом спившемся человеке. Нет. Должна быть другая причина и, может быть, совер-

шенно противоположная страху смерти. И добыть это сведение в виде ясной словесной формулы казалось мне делом необычайной важности. Ведь все мы явно или втайне знаем тысячи причин, ведущих к гибели, и живем, мирясь с ними или даже болезненно любя их. Но вот *сегодня* с утра что-то заставляет нас встрепенуться в новой надежде и шагнуть к порогу вспыхнувшего дня — так что же это такое? Егор Тимофеевич не захотел говорить о главном, что было бы полезно узнать не только мне. И наверное, он был прав — о подобных делах нельзя никому рассказывать.

3

В то первое лето округа проявляла еще большой интерес к нравственному подвигу Егора Тимофеевича. Бабы повсюду потихоньку гудели, ахали да приговаривали: «Не дай бог, сорвется! Тады все! Сгорит, не остановится». У баб появилось какое-то всеобщее беспокойство, словно бы пришла на местную духовную почву новая ересь или вероучение: наверное, героическая выходка Тимофеевича всколыхнула в их душах те глубинные пласты, где прячется надежда бабья на великое чудо. И, замученные безобразным пьянством мужей, местные бабы готовы были,— близкие к истерике,— возвести Егора Тимофеевича в ранг святого и носить его на руках из деревни в деревню, чтоб показывать его, умиляться да молиться на него.

Однако округа и чисто по-крестьянски осторожничала, выжидая: что же будет, когда сенокос навалится? В пору этой великой страды совхоз отправлял рабочих к Оке, за пятнадцать километров на приречные заливные луга. Там мужики ставили шалаши из душистого сена и недельки три жили чудовищно счастливой и привольной жизнью вдали от всякого надзора — начальственного и семейного. В эти дни, весьма ответственные заготовкою основного годового корма для мясо-молочного совхоза, почти каждый день привозили свежую убоину. Работали на воздухе крепко, если стояла погода, а пили столь же крепко в любую погоду. Вот и, шепчась по поводу Егора Тимофеевича, бабы и старухи гадали: а выдержит ли Егор сенокос? Если выдержит Оку, то, считай, все — таково было общее мнение.

Мне тоже было сомнительно: хватит ли сил у человека вынести столь большое испытание? Но сведения, поступавшие с Оки, были благоприятные: держится Тимофеич, свою долю не пьет, прячет в шалаше и нераспечатанные бутылки от греха подальше переправляет домой жене. Прождав немного, я решил сам съездить на Оку и посмотреть на месте, как все обстоит, хотелось также, если будет необходимость, и приободрить нашего героя.

Ехать надо было через лесную деревню Княжи на Гиблицы, а оттуда к Ибердусу (это большие деревни такие), которая была уже на берегу Оки, и там начались волшебной красоты заливные луга.

Когда грузовик, переполненный людьми, подъехал и побежал этими плавными буграми, перебираясь со склона на склон по едва заметным на скошенной луговине колеям, густой дух сохнущего сена и речная свежесть Оки охлынули нас с головою, словно живительный бальзам.

Стрекотали косилки, бегая по лугу, как бойкие жуки; по валкам высохшего сена полз огромной букою подборщик, называемый обиходно бочкой, и вываливал на землю пухлые копны сухого сена; стогометатель подхватывал их на рога и нес к тому месту, где вырастал, словно дом, будущий стог.

Девчонки и бабы живо поспрыгивали с остановившегося у шалашей грузовика и тут же направились, разбившись на партии, ворошить подсыхавшее в валках сено. Я задержался, осматривая лагерь покосников, который к тому времени был безлюден — мужики ушли на луга. Они с утра раннего косили, а в тех местах, где было недоступно для машин, ставили стога вручную.

В лагере у костра, на берегу заросшего камышом озерка, одиноко возился повар; по затоптанной лужайке и у вкопанного в землю длинного, наспех сколоченного обеденного стола белели обглоданные кости — словно в первобытном стойбище. Закормленная крапчатая Жучка дремала под столом, уж никак не реагируя на мясной дух и призывный вид вкусных костей.

Ока была недалеко, но не видна за лощиной, за густыми кущами ивняка, рябины и шиповника. Шалаши и балаганчики, крытые сеном и наспех приколоченными к деревянным связям кусками рубероида, не больно уж выглядели уютными; сломанная косилка да отдыхающий трактор подтверждали собою, что здесь рабочий стан, а не что-нибудь иное; чайки наперехлест молча пролётывали над шалашами, мечтая, наверное, но не осмеливаясь, подхватить с земли жирную добычу.

Я нашел возле шалаша легкие деревянные грабельцы без одного зуба и, водрузив орудие на плечо, отправился к женщинам ворошить сено. Они как раз, закончив на одном месте, переходили к другому. Я пристроился к ним и зашагал сзади, прислушиваясь к их громким рассуждениям насчет каких-то беспорядков в совхозе, коим посвящались столь крепкие эпитеты, что мне становилось беспокойно за молодежь, среди которой были еще совсем юные школьницы. Но вмешаться в разговор женщин я не осмелился — то были княжовские бабы, мелковатые и жилистые, но такие горластые, что, слыша их издали, можно было подумать, что вот-вот начнется драка или уже началась, однако так звучала их вполне мирная беседа...

Когда идут по скошенному лугу женщины, вскинув на плечи грабли, а вокруг дышит свежескошенное сено и голубая высь неба чуть-чуть лишь заткана прозрачной пряжей облаков,— это настоящий праздник. Потому что сушить и ворошить сено возможно толь-

ко в ясную, жаркую погоду, и солнца обилие, и зной струей бьет в самые небеса, и на его гигантских звонких фонтанах трепещут еле видимые в слепящем небе жаворонки.

А внизу под ногами в стране травяных дебрей звенит другой — миллионный хор, спрятавшись под резными листками дикой клубники, которая, кстати, висит над головами поющих букашек темно-красными, исходящими нектаром глыбами.

Девушки в легких ситцевых платьях, светлых и свежих, головы у всех повязаны яркими косынками; их загорелые руки и ноги, крепкие, лоснящиеся, быстрые, прекрасны безупречной красотою силы и спелой жизни. Вот стайка девушек, перейдя вершину бугра, постепенно скрывается за нею, словно погружается в зеленую землю, колебля плечами, над которыми покачиваются высоко вознесенные тонкие грабли — на одних застрял пучок сена, словно пуха клок, и он подхватывается налетевшим порывом ветра и тает в воздухе... Вот юные головы в разноцветных косынках вовсе скрываются за бугром — и лишь воздетые к небу крестовины грабель покачиваются в воздухе. Бабы, пожилые и старые, идут сзади: их голоса трещат и галдят за моей спиною. Я, значит, шагаю в промежутке меж молодыми и старыми, что соответствует моему возрасту и, главное, тому положению стороннего наблюдателя, случайного спутника средь этих людей, которое я и занимаю в жизни. Есть некоторая грусть в том, что мне уж никогда не быть своим среди этих сеном и солнцем пахнущих ситцевых девушек. Не принадлежать мне и к сообществу громогласных морщинистых деревенских матрон, что топают зеленой луговиною сзади меня.

А между тем впереди на новый бугор, открывшийся за предыдущим, уже взбираются светлые девичьи фигурки, и девушки на сей раз словно растут из земли — из зеленой, залитой солнцем земли прорастают у меня на глазах неимоверно прекрасные существа. Яркими, причудливыми головами упираются они в голубое небо, прозрачное и животрепещущее.

Ворошить сохнущее сено в длинных, полотнищами протянутых через луг валках и легко и споро, тут особенной сноровки или старого навыка иметь не нужно: знай обратным концом граблей подхватывай пласт сена, увянувший сверху, и переворачивай сырой изнанкою вверх да после и распуши слипшееся в пучки травье. От такой работы плечи не заболят, стан девичий не окривеет, морщины напряжения не лягут на лицо — работают все со спокойными, счастливыми лицами.

Быстро заканчивают один луг, пройдя всей растянутой ватагой из конца в конец, и переходят на другой. Там посидят в тени одинокого дерева или разросшегося колка, «перекурят» минут двадцать под медноголосое талдыканье княжовских баб, некоторые тут же и повалятся на охапку сена, положив косынки на лицо, изображая крайнюю степень утомления, а на самом деле предаваясь чувственному блаженству — сладко подремать на солнце, испытать невинное древнее счастье.

4

Вот и обед на покосе — собрались у шалашей все, которые разбрелись по луговому простору, чтобы косить, грести, метать стога, и те, которые прибыли утром на машине, и постоянные, что оставались в шалашах на ночь, не уезжая домой. Добрый обед — густой суп с картошкой и горохом, к этому еще и огромный кус вареного мяса — обед полагался всем, кто работал на лугах. Поел вместе с другими и я. Было сытно и вкусно. Пили разваренный чай из огромного закопченного чайника — я еще перед работой видел, как повар, тощий мужичок с железными зубами, докрасна загорелый, синеглазый, набирал в этот чайник озерную воду, в которой бойко плавали, пилотируя вверх-вниз, жуки-плавунцы, толклись микроскопические водяные жители. Но и чай тоже был хорош, запаренный на ягодах шиповника, что в обилии произрастал вблизи шалашей.

В обеденный перерыв я и увидел наконец Егора Тимофеевича, которого застал лежащим на пузе возле его соломенной халабуды. Он читал книжечку, видимо, увлеченно, но все же время от времени широко зевая, и лицо у него было добрым. Я успокоился сразу же, как только увидел его; все было ясно с первого взгляда. Не надо было ни о чем расспрашивать. В моей поддержке и мудром слове не нуждались. Я только спросил у него, не пристают ли к нему мужики насчет того, чтобы выпить с ними.

— Как же не пристают,— был ответ,— пристают. Выжрут свое и идут ко мне, знают, что у меня в соломке может быть запрятано. И ведь не бесплатно сюда водку привозят...

Речь тут шла о не совсем нравственной политике совхозного начальства, которое решилось на то, чтобы прямехонько доставлять водку на покосы — иначе могло быть, полагали начальники, гораздо хуже: мужики сами побегут ее искать — раз, и притом станут добывать средства на вино — это два, а кто сможет помешать им потихоньку стащить на сторону, в близлежащие деревни, тюк-другой прессованного сена или копну в тракторной тележке? Расчет руководства был поистине коварным: словно малых детей, ловило оно заматерелых выпивох на их слабости и нетерпении: кому же захочется что-то предпринимать и куда-то бежать, когда источник радости бьет рядом. Но справедливости ради скажу, что в обед я не видел никого за ритуальным занятием, видимо, оно откладывалось на послетрудовое время вечерней прохлады, когда душа грешная более расположена к веселью. Молодежь, пользуясь обеденным перерывом, отправилась на Оку, до которой было недалече. Прохладное дыхание ее мощными волнами призыва и радости давно уж манило меня, и я, покинув Тимофеича у его шалаша, тоже поспешил к реке, на ходу стаскивая с себя рубаху.

Поначалу скошенный склон покатой луговины, затем дно сыроватой лощинки, покрытой кочками, а после крутой восход на зеле-

ный береговой вал, сверху заросший кустарником... И вот первый взгляд на Оку, восхищенный и у з н а ю щ и й, потому что все истинно прекрасное на этом свете волнует твою душу радостью встречи с давно познанным, еще до твоего рождения существовавшим и терпеливо поджидавшим, когда же ты, близкий и родной, придешь и увидишь. Мы всегда были одним и тем же существом: земля, покрытая тугими жилами рек, небо такого же цвета и вкуса, как голубая вода, глаза наши с тем же блеском и теплотой, как угли костра, как преднощные звезды и как вода, текучая вода. И если мы вдруг оказались разделены и смотрим с удивлением и восхищением друг на друга, то это любовь — радостное признание священной родственности.

Никогда я не видел Оки в ее среднем течении, а когда увидел, то в могучем, неудержимом полноводье, в белых песчаных косах, в приподнятых берегах, с одной стороны луговых, с другой — лесистых, узнал я один свой давний детский сон. Мне снилось когда-то, что я стою посреди бескрайней каменистой пустыни и пою — хорошо, небывало пою,— и мне подпевают камни, все большие и малые камни вокруг, и я весело на них поглядываю... Ощущение того, что синяя излучина реки, гладкие плесы, дальний лесной берег с сельцом и церквушкой, песчаные косы и плывущая по реке баржа, и чайки, покачивающиеся в воздухе над водою,— что все это вместе запело, и я тоже — подобное ощущение было опьяняющим, сильным, счастливым.

Это счастье нарастало, переполняя вместилище души и переходя уже обратно и то видимое вокруг, из которого и зарождалось: в косые полеты острокрылых чаек, во взбитые, полупрозрачные кудели облаков, легких, как тополиный пух, в сплошное и плавное продвижение всей синей окской воды, в густой и бодрый гудок самоходной баржи, одолевавшей стремнину, басовитый вскрик: «Бо-о-йсь! Бо-о-йсь!» От крутых скул баржи клином идут назад длинные волновые усы, которые, достигая береговой мели, наворачиваются на песок с шумом морского прибоя. Я покачиваюсь на волне, погрузив затылок в прохладную воду и обратясь лицом к слепящему небу, откуда льется прямо в глаза солнечное тепло. Человек, так вот поднятый ладонью природы, должен поверить в благо поднявшей его силы. Не для того я увидел синеву неба, чтобы проклясть и отринуть ее, а для того, чтобы ощутить чистоту и прозрачность этой синевы в самом себе. И тогда согласие, покой и счастье преобразят меня, я буду желанным для этого мира. Плывя на спине по течению реки, я словно летел, раскинув руки, над голубым океаном неба, и смысл моего полета был в том, что я вернусь, когда-нибудь вернусь назад, к людям, и принесу им весть, которую ждут от меня.

Однако вся божественная ирония заключается в том, что ты выходишь из воды голым, и, чтобы явиться к людям, ты должен хотя бы надеть штаны. И пока ты оденешься, все великое знание уменьшается до размера твоего сердца, которое стучит и ликует в

груди. Одно это сердце и можешь ты донести до людей, таинственный его гул.

Я хотел рассказать правдивую историю о том, как человек одолел свое гибельное пьянство, но ход рассказа увел меня далеко от намеченной цели. Так и бывает всегда, когда плывешь по течению, отдавшись вольному ходу широкой реки: выйдешь на берег, оглянешься — и вокруг незнакомые места, иные деревья и кусты, вдали, за холмами, виднеются домики какой-то деревни... И чтобы вернуться к тому месту, где ты входишь в воду, надо долго-долго идти назад по берегу.

Все здоровое и сильное в человеке связано с той средой жизни, в которой он обитает. Смерть может подкараулить человека и даже поторопить его, втягивая в круг порока и соблазнов, но всегда в воле человека выбрать — внять ее зову или зову жизни. Я бы поговорил об этом с Егором Тимофеевичем, но по своей сдержанности он вряд ли пойдет на такой разговор.

Как-то он теперь? И что будет с ним дальше?

Я хочу подумать об этом, но вместо этого почему-то сижу и вспоминаю летнюю, давно отгремевшую грозу, тьму, колоссальными рыхлыми глыбами упавшую на деревню, явясь из-за леса со стороны Княжовской дороги, длинные огнеметы лохматых молний, тяжкие раскаты грома. А детей нет, ушли детишки на речку купаться, и бежать им до деревни через пустое поле, на которое падают огненные столпы молний.

Сразу же шквально обрушился дождь. Я натянул плащ с капюшоном, другой плащ схватил с гвоздя и кинулся вдоль деревни в сторону реки. Ливень вставал на пути завесами, то кромешно затмевая все видимое вокруг, то чуть раздвигаясь и открывая взору гнущиеся, как бы падающие деревья и нахохленные, враз почерневшие избы. И вот увидел я под строем бегущих громадных лип, с которых низвергались толстые, крученые веревки воды, увидел бегущих по дорожке, белой от брызг косого дождя, отчаянно лупящих по мутным ручьям трех малышей. И впереди всех бежала, мелькая босыми ступнями, моя дочь с вытаращенными черными глазенками. Не останавливаясь, мокрые дети пробежали мимо меня, что-то крича, широко разевая орущие рты; и меня вмиг охватил их веселый ужас, и я понесся по лужам вслед за ними...

Скоро, скоро снова поеду в деревню. Три месяца до сентября буду работать там и жить. К этому времени поспеют и станут мягкими синие, с сизым налетом, терпкие сливинки терна, кусты которого густо разрослись на дальнем конце нашего огорода. И однажды на рассвете сорву я с ветки горсть влажных от туманной росы ягод, и будут они, прохладные, лежать вот на этой ладони.

Что-то во вкусе этих ягод есть особенное — свойственное духу и облику лесных сероземельных этих мест; так привкус горькой полыни неотделим от просторов сухих степей юга, а жгучая кислин-

ка клюквы — от болотистых низин севера. Терпкий сок ягоды бежит на язык мой, и мне радостно и беспокойно от необычного вкуса терна.

Сладки медовые плоды южных стран, ел я их, но ни с чем не сравню эти мелкие сливы, дикие — не дикие, растущие сами по себе, безразличные к вниманию и хозяйскому уходу. Цепкие заросли шатрами темнеют за огородами, где-нибудь в стороннем углу подворья, и белым-бело цветут весною, и наливаются синью ягод к осени, и живут, живут себе упорной жизнью. Никакой мороз их на берет, никакая садовая порча, а размножаются они побегами от своих корней.

И когда весною я смотрю, как цветет крошечная отрасль, покрытая, как и большие кусты рядом, белыми венчиками цветов, я вижу упорство и силу этого славного рода, его подземную корневую мощь, и думаю, что смерть может пресечь человека или дерево, но то, на чем зиждется надежда каждого из них, останется неприкосновенным.

ВИКТОР ПОТАНИН

ПОДАРИ МНЕ СИЗАРЯ...

Лето стояло сухое, неспокойное, с ветрами. Солнце пылало желтое, зыбкое, в небе пусто и голо: ни облаков, ни птиц в вышине. В лесах березы свернули лист, ужались в росте, и было их очень жалко. В такую сушь в деревне ждут люди беды: неурожая, бескормицы, боятся пожаров. Делаются люди злыми, ругаются часто, ни в чем не уступают, не жди от них привета и ласки. В такое время приехал я в свою деревню в отпуск.

Жилось мне трудно. Ушел в геологи мой дорогой друг Гриша Лобода. Бросил редакцию, укатил в Саяны. Галя, о которой все время думал, совсем писать перестала. Видно, встретила в Москве, в своем университете, покраще меня.

Деревня задыхалась от зноя. Кончался июль. Над огородами дымилось марево, исчахла картофельная ботва, обмелели колодцы, в подворотнях, вывалив языки, умирали от жары собаки. Дожди шли стороной.

Дождь спустился через неделю. Начался под вечер. Я сидел на завалинке и смотрел, как кружатся сизари. Еще в детстве я выревел у матери пару голубей. Хозяин за двух сизарей заломил по-старому двадцать рублей. Цена небывалая, да рядиться я не умел. Зато теперь вся стая от тех двух сизарей.

Я любовался, как стая водит круги над крышей. Ко мне подсел Ленька-сосед, мальчишка лет тринадцати, очень худой, маленький, страшно застенчивый.

— Подари мне сизаря... Хоть одного.

— Зачем?

— Кормить буду...— И Ленька покраснел.

— Подарю, но ты мне за это поиграй.

— Поиграю...

И вдруг начался дождь. Туча вылезла из-за леса. Небо побагровело, хлестнул ливень. Вот радость-то, дождались! Каждая капля — картечина. Еле Ленька с гармошкой через дорогу перебежал. Зашли в дом. Ленька обтер гармошку рукавом, положил в колени. Я забыл сказать, что Ленька был в деревне первый гармонист. Научился играть он еще лет семи на старой отцовской хромке. Играл он, конечно, без нот, но, по-моему, лучше всех на свете. Звали его на все свадьбы и гулянки. На этих гулянках он насмотрелся такого, что и во сне не увидишь. Может, поэтому Ленька рано посуровел, притаился в себе,

не замечал однолеток. Да и отец его виноват. Пил он по-страшному, а пьяный зверел.

Ливень скоро кончился, но все равно что-то от души отвалило: теперь каждая травинка в рост пойдет. Ленька расстегнул ремни у хромки, похрустел нервно пальцами и начал с моего любимого — «На сопках Маньчжурии». Он играл, а лицо у него застывало, бледнели сильно щеки, глаза не мигали. И веселые песни он играл с печальным лицом. Если его слушали плохо, глаза Леньки глядели виновато, брови ходили взад-вперед: он страдал.

Да слушать плохо его мог только глухой. Ленька играл, а я бродил по дымным синим сопкам, думал о Гале. Может, по таким же сопкам бродит сейчас Гриша Лобода со своими геологами, золото ищет. Где вы, Гриша, Галя, отзовитесь... Ленька начал «Полонез» Огинского. Он любил этот полонез до слез. Ленька знал, что Огинский сидел в камере-одиночке. Посадили его за то, что боролся Огинский за народное дело. Сильно тосковал он по воле; потому, что тосковал, музыка сочинялась печальная. А этот полонез он написал, когда прощался с родиной навсегда. Навсегда — грустное слово. Ленька своей игрой доказал это.

Играл он чудесно, лучше никому не сыграть. После его игры хотелось сделать людям что-то хорошее, доброе, или самому написать песню, или пойти в бой и погибнуть за свою страну. Я всегда после его игры думал о Гале. Если у нас когда-нибудь будет свадьба, мы позовем Леньку, и он сыграет «Полонез» Огинского, чтоб знали все наши гости, как нужно беречь и любить свою Родину.

Ленька кончил играть.

Я полез на чердак. Выбрал двух голубей — крылья уже окрепли, и зерно клюют.

— Возьми да корми!

— Я не для себя... Для отца. Говорит, голуби будут в доме — к добру. Может, мол, пить брошу...

— Отчего же он пьет?

— От ранения... Он так рассказывал: будто в госпитале лежал, совсем умирать собрался. Санитарка стала ему спирт приносить. Отец на ее брата походил, а брата-то убили... Со спирта сон появился, с едой направилось... К спирту, говорит, только сильно привык. С тех пор пьет...

Я не совсем поверил Леньке, да и сам он вряд ли верил отцу. Просто пил тот от тяжелого нрава и бескультурья. Кончил всего четыре класса и был один такой на всю деревню. Ходил сычом, ни с кем не здоровался, может, и о голубях взмечтал с похмелья.

На другое утро Ленька ушел на луг. Мать послала его пасти корову Зорьку. Зорька должна вот-вот отелиться, и ее взяли из табуна. В табуне ведь всякое бывает — еще теленочка затопчут. Ленька унес с собой гармошку. Он сидел на лугу один-одинешенек и наигрывал для себя да для Зорьки. Вернулся поздно. Гармошка болталась за плечами. Зорька, широкая пегая корова, шла сзади, тянулась к гармошке языком. У ворот красовался Ленькин отец в хромовых сапо-

ПЕСНЯ ПО-РУССКИ

ПРОСТО И
ДРУЖНО

гах, в черном суконном костюме. Костюм сзади отвисал, брюки над сапогами вспучивались, но отец мнил себя щеголем.

Увидев меня, приподнял кепку:

— Айда в клуб, циркачи приехали... А твои сизари у меня весь хлеб сожрут...

От клуба я отказался, зато похвалил его костюм. Он ушел от меня веселый, довольный собой, что вот, мол, трезвый сегодня и в клуб, как все люди, пошел.

Ко мне заглянул Ленька. Сегодня он стал играть свое, грустное, тягучее. На меня глаз не поднимал, очень стеснялся. Я только видел, как шевелились у него ресницы, ходили взад-вперед плечи и побелели от напряжения пальцы. Ленька играл, а сам мучился: то ли не нравилось ему, то ли хотелось еще лучше сыграть. И от этой муки мне становилось плохо, я не смотрел на его лоб, который сжали две быстрые живучие морщинки.

— Ты давно музыку сочиняешь?

— Давно, а это сегодня выдумал, когда Зорьку пас...

— Почему грустное выходит?

— Ну да?

Гармошка вздрогнула, раскололась на тысячу звуков, и звуки эти взяли в долгий и сладкий плен, и я услышал шум весеннего леса, говор первых ручьев и гул поезда, с которым приехала Галя.

Но песня — «Во поле березонька стояла», — с какой он начал, была только запевом, звуки внезапно вырвались, вышли на волю и зажили по-своему, как хотел Ленька. Щеки его побледнели, глаза закрылись, но ресницы опять вздрагивали и колебались в такт звукам, дышал он часто, неровно, и далеко выступала из рубашки худая шея.

Звуки опали, почти обессилели, и в них жила теперь тишина, которая сильней грома.

Глаза Ленькины глядят виновато:

— Не нравится?

— Я люблю тебя, Ленька...

Он покраснел, и я тоже.

Утром он опять увел Зорьку и захватил гармошку. Уходил Ленька веселый, в серой клетчатой кепке, смущался этой кепки и моего взгляда приветливого. Зорька косилась на меня черными мутными глазами и двигалась за Ленькой тяжело, вперевалку, задние ноги еле поднимались и не хотели шагать. После дождя вставало утро росное, туманное, и с полей прилетели запахи меда, горького чебреца. Ленькина спина и Зорька растаяли в тумане.

Прибежал Ленька в обед взмокший, гармошка на одном ремне тащится.

— Потерял Зорьку... Найти не могу...

Такую беду видишь нечасто. Сидел Ленька в траве, гармошка в коленях, музыку сочинял. Хорошая получалась музыка, и он забыл обо всем на свете. А Зорька забралась в лощину, клевер языком стрижет. Чем дальше — все больше клеверу, трава гуще. И потерялась в

траве, пропала. Да Ленька-то здесь при чем?.. Но отец этого понять не мог. Он пригрозил:

— Зорьку не найдешь — изувечу...

Зорьку в тот вечер не нашли.

Ленькин отец напился, бродил по двору, пинал наколотые утром дрова. Ленька прятался у меня. Отец звал его, грозился, приваливался лбом к поленнице и ревел пьяными слезами о Зорьке. Подвывала ему и мать Леньки. Зорьку называли голубушкой, кормилицей, ягодкой. Ленька оцепенел. Потом отец стал опять кружить по ограде, заглядывать во все углы и кричать:

— Изувечу, изувечу!!!

Я сидел с Ленькой в горнице и все слышал. Отец не унимался. На глаза ему попала гармошка, забытая Ленькой на крыльце. Он сгреб ее в беремя, подтащил к колодцу и бросил вниз. Ленька застонал, бросился от окна к дивану, сжал кулаки. Я тоже сделался ни жив ни мертв. Отец матерился, грозил нам пальцем и точно гвоздь в сердце забил.

— Зачем жить теперь?

Ленька не разговаривал больше. Глаза стали чужие, плечи упали вниз.

— Ничего... Мы найдем Зорьку. Все равно найдем.

Под окном орал отец, крушил поленницу.

Зорьку привели утром. Погнал Степан Чумокин пасти лошадей за Тобол, смотрит — в кустах корова стоит и пегого теленочка облизывает. Тому от роду часа три. Признал Степан, чья корова, и весть подал. За теленочком послали подводу.

Отец встретил Зорьку опять пьяными слезами, облапил ее за шею. Еле оттащили горемычного, увели досыпать. А я поехал в город. Передо мной стояли виноватые глаза, всю ночь он мне снился, маленький музыкант. Сидит у меня на завалинке, клянчит:

— Подари мне сизаря... Хоть одного подари...

Только забывался, начинал о другом думать, Ленька опять передо мной поднимался, в глаза смотрел, клянчил:

— Подари мне сизаря... Ну хоть одного...

И не мог я его никак с глаз сбыть.

В городе в первом же магазине я купил новую гармошку и синий футляр для нее. Все это я привез Леньке. Он не ожидал, растерялся.

— Что ты!.. Лучше оставь себе...

— Бери, Ленька, играй... Бери навсегда...

— Как расплачусь-то?

— Вот горе выдумал. Всю жизнь будешь расплачиваться... песнями... Играй!

Ленька взял гармошку, положил в колени, обтер рукавом. Подышал на нее и снова обтер всю до синего блеска.

— Как это ты додумался?.. Поди, дорого, а?

В то лето я был с ним самый счастливый. Ленька играл, а я слушал. Всю бы жизнь мог слушать и еще дольше. Пришли в гости к нам все песни — и веселые, и грустные, но все они жили по-своему, как

хотел Ленька. А он хотел, чтоб у меня все время на душе было весело, чтоб быстрей ко мне приехала Галя из Москвы, чтоб чаще письма присылал с далеких Саян Гриша Лобода, чтоб жизнь моя была очень хорошая. И в каждый вечер бродил по седым мглистым сопкам, плавал по синему морю, водил хороводы с березой, слушал стук поезда, на котором ехала Галя.

Однажды ко мне явился его отец. Посреди избы расселся, угрюмый, небритый, дым в глазах.

— Неужели из Леньки музыкант выйдет?

Я вспыхнул, злость на него еще не прошла, и я бросил в сердцах:

— Такой сын бы другому!..

— Э-э, парень, ты мне в рот с оглоблей не лезь. Я по-доброму, а ты окрысился?

Я пожалел, что не сдержался. Ему стало неловко, а взгляд был тихий и с укоризной.

— Понятно. Поговорили...— И он попятился спиной из избы, подмигивая мне левым красным глазом.

На другой день на улице снова остановил:

— Скажи, голуби просо клюют?.. Хочу табун, как у тебя, развести. Сейчас ведь не пью... Не веришь? Ни грамма — отсек. Леньку хочу поднимать, в музыкальную школу отправлю. А ты не врешь, что из него артист выйдет?

— Выйдет!

— Ой, артист...— И зашагал к своим воротам.

Через неделю я встретил Галю. Привез ее тот самый поезд, о котором играл Ленька. Я был такой счастливый, что не мог заснуть ночами. Свадьбу мы справили в деревне. Ленька играл для гостей и «Полонез» Огинского, и все свои чудесные песни. А гости не могли отличить, где Ленькина музыка, а где музыка, которую написали великие люди. И у Леньки опять побледнели щеки, а глаза сияли, потому что у нас с Галей все так замечательно кончилось. Напротив меня сидел за столом его отец в дорогом сером костюме, белый воротник рубахи поверх пиджака. Сидел он тихо, смотрел на сына гордо. Я видел даже, что Ленька ему улыбнулся.

А потом Ленька заиграл мой любимый вальс «На сопках Маньчжурии», и все пошли танцевать. Места в комнате было мало, потому сделалось суматошно и весело, пары сталкивались, извинялись, опять кружились все быстрее, от платьев поднялся ветер, и лампочка под потолком раскачивалась, и свет метался по лицам. Вот кончилась музыка. Но никто не пошел к столу, и Ленька заиграл снова. Звуки вышли тихие, но вот бросились, разогнались — и вдруг ударила дробь, оглушила. Пошли плясать. Смех, визг. Вытащили в круг меня с Галей. Я плясать не умел, но все равно топтался, а Галей залюбовались, даже притихли. Ленькин отец косился на нее одним глазом и качал головой. Гармошка запнулась, и я позвал всех к столу. Поднял тост за дорогих гостей, за всю их родню. Выпили, закусили и опять выпили. Только Ленькин отец наливал себе квас — к вину не притрагивался, держал характер. Ленька заиграл про белые бере-

зы. Про то, что когда-то прошла война на земле и с тех пор не могут заснуть березы. И все подпевали Ленькиной игре и пели широко, стройными просторными голосами. И когда кончилась песня, все обрадовались, что спели ее чисто, по-русски просто и дружно. А потом выпили за Ленькины песни, за его счастье. А счастье его было в музыкальной школе, куда он уезжал на днях.

Отец Леньки заплакал и сказал о сыне:

— Золото мое...

Он сказал тихо, но все услышали за столом. Покраснел Ленька, выжал из клавиш что-то веселое, решительное. И мы пошли за ним следом. А Ленька играл еще, и плечи у него распрямились, в глазах вспыхнул решительный огонек, и стал Ленька сразу походить на большого взрослого человека. А потом пришло утро, но мы не заметили, как взошло солнце.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Машовец. ПТИЦА С ОПАЛЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ . 7
В. Распутин. НЕ МОГУ-У... Рассказ 9
В. Липатов. СЕРАЯ МЫШЬ. Повесть 18
Ю. Казаков. ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ. Рассказ 96
В. Шукшин. МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ. Рассказ . . . 105
И. Уханов. ВОЖДЬ БЕДСТВИЙ. Рассказ 118
В. Крупин. ЖИВАЯ ВОДА. Повесть 139
Ю. Сбитнев. ЛОВЦЫ. Повесть 249
Г. Немченко. НЕ СОВСЕМ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА... Рассказ 311
А. Ким. ВКУС ТЕРНА НА РАССВЕТЕ. Рассказ 328
В. Потанин. ПОДАРИ МНЕ СИЗАРЯ... Рассказ 342

Подари мне сизаря: Повести и рассказы.— М.: Мол.
П 44 гвардия, 1986.— 350 с., ил.

1 р. 70 к. 200 000 экз.

Сборник состоит из повестей и рассказов известных советских писателей, в которых рассматриваются социально-нравственные проблемы, связанные с борьбой против пьянства, раскрываются пагубные последствия такого порока, как алкоголизм. Писатели поднимают свой голос против людей, потерявших человеческий облик. Книга призывает молодежь к борьбе за здоровый быт, зв трезвый образ жизни.

П $\frac{4702010200-117}{078(02)-86}$ 129—86

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 4696

ПОДАРИ МНЕ СИЗАРЯ

Редактор ***Н. Притулина***
Художник ***Ю. Селиверстов***
Обложка и титул художника ***А. Сухорукова***
Художественный редактор ***Б. Федотов***
Технический редактор *Р. Сиголаева*
Корректоры *В. Авдеева, Т. Пескова, Е. Сахарова, Е. Дмитриева*

Сдано в набор 03.09.85. Подписано в печать 01 04 86 А01486. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс» Печать офсетная. Условн. печ. л. 22 Условн. кр.-отт. 32,48. Учетно-изд. л. 23,4. Тираж 200 000 экз. (100 001—200 000 экз.). Цена 1 р. 70 к. Заказ 1573

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 70 к

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ